

НОВЫЙ
МИР

11

1935

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

ОДИННАДЦАТАЯ

Н О Я Б Р Ь

М О С К В А

1 . 9 . 3 . 5

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ПРИВЕТСТВИЕ М. И. КАЛИНИНУ

1. ВЕЛИКАЯ ГОДОВЩИНА	5
2. НИК. ЗАРУДИН. — Спящая красавица, <i>рассказ</i>	9
3. ЛЕОНИД ЛЕОНОВ. — Дорога на Океан, <i>роман</i> , продолжение	31
4. А. КОВАЛЕНКОВ. — Сказка, <i>стихотворение</i>	105
5. БОР. ПИЛЬНЯК. — Созревание плодов, <i>роман</i> , продолжение	106
6. АЛЕКСАНДР ЧАЧИКОВ. — Стихи об Аджарии	139
7. ВЛ. ЛИДИН. — Сын, <i>роман</i> , окончание	141
8. НИК. МОСКВИН. — Чувство локтя, <i>рассказ</i>	161
9. Ш. ГЕРГЕЛЬ. — Гремит барабан, <i>роман</i> , окончание	164
10. А. И. ТОЛСТАЯ-ПОПОВА. — В родовом имении Толстых <i>воспоминания</i>	188

ЗА РУБЕЖОМ:

11. ХАМАДАН. — США	204
------------------------------	-----

НАУКА И ТЕХНИКА:

12. В. Е. ЛЬВОВ. — Научное обозрение	234
--	-----

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

13. А. СТАРЧАКОВ. — Уход (к 25-летию со дня смерти Л. Н. Толстого)	253
14. А. ЛЕБЕДЕВ, Е. МЕЛИКАДЗЕ, А. МИХАЙЛОВ, П. СЫСОВ. — Гоголевская Хивра в роли теоретика искусства	269

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

НИК. ОСТРОГОРСКИЙ. — Ив. Катаев, «Отечество».	287
---	-----

Статформат В/5 176 × 250.

Уполн. Главл. В—15327.

Об'ем 18 печ. лист. по 64 000 знак.

Сдано в набор 2/ХІ—35 г.

Подписано к печати 25/ХІ—35 г.

Техн. ред. В. Белоконь.

Зак. 1825.

Тип. им. тов. И. И. Скворцова-Степанова «Известия ЦИК ССОР и ВЦИК». Москва.

М. И. КАЛИНИНУ.

*Дорогой
Михаил Иванович!*

Поздравляем Вас с шестидесятилетием славной, изумительной жизни, большая часть которой отдана Вами делу борьбы за победу коммунизма.

В глухом подпольи и в царских тюрьмах, в огненные дни революции и в эпоху строительства социализма Вы неизменно шли в первых рядах большевиков, под гордым и великим знаменем Ленина и Сталина.

Мы особенно рады приветствовать Вас, соратника Ленина и Сталина, еще и потому, что Вы своими советами, указаниями, а часто и критикой помогли нашему журналу расти и совершенствоваться. Мы хорошо помним Ваши указания писателям журнала, Вашу работу над их большевистским воспитанием, которая многим из них помогла развернуться в подлинных художников своей социалистической родины. И, поздравляя Вас сегодня с шестидесятилетием, мы желаем Вам крепкого здоровья и плодотворной работы на благо трудящихся, на благо коммунизма.

*Редакция журнала
«НОВЫЙ МИР».*

Великая годовщина

Празднование XVIII годовщины Великой пролетарской революции превратилось в грандиозную демонстрацию сплочения широчайших народных масс вокруг советской власти, вокруг нашей партии, вокруг вождя народа и трудящихся всех стран — товарища Сталина.

Эта демонстрация сплочения народа, подготовленная всем предшествующим развитием пролетарской революции, является блестящим выражением победы и утверждения нового социалистического общественного строя в нашей необъятной стране.

Широчайшие народные массы на деле, на практике, на фактах повседневной жизни убедились в правильности генеральной линии нашей партии, в правильности учения Ленина и Сталина. Они поняли, что в нашу эпоху только победивший пролетариат, руководимый коммунистической партией, может обеспечить развитие общества и движение человечества вперед, по путям подлинной цивилизации и подлинного прогресса.

Буржуазия, бывшая на заре капитализма силой прогрессивной, в нашу эпоху объединяется под знаменем фашизма, под знаменем самой мрачной реакции. Она уже не в состоянии обеспечить развитие общества. Она тянет его не вперед, а назад, в средневековье. Путь современной буржуазии освещается не светом знания, а мрачным заревом костров, на которых, как во времена инквизиции, сжигаются лучшие произведения человеческого гения.

Современная буржуазия хватается за фашизм, как утопающий за соломинку, но, как утопающего не может спасти соломинка, так и фашизм не может спасти капиталистического строя. Капитализм разлагается, погружается на дно, гибнет. Об этой гибели кричит сама буржуазия. Буржуазия уже не может скрыть того факта, что ее хозяйство разваливается, ее культура гибнет, а народные массы погружаются в чудовищную нищету, невежество и одичание.

Три года тому назад буржуазия, устами своих политиков, прокричала о преодолении кризиса, о наступлении нового подъема в промышленности и во всех остальных отраслях народного хозяйства. Однако, за эти три года, несмотря на грандиозные военные заказы, народное хозяйство капиталистических стран не показывает сколько-нибудь заметного подъема.

Промышленная продукция США достигла к 1935 году только 71% продукции 1928 года, Германии — 85%, Франции — 78%, и только в Англии она составила 103%, т.-е. на 3% поднялась выше уровня 1928 года. В старое время преодоление кризиса сразу же отражалось на состоянии машиностроения. Эта отрасль промышленности обычно первой выходила из кризиса и первой набирала темпы подъема.

Современное состояние машиностроения, несмотря на большие военные заказы, не может похвастаться сколько-нибудь значительными сдвигами в сторону его подъема. К 1935 году машиностроение США поднялось только

до 33,9% уровня 1928 года, Германии— до 63,7%, Франции— до 72,1% и Англии — до 97,5%. Как видим, машиностроение важнейших капиталистических стран идет не впереди промышленности, а плетется в ее хвосте. Этот факт разбивает все надежды буржуазии на выход из кризиса. Он достаточно красноречиво опровергает всю ее болтовню о наступлении под'ема в капиталистической промышленности. Капитализм по-прежнему бьется в объятиях кризиса, а перед народными массами по-прежнему стоит мрачная тень голода.

Совсем другую картину представляет социалистическое народное хозяйство Советского Союза. Промышленность нашей страны в 1934 году достигла 301% по отношению к уровню 1928 года, т.-е. она в три раза превзошла этот уровень. Этот бурный под'ем нашей социалистической промышленности и всех других отраслей народного хозяйства вызвал совершенно невиданный в мировой истории рост машиностроения. В 1934 году наше машиностроение дает 654,4% по отношению к 1928 году, взятому за сто, как и в предыдущих сравнениях.

В этих цифрах даны две кривые развития: хахлая кривая капитализма, характеризующаяся катастрофическими падениями вниз и последующими ничтожными колебаниями, и стремительная кривая социализма, характеризующаяся бурным и уверенным движением вверх.

1935 год не внес в развитие народного хозяйства капитализма ничего нового. В текущем году капитализм продолжал топтаться на месте. Некоторое оживление в некоторых отраслях промышленности, изготовляющих военные материалы, едва ли может быть принято во внимание, ибо оно куплено ценой подрыва всего народного хозяйства, ценой чудовищного ограбления широких народных масс и, естественно, не может создать общего под'ема капиталистического хозяйства. Наоборот, это искусственное оживление, вызванное бешеным ростом вооружений, в дальнейшем неизбежно приведет к еще большему падению, к еще большему разрушению

производительных сил капитализма и к его окончательной гибели.

Советский Союз в 1935 году сделал новый, грандиозный прыжок в своем развитии.

Валовая продукция союзных промышленных наркоматов выросла за 10 месяцев 1935 года на 22,5%. Причем особенно большой рост продукции показывает желая промышленность (25,2%), пищевая промышленность (24,6%) и кино-фотопромышленность (56,4%). В этих цифрах, как в зеркале, отражено движение нашей страны — бурное нарастание ее технической мощи, бурный под'ем благосостояния широких масс населения и бурный рост культурных запросов народа.

Большие достижения принес 1935 год и в области строительства. Несмотря на некоторые недостатки, имеющиеся в строительстве, строим мы теперь лучше, дешевле, быстрее, а это при грандиозном размахе нашего строительства имеет исключительно важное значение.

В 1935 году в строй действующих предприятий мы ввели сотни и тысячи строительных объектов и тем самым увеличили и усилили производственный аппарат страны. В текущем году мы закончили также первую очередь такого важного и вместе с тем такого сложного в техническом и архитектурном отношении сооружения, как Московский метрополитен. Это сооружение поражает не только грандиозностью своих размеров, но и тщательностью выполнения и своим архитектурным оформлением. На примере Московского метрополитена, Беломорско-Балтийского канала, Днепрогэса, Магнитогорска и др. легко установить разницу между социалистическим и капиталистическим предприятием.

Капитализм, создавая свои подземные городские железные дороги, стремился только к одному: к извлечению максимальной прибыли.

Социализм, создавая свои предприятия, свою подземную железнодорожную магистраль, всегда руководствуется не только соображениями рентабельности, но и соображениями удобства и красоты.

Предприятия капитализма — это казармы, это каторги, калечат людей.

Предприятия социализма воспитывают людей, превращают их в сознательных строителей социалистического общества. Поэтому предприятия социализма отличаются от предприятий капитализма не только своей социальной формой, не только иной формой организации, но и своим архитектурным оформлением. В этом отношении Московский метрополитен является для данного периода образцовым социалистическим предприятием. На вопрос: как выглядят социалистические предприятия, мы можем с гордостью ответить: «Посмотрите Московский метрополитен». Вот так, в недалеком будущем, будут выглядеть все предприятия нашей социалистической страны.

Наши железные дороги под большевистским руководством товарища Кагановича в сравнительно короткий срок выбрались из прорыва и, начиная справляться с требованиями, предъявляемыми к ним страной социализма, уже перешагнули «предельные нормы» и перешли от 56 тысяч вагонов погрузки к 76 тысячам вагонов погрузки в день. Это значит, что мы настолько уже выросли, что можем брать любые крепости. Это значит, что у нас имеются грандиозные резервы, высвобождение и использование которых позволяет нам решать — и к тому же на коротком отрезке времени — самые сложные задачи. Победа транспорта — это важнейшая победа текущего года. Транспорт уже не является узким местом народного хозяйства, он уже не задерживает развития народного хозяйства, и недалек тот день, когда транспорт пойдет впереди народного хозяйства. Так же успешно развивалось в 1935 году и наше сельское хозяйство. Укрепление колхозного строя в деревне привело в текущем году к значительному росту и посевных площадей, и урожайности. Причем особенно значительные темпы роста показывают такие важные для нас отрасли сельского хозяйства, как хлопководство, производство сахарной

свеклы и животноводство. Ярким выражением успехов сельского хозяйства является отмена карточек на продовольственные продукты и развитие советской торговли, т.-е. значительное повышение материального благосостояния широчайших народных масс, зажиточности, культуры.

Все эти успехи текущего года сделались возможными благодаря мудрому ленинскому руководству гениального маршала прелатарской революции товарища Сталина. Лозунг товарища Сталина об овладении новой техникой, подхваченный народными массами Советской страны, широко и успешно претворяется в жизнь. Лозунг вождя об овладении новой техникой, о том, что теперь «кадры решают все», указал то главное, за что надо сейчас ухватиться для того, чтобы развить дальше экономическую мощь нашей страны и поднять выше благосостояние ее народа. Борясь за осуществление этого лозунга, овладевая новой техникой, рабочие и колхозники выдвинули из своей среды Стаханова, Бусыгина, Виноградовых, Демченко и тысячи других героев труда, пионеров овладения новой техникой, борцов за подлинно социалистическую производительность труда. Стахановы своими методами работы, умелым использованием новой техники, своей борьбой за высокую производительность труда ломают старые нормы, выявляют все новые и новые резервы, таящиеся в нашем социалистическом народном хозяйстве — практически ставят вопрос о том, чтобы в кратчайший срок догнать и перегнать передовые капиталистические страны и в области производительности труда. Стахановское движение по-новому ставит все вопросы нашего дальнейшего развития. Пророческие слова товарища Сталина о том, что овладение новой техникой поведет во второй половине второй пятилетки к новому мощному разбегу как в области строительства, так и в области прироста промышленной продукции, блестяще подтверждаются самой жизнью, фактом бурного развития стахановского движения. Стахановы — это новые люди, люди новой культуры. Эти люди могли

появиться только в результате победы социализма. Развитие социалистического общества ведет к росту армии стахановцев. Тысячи превратятся в миллионы. А там, где дело тысяч превращается в дело миллионов, оно непобедимо. Стахановское движение переводит социалистическое соревнование на новую высшую ступень. Стахановы — это пионеры, это борцы за коммунисти-

ческие формы труда. Это лучшие представители нашего народа, идущие победным путем под непобедимым знаменем Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина.

Радостно жить в стране стахановцев. Радостно бороться под гениальным водительством Сталина. Радостно встречать каждый новый день, ибо этот новый день является днем новых побед.



Спящая красавица

Рассказ

НИК. ЗАРУДИН

1

За двести верст от Москвы воцаряется бескрайняя глухая зима. После жаркого плацкартного вагона Кривицкий, двадцатипятилетний урбанист и почитатель Дос-Пассоса, остается один-на-один с незнакомым и страшноватым, как ему кажется, миром.

Станция не из примечательных, затонувшая в снежном ночном тумане. Два часа журналист Кривицкий ожидает лошадей в предрассветном сумраке нетопленной людской залы. Бесконечно перечитывает он плакат Союзплодоовощи, приказ Наркомпути, слышит за стеной телефонные звонки, выкрики о вышедшем 51-м и считает, сколько раз открывается дверь, впуская морозную ночь, людей с фонарями и мерные громы проходящих составов. В телеграфной чей-то надорванный голос до самого света негодует о кознях какого-то ревизора Сытина. Там, очевидно, тепло, нет этой круглой, обитой черным железом печки, не топленной по крайней мере сто лет. Кривицкий слышит о каком-то суде — что-то глубоко российское, где и жена начальника станции, и опять ревизор Сытин, и служба пути, и сто двадцатипятирублевый оклад, ревизия, чорт его знает что! Он саркастически морщится, мерзнет, оскорбляется, видя полное равнодушие станционных служащих к его судьбе, но не двигается с места. Лампа «Молния» еле освещает пустую комнату. По асфальтовому полу, словно за невидимой ниткой, бесшумно

перелетает мышь. К рассвету Кривицкий приходит к окончательному убеждению, что он брошен на произвол судьбы, и с острой тоской и любовью вспоминает шумную свою, вчерашнюю, как патефонный диск, неуклонную московскую жизнь... И деревня, куда он едет, представляется ему уже с тем чувством заброшенности и одинокости, что испытал он давным-давно в южном еврейском городке, при оккупации его неким атаманом Ангелом.

Светает очень медленно и уныло. Уже совсем засветло журналист выходит на пути. Бездна мира в холодном сиянии. Поле, пересыпанное миллионами стеклянных игл и блесток, освещенное морозным солнцем, ослепляет глаза. В глубине воздуха, студеном и колючем, как нарзанная вода, на путях впереди, клубится дерзкое розовое облако. Палец семафора опущен вниз. Начальник станции, в фуражке тревожно-пожарного цвета, стоит, подняв воротник.

Выбрасывая глухой, настигающий рев, неподвижно висит черной громадой паровозного котла над спешкой поршней, вырастает скорый и, перемахав поле вагонами, обдув мазутным ветром, утаскивает в качке и вьюге три фонаря вдали...

«Товарищ, товарищ, скажите нашей маме...» — думает Кривицкий и долго смотрит туда, на Москву.

А когда за ним в десять часов утра приезжает лошадь, когда его тихонько и вежливо расталкивает на лавке человек в огненно-диком тулупе, он смсрит

недоумевающе, решительно встает и сразу начинает расспросы. Первым делом спрашивает он, имеется ли и какая в колхозе Сатине партийная ячейка.

— Александр Михалович-то? — переспрашивает его добродушно приехавший, сморкаясь в рукавицу. — Есть такой. Только его, товарищ, не придется вам встретить. Его на конференцию вызвали, в район.

— Как вызвали? — сразу холодеет внутри у Кривицкого. — Да мне же от него весь материал надо получить!

— А народу рази нет! — добродушно усмехаясь, отвечает возчик. — Вы об этом не сомневайтесь. Чемоданчик ваш? У нас народ, нечего говорить, дружный. Государственно, как один, работали. Вы не беспокойтесь, — опережает он журналиста, — я донесу.

Он берет чемодан, и через минуту Кривицкий конфузливо уже снимает калоши и ботинки, надевает огромные, подшитые кожей валенки и, дрожа от озноба, погружается в морозно-пахучий тулуп. Лошадь трогает. С удивлением замечает он, что лицо его возчика совсем не походит на те крестьянские лица, что представлялись еще в поезде. Но все это приходит к нему смутно и неуверенно. Бессонница укачивает его сознание. Завалившись в дровни, он различает яркое поле в искрах стекольных игл, необычайную силу и крепость воздуха, входящего, как водочный запах, терпкий вкус овчины и то, с чем он оставлен один-на-один, — простое и тугое, как яблоко, исходящее от возницы, от лошади, от всего этого мира, живущего здесь под морозом и солнцем. Неожиданно журналист чувствует себя слабосильным, насмерть переконфуженным перед какой-то наготой жизни, от которой его московская судьба была запрятана столько лет.

Он дремлет.

А когда сразу обрывается шуршание снега внизу и перестает колыхать и сваливать его набок, он просыпается от неожиданного покоя, приподнимает голову... Лес, обвешанный люстрами гололедицы, отступает со всех сторон.

— Ну, что же вы... — бормочет спростонья про себя журналист.

— Никак невозможно! — отвечает ему спокойно возница и, наклонясь к собранным ладоням, чиркает спичкой.

Кривицкий облокачивается и поворачивает голову. Он видит, как, оседая задом, подымает хвост лоснящаяся потом кобыла и долго из-под нее клубится паром разедаемый и буро-желтый снег. Возница уважительно и серьезно молчит.

Наконец, животное женственно отряхивается, выпрямляется и поднимает голову.

— Ну! Удо-вольствия! — притворно грозно кричит возница, причмокивает, и Кривицкого, упавшего от толчка в сено, из этого натурализма снова тащит в неведомый, сияющий ледяным стеклом, обмороженный лес.

2

... И точно, партийной ячейки в селе Сатине Кривицкий не нашел. Но так уж водится в жизни — никак не оказываются верными наши представления об ожидаемом, и всегда открывается жизнь с иной, неожиданной и негаданной стороны.

Три дня солнечно освещена деревня с чистой голубой высоты. Гололедица. Отовсюду — с кустарников и с деревьев садов, с надпрудных берез и осокорей — свисает и кипит под солнцем несметный ледяной виноград. И три дня, с часа, когда привезли его, сонного и отогревшегося в тулупном тепле, к домику сельсовета, переживает Кривицкий среди этого блеска и света совсем не похожее на виденное им за всю жизнь.

Деревня оказывается на-редкость слаженной, сытой и занятой по горло сонмом своих житейских забот. И когда входит он, московский журналист, в небольшую комнатку, оклеенную светлыми обоями, с телефонным аппаратом, радиорепродуктором, с чистотой, сразу поражающей его, видит Кривицкий, что многие заготовленные им вопросы здесь уже неуместны и давно оставлены позади. Но надвигается на него другое, главное, что составляет здесь основной смысл. И журналист два дня чувствует себя переконфуженным.

В колхозной конюшне, куда его ведут сразу же, он сталкивается с этим смыслом лицом к лицу. Председатель колхоза, суровый и военной выправки человек, в распахнутом полущубке, вводит его в обширный сарай, наполненный паром, мягким животным хрустом, острым конюшненным запахом. Журналист видит, как масляно поблескивают крупы из полутемных стойл, как помачивают метелки жестких хвостов, слышит глухие удары, огненно косятся на него конские глаза, настораживаются уши и гневные гривы... Ему немного жутко, неуверенно вздрагивает тело при очередном ударе и топании. Председатель быстро шагает от лошади к лошади, оглаживает лошадиные спины, задумчиво разбирает рукой рассыпчатый волос хвоста, щупает ноги и копыта; потом он лезет неожиданно под тугое и круглое конское брюхо.

— Тетка Фиона! — кричит он, поднимая синие, мутноватые глаза, и берет на колено копыто с блестящей, как плуговая сталь, подковой. — Неладно у тебя. Перековать отведешь сегодня же.

Женщина в платке, с лицом сизой лупицей, вырастает, словно из-под земли.

— Ай, Иван Васильевич!

— Плохо смотришь, бригадирша, — говорит строго председатель. — Отведешь в конюшню сама, присмотришь. Зорьке промывание сделала?

— Промыла вот уж как... Все глаза прогладела!

— Смотри, бригадирша! Бык-то как?

— Задумываться стал, Иван Васильевич!

— Задумывается? — резко переспрашивает председатель и бережно ставит конское копыто на землю. Лошадь буйно переступает ногами, вскидывает зад, так что Кривицкий испуганно шарахается в сторону. По всей конюшне, как беспорядочный залп, перебирают хрустящий полумрак тяжкие, кованые удары — и стихают.

— Так, — удовлетворенно говорит председатель, добрая лицом и похлопывая лошадь по крупу. — Не кони — мысли! Мой бык — до Рязани два часа ездил, а теперь еще лучше... Прямо ска-

жу — народная лошадь! Куда тут! Колхозники-то довольны конями, бригадирша?

— Довольны, Иван Васильевич. Теперь меньше ходить стали, а то спервоначалу все ходят да ходят... Ларивонич все приходил. Ну, известно, смотреть, тоскуеть... Они, коты, бабу раньше не берегли, как скотину. А теперь нет, обыкновенные стали, сытые, чуть вечер, бегут радиу слушать. Право. Михал Михалыча будете смотреть?

— Посмотрим. Наш бык, — поясняяще обращается к журналисту председатель. — Вы идите, не бойтесь, у нас лошади смиренные, это они с морозу постреливают. А бычок знаменитый — из всех колхозов. Только вот задумывается...

— Как это... задумывается? — спрашивает журналист, косясь на хвосты и копыта, играющие своими откормленными силами, и стараясь держаться поближе к председателю.

— Эх, Михал Михалыч... — вторит своим мыслям тот, не отвечая. — Тяжел, тяжел, чего говорить! Разве ему наша корова — радость. Ты, Фиона, полегче, полегче...

— Меня одну из всех принимает, Иван Васильевич! — бойко, нараспев говорит бригадирша, отмыкая закут. — Вон ядра-то какие развесил... Ну, ну, — бормочет она, — ишь, родитель какой...

И входит к быку, в натянутых струною канатах опустившему курчаво-глыбастую голову с неподвижно-блестящими и падучими глазами. Журналисту становится по-настоящему страшно. Он видит, как тяжело вкопалось в сырую солому всей стопудовой, литой яростью черно-белое мраморное туловище, как убийственно-выразительны роговые его крюки, как пружинит канаты и вздыбливает махину груди то, чем освещается вдруг закипающий смолой, неподвижный звериный взгляд. Глаза зверя вспыхивают, стеклянеют и потухают.

Председатель смотрит восхищенно, как-то весь молодеет.

— Вот чорт! — говорит он радостно, но не решается войти.

Бригадирша, навалившись всем телом на быка, чешет его меж рогов, льнет к нему головой, будто вся распадается.

— Ну, ну! — бормочет председатель и снимает почему-то шапку. — Знаменитый, знаменитый... Ну, и мужик! — и он выругивается, вспоминая какой-то «корень».

Он смотрит на зверя не отрываясь, как завороченный.

Бригадирша ластится к быку, гладит его завитую мерлушкой аршинную шею, и, переступая на стальных, гибких ногах, валится чудовищная звериная туша в сторону, не сводя с журналиста подернутых влажным фиолетовым блеском неподвижных глаз.

— Продавать придется! — вздыхает председатель. — Мелка наша корова, Фионушка, — не выдержит...

— Уж я, Иван Васильевич, так к ему приобылка, прилюбилась, ей-пра, как к родному ровно... Только задумывается, Иван Васильевич, слов нет, задумывается. Никого, кроме меня, не подпускает. Жалко мне его, жалко, а про коров наших ты правильно... Не родильницы они под ним, Михал Михалычем-то... Разви можно! Наша корова, как барышня...

— Вот то-то и оно...

— А он чисто трактор какой... А ласковый ко мне, обходительный!

— Смотри, Фиона... Полегче! — И председатель обращает к Кривицкому бритое лицо с подстриженными щеточкой усами. — Пойдемте! — говорит он, из вежливости к быку вполголоса.

Они выходят на чистую, обласканную рано увядающим солнцем, улицу далеко за полдень. Вдали, за тремя снежными прудами, журналист видит рисованный угольными штрихами обширный сад, редкие заиндевевшие елки совхозной усадьбы, желтую предзакатную громаду бывшего помещичьего дома. Ясная и золотистая пауза предвечернего воздуха. Кирпичные избы поднимают над теплыми соломенными гнездами крыш вечеряющий дым. С колхозной риги доносятся крики и песни, жужжанье молотилки, — и кажется Кривицкому, после колючих запахов и всего виденного, что отовсюду — из кружевных хором голедицы, из серых лесков на снегу, из

воздуха со стаями сытых падающих голубей, из обваленных по самые крыши соломою и клевером изб — смотрят на него горячей мукой одни и те же огненно-влажные неотступные глаза.

В риге, у самого поля, его закидывает душистой пылью, горячим и заунывным распеваем песен, женским хохотом, — он никак не может притти в себя. От намолоченных и провеянных гор вики полыхает теплым, сытным запахом. Из барабана молотилки выдувает, бросает на воздух ключья соломы, вертится пыльный смерч. Парни и девушки огребают в этом вихре мусорный еще, вихрастый и колючий обмолот. Гудят веялки, и, звонко выщебетывая, валя друг друга на крутые курганы чистого зерна, из многих молодых, розовых, сшибается, крутится в обнимку, пропадает в пыльных вихрях многоликая белозубая и поющая сила.

Из этого мелодичного, веселого и шумного отчетливо долетают до него голоса песни:

Долго глядела ему девица в лицо
И молча надела на ручку кольцо.

Мелькает, кружится, дует какими-то сушеными полевыми цветами, налетает на Кривицкого все то же, то же, что его так поразило раньше, и выходит он из риги совсем запямятовавший, с неопределенной завистью к чему-то, — но к чему? Не к тому же, что видел и слышал, не к тому же, о чем так складно и бойко пели, обнимаясь и валясь в зерно парни и девушки? Но, возвращаясь по деревенской улице, отыскивая назначенный ему дом, начинает твердить он две строчки услышанной им первый раз песни. И это так далеко от Дос-Пассоса-

3

Свой дом он находит быстро, усталый, наглотавшись вдоволь вкусного полевого воздуха, еще более неуверенный в себе. И вправду он начинает стыдиться своих тонких ног в клетчатых спортивных чулках, своих роговых очков и модного, с длинными, острыми концами, голубого воротничка. Он еле находит холодную скобку двери и входит, здоро-

вается. Хозяйка с чудовищно приподнятым животом приводит его в полное смущение. В полутьме черной половины избы, заставленной огромной печью, он смутно различает ее маленькое личико, с бойкими темными глазами, но в первую минуту ее мощный и невероятный живот заслоняет все. Хозяина, как он уже слышал в правлении, дома нет, — он на курорте, где-то в Крыму. Журналист здоровается. Его, оказывается, ждут давно. Он входит на чистую половику и раздевается. От света подвешенной к потолку лампы, от сухого комнатного жару, от прожитого на воздухе дня его сразу бросает в сон, и голоса детей, собственные слова, звон чайной посуды начинают казаться какими-то далекими, давно посторонними звуками.

Он сидит и борется с дремотой. Четверо ребят разглядывают его с любопытством, — он пробует с ними говорить, придумывает, как все далекие от детей люди, нарочитые для них фразы и вопросы, но дети бесцеремонно глядят на его очки, отмалчиваются или отвечают холодно и конфузно. Журналист пытается погладить твердую и курчавую голову старшего, лет десяти, тот откидывается в сторону, совсем как барашек, и закрывает ладонями книжку.

— Они у нас смиренные, в отца, — звонкоголосо откликается из-за двери хозяйка. — Пообвыкнут, так надоедят. А ты, что, женатый будешь? — любопытно высовывается она. — Не же-натый? Ой ли!! Да как же это так? Врешь, наверное.

Она ловко и быстро вносит самовар, потупив глаза, ставит его на стол, вытирает губы и, сложив руки на высоком животе, смотрит Кривицкому прямо в глаза. И вдруг замечает журналист, что похожа лицом она совсем на девочку. На миг проступает в ней ощущение нежного лукавства, затаенного под какой-то сонной важностью и сытой, утоленной животностью, чем озарено все ее нелепое и ненормальное, как ему кажется, существо.

— Ой врешь, притворяешься! — говорит снова хозяйка, покачивая бойкой голвкой в платке. — Да разве без женщины мужик проживет? У меня муж

слабогрудый, табуркулезный, я с ним никогда не поцелуюсь, а и то вместе спим. Ей-богу! А ты неженатый... Да что уж это! Неужто ученые люди так и живут? Батюшки... Нет, у нас мужчины самостоятельные, — убежденно продолжает она. — Да чего мужчины, нонче девка за барыню пошла, попробуй ей скажи! Чего уж тут, вон наш Ванюшка летось наозоровал — ему одиннадцать в покров исполнилось, а мой-то ведь, хоть и слабый, но справедливый, лучший ударник, не то, что на меня, на муху руки не подымет; Ванька наозорничал, а он ему ремнем и пригрози... Так Ванька прямо в сельсовет, к Лександре Михайловичу: «Тягька мой, — говорит, — с кулацким уклоном — меня ремнем пороть хочет. Его, мол, из колхоза исключить надо». Ей-богу, так и сказал! Тот, конечно, туды-сюды, по-партейному, значит, разобрался. Отец-от и оказался прав по всему закону. А вот он вырастет, скажи ему, чтобы он с девками не гулял! А ты... не женат... Чудно, ей-право, чудно!.. Бабы у вас по городам балованные, вот что я скажу, — скороговоркой добавляет она. — Спать-то с мужиками умеют, а родить не хотят! Вот тебе и все.

Она посмеивается глазами.

Журналист смущенно молчит и смотрит на нее с удивлением. Сонная дремота его начинает проходить. «Дамочка, — думает он весело и удивленно, — вот это пять раз — да!»

Он искоса бросает взгляд на ее живот, на маленькие голые ступни и понимает то, что никак не приходило в мысль... Женщина начинает поражать его, несмотря на все, странной своей грациозностью.

— Ты чего смотришь? — спрашивает неожиданно она. — Ты что думаешь, — нонче бабы у нас умные стали: тебя все-му научат.

Она закидывает круглое под платочком лицо, хохочет и, закрасневшись, словно натапцовавшись, спохватывается:

— Вы чего уши развесили? — накидывается она на ребят. — У, волчата лохматые! Уже так я с ними намаялась... А все книжки читают, никак спать не прогонишь, ученые будут. Бе-

ды-то с ними! — говорит она все добрее и податливей, собирая детей под свой живот и уводя их за перегородку, к деревянной кровати с горою розовых и голубых подушек.

Кривицкий слышит ребячий шопот, ласковые шлепки и ее, теперь совсем иной, материнский и приглушенный голос.

— Чай-то кушайте, а то простынет, — слышит он опять ее звонкую, может быть, задорную (так показалось!), перешедшую почему-то на «вы». — Председатель наказывал вам к восьми на собрание. Цыц, проклятушие! Народ у нас умный, дружный, — послушаете! План, слышь, высказывать будут. А уж я вам, не обижайтесь, постелю на полу... Время-то мне еще не пришло, а вот численник не купили, дни-то я и перемешала. Цыц, вот я вас огрею! Численников в лавке не стало, и куда подевались, право...

Кривицкий смотрит на часы с гирей зеленого стекла и двумя привешенными гайками, спохватывается.

Он надевает пальто, шапку поддельного котика, берет новый блокнот и сует ноги в калоши.

— Ужинать я вам соберу, — слышит он уже сонный и теплый голос, с чувством неясного сожаления покидает этот приют материнства и, толкнув дверь, выходит в крошечную тьму.

Ему нужно в какой не то овин, или сарай, — он не знает, как это здесь называется... В потемках впереди угадывается морозно-синяя и звездная полоска наверху. Он чиркает спичкой. На него кидаются горы соломы, бревна, нагроможденные жерди, низкая дверца в провал мягкого и густого, как сажа, мрака. Спичка погасает, едва он нащупывает деревянный засов и ступает в солому, шурующую и податливо тонущую под ногой. Сверху чуть просеивается ночной свет. Журналист слышит мирный конюшенный хруст, ступает дальше и, очутившись один-на-один с пустотой вокруг протянутых рук, вдруг спотыкается и падает грудью вперед. И сразу руки его хватают мягкое, теплое и колючее, что мгновенно обдаёт его раскаленным визгом, подбрасывает и, скользко выры-

ваясь из-под его тяжести, неистово бросается в сторону. Он вскрикивает. Отовсюду налетают на него, шарахаются мохнатой теплой стеной, блеют живые тулупы и вспыхивают фосфористые круглые огни, с оглушительным шумом взрываются над головой крылья; рукой журналист влезает в какую-то вязкую и неподобную дрянь...

Едва вырвавшись из этого гвалта, жеванья и хрюканья, сдерживая одуревшее сердце, журналист нащупывает дверь. За перегородкой он останавливается и переводит дух. И снова там, в оставленном им, чуждом, ясельном и темном мире, хрустит чья-то вечная, неустанная пасть, погруженная в теплый и нежный смрад, и отсчитывает, отсчитывает этот маятник, и мерцает над ним циферблат с бледной цифирью звезд.

Совсем тихо.

— О, донна Клара! — бормочет, улыбаясь себе, Кривицкий. К нему возвращается врожденное чувство юмора. — Но что вы скажете на это, дорогой Марк Соломонович?

И, выбросив испорченный носовой платок, пробирается он сквозь уют зимней улицы с желтыми ляннами деревенских огней.

Ему опять вспоминается огненный бычий глаз. Отовсюду — с далеких звездных пустынь, которые он никогда не замечал в городе, из снежного мрака открытых отовсюду полей, из соломенных и навозных дворов, из дремучих и ледяных дебрей зимы — отовсюду смотрят на него, крадутся, подступают все те же, те же горячие, неутомимые глаза. И, когда входит он, споткнувшись о порог, в неистовую людскую тесноту со странной тишиной, пробирается к зовущему шопоту председателя и усаживается у самой лампы, одолевает его окончательное слабование.

Как в тумане, он видит сосредоточенные, больше пожилые и спокойные лица, множество овчинных шубеек и женских платков.

— Конечно, товарищи, мы обсудим наш будущий строительный план, как у нас есть полная возможность культурной зажиточности... — начинает председатель, сурово хмурясь и строго огляды-

вая собрание. — Есть предложения повести дня?

Пауза с редким кашлем у двери.

— Докладай, Иван Васильевич, — просто говорит старик с лавки, выколачивая трубку. — Баню нам нужно, вот что.

— О бане скажу. Кто еще?

Молчание.

— Михал Михальгча не продавать бы... ей-пра!.. — выкрикивает кто-то в платке, и видит Кривицкий знакомую луковцу.

— Чего не продавать? — отвечает ей тот же старик, наклоня голову и легонько приподнимаясь на ладонях от лавки. — Бык-то хорош, а нам ни к чему!

— Приобыкла я к нему...

— Ну вот: привыкла да привыкла... Бабу память коротка.

— Добавлений не будет? — спрашивает председатель.

— Будя! — кричат сзади. — Обговорились.

Собрание начинается.

От жары, бессонницы и усталости Кривицкий едва поспевает за речью председателя и лихорадочно подбирает все слышанное и прочитанное, весь запас своих представлений о новой социальной деревне. Но фантазия его оказывается мертвой и отставшей. И совсем убивает его дотошная, скрупулезная, совсем семейная осведомленность председателя о мероприятиях десятков правительственных учреждений, о всех постановлениях и декретах, — сонм распоряжений, поправок, пунктов, параграфов!

Председатель говорит о будущих хозяйственных планах долго, дотошно, семь раз примеряя и один раз отрезав.

Гектары, центнеры, литры, рубли, трудодни! — уже с трудом понимает Кривицкий эти сложные расчеты и выкладки председателя. И снова он оказывается совсем несведущим в пчеловодстве и садоводстве, и снова приходят к нему новые слова, досель совсем далекие и казавшиеся пустяками. Председатель останавливается на культуре цикория. Кривицкий тщетно пытается припомнить это растение, но ничего не получается. Цикорий... Нечто кофейное или лекар-

ственное?.. Или еще что-то? Но в голову лезет вульгарная поговорка, и в ней цикорий окончательно запутывается и исчезает... А собрание слушает чрезвычайно внимательно и одобрительно. «Правильно, Иван Васильевич!» — слышит неоднократно Кривицкий и, к своему ужасу, не может разобраться, чего тут правильного и неправильного... Внимательно вглядывается он в незнакомые лица окружающих. Женщина, сидящая напротив, кормит ребенка. Она распустила платок и, не отрываясь, смотрит на председателя. Полная правая грудь ее вся наружу и податливо вдавлена к самым спящим ресницам детского личика. Дальше бритые мужские подбородки, — лица, лица, лица, — деревня, с ее прямыми, откровенными взглядами... В глубине людских потемок Кривицкий наталкивается на что-то влажные, насмешливые глаза, виденные им в риге, — они ожигают его, заставляют потупиться. Он снова прислушивается. Колхозная баня? Как, неужели здесь никогда не знали бани?

— Это есть неотложная проблема, — продолжает председатель, — чтобы колхозник походил на порядочного человека...

И вдруг Кривицкий ловит себя на совсем мальчишеском занятии. Он всматривается в лицо председателя, мысленно подстригает его непокорные, жесткие волосы, одевает его в городской пиджак и воротничок, завязывает на нем галстук, и председатель вдруг превращается в председателя треста, нет, в профессора, — настолько интеллектуально выразительно его лицо и уверенны осанка плеч и жестикация рук. А вон тот и вот этот... С удивлением замечает журналист, что сидящий сбоку человек более всего напоминает немца, и куда-то исчез, сгинул и провалился бородастый и рыжий мужик, что затвердился в памяти своим полущубком и своей бородастостью. Открытие это почти поражает Кривицкого. Он пробует переодеть женщин, но тут ничего не получается. Их лица кажутся настолько непроверяемыми, как с них слетают представляемые им шляпки и прически, а туда, к двери, в сторону молодых, он не решает-

ся смотреть. Ему все кажется, что оттуда с нескрываемой усмешкой смотрят на его костюм, на его очки, на его сухую черную шевелюру. Он чувствует какую-то слабость, почти так же, как это было утром в конюшне, возле играющих избытком сил звериных копыт и хвостов, как это было в риге, и вечером, в закуте, где на него накинулись жующие, погруженные в навоз, холод и ночь деревенские химеры. И когда после слов председателя наступает полная тишина, когда слышит он свою фамилию и чувствует вдруг шорох внимания и любопытства, им владеет уже сознание провала, и всё сливается в мутную пустоту...

4

Когда он садится, ищет носовой платок, закуривает, это ощущение провала еще больше чудится ему в полной тишине комнаты, и в том, что никто не решается смотреть прямо ему в глаза. И Кривицкий начинает всячески ругать себя за ненужную откровенность. Зачем понадобилось ему признаваться, что он первый раз в деревне? И к чему было говорить о городской подвальной судьбе того народа, из которого он вышел. Журналисту кажется, что его никто не понял, и, после всего им сказанного, он чувствует себя еще более одиноким и потерянным. Совершенно естественным ощущает он полное молчание собравшихся и осторожное покашливание после неоднократных предложений председателя высказаться. И это молчание в конце концов становится мучительным.

— Товарищи колхозники, — обращается опять председатель к собранию, весь вспотевший и как будто сконфуженный. — Надо высказаться по нашей колхозной жизни. Ты бы, дядя Петя, сказал.

— Петруха! — слышит Кривицкий знакомый женский голос. — Перескажи о нашей жизни. Ты много всего прошел.

У стены поднимает голову хмурый человек в шапке.

— Что я — инструктор, што ли? — говорит он резко.

— Товарищи! — начинает опять председатель. — Очень неудобно даже

получается... Достижения у нас в газетке отмечены, товарищ из Москвы вам доложил... Иной раз говорят, говорят, а сейчас получается: вроде колхозник забитый какой...

— Чего говорить-то, — спокойно отвечает ему старик с трубкой. — Говорить-то, когда дело хорошо, много не приходится. Ну, что же могу я за молодых сказать.

Он медленно поднимается, аккуратно выколачивает лаково-вишневую трубку, и видит Кривицкий в его прямой осанке, в седой подстриженной бороде, в откинутом блеске высокого лба, под хмурью густых бровей, уверенную в себе, простую, знающую силу. Говорит он не торопясь, ровно, положительно.

— Докладать много, — повторяет он, — нам, крестьянам, нынче не придется. Чего тут обманываться: жить научили, — про это вам не то, что я, все молодые скажут... Мужик-то раньше жил, да думал, больно хитер, — всегда своим умом проживет, коли земля есть. Она, земля, ему народит, она его накормит, согреет, она его обует и оденет, — нам так еще отцы говорили. И верно — нам всю жизнь от ее податься некуда, а она, земля, мужика не щадит... Она его держит, ломает, а ему один почет, что хозяин. У нас что до революции было? Овражки да ямы, как барин отсюда лет пятьдесят выслаал. На одной картошке сидели, а пахать выедем — каждый друг перед другом похвалается... Как генералы выезжают, один другого лучше, по деревне катят. А чего генералы? Он латан да перелатан, одна слава землевладелец, а дома жрать нечего. И в городе, — кто, ну там штукатуры, маляры, кровельщики, — работает он, последнюю копейку копит, все мечтает, чтобы все, как у людей; вот, мол, какой я самостоятельный да справный... Кажный моровит, как у другого, — и коровник, ну, там овин, и рига, — полное обзаведение. Вот они у мужика, мол, несчитанные какие копейки!.. А на поверку вышло, одна была удовольствия — самолюбия да обман. И чего, какие там зажиточные! Последняя голь, самая беднота! Он только-только при коммунистах землю получил, коровенку

нажил, лошадь какую последнюю, хомутишко, а уже загордился — перед женой великий князь, ходит, приказывает, самовар купил, только чай пить ему не приходится. Какой чай — все копейки его на самостоятельность пошли! У нас, товарищи, скрывать нечего — были из бедноты, — дольше всех в колхоз не шли, дольше всех, как дитя какое, перед властью забавлялись. Есть еще такие: в обман играют, в охотку им самим похозяйничать. Мужик, как червь, в земле сидел, землю эту клая, а со страху в нее прятался. Его наружу — а он в глубь, его на свет — а он в яму: генерал, мол, я на своей собственной земле, сам приказываю, сам выполняю, сам себя надуваю, а командую. И получилось у нас в двадцать восьмом году: сами себя, дурни, били, пока уму-разуму не набрались. А теперь — возьми не деревенский генерал, верно, а ударник! — да зато у него двести пудов своих да две тыщи в кармане. Правильно я говорю, Иван Васильевич?

— У кого и побольше есть, — спокойно говорит председатель, и слышит Кривицкий в его голосе явное самодовольство.

— Согласны мы, — продолжает старик, — може, у кого и побольше. Теперь каждая копейка у нас считанная по трудодню, мужик-то будто сам не барин, а положение свое подсчитал. Впервые подсчитался мужичок-то, и чего получилось? А вот что — раньше он собой никак не дорожил. Лошадь он имел? Имел. Стоит она у него, сердце его любит, а что за ней ходить, по ночам вставать, упряжь, сани и телегу ладить — это он не считал. Видно, голый и богатый был, коли деньги да дни у него были нескитанные! — прямо, хоть в банк, как барин наш, закладывайся. А сейчас не-ет. Сосчитался. Ан и вышло, что трудодень ему тридцать пять рублей стоит, каждый час-от полтора целковых, а лошадь ему готовая, прибранная, уваженная. Сани там, или телегу — ему подай. Нонче он деньги получил и раскидывает мозгами... Корова у него стоит, радуется, ну, овцы, поросенок, все, что полагается. А вот коровник подправить, сарай поднять — он теперь

задумывается. «Давай все в общую ферму, — разорение, говорит, лес покупать, я лучше мебель да радиу поставлю». Выходит, как подсчитался мужик, так из него енерал голодраный вылетел. Елксандр Михалыч — партийный, а сдерживает нас да смеется... «Рано, говорит, товарищи колхозники, рано еще...» А мужикам больно из подсчитанной тыщи деньги на сарай да заборы выкладывать не охота. Вот ты и лойди, выходит, наши мужики сами в комиссары лезут. Чего, на красную доску вышли, портреты помещают, товарищ начальник из политотдела каждого по отчеству и имени называет, и получился тут опять самостоятельный почет и уважение каждому мужику... Прямо скажу, этим довольны и нынче за колхозную копейку страдаем, а назад не пойдём. Я вот что товарищу из центру скажу... Город раньше при царизме мужиком был, а деревня бабой. Город новый картуз оденет, папироску в зубы, в киятер пойдет, всякие книжки, науки, развлечения, а баба знай роди да роди, нянчиться ей да кормить сиськой, да вынашивать, да глядеть и гадать из окошка на дорогу... Город придет — подавай ему щи да кашу, ему и полбутылка, и почет, и уважение, а деревня все в бабьем положении. Она народит, вынянчит, ан смотришь — и осталась с бабьей судьбой: старуха, одна-одинешенька, и нет у ней ни детей, ни кола, ни двора, попило всё, порассыпалось. И выходит тут печальная семейная положения. И пошел тут нехороший разлад да озорство. А нынче будет родить деревня, — и земля, и пчела, и корова, и яблоня — расцветет, как пава какая, организуй, приголубь ее, к дохтуру во-время, всякую ей машину приготовь да музыку, а уж она для тебя вся: бери, пей, ешь, не хочю... одним словом, как полагается, по природе. Все я сказал, Иван Васильевич.

— Так, — говорит, поднимаясь, председатель. — Будут еще какие мнения?

Кривицкий с любопытством оглядывает старика, усевшегося на свое место и набивающего трубку из огромного кистета с яркой вышивкой. В комнате тонко и пронзительно начинает плакать

грудной ребенок, никто не обращает на это внимания. Нестерпимо душно и жарко.

— Чего говорить-то! — слышит Кривицкий опять знакомый женский голос. — Грузовик нам очень надобен. Мы, женщины, теперь в театр с'ездить хотим!

— Ты, Фиона, о культуре и выскажись, — благожелательно отвечает ей председатель, но из женского угла уже летит смех, и кто-то шарахается к двери. Председатель хмурится.

— Лентяев пришибить вовсе надо! — выкрикивает вдруг тонким голосом сморщенная старушонка, с острым носиком из-под платка.

И вдруг Кривицкий понимает, что это надолго, и бессонная ночь опять наваливается на него удушающим, расплывчатым теплом.

Ему становится хорошо и уютно, нестерпимо сияет лампа у председателевой головы, начинает укачивать сон. И уже откуда-то, издалека, доносит к нему слова, обрывки фраз, палит жаром тесная, наполненная дыханием людей глубина горницы, покачивается упрямая голова председателя. Иногда журналист пытается очнуться. «Расцвела я в колхозе, как цветок!» — вдруг слышит он чью-то пронзительно-громкую и резкую речь и опять припоминает, что ни один человек не обмолвился о сказанном им, а ведь он говорил как будто много, а что — он и сам бы не мог повторить! Затем опять начинает укачивать его невидимым маятником слов. Ему кажется, что снова визжит снег, его везут, везут, там, за тулупом — поле, снег и мороз, а его пригрела, придышала чья-то огромная материнская теплота. Потом очень быстро собрание заканчивается. Мельком Кривицкий видит старика, говорившего речь, потом журналиста оттирают от председательского стола, и от взрослого снова чувства неловкости переживает он в сторонке толкотню и, так и не дождавшись председателя, торопится выйти в ночь.

В сених он снова наталкивается на крошечную морозную темноту. Журналист жметя к стене, тщетно старается припомнить, где он входил, и вдруг

прямо перед собою, откуда-то извне слышит приглушенно-смеющийся женский голос и сразу наталкивается на податливую, уходящую в мерцающую пустоту, дверь. Кто-то тесно прижавшийся сторонится от него на крыльце. Не оглядываясь, ступает Кривицкий в седую, полную тумана и сумерек снега, уже позднюю ночь.

— Товарищ! — слышит он вдруг окликающий голос, и, когда оборачивается, сразу его обдает женским горячим смехом и шопотом. Сердце его замирает и падает...

— Я — Женя Рузина, — слышит он смеющийся голос и видит кого-то в тулупике, заложившего рукав в рукав, с задорными прядями из-под пухового платка. — Мы вместе с подругой, — говорит этот некто. — Можно, товарищ, к вам завтра прийти? Только никому не скажите, а то я по секрету, посоветоваться, как активистка по нашим женским делам. И моей фамилии никому не называйте, а то муж у меня больно ревнивый. Можно? — переспрашивает она уже тихо и серьезно.

— Пожалуйста, пожалуйста! — поспешно отвечает Кривицкий, вглядываясь в милостивый, округленный платочком облик, с блестящими и в снежной полутемноте глазами.

— Вы у Пелагеи Васильевны стоите? — спрашивают его уже ласковым голосом. — Я знаю. Мы с Фионой вместе придем, а то она одна не смеет. Завтра после работы, — прибавляет она шопотом. — До свиданья! — и протягивает руку.

Журналист ощущает холодную, шершавую ладонь, хочет сказать что-то задушевное, но девушки быстро исчезают в темноте.

Глухая ночь затонула вокруг в снежном тумане. Совсем пуста улица. Вдали, из спящего ледяного царства едва белеет совхозный дом — огромный, с давно потушенными огнями, среди мертвых вершин парка. От ярких морозных звезд, от снежных полей на земле стелется неясный жемчужный свет. Домик, где он живет, словно обмер среди обвисших заиндевших кружев.

Журналист стучится.

— Это я, Пелагея Васильевна! — говорит он ласково, вдруг ощущая удовольствие, что останется один-на-один с этим лукавым и простодушным существом. В домике глубокая домашняя тишина.

— Ужинать будешь? — шепчет она ему, опаживая соевой теплотой, зажатая лампу и опять лукаво блестя глазами.— А то я собрала.

Но журналисту смертельно хочется спать. — А ведь она того... Честное слово! — мелькает у него мысль. Он вынимает простыню и подушку, устраивается на постланную ему солому, тушит лампу. — Да, — опять думает он: — бывают шутки.. — И сразу, накрывшись тяжелой и неуклюжей овчиной, погружается в сладкое и зовущее темнота, и на невидимой, бестелесной грани, неосязаемой, как рождение и смерть, вдруг пронзают его тело чьи-то живые, звериные прыжки, нечто мягкое и осторожное, что сразу выдергивает его ужасом из теплоты сна. Журналист вскакивает, хватая рукой какой-то бешено-живой и пушистый комок, ударяющий его, как развернувшаяся пружина, невольно вскрикивает.

Крик получается очень глупый и неловкий. Он сидит с колотящимся сердцем, ощущая один позорный и глупый страх. В тишине, ровно отсчитываемой часами, слышно дыхание спящих, чуть-чуть в окошке брезжит снежная ночь. Затем Кривицкий слышит осторожную возню в соломе, нерешительно тянется к столу за спичками и оглушительно чиркает по коробку.

— Фу ты, чорт! — бормочет он, видя кролика, прыжками заковылявшего вдоль стены. И вдруг отчетливо слышит, как где-то совсем рядом ровно дышит спокойная женская грудь.

5

Деревенское утро опаживает его холодным душистым дыханием, когда отворяют дверь на мороз, неясными шопотами, отдаленным звоном колхозного колокола; потом сыро и свежо начинает нести с пола, смутно чувствует он, как жарко,

потрескивая и разгораясь соломой, топится печь, — но ему спится крепко, и просыпает он до самого белого дня. Когда он вскакивает и видит на часах десять, в деревенском домике давно стоит чистая и свежая тишина. В окнах, с кистями рябин меж замазанных рам, светит солнце, то самое солнце глухой и глубокой зимы, от которого, как от шествия духового оркестра где-то за окнами, хочется схватить шапку и бежать, сломя голову, на двор. И не хочется вспоминать предыдущий день и о чем-либо думать, — так ярко освещены снега за избами, небо с восходящими дымами, стеклянные подвески берез. Но неясный осадок вчерашнего вдруг подкрадывается к журналисту тошнотным и мутным холодком. Как все люди, еще не знающие отношения окружающих, но думающие о себе лучше, чем они есть, Кривицкий постепенно настраивается на тревожные и неуверенные мысли о себе. А когда приходит хозяйка с двумя ведрами на коромысле, от которых так и поднимается студеной пар, ему кажется, что она глядит на него уже явно насмешливо.

Пока он умывается и убирает постель, разговор у них не клеится. Она обращается к журналисту на «вы» и больше разговаривает с младшим сыном, спотыкающимся у ней в юбках. Потом она ловко ставит тяжелый самовар, и Кривицкий узнает, что давным-давно, чем свет еще, убралась в доме, проводили ребят в школу, что приходил председатель, наказывал его кормить лучше и приказал не будить. От всего этого у Кривицкого конфузною кровью наливается лицо; проспав, как мальчишка. позор, позор! Опять словно обошла его жизнь, которую он приехал изучать, — ранняя, трезвая, куда страшновато сразу влезать, как в сводящую зубы, черную от снега вокруг, пыльню. Но женщина и не думает его укорять. Она говорит уже оживленно, бойко кусает сахар и пьет с блюдечка, уставясь неподвижными глазами в одну точку. Тонкая, совсем девичья шея ее, обрисованная голубыми стеклянными бусами, удивительно гармонирует с нелепой, словно вымученной, выпуклостью живота. Она

говорит быстро, певуче, — журналист с удовольствием смотрит, как чисто и лужаво, светом многих нетронутых сил, играют ее глаза...

— Все смотришь! — вдруг произносит она, усмехаясь, опрокидывая чашку вверх дном на блюдечко, и скромно опускает глаза. И звонко рассыпается высоким голосом: — Все над нами смеетесь, над деревенскими... Право!

Она смотрит внимательно на журналиста и, помедля, говорит тихо:

— Мы, конечно, как городские, не умеем — что касается разговору и обращения. Откуда нам? Вон мне как вчера на собрании хотелось послушать, а разви я их вот оставляю? Они так за мамкин хвост и держатся. У нас жизнь не такая, как у тебя! — выговаривает она быстро и громко и улыбается, показывая влажные белые зубки. — И-и-и! — смешно передразнивает она кого-то, совсем девчонкой, и добавляет: — И тоже хоть деревня, а теперь совсем не та. У нас до германской войны проехал человек на велосипеде... Крику-то было! Чорт на колесе едет. Ей-пра! А сейчас — что! Теперь каждое дитя в тракторе разбегается. Ты вот его спроси, он тебе и «форзон», он тебе и «катерпиллер» расскажет...

Она смотрит испытующе на журналиста, словно в сердцах, покачивает головкой и смеется:

— Не веришь? — говорит она: — Ей богу, с места не встать, какие нынче пошли! Ты не думай, что я так одета. У нас не смотри, на девушках теперь — шелковые чулки... Да что чулки, шляпки стали носить. Другая выйдет, словно на тротуаре, — не крестьянская дочь, а ровно городская барыня... — И она начинает хохотать, добавляя шутливо: — Вот ночью бабы какие, набалованные!

— Пелагея Васильевна, — говорит серьезно Кривицкой, глядя в нее, вставшую, и ощущая, как исходит от всего ее существа какая-то нежная, вкрадчивая грация, и после невольной паузы продолжает: — У вас вот трое детей, а вы совсем как девушка... Вам сколько лет? — спрашивает он и кончается.

Она охает.

— Как девушка!? Ой! Да ты что! Старуха я, сколько детей носила! — и, обхватив голову мальчугана, обнявшего ее колени, вдруг говорит живым шопотом соучастницы: — Больно хорошо, слышь, высказывался на собрании — бабы утром прибежали, рассказывали... Очень всем понравилось. Уж так мне хотелось сходить, а куда я их дену? Ой! Так уж нам, женщинам, тяжело, маемся, маемся, господи! Вы когда обедать будете?

Кривицкому очень нравится это «вы», неизменно появляющееся на ее устах вместе с деловыми, хозяйски-обиходными мыслями. Он спрашивает хозяйку, что она слышала о собрании, и никак не может поверить... Как, его неудачная, путанная речь произвела сильное впечатление! Вот оно что! И, стало-быть, эти вчерашние девушки... Так, так! Втайне это ему очень приятно и льстит. Он рассказывает о своем уличном ночном разговоре. Пелагея Васильевна слушает с широко раскрытыми глазами и вдруг всплескивает руками, когда произносится имя Жени Кузиной.

— Женька! — вскрикивает она с разгоревшимися глазами, подперев подбородок ладонью, совсем по-бабьи, и утвердительно кивая своей головкой в такт речи Кривицкого. — Так, так... Ну, она тебе расскажет... Дык она с подружкой собралась? Дык с кем же это такое? Так и не говорила?

— Там были две. Две девушки... — нерешительно поясняет журналист.

— Бабы они! — нетерпеливо перебивает течение своих мыслей хозяйка, что-то напряженно обдумывая. И, вдруг просяв, говорит решительно: — С Фионой придет, вот не сойти мне с места, с теткой Фионой. У ней быка продавать Иван Васильич хочет, больно она расстраивается. Ну что же, — грустно добавляет она и вздыхает, будто сожалела, что не ей назначать такие разговоры. — Ну что ж... Женщины они хорошие, поговорите. Только вот что я тебе скажу...

Она делает таинственную паузу, оглядывается на дверь и, наклонившись в сторону журналиста, говорит шопотом с блестящими от волнения глазами:

— У Женьки вовсе не хорошо... Вся деревня знает. Его-то ты в сельсовете видел? Председателем он служит. Ну, вот... — она машет рукой и говорит совсем тихо: — Восемь месяцев вместе не спят. Ей-богу! А красивые такие, молоденькие...

Она совсем страдальчески покачивает головой.

— Женька! Я так и думала! — неожиданно освещаясь озорной улыбкой, произносит она. — Ну что ж, поговорите, чего особенного... Мужу, чай, не велела говорить?

— Она сказала, чтобы никому...

— Ну, вот! Тут делов, — говорит она и опять задумчиво покачивает головой...

Весь день — в колхозных мастерских, у председателя, в соседнем совхозе — Кривицкий улыбается и покачивает головой, вспоминая этот разговор. Ему чудятся какие-то намеки, поневоле он чувствует себя тайным заговорщиком. Москва уже перестает тянуть его воспоминаниями. Столь чуждый, поразивший его с первого же часа встречи, мир вдруг открывается совсем неожиданной стороной — и так необычайно! Весь день ему мерещится грациозная головка Пелагеи Григорьевны, ее шопот, бабья, ласковая, — понятая, понятая! — и всё-таки втайне приятная ему речь. И, уже что-то предвосхищая, тайными намеками, почти ее жертвенными глазами обращен к нему весь трепетный вечерующий мир. Какая-то прямота жизни, неукротимая сила насыщения глядит на него отовсюду — из воздуха, нагого до предела, сгорающего ясным солнцем, над землей, заиндевелшей мохнатым бархатом, как бока и холки коров, из горячей тоски всех глаз, обращенных к нему, из тучного сна родившей и ожидающей вновь оплодотворения земли. До изнеможения сладким, пьянящим влаивается в него воздух, какого он еще никогда не знал. Человеческие голоса, песни, мыки скота кажутся ему музыкальными, теплыми, вздрагивающими, как нежная и чуткая кровь, — в этом сне оцепенения, в этом лесу хрусталай, инея и туманного серебра, развешанных в полной неподвижности дня. Два пруда

матовым блеском, как закатившимся взглядом, светятся из застекленных ледяными тальниками, укутанных постеленными сугробами, берегов. А там взмывают теплой стаей зобастые голуби, и лошадь, выведенная колхозным конюхом, опускает к студеной воде, недвижно стоящей в колоде, горячие, нервные ноздри и тянет, присасывая, этот сладкий, железный мороз...

Глубокая, красная зима!

Домой журналист возвращается засветло, отоседав у председателя, словно поплотневший от прилива новых, с морозца созревших, сил. Улица с редкими людьми, ледяные деревья и вдали трехэтажная громада помещичьего дворца озарены солнечной радужной тишиной. Пусто и глубоко в полях со стеной осинника, наполовину высунувшегося из-за подосиенного теньями, чуть проглядывающего жнивьями косогора снегов. Там, вдали, настаивается вечерняя дымка — пустынные, веющие сгнувшей далью, сумерки... Пахнет в воздухе печеным хлебом, дымком. Будто на море, свежо и радостно пощипывает легкие морозный туман.

Дома, чуть приоткрыв дверь, журналист наталкивается на оживленный говор и шум. Когда он входит, в горнице начинают так хохотать, что он окончательно теряется... С первого взгляда ему кажется, что весь дом полон женщинами, — так, захлебываясь, будто от щекотки, валится кто-то со смеху, — он ничего не может понять в этой оглушительной женской возне, в этом визге и хохоте. Потом он сразу различает расшалившуюся свою вчерашнюю ночную знакомую. Без платочка она уже не так молода и миловидна, у нее каштановые густые волосы, сбившиеся к одному плечу едва заплетенной, небрежной косой.

— Мы вас ждали, ждали, — говорит она и снова давится от хохота: — Ладно вам, дайте с человеком хоть слово сказать!.. Вы нас извините, у нас бабы дружные, как соберутся, так обхохочутся. А мы думали, что вы не придете, сидели, сидели...

— Нас мужики, как соберемся вместе, боятся. Так мы думали, что и ты испужался! — бойко выворачивает

навстречу Кривицкому хозяйка, раскрасневшаяся, помолодевшая, повязанная новеньким белым платком.

Она поднимается с лавки, шелкая семечками, из-под ног ее разбегаются кролики. Ребята — все трое — сидят, сбившись, на полу за книжками. Журналист видит на лавке еще женщину, как будто знакомую, старается вспомнить. Ах, это та самая, что показывала быка в конюшне!.. Да, да, тетка Фиона. Он неловко здороваётся. Женщины церемонно подают ему неподвижные, шершавые руки, вытянутые лодочками, стихают.

Хозяйка из вежливости уходит к печке, в переднюю горницу, — наступает неловкое молчание:

Пауза.

— Вы уж нас извините, — опять начиняет Женя Рузина, сложив ладони на коленках, вся розовая, с горячими, темными глазами.

Она кажется журналисту очень громоздкой, теперь он уже явственно видит тень длинной женской жизни, явной на всем ее существе. Его поражают ее глаза — с горячим, как у молодой лошади, блеском, уже впавшая и вялая грудь, чуть согрбленные плечи. Но говорит она мягко, певуче, с девичьими чистыми и очень страстными подемами в голосе.

— У нас деревня хорошая, слов нет, — продолжает она, заметно волнуясь, заложив руки в карманы городского пальто и еще более розовея. — А к нам, женщинам, относятся все по-старому... Вы уж, пожалуйста, никому не говорите, что я пришла. А то подумают, что я наговорила на мужа по злобе, опозорила. А я разве по злобе! Вот они всю мою жизнь знают... Пожалуйста, уж никому не рассказывайте!

— Женякину жизнь каждая баба знает! — отзывается хозяйка, показываясь из-за перегородки, подперев щеку кулаком и жалостливо склонив голову. — Первая пара у нас, а характером оба гордые.

— Как не знаем! Что она, что каждая женщина! — опытно вставляет та, что называют Фионой, и, шмыгнув носом, вздыхает.

— Хорошо, хорошо, я никому не скажу, — бормочет журналист уже с комическим чувством, думая: «Попал, чорт возьми! Держитесь, Марк Соломонович!» Он с любопытством вглядывается в бригадиршу-скотницу, что-то царапает по сердцу. Вот уж, действительно, изжеванная какая-то, заплакавшаяся, протянувшаяся из потемок старых, старых дней, человеческая судьба! И что за дни оставлены там позади, — так изрезано морщинами пухло-сизое ее лицо под старым платком, лукавица лукавицей! — так искажены руки, с одеревяневшими бугристыми пальцами в больших мертвенно-синих ногтях с черными трещинами, что странен на ней, ровно апельсин, яркий, пышноборный, новый овчинный кафтан!

Что-то совсем неведомое видит перед собой журналист.

— Конечно, — слышит он Женю Рузину, и вдруг видит, как глаза ее наполняются слезами и она, совсем как девочка, складывает ладошки: — Конечно, я могу с ним развестись, — голос ее спотыкается. — Ну что же — и разведемся... — и совсем хрупко сламывается ее голос. — Я, товарищ, вам откровенно скажу: мы восемь месяцев вместе не спим. Ей-богу!

Она закрывает глаза, встряхивает волосами и мучительно всхлипывает.

— Молоденькая, мучается! — поясняет Кривицкому Фиона, шмыгая опять носом.

— Он у ней с характеру гуляет, разрывается, — возбужденно отзывается вновь хозяйка. — Они, верно, восемь месяцев вместе не спят — вся деревня знает. Она на постели, а он на печке, — да разве это жизнь!

— Какая жизнь! — восклицает Рузина с такой страстностью, что журналист с опасением отводит взгляд от ее живоотно горячих глаз. — Я ведь любила его одного, любила, а он со мной за всю жизнь вместе по деревне не прошел! Господи... И детей не любит, ей-богу, Фиона, не любит! Да чего говорить — ничего не купит им никогда, что на них есть, это я сама, сама, на свои трудодни. Вчера на собрании вы вот хорошо рассказывали о жизни... Мы все слуша-

ли, — у нас женщины о жизни всегда слушают. А сегодня все ждут, что вы по измам пойдете: смотреть, как живут колхозники... Мы ведь ничего живем, право, хорошо совсем!

— Правильно, Женька, правильно! — выговаривает Фиона, забирая в ладонь всю свою луковицу и погрешному шмыгая носом.

Хозяйка смотрит на Кривицкого покровительственно и лукаво; он видит, что она переживает рассказ с участием подружки. «Вот милая чудачка!» — думается ему.

— Нет, не любит он моих детей! Так мне уж горько это, а виду никогда не покажу. Свекровь сегодня девочку мою спрашивает: «Ты что, московскому, стало быть, скажешь, как проверять придет?» — а она ей: «Я им скажу, что мой папка меня не любит, ничего мне не покупает». Право, вот смеялась я. А свекровь как рассердится: «Смотри, — говорит, — не скажи вправду, не позорь моего сына!» Вот как мы живем. Я, конечно, трудней больше его работала, сама, если захочу, проживу и детей прокормлю. Но ведь жалко! Как дети без отцовского воспитания...

Фиона:

— Вот, товарищ... Вот и оно!

Хозяйка Пелагея Васильевна:

— Без отца дети, ровно как несамостоятельные какие... А отцы нонче всю жизнь проити хотят, куда им с детьми! Правда, у нас народ хороший — взять моего: хоть и большой, а ласковый, обходительный. Ей-пра, не похваюсь, а хороший!

Женя Рузина:

— Я, товарищ, у вас вот что хотела спросить: почему мужчинам все можно, а нам, женщинам, мужья шагу ступить не дают. У женщины и в помысле ничего нет, а он с кулаками, чуть что, лезет. Да как же это так? Неужто и у образованных людей, в городах, все равно мужчины себя так ведут? Вот Ваня мой — он красивый, а я что же, уroda какая? За ним девушки всегда бегали, он с ними крутил, крутил, и теперь крутит, — зачем же он женился на мне? Ну, разведемся по-хорошему, — теперь я сама проживу, ну, обойдусь... Чего же он, то-

варищ, меня пугает, говорит, я ему жизнь загубила, а сам мне, как активистке, ступить не дает?! Я уж плакала, плакала. Да разве я такая раньше была!

Фиона:

— Семейное их дело, товарищ, — она все сомневается...

Хозяйка Пелагея Васильевна:

— Ты посмотри на нее... Да разве эдакая Женька была! Что с нами, женщинами, прodelывают... Была раньше Женька — ух! — самостоятельная, круглая, вся пухлая да полная, — разве у ней такие груди были! Я, бывало, не утерплю — щикотать ее начну... Да, бывало, Женька пройдет — мужчину кипятком обдаст.

Фиона:

— Надо, товарищ, это понимать...

Кривицкому уже нехватает его жизненного опыта, чтобы разобраться в этом потоке живых трепетаний жизни.

— Скажите... а вы сами никогда ему не изменяли? — спрашивает он, набравшись решимости, сосредоточенным тоном врача.

— Я?! — вспыхивает та. — Никогда! Если женщину мужчина любит и уважает, разве она изменит!

— Мне — хоть бы их не было! — будто разговор коснулся чего-то настоящего, говорит Фиона, хладнокровно собирая в руку расквашенный нос свой и сморщенные, пухло-сизые губы. Лицо ее выражает столь горький жизненный опыт, что Кривицкому становится не по себе, словно он в чем-то виноват.

— Так, — продолжает он и видит, как женщины напряженно вытягивают головы, ожидая его слов. — Хорошо. А может ли, скажите, по-вашему, мужчина жить весь век только с одной?

Рузина вспыхивает, отвечает страстно:

— Может, кто и может, а я по своему мужу скажу — не может. Ну и пусть, ну и пусть! Только, чтобы не ставил меня в глупое положение. Пусть так, чтобы никто не знал. А если он мое имя позорит, то я ведь тоже могу себе найти.

— Вот, вот! — вставляет Фиона: — И найдешь! Их, котов, много.

«Это да! — думает журналист. — Чище «Анны Карениной».

Женя разжимает руки — порывисто, так, как это делают в отчаянии, — глаза ее еще более блестят от наплывающих слез.

— Так вы разведитесь! — быстро и решенно говорит журналист.

Она всхлипывает.

— Могу развестись! — восклицает она с резкостью, заставляющей Кривицкого вздрогнуть. — Могу, могу, могу! Подумаешь, какой мучитель нашелся, что я, другого себе, что ли, не найду? Уйду от него, уйду! — и вдруг обрывается. — Товарищ, — произносит она с трудом и медленно, — а семья? А как же мы с Ваней столько лет прожили... — она опять всхлипывает, и вдруг, как подломленная, никнет ее голова, и, закрыв лицо ладонями, она плачет, вздрагивая осыпавшимися каштановыми прядями волос.

Секундная недоуменная и тяжелая для Кривицкого пауза.

— Страсть-то! — произносит Фиона, вздыхая.

— Характерные оба, ей-пра, характерные! — вскрикивает хозяйка. — Да я бы и минуту на красавца твоего не смотрела! Плюнула б и ушла. Они, — обращается она к журналисту, — они все равно не сживутся. Он, Ваня, у ней, нечего говорить, хороший, умный, а сроду этим заражен... И-и-и, — жалостливо смотрит она на Рузину, подперев подбородок кулачком: — Слышь, Женька, что он, опять в совхоз бегал?

— Бегал, — сквозь слезы отрывисто бросает Рузина.

Фиона так же подпирает щеку, лицо ее еще более походит на сморщенную, старую луковицу. Обе женщины одинаково покачивают головами, вздыхают и смотрят столь незнакомым Кривицкому и столь старинным, туманным взглядом, словно смотрят через десятки бабьих веков. И вдруг все трое заговаривают разом и обращаются к журналисту. Он с трудом понимает, чего от него хотят. Иногда ему кажется, что они совсем забыли о его присутствии, так горячо говорят они друг с другом. Но постепенно голос Фионы покрывает голоса других.

Постепенно две другие обращаются в слушателей, — настолько убедительней и беспощадней ее правда, ее мучения, и вот видит журналист, как Женя Рузина в свою очередь подпирает по-бабьи щеку и начинает сочувственно покачивать головой.

— Верно, Фиона, верно! — поддакивают уже обе женщины.

И Кривицкий, еще более удивленный, смотрит на нее, широко открыв глаза, словно приоткрыл перед ним какой-то неведомый и беспощадный мир.

— Муж у меня был настоящий кот, — слышит он женщину, и глаза ее, замутненные постоянной, прижившейся там маятой и скорбью, глядят на него испытанным спокойствием. — Чистый кот старого режима! — повторяет она. — Право, окаянный котик, чистый хитрованский котик, — тридцать лет меня истязал и бил... Бывало, работаю с утра до поздней зореньки, — то ли жну, то ли кошу, — а приду домой: мой кот тут как тут — цап-царап меня, проклятый, да за волосы, да сапогами... «Ах, вы сени, мои сени! Давай на вино!» — кричит, да матушкой, да как зачнет окошки лупить, коли ему не подашь. Ох, господи! Сундук разобьет, все мои несчастные тряпушки повыбросит, всю излущит, искровянит и уйдет из дому. Тридцать лет я жила в пропасти, бабоньки. Ох, уж и бил, проклятый, ох, уж и поиздевался надо мной... Только вот в колхозе сейчас немного и расцвело. Его, проклятого кота, кажись, где-то в драке убили. Только я и вздохнула. У нас, товарищ, бабы умные, работающие, мы эту водку не любим, табаку нам не надо, да разве нас с мужиками сравнишь!? Взять вот ее, Женьку: она у нас бригадиром работала. Одни женщины у нас были. Так уж вот как работали, а знали, что если она с нами, — Женька-то! — так уж ни одна соточка от нашего труддня не пропадет. Разве мужик когда так подсчитает! А Женька у нас бригадиршей — мы спокойны: потому — справная, грамотная, сама из сил выбьется, а всегда веселая, шу и развлекательная... Мы бабы такие, нам нужно, чтобы кровь бежала, чтобы в глазах чиркало. Баба, если у ней крови

не веселые, — не баба. Потому мы и песни всегда поем! А уж работать, — все в жилку вытянемся, а что зададут, сделаем. А почему женщина так работает? Она, товарищ, со старины привыкла душой скорбеть. Она всю жизнь чувствует, она прилежнее: как звонок ударил, она спешит, все на свете забудет...

Обе другие женщины вместе:

— Верно, Фиона, верно!

— Я, товарищ, человек измученный. Уж так я рада, что товарищ Сталин наших котов пристрашал. Теперь в колхозе меня не тронут, не тронет меня никто... У меня трудовень овой, овой права! А мне этих котов проклятых не нужно. Господи! И до чего рада была, когда моего убили... Как я от радости плакала, и так уж избушку свою прибрала... И все-то не верила, что моя радость пришла! Вот, товарищ, что я хочу вам сказать: нас, женщин, в Октябрьскую годовщину очень обидели. Мы все в стенгазету попали. Ей-пра! Они, коты-мужики, на нас написали. Вы рассудите, товарищ! Годовщина. Мы, женщины, хоть неученые, а прямо скажу, этому празднику очень сочувствуем... И решили мы, женщины, сами, без мужиков, праздник отпраздновать. Конечно, припасли четверть вина... Вы не подумайте чего, — я это вино все на себе перенесла, я его очень даже хорошо помню, но нужно из сочувствия, как полагается, со всеми бабами. А то мужики думают — им одним вино пить! Мы их, котов, к себе и не пустили. Выпили по рюмочке, попели, так нам стало хорошо и весело, вышли на улицу и по деревне идем. А коты-то смотрят! Смотрят во все глаза! А мы с песнями да с плясом, — вроде, как демонстрация, што ли. Вот они, мужики, на нас в стенгазету, в стенгазету... написали... Пьянство, мол, несознательность, безобразия. Это за то, что мы песни играли! Очень обидно было. Хорошо политотдела начальник поехал, ихнюю заметку отменил. А ее, Женюку, за это с бригадиш убрали, ей-пра! Мужики — все коты проклятые! Одна на них управа — трудовень. Мы-то нонче сами самостоятельные... Вы скажите, — добавляет Фиона шопотом, — чтоб Женюку опять бригадишей поставили.

Ванька это все колхозному председателю нашептывает, — с Александр Михальчем, секретарем, у него из-за Женюки недоразумение получилось... Вроде, как... ну, стал думать про их, ну, симпатия что у них... А чего — Женюка с Александр Михальчем политграмоту по вечерам учит. Ну, а он, кот, известно, по-своему соображает...

— Верно, Фиона, верно! — с жаром подкакивает хозяйка.

— А я к вам, товарищ, с заявлением, — быстро и вдруг смущенно продолжает Фиона: — Уж, право, не знаю, как и начать...

Журналист видит жаркое, почти детское смущение на ее багровом лице.

— Я думала, думала, сказать али нет... Не решалась все, а сердце болит, вот уж болит... Вчера, Пелагеюшка, и не спала ровню.

— Да ты говори, чай, не съедят тебя, — покровительственно, тоном человека близкого к такой важной особе, как журналист Кривицкий, лукаво выпевает хозяйка.

— Уж я не знаю, пра...

— Насчет быка она, — говорит хозяйка. — Быка у ней продавать хотят, она за ним ходит, ну, она и тоскуеть...

— Она скотину очень любит, — поясняет Рузина, присмирившая было после слез. — Она его холила, берегла... Конечно, жалко, как дитенка нянчила.

Фиона комкает концы платка, и журналист с удивлением видит, как грубый румянец явственно заливает ее сморщенное, дряблое лицо.

— Я, товарищ, человек заброшенный... — говорит она медленно. — У меня при Николае не то, что скотины, — дитя родного, как муж искалечил, не было. Прожила весь век, ровно во сне: всю меня страшный котиче истыркал, искромсал, изувечил... Мне, товарищ, как колхозную скотину дали, я ночи не спала — ее охаживала. И теперь спать не буду, а все сделаю — напою, накормлю, — к нам из Рязани, от начальника политотдела приезжали, хвалили. Дык вот, бык у нас, Михал Михальчем зовем... Уж так я приобылала к нему, прилюбилась, уж я так прошу вас, чтобы сказали председателю: не продавал.

бы... У меня, Пелагея, все сердце изло — мужа убили, сердце не дрогнуло, а теперь вот животная, а места не найду, ей-право...

— Сумлеваешься! — в сердцах, понимающе-сочувственно восклицает хозяйка. — Баба всегда всю жизнь к сердцу принимает!

Журналист чувствует, как что-то высокое и светлое проходит мимо и касается сердца. И вдруг свободно, просто, сами собой появляются у него ответные слова...

6

К вечеру Кривицкому кажется, что он давным-давно поселился в этой снежной деревне. Совсем свободно уже бродит он по гумнам и улицам. И ловит он себя на мыслях, что не такая уж пропасть нынче между ним и этими полевыми людьми, закутанными в пахучие бараньи овчины. Пожалуй, через одну пятилетку... А дети! Будь у него сын, с малым Пелагеей Васильевны сразу нашел бы он мальчишечий общий язык... Читают Некрасова, Пушкина, Гоголя. Этот малый спросил его о «Капитанской дочке» и вогнал в краску: что же, действительно, он, настоящий журналист, и классикоз знает больше по словарям... Гринев, какой это Гринев? Надо будет перечитать, перечитать все это!

Он усмехается, вспоминая свои разговоры с Пелагеей Васильевной, «Любопытная, как зверек, живая дамочка!» — думается ему, и он неожиданно заворачивает от совхозного парка к полю, чувствуя, что тут, в женском, прямом и непреклонном мире, он немного может понять. Мороз заметно крепчает. Журналист глубоко напяливает шапку и, прислушиваясь к резкому скрипению снега, быстро идет к перелеску, с удивленной серьезностью подростка, остановившегося по пояс в снегу. Наезжанная дорога бойко катит куда-то в мутнеющую синеву полей. Обдутые, твердые сугробы косыми белыми дюнами вливаются в лес.

Там в покое зимы застывшими испарениями развесилась обледеневшая, закутанная в белые пушистые меха, тишина. Гололедницу уже опустил иней. Все к большому морозу — солоноватый сту-

деный туман, выцветающее небо, острым серпом народившаяся неживая луна.

Какая живая тишина!..

Журналист останавливается и вымает. Никаких звуков. Осинник насто-рожен, кажется, ловит малейший шорох, — это удивительное, трогающее сердце молчание, эта праведная тишина лесов! И кругом — необозримая равнина... Снег, соломенные гнезда деревень, белое поле, с редкой, точно в бой уходящей, цепью телеграфных столбов...

Его пьянит от воздуха, величия, оцепенения тишины, щеки его загораются от лукавых морозных щипков. Но он чужой скрипящему снегу, деревьям, совсем не таким, как в городе, небу, властвующему здесь всеми планетными силами... Ему бы схватиться с тишиной, дышать бы ему вольно, горячо, смеяться бы дерзко, всеми зубами, кровь его просится к действию, к работе, но как он слаб и застенчив пред этим простором, пред этим дыханием расплавленной снегами и звездами зимы! И опять Пелагея Васильевна, смутная, как ему кажется, дразнящая своим лукавством, любопытством, принадлежностью к дерзостным и жестоким веяньям жизни, настагает, как в детстве, постыдный и вместе обаятельно-любопытный сон.

Жизнь! Как сильна эта жизнь!

Он стучится домой затемно. Деревня уже теплит свои огни в тумане. Кажется, слышно, как с мягким шорохом садится иней на ветви берез. Хорошо, уютно притреться у камелька в дремучих снегах и дебрях русской зимы!

Кривицкий входит в домик с приятным и родным чувством. С удовольствием здоровается он с хозяйкой, с ребятами, даже трусы — так называют здесь кроликов — не доставляют ему теперь тревоги. В горнице чисто и хорошо пахнет, жарко натоплено, часы отсчитывают свои дорожные мгновенья. И вот далеко за вечер сидит журналист у стола, читает вслух детские книжки, разговаривает с хозяйкой, слушает маятник. Потом укладывают ребят, и он остается наедине с мирной, наполненной одной этой женщиной и лукавой тишиной.

... Совсем поздно, стрелка часов оставляет десять. В домике тихо, и еще ти-

ше кажется от дыхания спящих, от черной бездны, там, за окошками. Там — знает Кривицкий — давно спит укутанная в снег, в солому и звезды пустая деревня, ни одной живой души нет на полях и дорогах. От всего этого, от того, что он с глазу-на-глаз, один с ней, от того, что все спит вокруг, не пишется журналисту в его дорожную записную книжку. Щеки его пылают от жаркого воздуха, и все кажется ему...

Она сидит у стены, немного раздвинув ноги, и вяжет, огромный ее живот бережно развален на коленях. Иногда он чувствует ее взгляд, лукавый, быстрый, — когда он поднимает глаза, она насмешливо глядит через его плечо. Бойкая головка ее, небольшие запекшиеся губы, новый чистый платочек, эти взгляды — все наводит журналиста на диковатые, но, как ему кажется, непреложные догадки.

Он гонит уже прочь последние угрызения мужской совести, и в голову к нему лезет другое, заурядное: у нее больной муж, а она так молода, и так все понятно! А оттого, что у ней... Кривицкий видит ее чудовищный живот, — чорт его знает, кто их поймет, этих женщин! Кроме того, он видит, видит: она сама затевает игру. «Марк Соломонович! — шепчет в Кривицком вечный насмешник. — Держитесь. Она дает вам авансы, честное слово! Это более чем оригинально...»

— Все думаешь! — неожиданно говорит хозяйка и вокидывает на него лукавые, простые глаза: — А мы живем так — прожили и хорошо.

— Нет, отчего же... — бурчит совсем нелепо журналист, уже опасаясь взглянуть на ее розовое лицо и горячие, совсем, как у Жени Рузиной, глаза.

Она вздыхает, откидывает к стене голову.

— Никак десять!? — быстро, приторно-испуганно восклицает она, взглянув на часы. — С тобой заговоришься, право! Я тебе сейчас соломы постелю... Чай, надоело со старой толковать? Ты бы с молодыми поговорил... У нас девки хорошие, ласковые, авось, не обидели бы... Бедовые девки стали! — неожиданно-быстро и шутливо перебивает она се-

бя. — И-и-и! Я-то за своего выходила, ничего не понимала, а теперь пойдешь!

— А чего? — вдруг с тайным страхом, предчувствуя и желанное, и постыдное, произносит журналист.

— А ничего! — озорным голосом бойко отвечает она. — Дай-ка я стол отодвину. Нынче пятнадцать лет ей, а она вдруг, пожалуйста, родителям обьявляется... Им-то, правда, обижаться неча, вон девки у нас как стали защищать: у кого полтора, а у кого двести трудодней! Ну, и гуляют. Ты мне вот что скажи: бог есть али нет? — говорит она, упираясь кулаками в бока, прямо перед Кривицким, смотря ему в глаза суженным горячим взглядом.

У того мгновенно перехватывает дыхание от подтверждения догадки. «Вот, вот это и есть!» — с необычайной ясностью ощущает он этот жаркий угол, схороненный в темной пучине полей, стук маятника, тишину, в которой заключены оба они, наедине с той позорно-страшной возможностью, которая — он видит, видит — живет в ее пристальных глазах.

— Есть, есть! — говорит он, утверждая совсем не то, что подразумевала она, и, поднявшись, собираясь бежать, вдруг неуклюже сталкивается с ее телом, и мир, пылающий керосиновой лампой, уносится от него в тартарары...

Женщина, однако, смотрит странно-спокойно. Она вовсе не обнимает его, не огстраивается, лишь инстинктивно защищает свой живот, складывая руки на его крутизне. И говорит, повергая журналиста в мучительное и трезвое ощущение:

— Дык, говоришь, он есть! Дык, выходит, бедным женщинам здесь мучайся, мучайся, а помер, и опять тебе там покою нет! Неужто правда, что батюшка-покойник говорил?

Кривицкий слышит ее ровное, незамутненное дыхание, ему неловко стоять, ему стыдно невольного прикосновения к ее телу и своего прерывистого и хриплого вдруг голоса.

— Бога нет! — говорит он, не в силах уйти от мучительного любопытства и страха и еще веря, что у нее в мыслях

все то, в чем он уже окончательно по-мужски себя убедил: — Бога нет! — говорит он еще раз, цепenea от неловкости и решая — сейчас вот! — оборвать резко и грубо эту женщину...

— Ой! — вскрикивает она в это время особенным, блаженным голосом. И вдруг схватывает правую руку журналиста и властно тащит ее вниз по упругой и бархатной покатоcти живота.

Журналист столбенеет от мучительного безволия. На мгновение чувство какого-то позора и ужаса пронизывает его, и вдруг, под своей ладонью, он чувствует озорные удары, словно там внутри кто-то брыкается, шалит — радостный, живой, как сама кровь... И слышит, как смеется женщина, торжествующая, живущая наедине с началом всей жизни, совсем забывшая о его существовании.

— Ой! — повторяет она, с любопытством, как ребенок, следящий за дерганьем поплавка, словно и не в ней происходят эти толчки. — Ой... ребеночек мой... шевелится...

И продолжает смеяться, пристально смотря в пустоту перед собой.

Так вот она что! Огромный стыд за себя и одновременно спасительная радость обваливаются у него внутри.

Потом происходит нечто огромное. Сначала журналист ничего не понимает, — женщина с неожиданно перекошенным лицом медленно оседает на колени и вдруг, садясь на свои ступни, начинает глухо стонать: «У-у-у-у... батюшки... царица небесная...» И опять: «У-у-у-у...» Не понимает он и дальнейшего, когда она, еще более перекошенная, совсем белая, кидается в сенцы. Проходят минута, другая, третья. В голову ему не идут истинные причины всего этого, слышит он из-за стены неясные ее стоны и начинает понимать все только тогда, когда, распахнув дверь, видит ее прямо на полу — уже повергнутой, уже раздираемой муками рождения.

Еще более огромный стыд на мгновение бросается ему в лицо.

С трудом он помогает женщине перебраться в черную половину избы. Кролики разбегаются из соломы, пригото-

вленной для его постели, когда женщина опытно, в стремительном изнеможении, опускается в ее колку, пахучую полумглу и падает на спину. Все остальное приходит очень быстро. И, похолодевши окончательно сердцем, понимает журналист, что поздно бежать ему за какой-то бабкой Анисьей, и что главное уже началось, и что он должен быть здесь и что-то делать во имя сокровенной и непреклонной во веки-веков работы.

Через день, через два, много дней спустя, он при всем желании не может припомнить, как все это происходило. Человеческая память служит только утверждению будущего: она не оставляет ни могил, ни страданий. И вот, как впопыхах, чуть не уронив, вешал трясушимися руками лампу на потолочный крюк, как расстилал свое одеяло и простыни, как она, дергающаяся, с восковым перекошенным личиком, заглушив невероятным напряжением стоны, чтобы не услышали ребятишки, сама обхватила свой ослепительно-белый живот, помогая содроганиям схваток, — всего этого не мог никогда вспомнить ясно Кривицкий. Словно в довременный хаос, в бурных хватаниях водяных и огненных пучин, разверзаясь жидким огнем и страшно-малиновым заревом, будто в преисподних гулах и взрывах планетных рождений — полыханьем крови, корчами расступающегося тела, в ужасной наготe разведенных колен, промерцали перед ним эти страдания жизни. И когда показала зализанная, облитая алым головка ребенка, понял он, что сейчас это кончится, что мука, напряженившая тело женщины, предельная, и что ему нужно теперь сделать все, что подсказывает сама собой появляющаяся сообразительность... В несколько мгновений он изодрал на куски простыню, отыскал в чемодане никелированные ножницы для ногтей. Тут женщина вскрикнула, застонала, и вдруг сразу все терзавшее напряженный его слух стихло и, словно блаженно выдыхая набранный до предела расширенными легкими воздух, в изнеможении поникла грудью. Когда он кинулся к роженице, ребенок в длинной, испугавшей журналиста пуповине, лежал меж ее

полных раскинутых ног. Глаза женщины были закрыты, одной кистью руки она прикрывала будто заиндевевшее лицо. Кривицкий, попадая во что-то теплое, вдыхая мокрый и тяжелый запах, наконец, перерезал скользкую ленту пуповины. Он помнил: нужно сейчас же взять ребенка, чтобы он закричал. Это далось не сразу: красный, сморщенный кусок чуть не упал из его ладоней. Кривицкий шлепнул раз и другой — безуспешно, еще раз, и уже испугавшись, сильнее... И вдруг руку толкнуло живое, горячее содрогание, и крик жизни, услышанный им в первый раз — так неожиданно и странно! — пронзил его радостью. Роженица, бездыханно и безвольно лежащая, открыла глаза. Кривицкий, бессмысленно улыбаясь, заворачивал кричащего ребенка, чтобы передать его на руки матери, уже приходящей в себя. Он положил его к ней на руки. Роженица слабо улыбнулась. Кривицкий, чувствуя страшную усталость, словно проделал какую-то каторжную работу, опустился на колени. Что-то пушистое и нежное попало ему под руку и вывернулось... Кролик. Но Кривицкому было не до него. Его не поражали ни нагота женщины, ни страшные, забрызганные и залитые простыни. Какое-то странное облегчение, почти опьяненное состояние легкости и сиянья на душе... Он улыбается. Ребенок кричит опять, женщина приподнимается и, спохватившись, говорит слабым голосом:

— К соседке... к тетке Марье... разбуди... скажи...

Он кидается в горницу, хватается одеяло с хозяйкиной кровати, накрывает им роженицу и ребенка и так, как был, без шапки и пальто, выходит на ночную улицу и сразу попадает в сугроб. Потом он лезет прямо через непротоптаный снег, стучит в первый попавшийся дом, будит каких-то людей, его слушают, охают, и вот его окружают суета, радостные возгласы, свет. Женщины стремглав бросаются из дому, а он остается сидеть с хозяином и никак не может притти в себя. Высокий усатый человек, тот самый, что вез его со станции, все повторяет:

— Так... Не иначе, ты в солдатах был. А что! — наш брат всегда найдется. Так. А все-таки ты молодец. Сам, говоришь, принял? Так.

И вдруг, сконфузившись, говорит ему шопотом, переходя на «вы»:

— Пойдемте... руки вымойте... я вам полью... А то неудобно выходит...

Журналист смотрит на свои руки и ужасается: пальцы, ладони, манжеты, рубашки и рукава пиджака — все покрыто рожками зачерствевшими пятнами.

7

Через два дня чуть ли не вся деревня провожает его в Москву. Скорый проходит в одиннадцать утра, — Кривицкого обряжают с самого свету, весь домик полон народу, и вот его прощальное утро изумленно запечатлевается человеческой приязнью, что так обогащает и наполняет наши мимолетные дни. В самом деле, столь мгновенно превращается, изменяется в его глазах и чувствах незнакомый и страшноватый прежде деревенский мир. Да и сам он наверное уезжает уже другим, и совсем другие поля, снеговые просторы, совсем иные перелески и небо провожают его до станции... И на месте деревни, в туманной дали чудится ему кивающий уже неясной женской головкой светлый и высокий смысл.

Было мягкое, неслышное, как раздумье, утро.

Скорый уже выходил, когда они подехали к станции. В локое необозримого полевого дня, прикрытого серой пеленой неба, наносило предчувствие мятели, снегопада, еще более глухой и глубокой зимы. Но загрязненная полоса полотна с черными нитями колеи уходила, как всегда, с неуклонностью и беспощадностью вглубь нескончаемых равнин. Товарный поезд, еще не видимый за бугром, поднимал клубящиеся облака дыма и пара. И все это было одно: труд, неспящие силы человеческой воли, тысячи тысяч судеб, заключенных в один образ неустанной, необъятной в своем будущем, рождающей новые светлые народы страны. Уже товарный, нахлынув неистовым воем и громыханьем

вагонных колес, заслонил свободный простор пути, а Кривицкий все смотрел и смотрел вперед...

А в колхозе Сатине в этот день, в это утро, вели племенного быка, по кличке Михал Михалыч, на пункт конторы Заготскота, на убой, согласно постановления правления. Вела его целая делегация, во главе с председателем, на всякий случай. Мягкой тишиной наполнилась улица, чуть доносилось жужжание молотилки, ничто не отличало этот день от других. Но животное, опутанное веревками, с перехваченными мертвой петлей рогами, вкапывалось в снег, било хвостом, противилось всей яростной, изваянной из горячей многопудовой энергии, глыбой чудовищного туловища. Иногда бык замирал на месте, мотал тяжелой, как скала, головой, шея его страшно ворочалась в курчавых складках, словно свинцом оттянутой, шкуры. И жалобным погибающим ревом, тяжелой руганью и громким дыханием людей отдавалась чистая утренняя тишина. Разбрасывая снег, ворочался бык, силясь повернуть обратно, — к оставленной конюшне, к теплоте закута, к прелестным дням жизни.

Женщина в оранжевом овчинном полушубке, шедшая сзади поодаль, оставалась тогда на месте — сморкалась и всхлипывала. Но, увидав ее, еще страшнее и непобедимее ревел бык, еще жалобней, с такой тоской и силой, что матерясь и отводя глаза, едва удерживали веревки колхозники.

— Тетка Фиона! — кричал отчаянно председатель. — Возьми ты его сама... А, ты, ч-чорт! Давай скорее, сюда! Покалечит он у меня мужиков!

И тогда подходила женщина и за ней, мгновенно присмирив, к смрадному и убойному своему концу шел, не нагибая крепких канатов, стопудовый бык. Колхозники ступали с опаской, курили и молчали. Председатель мысленно прикидывал колхозные барыши, солидно кланялся встречным. Никто как будто не обращал внимания на женщину. Она вела быка, положив руку на страшный его закрученный рог, чуть сторбившись, по щекам ее стекали мутные слезы. Женщина не вытирала их, они падали на снег незащищенными — ненужные никому, нерассказанные никогда слезы прекрасной любви.

Москва, январь 1935 г.

Дорога на Океан

Роман

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

(Продолжение ¹)

Мы проходим через войну

Наши встречи с Алексеем Никитичем становились реже. Я избегал нарушать его вынужденный отдых и, конечно, не смог бы заменить ему Зямки. Дни мои стали скучнее. Один я шатался по избранному нами побережью, навещал окраины великого города, ожидавшего своих потрясений, заходил в старый китайский театр посмотреть, как преломился в искусстве подвиг Ян-Цзы, а иногда бездельно стоял на берегу, наблюдая, как между гигантских пловучих островов качаются на волне бедные сампанки древнего века... Оставаясь наедине, я размышлял о дальнейшем; Океан представлялся мне бесконечным пространством, утонувшим в розовой мгле. (Так начинается в мечте всякое обетованное утро!) Дерево стояло на переднем плане; его длинная горизонтальная ветвь с блистающими листьями заслоняла от меня подробности. Мне нравился этот недосказанный пейзаж, потому что это избавляло меня от необходимости расширять рамки повествования, и еще оттого, что никто не знает, какие события скрыты за этой призрачной и радужною скорлупой. Будущее!.. Оно еще движется по ветру, растворено в воде, зарыто в недрах: оно еще не соединилось в кристаллы... и кто скажет, как

распорядится ими история! Но вот рядом становился Алексей Никитич. Он небрежно отстранял мою лирическую ветку незнания и лености, приглашая глядеть и видеть. Во мгле рождались тени людей, происходили их передвиженья. Такие быстрые и бурные, что я не успевал даже различить расы моих героев, и тогда наступало смятение, когда-то испытанное человеком с маленького Патмоса. Так я увидел —

... Однажды в январе, в девятнадцатую годовщину убийства Ян-Цзы, в пору, когда малайские реки вздуваются, и юго-западные ветры сеют туман на архипелаг, последовала новая диверсия Старого Света. На Яве, в центре Малайской народной республики, произошло восстание, захватившее и смежные острова. Объявился диктатор, называвший себя Абонг-Абонгом, по имени потухшего вулкана на Суматре ¹). (Многим тогда не давала покоя слава великого Ян-Цзы!) Уничтожению подверглось все, что сочтено было зараженным идеями с континента, даже пальмы, псы и хижины бедняков. Туземных комму-

¹) (Подробности принадлежали мне.) Курилов хмуρο встретил появление Абонга —

— Что он за человек?

— Он происходил из зажиточных обывателей Саравака. Туземцы называли его Миа, оранг-утангом. Его темперамент объяснялся экваториальным происхождением, мещанской стихией, которую он возглавил, и открытым жетоном с буквами Д. П. Т. — Джeneral провиденс трест, созревший для мировых предприя-

¹) См. «Нов. мир», кн. кн. 9 и 10 с. г.

нистов рубили вручную, и саравакский вождь шутил с мрачной наивностью Пигафетты, что ствол их травянист, как у банана, и изобилует липким красным соком. Революционные партии и отряды территориальной обороны отступили на Суматру, унося с собой тела погибших.

Весь мир оцепенело глядел сюда. Каждый газетный лист обжигал пальцы заревом сообщений. Резня вызвала волну гнева по всей Северной Федерации Социалистических Республик. Бесчисленные толпы стояли на площадях с обнаженными головами, пока на телеэкранах проносили красные, по десять в ряд, дощатые гробы. Безмолвие зрителей нарушалось истериками женщин и ревом перегруженных репродукторов. Горе смыло расовые отличия: лица белых, черных и желтых были одинакового пепельного цвета. То были самые грозные похороны в истории людей. Почти полтора миллиарда человек незримо участвовали в процессии. В траурную ночь было запрещено пользоваться эфиром для передачи представлений и хождений в гости по радио, а города были лишены освещения. В этой первобытной мгле, спустившейся на материк, белая мать из Дублина оплакивала желтых детей на Борнео. Утром массы потребовали военного выступления. Они дефилировали по улицам с ужасными муляжами отрубленных голов и рук, с лозунгами: хотим на Борнео. Кое-где несли вверх ногами портреты новейших теоретиков войны, прославившихся без выигранных сражений. Азия вспомнила древнюю монгольскую поговорку о верблюде, который не шевельнется, пока волк¹⁾ не сожрет половину его ляжки. Правительство

тний, получил от могущественных клиентов заказы на билитонское олово, саравакскую нефть, золото, медь, сурьму и другие чужие предметы. Словом, это была подставная фигура.

— Нам тоже подставляли и Врангеля, и Колчака, однако, не вышло! Как могло случиться все это?.. утеря бдительности?.. распад в низовых звеньях?

Я смог лишь привести примеры, когда история оказывалась самоучителем ошибок.

¹⁾ Намек на вице-президента Д. П. Т., Джонатана Вольфа.

медлило, то ли сберегая силы, то ли накапливая ярость масс.

Нападение застигло врасплох: никому Океания не представлялась плацдармом для столкновения. Незадолго перед тем торговые самолеты, курсировавшие на линии Фиджи—Капштадт—Лима, сообщили о сосредоточении флота Старого Света¹⁾ в районе Новой Зеландии, но морские маневры полосатых²⁾ у берегов Федерации стали обычным явлением: Старый Свет прикидывался охранителем суверенности Филиппинской народной республики³⁾. Последовательность событий была так стремительна, как будто развернулся свиток и со всеми иероглифами ужасов упал к ногам⁴⁾. И хотя дипломатические отношения еще не были прерваны, следовало ждать продолжения в виде воздушных десантов, которые захватом опорных точек должны были обеспечить успех высадок с моря. В день похорон на Суматре посол Старого Света, весь в поту и озираясь на окна, за которыми шумела демонстрация, информировал наркома Внешних Сношений, что майское недоразумение произошло из-за неурядиц в Д. П. Т.⁵⁾, что эскадры флота прямого действия уже вышли в поход с предписанием навести порядок на островах⁶⁾, арестовать Абонга и произвести расследование дела. Все это была сплошная наглость, которой он

¹⁾ Так называемого Флота Прямого Действия.

²⁾ Соединенный флаг будущей коалиции был испещрен шестью цветными полосами, по одной на каждого из участников.

³⁾ Коксовый глицерин для взрывчатых веществ, хромовые и железные руды.

⁴⁾ 14 января — захват Борнео, Явы, Целебеса и Джилоло.

16-го — похороны жертв на Суматре.

17-го (в ночь) — взрыв посольства в Кантоне.

18-го (утром) — захват Суматры Абонгом-Миа, внезапные нападения на промышленные районы Европы, взрыв в Гибелунгенштадте, бешеный разгром авиабаз на Формозе, выход неприятельских подлодок на пути европейских коммуникаций.

⁵⁾ М. Мекези, глава компании, незадолго перед тем отправился к богу отчитываться в содеянных злодеяниях.

⁶⁾ — Это в чужие-то воды! — усмехнулся Курилов.

трусил и сам, хотя его самолет и дежурил на крыше посольства, готовый к отлету. Народный комиссар, японец по национальности, учтивость которого вошла в поговорку, не прекращая беседы, позвонил в Верховный Военный Совет с вопросом, не пора ли ему, наконец, выгнать этого тучного и вонючего лицемера¹). В ту же ночь произошел провокационный взрыв посольства, искромсавший полквартала в Кантоне. Владыки двуглавого материка не щадили средств для скорейшего развертывания событий.

На рассвете 18-го над бухтами Сиамского залива появились массы легких бомбардировщиков. Ночь была холодная, море бурное. При первых залпах зенитных батарей на берег поползли танки и, еще наполовину в воде, открывали огонь. Громыхая гусеницами, шаря причальными крючьями впереди себя, они (казалось при орудийных вспышках) отряхивались от воды, прежде чем ступить на сушу. Хотя иные из них не останавливались и после нескольких попаданий, первая фаланга была смята артиллерийским огнем. Один полез прямо на батарею; его, вставшего на хвост, расстреляли в упор, но никого внутри не оказалось, кроме исковерканных механизмов... Вторая цепь была поддержана артиллерией крейсеров; их силуэты лениво двигались в морозящей мгле. Потом на бреющем полете пошла штурмовая авиация, сея смерть и что-то скрывая в плотной своей массе. Истребители обороны рванулись навстречу и были скомканы превосходством сил. Качаясь на высокой волне, щетинясь змеевиками ручных пулеметов, к берегу двинулись моторные баркасы. Точно разрубленная пополам, штурмовая авиация распахнулась, и в щель прыгнули десантные батальоны; их приземление произошло уже за пределами проволочных заграждений. Километровая полоса была захвачена в 17 минут. Прошла четвертая и пятая волны танков, и все еще было неизвестно, сколько их пря-

чется на дне залива. Воздушный десант разделил обороняющихся на две части; сопротивление было подавлено. Уже через сорок минут на побережье скопилось свыше 50.000 пехоты при тысяче танков. Саперы забивали последние гвозди в сухие сходни, когда, тихо покачиваясь на зыби, подошел первый океанский транспорт Президент. Из его чрева, урча, пошли бронированные чудовища; воздух содрогался, и рев бури казался лаем шавки, запутавшейся между ног. С прежним успехом произошел второй воздушный бой; ничто не помешало разгрузке новых транспортов с топливом и оборудованием для постройки сухопутных аэродромов. Час спустя началась бомбардировка Пном-Пенха и Банама-на-Меконге. Схожие операции произошли на Кохинхинском побережье. Штурмовые канонерки совместно с авиацией форсировали все три русла Меконга. Индокитай был занят, война вторглась в цветущую страну¹).

Главные силы Флота Обороны и Маневра (как и восточные эскадры Федерации) не покидали своей постоянной базы, Средиземного моря. На полукилометровой мачте в Гибралтаре²), поникший, в безветрии, висел крепостной флаг. Командование Федерации выжидало минуты, когда определится направление главного удара. Проливы азиатских морей были закрыты, Японское море превратилось во внутреннее. Надводные корабли и самолеты вышли на охрану побережий. Стратопланы, как видения, носились между материками. Газеты прошумели о подвиге командира авиационной бригады, корейца, с боем совершившего глубокую разведку в сторону Полинезии. Федерация молча принимала удары, и такое поведение было на-руку Старому Свету. Полосатые считали, что наиболее выгодные военные маршруты открываются через покорение Азии. Только отсюда можно было постепенно продвигаться на запад. Густая сеть промышленных предприятий

¹) Вопрос о мобилизации восточных округов Федерации был уже решен, и телефонная беседа служила лишь средством выразить состояние души.

¹) Мы заимствуем описание этой атаки из «Известий Кантонского совета», № 22 (6757).

²) Для прямой, ультракороткой связи с судами.

и вооруженное рабочее население исключали возможность быстрой оккупации Европы. Упорной разведкой вдоль западных побережий, посылкой диверсионных партий¹⁾, созданием множества второстепенных театров войны Старый Свет старательно поддерживал эту псевдоуверенность, что весь удар с востока — лишь умышленная и недалёковидная демонстрация.

Одновременно с атакой в Индокитае и стремясь запутать дело, полосатые задумали крупнейший фланговый удар в Центральной Африке, направленный к тому, чтобы перенести операционное направление в Европу. Они сосредоточили здесь значительные южноамериканские войска. Командующий Флотом Обороны и Маневра, Георг Швинт, под носом у которого состоялась переброска военных транспортов, был смещен и отдан под суд. Нейтральная среднеафриканская держава, носившая имя прежней метрополии, с готовностью вдовы подчинилась насилию²⁾, хотя ее морская торговля и терпела ущерб от подлодок у Атлантического побережья. Сам начальник экспедиционной армии, генерал Грегор, до самой высадки не знал объема и характера операции. Дойдя до развалин Аршамбо, он ожидал сигнала двигаться на Хартум и дальше, наперерез Красного моря. Вовсе не захват нейтрального Судана или Египта был целью этого трансфриканского рейда.

¹⁾ 4 марта, пользуясь дождливой ночью, восемь танков-амфибий высадились с подлодок под Нью-Кэстлем и двигались по шоссе, ни в ком не вызывая подозрений. Им козыряла охрана, и детишки, идя в школу, заглядывали в щели их бойниц. Осведомленные о расположении ПВО, они последовательно приступили к действиям, устраивая пожары точно вблизи объектов, подлежащих уничтожению. Через два часа появились эскадрильи, их работа заняла всего полчаса. Пользуясь замешательством, танки успели погрузиться и уйти, за исключением одного, который, вломившись в ангар, в упоении давил самолеты и прожектора. Такие же глубокие рейды к очагам промышленности были повторены в Гавре, Гамбурге, Риге и на Гельголанде; позже они уже не имели такого успеха.

²⁾ Впрочем, она успела сказать вдове «ах», когда двухмиллионная армия Юго-Восточного Союза прошла через ее территорию на соединение с Грегором.

Она заключалась в том, чтобы тотчас после диверсии в Суэзе¹⁾ переправиться на смежный Аравийский полуостров, молниеносно проникнуть к северу²⁾, ворваться в южнорусские степи и отсечь Европу и Северную Африку от Нового Света. Фантастичность замысла должна была служить ему маскировкой, а плацдармом — могучие тылы Юго-Восточного Африканского Союза. Поход начался; стапятидесятитонные песчаные линкоры пополнили вдоль электрифицированных верховьев Нила, руководя тысячами телемеханических танков³⁾. Армии двигались в этой стальной крепости, и крылья могущественного воздушного флота служили им надежной кровлей против коварства военной судьбы. Но суэцкая диверсия не удалась⁴⁾. 11-я эскадра Флота Обороны и Маневра обошла Красное море и, оставив крейсерское охранение, воротилась на Мальту.

Тогда, во изменение стратегического плана, ген. Грегор перенес направление на Каир, вдоль знаменитой магистрали трех К. Главная цель оставалась прежней, хотя и в меньшем объеме: пройти через Балканы, разбудить задремавшие шовинистические страстишки, покерать Турцию за старинную дружбу с Федерацией. Трехмиллионная армия, заходя машинами с левого фланга, из пустыни, с малыми боями продвигалась по Нилу; вернее, североафриканская армия обороны не мешала ей в этом⁵⁾. Экспедиционные полчища находились уже в двухдневном переходе от Абу-Хамеда, когда внезапно внушительные

¹⁾ — чтобы преградить доступ флоту Обороны и Маневра.

²⁾ В намерении было поднять по дороге магнетанский мир. Пожар в Аравии мог стать прежде всего лозунгом для остальных мусульманских дивизий, принудительно набранных в Судане. Древний путь Магомета совпадал, таким образом, с путями иракской, сирийской и кавказской нефти.

³⁾ Они начинались взрывчатыми веществами, так как в самой идее их создания было посылать их на верную гибель.

⁴⁾ 26 апреля.

⁵⁾ Даже, когда Грегор стал взрывать шлюзы, чтобы прекратить доступ судам речной обороны, североафриканская армия не дала ему отпора, и это насторожило его.

отряды федерационной армии под начальством некоего командарма Фейзи появились у Адена и в тот же день переправились в Сомали, крайний север среднеафриканской державы. Ее посол закатил дипломатическую истерику в Кантоне, но улика в два миллиона чужих солдат мешала ему придать негоднованию оттенок искренности. Оставалось или вступить в войну, или, воспользовавшись гарантией Федерации о неприкосновенности границ, прекратить питание оккупационной армии через Кабинду. Боясь друга не меньше, чем недруга¹⁾, держава решила на вторую меру, и тотчас же Южно-Африканский Союз выставил вторую армию на ее границы²⁾. Страхась охвата Фейзи, Грегор потеснился в Ливийскую пустыню. Ему было плохо. Регулярные налеты каирских самолетов прервали общение с Южной Африкой по восточному побережью. Все эти автоматические крокодилы, железные носороги и механические гарпии сидели посреди песков, под яростными ливнями, на голодном пайке, который кое-как еще тащился из Гамбии на Тимбукту, старинной караванной дорогой через оазисы Тинтума и Мо-Мо. В войсках вспыхнуло брожение, начались эпидемии, машины были брошены. Стаи хищников таскались по следам неудачных завоевателей; облезлая их шерсть начинала глянецветь. Командующий нервничал, требуя от солдат подвига — продержаться до прихода помощи, хотя благоразумнее было надеяться на чудо, которое и произошло. Дошли слухи о междоусобной войне в войсках Фейзи. То ли соблазнила перса возможность воссесть на древнее Аксумское царство с его сикоморами и бруссопециями³⁾, то ли из обиды, что им командует простой узбек из-под

1) Нам помнится карикатура из бирмингэмской «Си-Воркер», изображающая неудобства хозяина, в квартиру которого ввалилось два миллиона гостей с пистолетами.

2) — в качестве вооруженного коридора для питания Грегора.

3) Фейзи носил имя известного когда-то персидского поэта и, может быть, поэтому не лишен был воображения. Позже в социальном происхождении его предков были отысканы причины измены и двурушничества.

Чарджуй, но он задержался здесь со своими корпусами и впредь до показательного суда расположился среди нагорий прекрасной Кафы. Грегор двинулся к нему на поддержку и отдых; их совместная жизнь потекла, как баллада¹⁾, и так длилось, пока северная армия обороны не поставила их снова в стесненные обстоятельства.

Тогда, не ослабляя натиска в Индокитае, умножив число вторжений в Европе, вызвавших милитаризацию стокилометровой прибрежной зоны²⁾, главное командование решилось на помощь Грегору. Из австралийских портов на крупнейших океанских лайнерах было двинуто в Африку до шестисот тысяч человек с самой мощной техникой. Караван, окруженный могучим конвоем, пробирался на Момбасу, разведочные эскадры ощупывали путь. Вторая партия готовилась к погрузке. Незадолго перед тем подлодки вышли к о. Сокотре, в воротах Аденского залива, чтобы преградить Флоту Обороны и Маневра выход в Индийский океан. Случилось, однако, часть из них была потоплена самолетами, другая, загнанная под воду и истощившая свой подводный ход, захвачена в плен. Тотчас после этого...

(Оглядываясь на эти передвижения исполинских и еще не существующих армий, мы напрасно искали с Куриловым неотразимых героев, эффектных военных афоризмов, головокружительных баталий в стиле Учелло и Сальватора Розы, — всей той мишуры, какою, бывало, украшали кровавый хаос сражений. Правда, мы встречали удивительных людей и запомнили много героических эпизодов, но тридцать шесть миллионов вооруженных людей, одновременно поражающих друг друга, не могут стать предметом восхищения ни историка, ни поэта. Для народов Феде-

1) Грегор вспоминал в мемуарах, что это были самые приятные минуты в его жизни.

2) Прибрежные маяки были потушены, моря вымерли, города погрузились во мрак, люди жили украдкой. Мы приходим с Куриловым среди бронированных холмов. Какая-то простреленная луна блестит на мокром бетоне. Мы грустно говорим друг другу: война, война!

рации это был прежде всего тяжелый, черный труд. Громадная родина посылала бойцов не для ограбления слабейших или присвоения чужих богатств, и оттого подвиги их были лишь долгом, исполненным до конца. Огромные массы людей, одетых в цвета войны, толпятся в моем воображении. Я выбираю одного, чтоб проследить его судьбу. Его зовут Сэмюэль Ботхед, он негр, ему тридцать восемь. Его биография еще не закончена, но мы-то с Куриловым знали, что его прославят люди и скажут, что при Шанхае лицо его было черно, как солнце в гневе. Нам давно хотелось посетить его, и пока мы собирались, Ботхед встал во главе средиземноморского Флота Обороны и Маневра, на смену осужденного Швинта. Мы пришли к нему на стоянке в Адене, прямо на флагманский корабль Ленин под видом корреспондентов все тех же «Кантонских известий». Около часа мы высидели в хорошо изолированном помещении, пока по радио выясняли наши личности¹⁾. По счастью, в комментарии к толстому тому, изданному на потребу академиков, нашлись схожие фамилии Крылова и Леонтьева... Нас провели к нему в салон, его библиотеку, составленную из старых математиков войны вперемежку с Шекспиром. Ветерок, струясь в иллюминатор, шевелил нитяные ванты на модели старинного стопушечного фрегата. Мы сели, я объяснил нашу потребность; у Ботхеда нашлось такта не удивляться ничему. Он

¹⁾ Алексей Никитич сердился —:

— ... садитесь сами, если вам потребно, в этот канатный ящик (то-есть в помещение, где хранится якорная цепь, то-есть в кутузку) и увольте меня от ваших художественных подробностей!

Я разделял его негодование. Там было темно, стояла вонь, шуршали крысы и капала соленая вода. Кроме того, тот же материал, из которого мы были созданы с ним, должен был пойти на образование этого потомка. Не потому ли Курилов и требовал уважения к себе, что природа дала ему напрокат этот материал раньше, чем Ботхеду?

— А бдительность? — напомнил я Курилову.

— Пускай они запросят о нас Кантон!

— Хорошо, мы сделаем это способом, более соответствующим социалистическому реализму.

придвинул нам воду, табак и пепельницы. Нас часто прерывали; и хотя все здесь было автоматизировано, секретные донесения подавались по старой моде в железной запертой шкатулке.

Он стал излагать свою биографию, и я испытал затруднения Марины, когда она за тем же пришла к Курилову. Эти поверхностные сведения были лишь каркасом большой судьбы; они расплывались и уходили корнями в события чужого, непонятного века. Поистине, надо сотворить целый мир, чтоб подчеркнуть существование песчинки!.. Итак, его прадед был куплен в Судане одним британским сэром в подарок племянникам. После того, как их убили индусы, старый слуга был отправлен в Черную республику заведывать плантациями неутешного господина. В жизни второго и третьего Ботхедов, простых батраков, не состоялось приключений, которых хватило бы и на пару занимательных строк. Правнук ушел из семьи одиннадцати лет, повторяя судьбу миллионов. Семь последующих он проработал в портовых мастерских Пернамбуко. Его уволили оттуда за приставание к дочери белого инженера: слишком часто он провозжал ее восторженными, немигающими глазами.

Громадное зеленоватое пространство стояло перед набережной; даже и в то время нехватало кораблей насытить его до конца. Человеческий разум склонен заполнять образами всякую пустоту; голод придает им подчеркнутую реальность. Наверно, Паскаль, ужаснувшись пустоте мира, никогда не голодал, как Сэмюэль, и ни разу не побывал в Пернамбуко! Однажды, когда черный сидел здесь, в оцепенении и равнодушии, к нему подошел волшебник из сказки, ради разнообразия прикинувшийся на этот раз капитаном парусной шхуны. Глубокий ножевой шрам проходил через его правую глазницу, а из левой, неповрежденной, смотрели сиреневые бухты, смертоносные архипелаги, побежденные бури и женщины, ветер и выпитое вино; море любит забулдыг. Обойдя со всех сторон скамейку, он спросил у негра, не желает ли тот пой-

ти к нему рулевым на посудину, ходившую от Форталезы до Паранагуа¹⁾.

«...Это был скелет и призрак старомодного пирата. По утрам он, рыгая, выбирался на палубу, с шарфом на шее и с голым животом. Он тыкал пальцем в компас, прочно ли сидит, издавал ругательство, похожее на разрыв ракеты, и снова спускался к себе хлестать ром пополам с сальсапариллой. Над его вонючим лежищем, приколотая ножом, висела фотография длинноносой девки с обнаженной грудью и с громадным бантом на подвязке; обычно он и чокался с этой распутницей! Но я благодарен ему, потому что, во-первых... — так говорил Ботхед, зажимая пальцы на руке, — ...он отучил меня блевать. Кроме того, он свел меня с товарищами, которые знали кое-что о прибавочной стоимости. Он доказал мне, что степень человеческого счастья не определяется цветом кожи. В-четвертых, он привел меня к морю...»

Через полтора года Ботхед подписал контракт с пароходной компанией на срок лет без права женитьбы до производства в капитаны²⁾. За это его приняли в школу, которую и кончил штурманом дальнего плавания. Двадцати четырех лет он стал четвертым помощником на судне, совершавшем рейсы между Америкой и портами Федерации. В американо-африканскую войну его в чине мичмана³⁾ назначили на старый линкор «Альварес Кабраль». Во всеобщую южно-американскую стачку на корабле произошло восстание, не поддержанное остальным флотом. «Кабраль» бежал, и его настигли только к ночи, когда, потеряв ход от воздушных попаданий, он покачивался на высокой волне. На предложение сдаться «Кабраль» ответил стрельбой. Произошла дуэль одного со

многими. Они лупили его торпедами; он отворачивал, как умел. Битый, с обрубленной кормой, еле держась на плову, он не спускал боевого флага. Люди прыгнули в воду; их разыскивали прожекторами и пулеметами. Никто не понимал, как Ботхеду удалось спастись из ада... Несколько лет он еще оставался в стране на безвестной, невознаградившей работе организатора революционных сил. Впоследствии, после бегства в Федерацию, он водил ее торговые корабли, был принят в морскую академию и... Тут принесли еще одно сообщение. Ботхед поднялся и приказал подать нам катер. Случилось что-то, перекрывающее важность нашего посещения. Курилов так и не успел набить трубку (о-отличным!) ботхедовским табачком. Наши предположения оправдались: эскадра снималась с якоря¹⁾.

В несколько сильных ударов Ботхед захватил ближние к Мадагаскару острова под авиабазы и стоянки наливного флота. Другая эскадра вышла к Кокосовым островам, превращенным в опорную точку его разведки. Она доносила Ботхеду о движениях противника и прекратила сообщения между Африкой и Австралией в полосе от экватора до 20-й параллели к югу. Ботхед полагал, что Деттер-Старший²⁾ не рассчитывает на выход Флота Обороны и Маневра, который был почти вдвое слабее соединенного флота полосатых; он знал также, что от Явы до меридиана Сейшельских островов Деттеру итти при самых благоприятных условиях две недели. Прогноз погоды указывал, что противник поведет десанты именно теперь, пока Грегор не капитулировал. Грубоватая дерзость негра вынудила белых адмиралов отвернуть курс на юг и бросить достаточные силы к Кокосовым островам, но там ничего уже не оставалось, кроме консервных жестянок и других следов пребывания живого человека. Курс эскадр снова был изменен к северо-западу, на Сейшельские острова и Момбасу. И, только когда

¹⁾ Вся биография Ботхеда принадлежит Алексею Никитичу. Я с интересом следил за эволюцией образов из давней детской книжки, обогащенной его личным опытом. Я узнавал самые слова — Пернамбуку, Форталеза, Аракажу, похожие на возгласы птиц в полдневном тропическом лесу.

²⁾ На двуглавом материке существовал закон, воспрещавший жениться бедным, чтобы не владеть нищими и мятежниками.

³⁾ *Gardia marina*.

¹⁾ Сообщение гласило о выходе конвоев Старого Света из австралийских баз.

²⁾ Командующий Флотом Прямого Действия.

Флот Прямого Действия втянулся в средину Амирантских и Маскаренских островов, стало понятно, куда исчезали разведывательные самолеты, что стало-вилось с нейтральными судами и крейсерами, высланными вперед. Деттер предпринял деятельную разведку, но Ботхед уже действовал. Произошло расчленение полосатых, транспорты бросились врассыпную, и с тех, которые не затонули, были взяты заложники из офицерского состава. Когда прибыло предписание правительства оставить нейтральные острова, батареи были уже погружены, авиация стояла на старте, и сам Ботхед успел ценными подарками отблагодарить губернаторов островов за временное гостеприимство. Индийский океан был надолго утрачен для Старого Света.

После неудачи с десантом, сухопутный натиск в Азии усилился. Форсирование индокитайских предгорий затянулось на полгода и превратилось в жесточайшую позиционную войну. Не помогала никакая концентрация техники. На чашку весов было брошено все, вплоть до бактерий, белковых ядов, отравления воды, термитных туч, двигаемых по реле, использования парламентарских флагов. Это была истерика войны; она скреблась о бетон в поисках щели, лишь бы просунуть жало. Был опробован суб-девилит; его первые трофеи остались лежать в виде мумий, тление не трогало их, но ни одно средство уничтожения не находило себе противодействия в столь короткий срок. Обычные охладительные бомбы при самом слабом воздействии высокочастотных токов заставляли его распадаться и лиловатыми лужицами стекать в канавы. Нащупать уязвимую точку Федерации не удавалось. Фронт стоял на месте.

Тогда, бросаясь в обход затруднений, полосатые высадили значительные части у Кантона ¹⁾ и, ошупывая дорогу прервосходной авиацией, медленно поползли вдоль берегов к северу и югу. Они искали слабого места у Федерации, ско-

ванной множеством фронтов, чтобы обрушить туда новую трехмиллионную армию, формирование которой только что закончилось в Южной Америке. По согласованию с правительством. Деттер-Старший наметил направление удара через Шанхай в сердце социалистического Китая. Мотивы этого маршрута в равной мере были наивны и поспешны. В свое время социалистическая переделка мелких производителей в долине Ян-Цзы происходила с особыми трудностями; это позволяло рассчитывать на широкую поддержку населения и, следовательно, возможность держаться даже в случае обрыва морских коммуникаций¹⁾. Так была совершена эта поучительная ошибка. Командующий приказал начать тренировку головных ударных батальонов, назначенных на высадку в условиях хаоса и ужаса²⁾. К этому времени почти три четверти всех транспортов успели пройти Австралию, и эмиссары деттеровской разведки не отмечали умножения воинских

¹⁾ Мы побывали и на борту Фратерните, флагманского корабля старшего Деттера. К слову, попали мы туда не во-время. Перед строем моряков командующий принимал делегацию китайских крестьян; нам показало, что косы на них привязные. Делегаты очень бойко рассказывали про ужасы социалистической жизни и в один голос обещали чуть ли не всенародное восстание, едва войска Старого Света вступят в Срединный Китай. Деттер, цветущий старик на 82 кило, пожимал руки сомнительным этим мужикам и мысленно примеривал на себя лавры освободителя от социалистического гнета.

²⁾ Группы унтер-офицеров по двести человек помещались в специальные камеры, и автоматы проделывали над ними все, что могло произойти и в действительности. На шлюпке люди попадали в пенящуюся от снарядов воду, над ними грохотали шрапнели, газ рвал им воздры и легкие; их слепили искусственные вспышки орудий и прожекторов, на голову им лили кипящую пакость, пули рикошетировали о пуговицы шинелей и крошили весла в их руках; вода переливалась через голову, им душили сумасшедшие товарищи, взрывы бомб подкидывали их в черные лохмотья небес, а они должны были грести, петь веселые песни и грести. По секретным сведениям, людской брак от таких испытаний достигал 48%; но те, кому удавалось задержаться на грани здорового идиотизма, способны были пойти на завоевание ада. Подготовка была прекращена после восстания, известного под именем «унтер-офицерского мятежа».

¹⁾ Операции против Макао и Гоингоа еще ранее определили судьбу второстепенной столицы Федерации.

эшелонов. на трансмагистралах Лиссабон — Шанхай.

И вдруг индийская «Народная газета» от 5 августа поместила сообщение, что командующий Ботхед с флотом в 260 вымпелов встал на якорь в заливе Петра Великого, в Сасебо, Нагасаки и смежных с ними портах, что восточный и западный Флоты Оборона и Маневра соединены под его командованием, что громадные демонстрации встретили прибытие эскадры, что флот разойдется по ближайшим портам для проведения «двухнедельника моряка всех широт», что представители нейтральных держав были приглашены во Владивостоке на местные щи и кашу, и все видели черного адмирала в белом кителе и с красным орденом за Сейшельское дело. Агентура подтвердила прибытие Ботхеда на стратоплане¹⁾. Шпионы донесли, что Флот Оборона и Маневра в прежнем количестве находится в средиземноморских базах. Если бы речь шла не о пушках и линкорах, следовало бы допустить вмешательство мистических сил. Словом, начальник разведывательного бюро был снят с работы с дурною аттестацией, а сам адмирал Деттер душевно заболел²⁾ и оставил службу. На смену отцу вступил его сын, образованный и способный флотоводец, даже лицом не похожий на отца. Памятуя наставление Нельсона не презирать врага, чтобы не ослаблять ненависти к нему, он давно и пристально изучал военный стиль и манеру мышления будущего противника. Сын вступил в трудную минуту, осложненную возможностью выступления буржуазной Индии.

Деттер молча разделял опасения штаба. Собранный в кулак, флот Федерации был способен теперь оспаривать морское превосходство полосатых; в этом свете

¹⁾ — ни у кого, однако, не хватало воображения перекинуть тем же способом около пяти миллионов тонн металла!

²⁾ Этот неизвестный ранее вид заболевания сопровождался рвотой, подергиваниями конечностей и расстройством памяти. Грустно было видеть бравого командира, сидящего в глубоком кресле и безысходно повторяющего: «Черный босьяк, тубик с ваксой, купленная башка (bought head)!»

высадка ударной армии сразу приобрела характер дрянной авантюры. Становилось ясно, что, если в острую минуту встречи Ботхед завладеет воздухом на двадцать минут, вся алгебра войны обратится против Деттера, и он сядет в кресло, рядом со своим отцом. Тогда, разгадав значение «двухнедельника моряка» и следуя сомнительной доблести древних стратегов доводить раз предпринятое дело до конца, он постановил форсировать высадку под Шанхай и добился от сухопутного командования быстрее продвижения на север. Уже 7 августа (вместо 15-го по плану) Деттер овладел Формозой и превратил ее в базу питания для будущего шанхайского фронта. Гектары танков ждали лишь прикосновения человеческой руки. На рассвете 10-го к Шанхаю должны были приблизиться первые транспорты с войсками, прошедшими специальную тренировку.

Контрпланы Федерации отличались от планов полосатых в той же мере, как и самые цели войны. При одинаковом уровне техники они были рассчитаны на дополнительное оружие, недоступное штабам Старого Света. Его тактические свойства еще раз были опробованы при переброске кораблей Ботхеда из одного полушария в другое. Это был умный и скупой расходимый героизм людской массы¹⁾. Флот Оборона и Маневра имел заданием допустить высадку ударной армии Деттера и впоследствии, когда в упорном трехдневном бою она истощит ее снаряжение и горячее, обрубит ее морские сообщения. Огромным полчищам, втиснутым в узкую полосу между морем и линией заслона, не способным к развернутому маневрированию, вооруженным лишь индивидуальным оружием, останется испытать участь Грегора²⁾.

¹⁾ Ботхеду стоило усилий ввернуть в русло военной дисциплины почти стихийную отвагу своих моряков. Курилов сохранил в памяти его приказ о предании суду командира одного из миноносцев, в кочегарке которого умер от перенапряжения механик. Приказ напоминал флоту почти одноименный случай на некоем «Гибене» в самый мрачный период империализма.

²⁾ Излагая свой план Верховному Совету Оборона, Ботхед заключил его словами: «... с

События показали Ботхеду, что противник стремится использовать время, необходимое ему для ремонта. В этих условиях и неделя бездействия могла оказаться смертельной. Приказ командующего с разяснением положения был обсужден в доках, машинах и кубриках. Флот вызвал на соревнование заводы; моряки бросились чистить еще не остывшие котлы. Это была злая и молчаливая схватка отчаяния и мужества. Двухнедельник сокращался приказом до 10 дней, но уже ночью 9-го, когда противник начал тралить подходы к Нин-Бо, Ботхед уведомил правительство, что его главные силы будут готовы к 11-му. Стремительность, с какою Деттер лез в мышеловку, автоматически ускоряла выполнение расписаний. Задолго до появления Ботхеда на востоке, весь азиатский подводный флот Федерации был отправлен к промежуточным и глубоким базам полосатых¹⁾; теперь рация с «Коломана»²⁾ торопила их занять свои позиции на путях связи десанта с Манилой и портами Австралии. Еще прежде эскадрильи бомбардировщиков постепенно стягивались сюда с малых фронтов; теперь они получили предписание немедленно слетаться под Шанхай, хотя сосредоточение больших воздушных сил и могло дать повод Деттеру одуматься и вынуть голову из западни.

Тотчас по окончании подготовки Ботхед навестил всю свою авиацией деттеровские аэродромы на Формозе. В эту пору она представляла собою гигантский арсенал всевозможных средств войны. Защитительные воздушные барражи были смяты численным превосходством, но, сказать запоздалую правду, успех атаки был прямо пропорционален потерям. Зато массы бомбовозов

тех пор, как первый военный корабль вышел в море, ни один флот не имел такой простой и почетной задачи. Я полагаю ее в том, чтобы представить истории и возмущенным народам творить без всякой помехи со стороны свой справедливый суд и гнев. Великая мать, социалистическая родина, да не упрекнет нас в равнодушии!»

¹⁾ Планы Старого Света относительно шанхайского направления были разгаданы командованием Федерации. Это и вызвало переброску части средиземноморского флота на восток.

²⁾ Флагманский корабль Ботхеда.

и танков Старого Света были превращены в груды исковерканного утиля, в стальные болванки, в металлическую щепу, в ничто. Тем временем сухопутное сражение длилось уже сутки. Старый Свет со всего разгона ударился лбом в залитые бетоном окрестности Нин-Бо. Наутро, выражая настроение войск, командующий десантом угрожал сдачей, если до вечера не придут подкрепления; к концу дня он донес о своем приказе выдать неприкосновенные запасы снарядов изнемогающим армиям. В поздний вечерний час две радиogramмы пересеклись в Океане. Деттеровская предписывала своим базам немедленно отправлять конвои на помощь шанхайскому фронту; ботхедовская напоминала подводному флоту, что от точности их истребительных действий зависит теперь сократить или удлинить нечеловеческие муки войны.

Через полтора часа на «Фратерните» поступили первые полупанические описания безрассудной по натиску атаки ботхедовских кораблей на конвои Старого Света¹⁾. Без предварительного траления, цепью в три ряда, подлодки врывались в гавани, обречая головные на верную смерть²⁾. Поведение уцелевших, прорвавшихся сквозь смерть, было, поистине, грозно... В таких условиях представлялось неразумным дожидаться благополучного прибытия этих пловучих складов. Тогда пушками своих восьми-десяти линкоров Деттер решил замечать потопленные конвои. Пока выбились якоря и пороховые погреба забивались снарядами, штаб разработал боевые порядки эскадр в предстоящем походе³⁾. Тревога снова посетила «Фратерните», когда цусимские дозоры донесли о выходе в море главных ботхедовских сил. Теперь некогда было менять решения; если бы Деттер уклонился от похода к устью Ян-Цзы-Киян-

¹⁾ В донесении Деттера-Младшего любопытна фраза, где вполне зрело звучат интонации его несчастного отца: «... стратегия морской войны и джентльменские традиции Флота Прямого Действия никогда не были рассчитаны на борьбу против сумасшедших!»

²⁾ Первыми шли автоматы, но и минные заграждения стояли в несколько рядов.

³⁾ Деттер шел отрядами.

га, этот рейд совершил бы Ботхед, и десантные армии, пронизанные кинжальным огнем с моря и со стороны укрепления, подверглись бы прямому избиению. Для выяснения места и построения эскадр Ботхеда Деттер-Младший бросился на запад, предварительно совершив морской поиск, с в и п¹⁾, на север²⁾).

Восточно-Китайское море было меридианально разлиновано на двадцать полос, и в каждую назначена пара миноносцев со звеном самолетов. Имелись инструкции не переходить в соседнюю зону: была обязательна стрельба без предупреждения по любому встречному силуэту. Суда вышли засветло. В море стояла легкая зыбь, вскоре затянувшаяся мглой³⁾, как бы нарочно созданной для всяких случайностей⁴⁾. Свип, наткнувшийся на разведку Бот-

¹⁾ То sweep — подметать. — И з д.

²⁾ Походный порядок Ботхеда обозначался так: 10 авианосцев в двух кильватерных колоннах были в десятимильном радиусе окружены тремя эскадрами линейных кораблей, по восемь в каждой. За авианосцами двигались две колонны эскадренных подлодок по 36 штук. «Коломан» находился в эскадре, шедшей веером впереди авианосцев. Дальше, в пятнадцать миль, двумя группами следовали линейные авианосцы, еще не опробованный вид кораблей, с пятьюдесятью самолетами на каждом, с девятью по 18⁷ пушками, с броней в 300 мм., с газовыми турбинами, сообщавшими этим мастодонтам скорость в 45 узлов. И, наконец, в 30 миль — линейные крейсера, строем фронта по два в группе, завершали шестие этой исполинской армады в сопровождении 55-узловых миноносцев по 14 при каждой паре. Все это было окружено дивизиями подлодок и накрыто эскадрильями самолетов.

³⁾ Было до отчаяния тихо, и нам с Куриловым казалось, что мы с головокружительным ускорением падаем куда-то в черный расширяющийся круг.

⁴⁾ Первая произошла на левом фланге со 2-й парой. Противники, шедшие без ходовых огней, заметили друг друга по носу, когда столкновение стало неизбежно; оба остались на курсе. Головной миноносец Ботхеда успел просигнализировать мателоту (то-есть концевому миноносцу, следовавшему в голову) убавить ход и бросить пулеметы на левый борт; пушкам был задан угол снижения. Первыми вспышками суматошных залпов уцелевшие из команд были повергнуты в мгновенную слепоту. Хрустя панцырями, корабли прочертными бортами, накренились, почти сошлись киллями и застопорились. Левый винт ботхедовского миноносца преломил обшивку соперника и одной ло-

хеда, завершился знаменитой «бойней миноносцев» и почти не дал результатов. Деттеровский офицер, расставлявший на карте флажки с именами неприятельских кораблей, за всю ночь успел распределить всего четырнадцать. Строй Ботхеда и его местонахождение остались тайной; ясна была лишь конечная цель его выхода в море. В семь утра с берега сообщили о первой сокрушительной контратаке заслона. Китайский армиям показалось, что великий Ян-Цзы вернулся к ним, чтобы довершить свое дело до конца¹⁾... Деттер по-

пастью шарил в его внутренностях, пока и та не обломилась от ударов. С мателота ударили прожектора и грянули орудия. В двадцать секунд деттеровский «Гарсна» пошел ко дну. Оставшись под одной машиной, головной поменялся местом с мателотом, чтобы погибнуть через полчаса. Десятью минутами позже Деттер получил сведения о гибели после кратковременной стычки еще нескольких сторожевков. Стальная щетка свипа быстро редела.

В то же время головной 10-й ботхедовской пары атаковал четыре больших силуэта. Он донес командующему флангом, что отбит противником огнем и следует в кильватер за своей будущей добычей. С ближайшего авианосца была поднята дюжина самолетов. Завидев огненные шлейфы из выхлопных труб, миноносец сделал тайные опознавательные знаки и, получив отзыв, осветил свои жертвы. Прожектора вломились во тьму. Напрасно линейные корабли (— и в центре их плелся дрыхлый «Нагато», уведенный аристократами в самом начале японской революции —) пытались прятаться в задымление и сменить курс. На предельной скорости самолеты почти коснулись их труб, и два, содрогнувшись, изменили очертанья, а на третьем возник пожар. Отблески пламени заструились по воде. В суматохе ботхедовский миноносец под вихрем обломков подобрался ближе и в упор, ликуя, разряжал свой торпедный запас, пока «Нагато», уже привставший на одно колено, не оправился; он открыл прожектора и градом выстрелов буквально растворил в воде героический миноносец. Концевой миноносец, выйдя на зарево с самолетом своей зоны, донес, что уже только три больших силуэта, хромая, уходят на юго-восток. Повторная атака самолетов не состоялась; флотилия деттеровских миноносцев обнаружила соглядатая, и подбитый самолет, чертя пламенем небо, упал на миноносец, когда тот зарывался носом в воду.

¹⁾ Курлов все потакивал меня локтем, указывая на героических соплеменников Ян-Цзы —:

— Колхознички-то китайские, а?.. каково?.. расчухали советскую власть?

Я вынужден был напомнить ему, наконец, что не купленные у меня бока!

нял, что вторая и третья станут решающими, если он не прикроет десанта мощным покрывалом заградительного огня. Единственная сводка, подобная голубю Ноя, таила в себе надежду. Подлодки Федерации, на короткое время и с громадными потерями развившие энергию, предельную для человека и машины, теперь явно выбивались из сил. Двадцать два конвоя сумели вырваться из горящей Маниллы, и Деттеру пришлось в голову, что из тысячи транспортов половина доберется до Шанхая и, при поддержке морской артиллерии, заберет часть армий обратно на суда. Его армада полным ходом приближалась к берегам, и через три часа головные корабли могли открыть огонь по сидящему заслону. С целью ввести в бой возможно большее количество орудий одновременно, он стал производить перестроения, когда над ним прошло с берега несосчитанное количество эскадрилий; было что-то зловещее в том, что ни одну бомбу не сбросили в его расположение. Деттер поднял в воздух свою авиацию, и самолеты обороны отступили. Опасаясь появления Ботхеда во фланге, он отозвал самолеты назад, но копыя¹⁾ Федерации снова вонзились в его воздушный строй. Опять последовала непродолжительная схватка, и новая игра в бегство. — Придерживая авиацию Деттера на месте, Ботхед все главные силы готовил к нанесению сокрушительного нокаута.

Итак, сейчас он шел с севера строем фронта и дугою в отношении к развернутой фаланге деттеровских кораблей²⁾. Тайна его боевого порядка была обеспечена и с воздуха, и эскадрами линкоров во флангах. В 10 утра они прорвали охранение противника и, расстреливая мелочь, расчищали пути подхода. Бой с самолетами продолжался далеко на юге, когда начался великий погром авианос-

цев; в то же время главные силы Ботхеда приступили к истреблению фланговых линкоров. Эта атака делала уже невозможной помощь десанту: Деттеру стало только до себя. Были сделаны судорожные попытки лечь на параллельные курсы и выровнять смятый фланг, но снова и снова Деттер оказывался в центре смертельной дуги, и четыреста пушек метили ему прямо в сердце.

Первыми дрались автоматы; этот трескучий диспут неслыханных человекоубойных новинок длился недолго; должно быть, им нехватало человеческой ненависти, — так быстро они стремились погибнуть. Следом двинулись машины, душою которых был уже живой человек. Все, что несло на себе самолеты и торпеды, ринулось вперед. Головные катера ударили с 15 кабельтовых; их уничтожили немедленно, и было страшно видеть, что никто не прыгал с них в воду. Некоторые взрывались, круша все вокруг и оставляя, как на суше, глубокую воронку, над которой долго не смела сомкнуться вода. Оба командующих, не покидая рубок, видели на экранах все подробности боя, пока не наступил крошечный хаос¹⁾.

... бессмысленно повествовать о дальнейших перестроениях. Все сбилось. На океане стало тесно. Вспышки памяти, бессильной охватить целое, освещают лишь отдельные эпизоды²⁾. Так насту-

¹⁾ Приблизив лицо к самому экрану, я оценило глядел, как два громадных корабля, неосторожно сблизившиеся дуэлянты, подбитые, с большим креном, неуклюже циркулировали на месте.

²⁾ Мне помнится, как над морем, где еще торчали гроты затонувших кораблей с намокшими вымпелами, появились две стая самолета. Их бой походил и на сражение падших ангелов, и на множественное столкновение аэропоездов. Тысячи машин яростно поражали друг друга; пикировали, таранили, ломали врага на полной скорости, платясь гибелью за краткий миг героического упоения. Все кишело, стреляло, дымилось, соединялось со всего разгона и, одетое в пламя, падало вниз. Благодаря разумный и отступающий немедленно становился преследуемым. Ракетометатели и зенитные батареи молчали из опасения подбить своих. Безумие овладевало сознанием. Внезапно один из миноносцев Деттера открыл бешеную пальбу по этому воющему густку издырявленного металла, несущих плоскостей и че-

¹⁾ Вылетев клиньями, они успели перестроиться в строй копыя.

²⁾ Представлялось невероятным, что при том высоком искусстве флотовождения можно было поймать противника на старинный кресс Т. Но история не любит побежденных, и постоянная привилегия их — казаться глупее своего противника.

пила расплата... Легкий пар исходил от поверхности воды, как бы разогретой этим неистовством. Все обрушилось на все, и уже не дарования полководцев, а идейная закалка сражающихся масс играла решающую роль. Скоростные бомбовозы почти по отвесной линии падали на дредноты Деттера, и скрученные дымы взрывов втягивались в воронки их разбега. Старый Свет оборонялся. Его корабли, заваленные ранеными и исковерканным железом, пытались бежать в Такао. Сумерки наступили на три часа ранее обычного, все заволокло вонючей мглой... Посреди секундной тишины раздавался как бы глубокий вздох, и судорога пробегала в антеннах деттеровских чудовищ, когда вода врывалась в распоротые днища. Сбитая линия Деттера дрогнула, утратила волю и прекратила стрельбу. Было видно, как четыре дреднота, со сметенными палубами, точно переделанные в авианосцы, дымились и покачивались, увязая в воде. Телевизоры не действовали. Ботхед с катапульты бросился в воздух и уже из самолета руководил преследованием, пока случайным разрывом не искрошило пульт перед ним и не ранило его самого...

... на берегу произошло заключительное сражение. Во многих местах механизмы истребления были уничтожены в середине боя, смялась броня, стальные кулаки разбились, и схватка завершилась врукопашную. Скоростные танки Деттера дезертировали в Федерацию, и своя же артиллерия расстреливала бегущих. С утра армии сплелись тесно, как пальцы, в единоборстве. К полудню побережье густо пахло человеком, мертвым и живым. К вечеру стало слабнуть страшное рукопожатие. Мышцы на изнеженной варварской руке порвались... Этим закончилась азиатская эпопея войны, длившаяся около двух лет.

ловеческой дерзости. Это прервало гипнотическое оцепенение кораблей...

— Погодите, — кричал я сквозь грохот Курилову, стремясь внести какой-нибудь порядок в эту ожесточенную суматоху, — начнем сначала! Остановитесь...

И бой начинался снова, и мы, режиссеры события, были бессильны руководить силами, созданными нами же.

Старый Свет, обезумев, тушил человеческие пожары, возникавшие в его тылах. Федерация имела все возможности для переноса операций на самый двуглавый материк; было ясно, что одно появление федерационных армий должно было пробудить в массах силы пролетарского тяготения. — Те, кто навестит Сэмюэля Ботхеда, кроме нас, пусть расспросит его подробнее об этой предпоследней схватке миров!¹⁾.

Ее третья ступенька

Иногда, не чаще раза в неделю, Лизу приглашали на случайные концерты. Знакомый маклер, организатор человеческих развлечений, заявлялся к ней в последнюю очередь. Лизу не спрашивали о согласии; ей просто сообщали час и место. За выступление он платил от пятидесяти до пятисот. Из всех поставщиков эстрадного крошева он слыл самым щедрым. Лиза получала у него двадцать пять. Случалось также, вместо денег он выдавал ей отрез на блузку или талоны на еду. Ее объявляли артисткой столичных театров, потому что она не состояла ни в одном из них. Ее выпускали первой, пока усаживалась публика и передние ряды пустовали. Привыкнув, она отправлялась туда задолго до начала.

Никогда раньше она не испытывала потребности побыть наедине с собою.

¹⁾ В последний раз мы с Куриловым обошли эту исковырянную равнину. Мы шли и не замечали мертвых. Был поздний, очень ясный и прохладный вечер. Только-что прошел ливень, редкое явление для августа тех широт. Природа поторопилась замывать следы неистовства своих детей. На мокрой земле горели костры. Дозорам уже нечего было скрываться. Мы подошли к одному. Двое японцев, сидя на рваной, бывалой татами, молча ели своеобразный рис с редькой. Третий, прислонясь к громадной соленой катушке, рассеянно стоял в стороне, то ли следя за мельканием палочек в руках товарищей, то ли вслушиваясь в треск горящих поленьев. Русское его лицо, забрызганное грязью сражения, показалось нам знакомым.

— Здорово, война! — сказал ему Курилов и сконфуженно прибавил что-то о радости победы.

Тот не обернулся и не ответил. Нам показалось, что прежде, чем замертво свалиться от усталости, он уже думает — хозяин, хозяин! — о завтрашнем дне планеты.

Теперь она ходила пешком на все очередные халтурки. Темные улицы одинаково пригодны были для грабежей и свиданий. В тот месяц с уменьшенным накалом горели фонари, газеты громили лодырей транспорта, и она вспомнила, куда шла. Концерт должен был состояться в заключение одной железнодорожной конференции. О его качестве можно было заранее судить хотя бы по тому, что в его программу включена была и ее читка... О, наверно, это будет клуб, переделанный из домово́й церкви: лишь убавили высоты да украсили по вкусу местного коменданта! Она живо представила себе артистический стол, заставленный бутылками сидро вперемежку с бутербродами. — Так и было. Она сидела, прислушиваясь к гулким интонациям докладчика в соседнем зале. Он все кончал, но воспламенялся снова, и опять ускользал от него желанный конец. Лиза взяла себе бутерброд побольше и ела его в уголке...

Ей понравилось, она взяла второй. Тем временем стали собираться артисты. Дама со злым, накрашенным лицом доставала из ящика говорящую куклу, ставшую по своему натуралистическому правдоподобию, и еще человек-арифмометр прохаживался из угла в угол, попеременно трогая кадык и ероша волосы под какого-то знаменитого математика. Концерт начался, но программа потерпела изменения, и лизин номер отодвинули на самый конец. Она зря поторопилась с бутербродами. И она доедала уже третий, когда увидела знакомое лицо. Об этом человеке она вспоминала не раз в дни униженья; ей казалось, что, если рассказать ему все без утайки, он выслушает ее до конца, он сможет назвать то главное, чего нехватает ей для успеха. Она и в театр-то приглашала его с тайной надеждой заслужить его похвалу (— и теперь вдруг захотелось спросить, понравилась ли она ему во Фредерике). Это был Курилов; он стоял в коридоре и набивал трубку. Лиза сделала так, что они встретились. Освещение находилось за его спиной, и оттого он выглядел помолодевшим. Она откровенно сказала ему об этом.

Он засмеялся —

— Ну, в мои годы не стариться — это уже молодеть. Танцуете, играете, поете?

— Я читаю плохие стихи. Пытаюсь прославиться...

— У вас все впереди, товарищ. Ну, жизнь движется...?

— ... хорошо! — Она с профессиональным навыком тряхнула головой. — У меня был длительный отпуск. Я много прочла и, кажется, впервые в жизни крепко думала...

Их толкали, они стояли на самом проходе. Пробежали уборщицы с чаем. Проплыла какая-то второразрядная знаменитость, неся торжественно, как именной торт, громадный бюст, прикрытый двумя песцами. Пришлось зайти в читальню, а раз оказались стулья, — то и сесть. Беседа их проходила легко; и то, что он видел Лизу в минуту ее ужасной слабости, почти роднило их.

— Как идет подготовка к роли?

Лиза вспыхнула: видимо, он еще не забыл всего, что она наболтала ему в прошлый раз про Марию.

— Спасибо.

Он не подал виду, что заметил ее мгновенное смущенье. (— Ежедневно, ежечасно ей приходилось расплачиваться за свою болтливость —).

— Мне понравилось, как вы сказали в прошлый раз. Вы сказали... сейчас припомню точно... что в этой роли заключено ваше право на радость. Правильно: при социализме деятельность каждого будет средством доказать свое право на радость.

— Право на радость или на хлеб?

— Не путайте, заблудитесь. Право на хлеб дает всякий труд, но только творчество — право на радость... Словом, когда состоится спектакль? Запишите меня на контрамарку. Я крайне подвержен всему историческому.

В мыслях он представлялся ей старше и суровее; ее поразила и теперь резкая пристальность его взгляда, которую смягчала лишь улыбка, дружеская, снисходительная, совсем простая. Было бы бессмысленно лгать ему, он мог бы заподозреть худшее. Она постаралась замаскировать шуткой дурную новость о себе —

— Разве я вам не сказала? Ведь я ушла из театра.

— Разошлись в направлениях? — и посасывал незажженную трубку: в чистальне не курили.

— Да, этот театр далек от современности. И, кроме того, очень дурные традиции приютились там, — небрежно заметила Лиза. — Кстати, вы заметили, какой он неуютный?

— Он какой-то сарайстый!

Она обрадовалась—:

— Вот именно, вы заметили?

— ... и там дует из полу, — в тон ей заключил Курилов.

Насчет полов было сказано зря. Ей почудилась ирония. Она взглянула исподлобья и увидела, что он давно догадался обо всем. Ей оставалось только прыгать вниз; она сказала, ломая ногти:

— Мне ничто не удастся, Курилов. Должно быть, я бездарная. Обидно, что я рано узнала это...

— Вам открыли это люди... или это пришло изнутри?

— Люди злы, Курилов.

Он засмеялся, спросил, не с того ли дня она так думает о них, как Клавдия отчитала ее по телефону. В тот раз он плохо чувствовал себя, простудился: на паровозе проехался! (Эта версия стала у него теперь обиходной, она ни к чему не обязывала собеседника.)

— Неверно, товарищ! Если есть в тебе что-нибудь хорошее, в той же степени ты найдешь его и в других.

— ... и наоборот? — неожиданно спросила она.

— Конечно, его можно вырастить и в себе.

О, этот человек знал выход. Может быть, его-то она и искала? Признаки совпадали. Он был огромный, рябой, великодушный. И он спрашивал о всем так просто, как будто знал ее с детства:

— Где же вы теперь?

— Пока нигде, Курилов! — И усмехнулась. — Может быть, подамся на завод, в беловешвиную мастерскую. У меня мать говорила: для человека всегда найдется какой-нибудь омутишко недалеко.

— А что рекомендует муж? Вы говорили, что он тоже артист...

— Я рассталась и с ним.

— Тоже из-за разницы в направлениях?

Она пожала плечами, и лицо ее искажилось—:

— О, это была просто неудачная гастроль. Бросим это! — И поднялась. — Кстати, я ошиблась давеча. Вы не помолодели...

— Да, прокурился. Вот, собираюсь отдохнуть хоть раз за всю жизнь.

Вдруг он попросил у нее зеркала, сославшись на соринку, попавшую в глаз. С внезапным и жестоким любопытством он рассматривал себя, стараясь отыскать перемены. Он никогда не гляделся в зеркало, разве только в парикмахерской, да и там внимание уходило целиком на ловкие, почти бескостные руки мастера. На этот раз стекло обладало откровенностью того старичка, что собирался ехать в Барселону; оно не хотело ни лгать, ни льстить. Алексей Никитич вернул зеркало и на мгновение задержал ее руку.

— Слушайте, товарищ... ведь вас зовут Лиза? Мне уже отмечали, что у меня отличная память. Я буду звать вас так. На лыжах ходите?

— Нет.

— Зря, надо научиться. Вы рано стали уставать, чрезмерно поверили в себя, рванулись, и... стало нехорошо. Синячки под глазами! Вот что, Лиза. Я уезжаю на месяц в отпуск. Это четыреста с чем-то километров отсюда. Глушь, небо без копотинки... что касается тишины, то тишина просто экспортная! Единственный минус — газеты приходят черствые, на третий день. Называется Борщня. Хотите со мною в Борщню?

— Вы совсем поэт, — холодно сказала Лиза. — И слова-то у вас на этот счет какие!

— О, душа у меня тоже высококвалифицированная, — пошутил Алексей Никитич. — Соглашайтесь!

Тогда она резко выдернула руку из его руки. Ей знаком был этот вид атак. «Ого, и этот туда же!» Она спросила грубо, оскорбительно, напрямки:

— Будете жить со мною?

Его глаза сощурились, точно и хлестнули по глазам: себя или его хотела она

обидеть? Он спрятал трубочку в карман (—и на это у него ушло некоторое время), потом сказал обыкновенным голосом:

— Разумеется, мы будем жить в одном доме. Там много комнат. А если вы согласитесь организовать кружок из отдыхающих, то вам и платить не придется. Соглашайтесь, если хотите померзнуть, почитать, подумать о том, чего вы еще не додумали. Борщня — это много снега, книг и дров...

Ей стало стыдно, она струсила и колебалась—:

— Я позвоню вам по телефону.

Тут ее позвали на сцену. (Обычно она изображала провинциальную девочку, которая в бойких ребячливых стихах осмеивает трамвайные порядки и конференцию по разоружению. Ей хлопали, щадя ее молодость и награждая за сомнительное мужество выходить с таким номером.) Потом она возвращалась домой и все думала о предложении Курилова. Втайне она не верила ему. Курилов был коммунист, а эти люди ничего не делают зря: слишком коротка жизнь, слишком велики поставленные ими задачи. Чего хотел от нее этот человек? Или только ее малой песчинки нехватало в громадной бетономешалке века?.. Но выгоды были налицо. В Борщне она могла отдохнуть от философских бормотаний дяди и подергиваний петушиной занавески. Ради этого она поехала бы в любой чулан, лишь бы отапливался, да в окошечке неба клочок! Вдобавок, Курилов мог научить ее пониманию самых хитрых пружинок жизни; по ее мнению, этих мелочей ей только и недоставало всегда. И, наконец, Алексей Никитич состоял в близких отношениях с Тютчевым, директором Молодого театра. Этой организации пророчили блестящую будущность. Они ввели новшество, неизвестное прежде. Они отваживались менять строй спектакля по мере того, как старела его форма; таким образом, текст пьесы читался в нескольких толкованиях, и весь сезон становился ожесточенным вещественным диспутом режиссеров. Работники этого театра сразу приобретали известность. Лиза взирала на этот дом с затаенным восхи-

щением пороженской золушки, проходящей мимо омеличевских палат... Когда-нибудь в беседе с другом Курилов мог упомянуть мельком имя Похвисневой. О, что стоит для больших устроить праздник маленькому!

Отъезд был назначен через четыре дня. Накануне она передала Курилову телефонограмму своего согласия. «Халло, Курилов? Похвиснева. Еду.» У нее осталось такое чувство, что он забыл о своем приглашеньи; но потом оспенил, засмеялся и сказал, что это очень хорошо. Он обещал заехать за полчаса до отхода поезда. В этот же вечер Аркадий Гермогенович узнал, что племянница покидает его на целый месяц. Он понял так, что она испрашивает его разрешения.

— Что ж, поезжайте! Прекрасная мысль, я тоже всегда любил природу. Вы едете одна?

— Нет, дядя.

Старик принял такой вид, как если бы он отвечал за племянницу перед своею совестью—:

— Он... он приличный человек?

— Ты его знаешь. Это Курилов.

Он все еще вздрагивал при упоминании этого имени. И вдруг оказалось, что, несмотря на возраст, дядя продолжал оставагься толковым и дельным человеком—:

— Вот не знал!.. разве он холост?

Лиза вспыхнула, и никогда в таком гневе не видал ее старик. Она сорвала ситцевых петухов и бросила под ноги. Д о б р о т о л ю б и е, как тяжелая подстреленная птица, порхнуло в дальний угол светелки. Она кричала, что он не смеет, не смеет расспрашивать ее об этом. Она была готова разрыдаться—:

— ... тебе стыдно, стыдно. Ты старик! Это грязно, грязно...

По существу, она кричала сама на себя за бестактность, допущенную в разговоре с Куриловым; во всяком случае в этой вспышке сказалось все, передуманное за три дня. Аркадий Гермогенович внимал ей с повышенным любопытством. Впервые в голосе племянницы звучали драматические нотки. Точно сидел на репетиции, он полужакрыл глаза

и по вибрации ее голоса силился представить себе сухой блеск ее глаз. Он выждал конца лизина выступления—:

— Совсем, совсем неполохо, Лиза! Вы зря отказывались от роли. Но не увлекайтесь: соседи! Они могут подумать, что мы ссоримся. — Двумя минутами позже он продолжил допрос: — Как далеко вы отправляетесь с ним?

— Мы едем в Борщню, — ломая пальцы, сказала Лиза.

Тогда пришла очередь поволноваться и ему. Аркадий Гермогенович принял это слово с крайним недоверием; он переспросил, не ошиблась ли Лиза, и весь остаток вечера, притихший и маленький, просидел у окна, уставясь на свои игрушечные огороды. Время от времени он вскидывал голову чуть наискосок и как бы прислушивался к голосам извне. Какой-то очень длительный процесс получал сейчас свое завершение. Они легли спать в положенное время, но разволновавшиеся петухи шевелились еще долго после того, как Лиза заснула.

Ее разбудили посреди ночи; кто-то легко, почти бесплотно присел к ней на кровать. Это был дядя. Похрустывал его брезентовый балахон, накинутый вместо халатика. Старик показался Лизе суше и суровее обычного—:

— Не пугайтесь, Лиза, это я. Я разбудил вас по делу, которое вручаю только вам. Слушайте меня, я не хочу повторять. Есть зеркала, куда не глядят дважды...

— Тебе приснилось что-нибудь?.. какие зеркала?

Он даже не качнул головой в знак отрицанья; он просто не услышал ее.

— Завтра днем вы едете в Борщню. В этом месте — громадная выходит луна. В этом месте мне приснилась моя молодость. И там, по всем данным, похоронена женщина, которой я был верен всю жизнь. Я слишком поздно узнал, что был обманут ею. Было бы мудрее, если бы радостное незнание юности так и завершилось бы скорбным невежеством старости. Но враг мой сказал мне: надо же кому-нибудь быть и под кроватью, чтоб поведать миру о любви двух других. Я не хочу больше

произносить это имя. Не расспрашивайте ни о чем, не проговоритесь Курилову: я и сам осмелял себя! — Он сделал паузу.

Видно было, что он давно заучил эти слова. Уличный фонарь бросал колеблющиеся тени ветвей на промерзшее окно. Аркадий Гермогенович сидел как бы в саду, нарисованном на голых стенах. Брови старика нависли на самые глаза. И Лизе мнилось, что ее дядя разговаривает с призраками, обступившими его.

— ... там, в Борщне, есть кладбище. Однажды я поехал туда, чтобы отвезти на ее могилу свою ненависть, но судьба остановила меня на полпути, как евангельского Савла. Теперь все переменялось, и я прошу вас, Лиза, о другом. Ступайте от террасы вниз по аллее. Спуститесь к оврагу и от беседки поверните вправо. Среди старых лип вы увидите две урны на каменных столбах: ворота... Там похоронены все владельцы усадьбы за полтораста лет. Наверно, там же лежит и она, отыщите ее могилу. Ее зовут... — И он шопотом, в самое ухо Лизы произносит запретное имя. — Наклонитесь и шепните, что я простил их. Скажите, что, если бы эта женщина, оставшаяся для меня девушкой, пришла ко мне сейчас, я принял бы ее как сестру, я делился бы с нею всем, я поселил бы ее у себя, я...

Лиза приподнимается, и ей смешно: — Ну, вдвоем вы окончательно выкурили бы меня отсюда! — говорит она, зевая и потягиваясь.

— Вы поняли меня, Лиза. Вы стали достаточно взрослой для своих лет. У меня нет ни имущества, ни великих мыслей. Я уйду, не отяготив вас никакими завещаниями. Это все, чего я хочу от вас. И верьте, что это не только старческая прихоть: к этому сейчас целая, хоть и пустяковая, жизнь! — И Лиза вздрагивает, когда он почти горячечными пальцами касается ее обнаженного локтя.

... ей снится, что она в вагоне, который движется. Внезапно в тело вступает острая ознобляющая свежесть. «Это Черемшанск...» — произносит среди ночи Курилов. И Лизе странно, что

такой громадный, как жизнь, он может уместиться в тесном пространстве купе. Он нагибается к ней и, сонную, теплую, в одной рубашке, легко поднимает на самых кончиках пальцев, чтобы пронести через глубокий снег. «Ведь мы не делаем ничего дурного?» — шопотом спрашивает Лиза. Но она остерегается сказать ему, что за тонкой перегородкой подслушивает каждое их движение муж. Курилов, незримый и угадываемый лишь по сердцебиению, выносит Лизу наружу. Это даже не сон, а только расплывчатое ощущение наступающего перелома.

Борщина

Как похоже!.. Курилов стучит в дверь ее купе. Лиза спит, не раздеваясь. Печальны на стоянках паровозные голоса. Точно умываясь, кончиками пальцев она проводит по лицу. Все еще длится сон, приходится руками оттирать его от горящих щек. Проводник помогает ей спуститься. Она выходит на холод. Очень много снега и звезд. Высокий человек в кожаной куртке меряет шагами пустынную платформу.

— Это Черемшанск? — зевая, спрашивает Лиза.

— Это станция, гражданка. Самый город в двух километрах. — Он идет сбоку, пристально вглядываясь в лицо Лизы. Вкрадчивая наглость звучит в его голосе. — Кажется, теперь я узнал вас. Ведь вы актриса?

Вялая надежда заставляет ее улыбнуться—

— Наверно, вы видели меня в театре?

— Я видел вас на письменном столе у моего приятеля.

А ей-то пришло в голову спросонок, что ее жалкая слава могла проникнуть в такую глушь! Лиза крепче прижимает к груди свой бедный клеенчатый чемоданчик и поспешно отходит. Но, значит, у этого человека есть потребность удостовериться еще раз. Он идет и все глядит, глядит ей в лицо. Он ведет себя так, точно сделал находку, и еще не знает, куда приспособить ее.

— Вы так же хороши в жизни, как и на бумаге. Вы похожи на шахматную фигурку, и вас зовут Лиза. Правда?

— Уж не собираетесь ли вы ухаживать за мною сейчас?

... во-время появляется Курилов. Лиза слышит, как человек рапортует начальнику о благополучии своего депо. «Вы зря поднимались такую рань. Я еду в отпуск, — лениво говорит Курилов. — Приказ по дороге последует на-днях, товарищ...» И он произносит фамилию ее мужа. Лиза ежится, как будто ее застали на чем-то постыдном. Легко поверить несвежей головой, что Илья раздвоился, и пока один оглашает храпом московскую квартиру, другой, бессонный и переряженный, следит за нею. (Илья ревнив.) Мужчины говорят долго. Курилов недоверчиво смеется, держа этого человека за пуговицу. Лиза мерзнет, как забытая собачонка. Снежный дымок стелется по путям.

— Поехали, Лиза?

— Как мне хочется спа-ать, Курилов!

В потемках за водокачкой ждут ловкие санки. Успело запорошить их любяной кузовок, а под меховой полостью скопилась крупчатая стужа. Рядом поплясывает целая изба в тулупе... Она ввалилась на облучок. Визгнул полоз, свистнул кнут. Путешествие в Борщину — только повторение сна, но зыбкие символы его приобретают прочные, вещественные очертанья. Мороз обжигает ноздри. Дорога качается, и качается лизина голова. Изредка снежная ветка стегнет по рукаву. С глубоким вздохом, как всегда при пробуждении, Лиза открывает глаза. Спросонок мнится, будто тоненькой пилой отпиливают нос. Из-за спины возницы выбегают перелески. Пейзаж бесхитростно припахивает свежей рожкой и сенцом.

Курилов недогадлив: не попридержит за плечо. На крутом спуске сани занесло, и Лиза едва не вывалилась со всего раската. Их ноги соприкасаются, так теплее. Ее колени слабеют...

— Это еще нескоро, Курилов?

— Обопритесь на мое плечо и спите. Детям надо спать... — Остатки слов смывает сон.

Когда она снова открывает глаза, большой дом стоит среди деревьев. В нем темно. Сугробы по бокам его похожи на пенистые отвалы у корабельных бортов. Зеленая звезда, большая и добрая, стоит в зените... Они входят по скрипучим ступенькам. Домовитое тепло пахнет свежим, из печи, хлебом. Простоволосая женщина разводит приезжих по комнатам. Их номера 6 и 8. Ага, эти комнаты, считая промежуточную, выходят на один балкончик. Лиза срывает с себя одежду. «Покойной ночи всем, покойной ночи...» Так засыпают маленькие, подмяв под себя подушки.

... Старый дом остывал за ночь. Лиза вскочила и вспомнила все. Ледяная вода намочила завитки на затылке. Весь день она будет носить с собою этот бодрый холодок. В коридоре трещали печи и натекали лужицы с вязанок дров. Курилов уехал. Лиза выпила холодный чай. Лестница, помнившая тяжкую поступь Бланкенгагеля, поет и ухаёт под легкими шагами Лизы. Никто не попался по дороге. Отдыхающие разбрелись. Лиза распахнула стеклянную дверь и зажмурилась, точно лопату снега, перемешанного с солнцем, бросили в глаза. Все искрилось. Она заставала день во всем разгаре. Синие лыжные следы полукругами расходятся во все стороны от террасы.

Она прошла по разметенной аллее, озябла и вернулась. Кстати, позвонили к обеду. За столом находилось десять мужчин и шесть женщин. Лиза присела на уголке. Разговор шел о взаимоотношениях между транспортными и местными партийными организациями. Лиза удивилась оживленности их беседы. Курилова все не было. Как странно, что он не оставил даже записки!

— Вы из управления? — спросила соседка, передавая Лизе блюдо с мясом.

— Нет, я из театра... — и почему-то покраснела.

— А!.. вы инструктор? — и, оживясь, искала поддержки у других. — Вот хорошо...

Солидные люди поглядывали на нее с шутивным почтением. Лиза поднялась к себе. Молоденькая зашла к ней через

полчаса условиться, что именно они будут делать в драматическом кружке. Она была нетерпелива. Тем временем солнечный спектакль за окном окончился. В окно виднелась серая холстина давешних декораций. В доме было много сверчков. Когда зажигали свет, они начинали свои запечные песни. Вечер был длинный, как железная дорога. Лиза снова спустилась вниз. «Ну, будем знакомиться...»

Она поочередно обходит усадебные постройки. Дверей здесь не запирают нигде. В свинарнике ворочаются и хрюкают сытые, с'едобные чурки. Слабо сияет замерзшее окно. Сытые кони дремотно движут ушами. Нога мягко и звучно ступает по соломе. В узких стойлах вздыхают коровы. Кажется, старшая с содержанием рассказывает сестрам, что вчера опять по кормушке пробежала мышь. Новость заставляет насторожиться ее слушательниц. Теплый аромат навоза расширяет ноздри. Жирно, приторно, свежими сливками пахнет он. Улыбаясь, Лиза проходит дальше.

В длинной оранжерее такие же тишина и сумерки, как в ней самой. Знакомая звезда зеленоватая течет в крутой стеклянной крыше. Возможно, что она примерзла снаружи. Сизый многослойный дымок плывет над стеллажами. Топится боровок. Человек сидит возле на чурбаке; оранжевые блики скачут по его костяному лицу.

— Здравствуйте, — приветливо говорит Лиза. — Как угарно у вас. Цветам не вредно?

— ... зато для мошек хорошо, — не оборачиваясь произносит садовник. — Не досмотришь, нынешние мошки все с'едят. В клопу хоть совесть есть. Клоп не любит, как на него пристально посмотреть. Он стесняется, а эти... — И он кивает куда-то в сторону своих богатств, бесчисленного количества зимних цинеррарий и примул; зеленоватый свет звезды мерцает на венчиках цветов.

Садовник молчит. И оттого, что поза его, точно беседует с огнем, соответствует настроенью Лизы, нет ей сейчас человека ближе, чем он, чужой.

— У меня нет никакого дела. Можно мне посидеть у вас?

— А садись... — И второй чурбачок волшебю выкатывается из потемок.

Печной жар властно охватывает лизины ноги. Двое молча наблюдают последние метания огня. Как и все в мире, он не вещь, а только процесс. Оранжевая мышца огня встает из пепла и никнет. Пламенная судорога пробегает по раскаленному уголькам. «Как гордо умираешь ты, огонь!»

— Так в одиночку и сидите здесь?

— Зима, все повяло. А придет пора, все оденется... — Он говорит еще много, как бы сам с собою, и смысл его путаной речи в том, что в одиночестве приходится черпать из себя; тут-то и узнаешь, много ли внутри накоплено. — Одному побыть, все едино, что девушке в зеркальце посмотреться...

Короткий и горький опыт дня заставляет ее согласиться без оговорок. Как много было ошибок! В одно дыханье не вскинешься на самую вершину. И, вот, оранжерея представляется длинной залой, где лежат мертвые, подобранные на улице или покончившие с собой. Лиза мысленно проходит среди них; они лежат к ней пятками, и на одной — пометка чернильным карандашом. Номера совпадают. «Так это ты, Закурдаев?» И все это сложное ощущение — растерянная вера в зеленоватую звезду, испуг перед неизвестным, отвращение к Закурдаеву, страх перед ласками Протоклитова, — все это жестокой силой впессовано в одну самовольную слезинку. За первой следует вторая. Лизины плечи вздрагивают. Она плачет. Никто не останавливает ее.

— Обидел кто-нибудь? — не шевельясь, спрашивает садовник.

— Нет, я сама.

— А то зря! У каждого понемножку. Иной от болезни, иной оттого, что денег мало. А я, так от жены...

Он папирску скручивает и пальцами берет на прикурку ползатухший уголек. И по всему, а больше всего по медленности слов видно, что впервые объединяются вслух его разрозненные воспоминания.

— ... По военному времени произошло. Под Карпатами в три дня полушили нашу бригадку, ровно семячки. Война

только начиналась, патронов богато, на родинку еще боле. Сигнали нас с разных рот человек полтора, которые поделее, гонят наступать. А местность — чуть покажемся, лупят нас со всех горок. У меня приятель был, Гречишнев Василь Адрианыч, вояка тоже, вроде меня. «Пойдем, — говорю, — убеждают наступать. Затягивай ура, а я подтяну». А он ску-ушный стоит: «Мочи нет, мутит меня... лучше бы сам на штык сел». — «Тогда, — говорю, — не гонимся мы в ерои. Давай сматываться: войны без плена не бывает!» А уж пальба пошла, роняют нашего брата бессчетно. Прапор наш, такой кипучий парнишечка, уж лежит, и лицо, скажи, поко-ойное, точно в санаторий попал. Ну, значит, он нас не видит! Мы в кусты, орем, пустое место штыками шпыняем. До вечера ходили, никто в плен не берет. Под конец отвел нас по назначению один добрый человек, дай ему бог здоровья!

Садовник мешает жар в боровке и бережно, точно золотинки, собирает с земли упавшие угольки.

— Лагерь наш был небольшой, а работа большая, а еда маленькая. Всякую отборную нечистоту заставляли работать. Видно, хуже падали пленный-то солдат! А у меня жена молоденькая была, только три месяца и пожили, ознакомиться не успели. Решился я тогда на рискованное дело, благо охранено — ну, ровно медведя на нитке стеречь! Да тут застрелили одного при побеге, одумался. Прибегу, все равно ведь на позицию отошлют. Надо, значит, ждать, пока уж остальные не насытятся. Со временем трое нас образовалось, альянс! Один был с нами, очень хороший человек, хоть и черный (— а во рту между тем, мы смотрели, красно, как у прочих!). Смешил всех очень. Начертит на земле свою Африку, и обьяняет по чертежу, как его адрес. Есть такой остров Мадагаскар, слышала? Так он проживал налево от него, у соседнего моря. Потом усы да глаз приделает к чертежу, получается вроде турка. И на самого тоже очень похоже. Сам же и зальется хохотком, а мы ему вторим, как на клиросе. Надо сказать, наречие у них похоже, только слова по-другому

мией; надо было энергично ударять кулаком по резиновой груше, чтоб исторгнуть ржавый кашель. Природа содрогалась вокруг, и на лицах пассажиров было написано изумление. Смельчаков было трое; кроме Курилова, Лиза не знала никого. Он закричал что-то, неразличимое за грохотом движения. Машина остановилась. Лиза узнала, что за рулем сидел сам директор, Струнников, а соседом Курилова был Шамин, секретарь районного комитета молодежи. Через две минуты машина уже примерзла. Ее подталкивали, заводили рукояткой, поочередно пробуя силы, но в старости любой машины есть что-то от лошадиной старости. Было легкомыслием останавливать ее до места назначения. Директор Костя ссылался на качество бензина. Никто не возражал ему; его любили, а до дома было недалеко.

Чтобы не отставать, Лиза пошла пешком. Она испытала истинное облегчение, когда Шамин предложил ей нести лыжи. На нем был нагольный, весь в заплатках и коробом, полушубок; Шамин был очень высок; у Лизы заболела шея говорить с ним. Выяснилось, что в Черемшанске происходила партийная конференция, и Шамин по телефону уговорил Алексея Никитича выступить. Курилов сказал отличную речь и, говоря о будущем, отыскал хорошие образы, тем более увлекательные, что фантастика их исходила из уже достигнутых цифр.

— Он очень интересный человек, — на всякий случай подтвердила Лиза.

— Да... и можете представить, что случилось с нашими хозяйственниками и кооператорами, когда он нарисовал приблизительные масштабы нашего будущего хозяйства!

— У нас мечтают все больше по линии насыщенного хлеба, — осторожно заметила Лиза и поглядела на Шамина, не обиделся ли. — А разве будущий человек будет съедать больше, чем ему нужно теперь?

Шамин говорил бегло, точно читал по книжке—:

— Речь идет не только о пище. Мы хотим освободить человека из подчинения слепым стихиям. Он давно выстра-

дал право на лучшую участь; ему осталось только завоевать ее. Мы жадные, мы хотим много. Арктический лед и океанская буря, ход времени и самая смерть будут служить ему и ждать, когда им прикажут действовать!

Для убедительности он даже потряс за плечо Лизу, и той понравилось. Шамин горячился, длиннорукый, непримиримый, запальчивый. «Такого братом хорошо иметь!»

— Вы бы валенки лучше отдали подшить, — засмеялась она.

Он ответил совсем по-мальчишески:

— А у вас ресницы совсем белые от инея. Кстати, это у вас настоящие ресницы?

У Лизы они были выгнуты вверх. Лиза скорее догадалась по тяжести их, чем увидела, что они такие же пушистые, как все вокруг. Он объяснил свой вопрос—:

— Говорят, на Западе их делают меховые... чем-то обклеивают. Мыться уже нельзя, а только щеточкой. Вот бы взглянуть! Вы, небось, слышали, ведь вы артистка?

Совсем легко было говорить с этим открытым долговязым парнем—:

— Была, Шамин, но выгнали.

— Сказано честно, но непонятно. Что же, за плохую игру?

— По совокупности обстоятельств... Вы потрите нос себе, он совсем побелел!

Шамин стал действовать, и хотя варежка была зеленая, как трава, все краснее становился нос.

— Что же вы намереваетесь поделывать?

— Искать применения непонятой гениальности. Пока спросу особого нет. — Она могла позволить себе однажды даже такую искренность; завтра Шамин укатит, завтра он ее забудет! — Вот сижу, как паучиха, и подкарауливаю...

Шамин усмехнулся и промолчал. Стал виден дом, дымки над ним. Лиза шла и дудела какой-то марш. Мерзлая ворона, вся в белом, валялась на дороге; валенок Шамина коснулся ее, и она упорхнула в сугроб.

— Что же вы замолчали? — спросил Шамин.

— Я думаю. Итак, сперва хлеб. Хлеб в широком смысле. А когда счастье? Тот с досады пожал плечами—:

— Меня всегда сердит это слово. Оно не имеет никакого социального значения. Одни видят его в ежедневной булке с маслом, другие в собирании музейной ветоши. И если счастье — производная многих вещей, которые очень скоро мы научимся изготавливать комплектами, следовательно, счастливы будут все. Боюсь, что человеку все-таки будет мало. Счастье — переменная функция.

— Все будут счастливы, — машинально повторила Лиза.

— Скажем, вам нужно платье. Пожалуйста!.. приготовить пред'явительнице трудовой книжки номер такой-то платье. Штанка, размер сорок восемь, глаза... Какого цвета у вас глаза?

— Зачем же вам глаза?

— Кажется, женщины ориентируются в этом деле на цвет глаз... Или, положим, вас заинтересовал Южный полюс при лунном освещении. Вы собираетесь на аэродром, усаживааетесь вместе с чудаками вашего сорта в некую ракетную таратайку. «Прислонитесь к подушкам. Полный газ!.. Готово, прошу закутаться плотнее. Обратите внимание на зеленоватое свечение льдов. Не оступитесь, здесь обрыв в океан». Затем небольшая лекция о полярном животноводстве, чашка кофе или медвежья котлета для полноты впечатления — и домой! Гражданка имеет третье желание, которого я не угадал? — И он с видом чародея, торгующего чудесами в розницу, потер руки при этом.

— Вы все шутите. А у меня, действительно, есть заявка на будущее.

— Прошу вас, заказывайте! — Он комично раскинул руками, точно стоял за прилавком обширного универмага человеческих удовольствий. — Наше учреждение обслуживает клиентов, вполне полагаясь на их добропорядочность и скромность. К тому времени станет стыдной и излишней птичья хлопотливость о самом себе... Итак, я жду вашей заявки!

— Хорошо, вот... — И, произнесенное вслух, это давнее желание отпадало

прочь, как омертвевшая шкурка при линьке. — Я хотела бы сыграть Марию Стюарт.

Шамин быстро нашелся —:

— Прочтите, пожалуйста, вслух пункт второй на обороте вашего клиентского билета. Там сказано, что счастье каждого индивидуума должно быть согласовано со счастьем других. Я правильно прочел? Ваш спектакль состоится в зависимости от того, составит ли он удовольствие для ваших зрителей, найдется ли у вас сказать новое об этом образе. Кстати, зачем вам понадобилась эта мрачная средневековая дама? Ищите что-нибудь поближе.

— Например...?

— Хотите приехать к нам в Черемшанск? Мне нужны восемь руководителей драматических кружков... а откуда их взять? Харч у нас дешевый, ребята отличные, климат, как видите, также живописный. Мне нравится, как вы давеча отщелкали себя. Нам такие подходят... а?

— Я боюсь, что у меня ничего не выйдет. Я мало умею.

— Мы не торопим вас с ответом, — улыбнулся он, относя ее сомнения за счет осторожности.

Дорога окончилась. И когда они поднимались к воротам, мимо промчался какой-то клубок тряпья. Сверкнули напуганные глаза в чумазом лице да еще руки — не меньше десяти, так быстро он размахивал ими. За ним гнались, и, не отступив Шамин во-время, лежать бы долговязому на снегу. Все произошло, как в кино. Мальчишка скользнул по наледи вниз и забарахтался в куриловских объятьях. Он уже не бежать хотел, а только спрятаться от расправы. На том месте черной куриловской шинели, куда пришелся его рот, сразу образовалась инейное пятно. Их окружили. Из перекрестных криков выяснилось, что беспризорник обокрал борщнинского завхоза. Похищенное нашли, за исключением дамских рукавичек. Сам пострадавший был тут же, в теплом свитере и новеньких, еще не отоптанных бурках. Все расступились, давая ему почет и место: мальчишка принадлежал безраздельно ему одному. Тяжелая, как бы не-

уверенная в своих правах, рука потянулась к грязным, обмороженным ушам воришки. Курилов брезгливо оттолкнул этот инструмент казни, и тотчас же завхоз вскинул на него мутные глаза—:

— Зря ребенка балуете, товарищ Курилов. Этак все мы красть будем, все... — И пятнами гнева стало подмокать его лицо. Должно быть, уже не впервые мешали ему свершить акт справедливости. Нужно было как-нибудь побольнее обидеть Курилова. Его голос взвился до фальцета: — я на вас Мартинсону стану жаловаться...

Алексей Никитич строго посмотрел на этого человека. Из всех собственников, каких ему доводилось встречать, этот был самым крикливым. (И, значит, всем уже стало известно о возможном уходе Курилова с дороги?) Затаясь, ждали, не обмолвится ли завхоз и о характере куриловской провинности, но тот молчал, напуганный собственной дерзостью. Разочарованно они разошлись. Последней с места происшествия удалась Лиза. Она прошла к себе и заперлась. Давний, почти забытый вкус украденной репки жег ее язык. Через час она отправилась к Курилову. Дверь была закрыта, и напрасно пыталась Лиза прочесть по неразборчивым звукам, что происходило в комнате. Ее спугнула уборщица, она несла миску дымящихся щей. В короткую долю минуты, пока раскрывалась дверь, Лиза успела разглядеть все. Мальчишка сидел в углу, скомканный, точно завязанный в узел, и развязать его пытался всякими способами Алексей Никитич. В старомобразном, плохо отмытом лице пленника были написаны жесточение и упорство. Просторная куриловская рубаша была ему, наверно, хуже кандалов... Именно так чувствовала бы себя Лиза в его положении.

Она вернулась к себе. До самого вечера не читалось. И не запоздалую благодарность к устеремскому огороднику испытала она теперь, а лишь ироническое удивление, почему не ударил, раз сошло бы безнаказанно!.. Перед ужином Курилов зашел за нею. Он осведомился, как она устроилась в Боршне, и долго раскуривал трубку.

— Устал, — признался он потом. — Выяснилось: звать Гаврилой, а Гавриле десять лет. Совершенный хорек. Ему хлеба, а он тебя... — И с усмешкой рассматривал руки, исцарапанные в утренней суматохе.

— Как люди к нему, так и он к людям. Квиты!.. этот все равно от вас убежит. А надо, чтоб сам пришел, вот! Я это дело хорошо понимаю.

— У вас было, повидимому, неважное детство, Лиза!

— Тоже крала. Тогда плохо подавали, да и стыдно было просить. Красть легко, Курилов.

— Давайте уж до конца! Оглянитесь... неужели ни одного стоящего человека не попадалось вам?

— Кроме вас?

Он забрал усы в кулак и хмуро мям их.

— Обо мне вы рано составили суждение. Думали, что вместе с другими я линчевать примусь этого зверка? Во-первых, у нас на этот счет строго... А во-вторых... Скажите, муж не помог вам изменить суждение о людях?

— Я всегда боялась его. Хотелось замуриться, когда он приближался. И я болтала, болтала при нем, только бы доказать, что я существую, несмотря на его присутствие!

— Зачем же вы сделали его своим мужем?

Она сказала, растерявшись:

— Уж какой достался...

Зазвонили к ужину. Алексей Никитич пошел взглянуть, «спит ли бесценное Гаврило». Лиза ждала его в коридоре. Пискнуло что-то в стене и немедленно откликнулось в комнате напротив. Потом сразу в два голоса отозвалось в противоположном конце, где печка, и побежало вниз по лестнице и вернулось назад, вспыхивая то здесь, то там.

Начинался вечерний концерт сверчков.

В Черемшанске

В январе увеличивалось количество дорожных происшествий. На Волго-Ревизанской в большинстве это были случаи снежных заносов. Каким бы маршрутом ни отправлялась буря, террито-

рия дороги неизменно оказывалась на ее пути. В эту пору черемшанские начальники поднимались задолго до света, чтобы обойти свое хозяйство к семи-часовому гудку.

Каменные постройки ремонтных мастерских разместились у подножья лесистого холма. Все вокруг них пропиталось гарью и копотью, даже снег, всегда припудренный тонким слоем угля, даже тощие бальзамы в барачных окнах, даже дети, чумазое племя будущих паровозных мастеров. Но там, на горе, если из всполья глядеть поверх деповских крыш, призрачно светился станционный поселок, и окна в луне казались слюдяными. Свежие, еще пахучие срубы ступенчато поднимались по склону горы, раскиданные среди редких, взбежистых сосен. Незаметно они переходили в циклопические нагромождения ночных облаков, пронизанных лунным сиянием. Они выглядели тогда, как видение простодушного мечтателя о будущей беспечальной жизни, выращенное в сернистом, удушливом тумане. Крутая деревянная лестница сводила оттуда в беспокойное, изрезанное рельсами пространство; в них никогда не переставал звучать отголосок колес. И каким бы хлопотливым ни намечался день, Протоклитов всегда на минуту задерживался здесь: где-то внизу караулил его Курилов.

Держась за обледенелые поручни, он вглядывался в низину перед собою, полую чадных и блуждающих огней, неистовых машинных дыханий и дребезга снующих колес, — загроможденную силуэтами чудовищ с горбами и гривами из непрозрачного дыма, — насыщенную резкой, ахроматической гаммой металлических голосов и, вместе с тем, легким снежным хрустом, отдаленно напоминающим о молодости. — Еще до зорьки рано, еще глеет в диспетчерской башне огонек... но с пятого пути, судя по сигнальным приметам и лязгу сцепки, отправлялся товарный маршрут на Воронеж; медленно, останавливаясь у каждого вагона, полз односторонний, белого стекла фонарь: главный кондуктор списывал их номера. Третий путь ждал пассажирского из Сибири, а на

шестом зеленый семафор, похожий на глазок павлиньего пера, приглашал войти ЧеэНку, чернорабочую машину, разтаскивающую порожняк (—сортировочной горки в Черемшанске не имелось). Другой маневровый настойчивым пунктирным свистком просился на второй путь, потому что местного сообщения из Улган-Урмана ежеминутно мог ударить ему в хвост. Сердился машинист, а стрелочник все медлил. «Чего кричишь, пускаю на второй...» — проиграл он на рожке и фонарем двойную, над самой землей, показал дугу: паровоз шел тендером вперед. Тотчас же из четвертых, крайних ворот депо, сыто храпя и подрагивая на стрелках, вышла громадная машина серии КУ, угадываемая лишь по глубокому выходу поршней да по могучему, приподнятому над тележкой тorsi. Пар гремел, и Глеб записал в памяти дату при встрече нагоняй дежурному кочегару за разогрев котла свыше законных двенадцати атмосфер. Итак, готовили сменный паровоз под новосибирский, дальнего следования. Он приходил в 6,40; меньше получаса оставалось до гудка. — Так, стоя на тридцатиметровой высоте, Глеб читал события ночи по движениям огней и разноголосице звуков, угловато начертанных на тишине.

Этот поезд с востока неизменно приносил с собою мучительное и тревожное смущенье. Его многоголосый гудок, где бы ни заставал, напоминал Глебу о длинном пути, который когда-то сам прошел пешком, и невозможно было противиться этому властному голосу, как зову друга, с кем однажды поделены были радость или разочарованье. Всякий раз, как с грохотом пара в золотниках, дико и неохотно останавливался у платформы паровоз, Глеб испытывал безотчетную потребность вскочить в последний вагон и заново проехать в прошлое. Хотелось вложить пальцы в зловещие отметины его, лишь бы еще и еще раз удостовериться, что сам он остался жить... Поддаваясь искушению, безотчетному и более сильному на этот раз, он стал торопливо спускаться вниз. Где-то слева и вдалеке пропел паровозный гудок и сверкнули стремитель-

ные огни. Глеб бежал вниз, прыгая через ступеньки, разрывая варежки о снег, намерзший на поручнях. Прошное приближалось, и Глебу требовалось прикоснуться к нему, чтобы с животным ликованием отдернуть руку. Никто не видел его, совсем не тормозила воля. Вокзал находился на противоположной стороне станционной территории. Глеб добрался до него за мгновение перед тем, как вагоны, скрежеща в сцепленьях, остановились у платформы.

Там, возле забитого снегом палисадника, стояли кипы рогожных кулей, заготовленные под хлеб. Прислонясь спиной к ним, Глеб наблюдал суматоху, обычную для прибывающего поезда. Из предпоследнего вагона вывалились сперва корзины и мешки, и, следом, четверо мужиков с физиономьями, залежанными с одной стороны. Тот же плоский отпечаток досок, на которых они лежали, сохранился и на самых их фигурах. Скрипя овчинами, они прошли мимо. Еще двое каких-то, бессонных, вышли подышать морозцем. Они равнодушно глядели, как бегал смазчик вдоль всего состава, как везли какие-то тюки к багажному вагону. Потом из третьего от головы вагона вышел человек в меховой куртке и с видом озабоченной праздности побрел по платформе. Он дважды прошел мимо Глеба, прежде чем рискнул заговорить с ним. Очень осторожно он осведомился, попрежнему ли работает в местном депо Протоклитов...

Эта встреча стоила куриловского выстрела! Прошное откликнулось на вызов и посылало своего гонца. Перед Глебом стоял Кормилицын. Была еще возможность спрятаться, избегнуть этой встречи; Кормилицын не сразу опознал лицо приятеля под приспущенной на самые глаза кубанкой; самое удивление выдало Глеба.

— Ты же утонул! — и с суеверным чувством, точно защищался, вытянул руку.

Тот засмеялся возбужденно, обрадованно, — это был повизгивающий смешок животного, отыскавшего, наконец, своего хозяина.

— Ого, ты веришь в привидения! — И смаху хлопнул по плечу в знак того,

что не обиделся на оговорку. — Ничего, я постараюсь утонуть в следующий раз. Ну-ка, покажись мне весь. Да ты совсем молодцом, Глебушка. Ты пахнешь копотью... Индустрия! — и деланно похотал, озабоченный молчанием приятеля.

Высокий, на мачте, фонарь помог Глебу разглядеть это серое, небритое, со впадинами на щеках, лицо. Кормилицын отяжелел и осутулел за эти годы, но еще болела рука от его рукопожатия. Острая, хрипая нотка какого-то крайнего ожесточения то-и-дело сквозила в тоне его речи. Он говорил много и часто, деликатно давая Глебу время оправиться; он отмечал необыкновенную молоджавость Глеба, сочувствовал его одиночеству, хвалил его житейскую хватку; он пытался шутить без всякого повода, и уже через три минуты его болтовни стало раздражать Глеба это неуместное и беспричинное балагурство.

— Ты далеко едешь?

Тот развел руками —

— Все зависит от попутных обстоятельств. Я ведь теперь бобыль, Глебушка. Старушка моя скапутилась ко всем чертям, а Зоська... Я не писал тебе про эту гадину? — Он весь сжался, закрыл лицо рукою, и такая сила была в этой судороге, что Глеб не удивился бы, если бы он и разрыдался, уткнувшись в мерзлые рогожные кули. Стремясь предотвратить припадок, Глеб брезгливо коснулся его плеча, и этот вынужденный жест тот понял как выражение сочувствия и ласки.

— Все мне безразлично теперь, Глебушка... все, кроме дружбы! Видишь ли, у меня нет тайн от тебя. Спуталась моя Зоська с агрономом одним. Носатый, черный и имя зверское, точно из апокалипсиса... Экзакустодин, каково имячко. а? Парень раза в полтора меня выше. Э. она у меня всегда сластена была! — Он поперхнулся своей тоской, схватил руку Глеба и жалко, искательно просовывал пальцы к нему в рукав, добираясь до тепла. — Тут я и запил, весь чирьями покрывлся, с работы меня выгнали. Компаньон вскоре у меня отыскался. Он был лютый бас, в опере пел. а ему по пьяному делу палкой по горлу

стукнули. Должно быть, хрящик какой повредился. Ну, и с'ежился его бас... Коленкой-то ведь не споешь или другим каким местом. Не споешь, Глебушка, а?

Глеб глядел куда-то в направлении головной части поезда —:

— Очень интересно, если не врешь... — цедил он и уже сердился, что так долго не прицепляют паровоза. Их могли увидеть вместе... и все-таки он поддерживал разговор, лишь бы не расставаться с врагами. — А я очень удивился твоему письму, Евгений!

— Это, что я утоп-то? А ты и поверил, чудо-юдо! Кто же купается в октябре, милая душа! Что я, меховой, что ли, или непромокаемый?.. Не сердись, но мне показалось, что ты тяготишься мною. Я и порешил стать для тебя мертвым, чтоб доставить тебе спокойствие. Эту приписку я сам же и устроил зоськиной рукой... (Понюхай, понюхай, рожи-то на морозе фиалками пахнут!) А потом устыдился, что так дурно подумал о тебе. Словом, самый факт, что заявляюсь к тебе теперь, рассматривай как меру моего раскаянья и дружбы!..

— Я не в том смысле, Евгений, — вставил Глеб, стремясь застраховать себя от писем на будущие времена. — Но ты написал неосторожные вещи в письме.

Кормилицын с видом заговорщика нахмурил брови —:

— Ты думаешь?.. пожалуй, ты и прав. Теперь развелось много любознательных...

Глеб нетерпеливо перебил его:

— ... И не опоздай, Евгений. Поезд простоит не дольше полминуты...

Бригадный кондуктор уже держал готове свисток; машинист выглядывал из будки (— и страшно было видеть, что делала с ним зевота). И тут оказалось, что Кормилицын куда не торопился. О, его планы не нарушатся, если в дальнейший путь он отправится и вечером. И вообще было законно, если бы Глеб пригрел на денек и накормил его, сорокалетнего, без папы и мамы, сироту. Это было сказано в том смысле, что, как бы далеко ни разошлись они по ступенькам общественной лестни-

цы, солдат всегда имеет право притти к солдату, с которым делили когда-то сноп гнилой окопной соломы, — хотя бы затем, чтобы молча просидеть у него час. И такая пристальность, почти приказание читалось в его взоре, мимолетном и угрожающем, что Глеб не порешился раздражать попусту этого подбитого человечка.

— ... конечно, — сказал он с неискренним оживлением, — я рад поболтать с тобой. Но твоя багаж...?

— Он в карманах! — И с хвастовством нищего показал пустые руки.

— У тебя нет ничего?

— У меня нет ничего. Сокровища мои остались у Зоськи. Понимаешь, даже бритва... Хотел к прокурору, но мне отсоветовали...

Так было даже лучше; с вещами он обращал бы на себя внимание.

— Отлично. Ступай, я вернусь тотчас после обхода депо... — И только когда стало уже не догнать последнего вагона, передал ключи и, по чертежу на снегу, объяснил, как найти его дом на горе. — Но постарайся обойтись без расписов!

Они возвращались сквозь игольчатый утренний мороз, поочередно перекидываясь через тормозные площадки, обмениваясь всякими замечаниями, — как ходили много раз и прежде, с тою лишь разницей, что теперь никто не пугался встречи с ними да не очень удавалась былая искренность... Тем временем стало рассветать. Вступал в действие громоздкий механизм дорожного дня, и все жило ожиданием близкой смены. Густой сонливый дым стоял над депо; еще светились непотушенные, закопченные за ночь фонари, но уже подвигалось низкое, помойного цвета небо; громыхал в потемках маневрирующий порожняк; с перебранкой бежали станционные люди, неразговорчивое, всегда невыспавшееся племя; кошка с опаской пробиралась по путям, и, вот, по-галчиному галдя, уже связывали мальчишки свои санки верху горы, чтобы дружным поездом скатиться вниз.

У депо, где чистился над канавой паровоз, доставивший Кормилицына, друзья расстались. С минуту Глеб

исподлобья следил, как, развинченной походкой и чуть горбясь, гость его поднимался в гору. Он шел, не торопясь, должен быть, руками и глазом ощупывая этот совсем незнакомый ему мир, и, новичок, всем уступал дорогу. Вот он поскользнулся на обледенелой ступеньке, но не упал; вот проводил глазами ораву ребятишек, восторженно низвергавшихся по укатанному склону горы. Может быть, ощутив физическую тяжесть протоклитовского взгляда, он обернулся и что-то кричал, приветственно помахивая шапкой. Этими жестами дружбы и близости он просил его не задерживаться в депо. Тогда Глеб повернулся спиной к нему и перед самым носом входящего паровоза нырнул в черный зев деповских ворот.

Тотчас же, как будто только его и ждали, взревел глуховатый утренний гудок.

Депо

В этот ранний час утра депо представлялось огромными четырехугольными потемками, со всех сторон обложенными черным камнем. Ощутимые даже сквозь кожанку, бродили в нем рассветные сквознячки. Подобно металлическим брускам под потолком, они связывали воедино разрозненные впечатления об этом сводчатом и нежилом пространстве. Депо состояло из шести секций; каждую из них промывные каналы делили на ряд стоек, и в них, с плотностью поршней вдвинутые в полутьму, покоились недвижимые тела машин. Иные стояли без колес, поднятые на домкратах для обточки, другие как бы зевали разверстыми дымовыми коробками, и видны были расплосованные светом их черные трубчатые внутренности. Оживление начиналось по мере того, как очередная смена заступала свое место. В прокоптелых воронках на потолке зажигался неверный, чумазый свет, и в сознании отпечатлевались не целостные предметы, как привык мыслить о них разум, а лишь искромсанные части их, попавшие в тусклые, качающиеся световые конуса. По числу лампионов таких кусков в первом помещении, куда вошел Глеб, было четыре.

Можно было бы обобщить наблюденье и показать, как меняется выражение мира в зависимости от того, освещен ли он ущербной луной, или вспышкой шрапнели, или тленом угасающего костра. С равным правом запах мог лечь в основу описанья, и тогда краской служил бы даже едкий смрад горелой пакли или ядовитый дымок паровозов, стоящих под заправкой, или щекотная смесь пара и перегретого мазута. С меньшей выразительностью и звук способен был оформить очертания деповского утра. Тогда в звуковой путанице ухо различило бы шумы трудовых процессов — скрежет сверл или вкрадчивый шелест трансмиссий, или визг напилка, наложенного на подшипниковую бронзу... Подавленное настроенье Глеба могло стать таким же оформителем впечатлений. И хотя пока ничего преступного не произошло там, на платформе, никогда чувство вины не обострялось в нем до такой степени. Оно придавало подчеркнутую новизну этому месту, знакомому ему до отвращения. Так снова он ощутил сернистый привкус угольной гари на языке... Вдруг он вопросительно вскинул голову.

Он услышал простенькую, в пределах одной октавы, мелодию, затейливо выписанную на шумовом фоне депо. Где-то здесь, среди дремлющих и параличных машин, пели дрожкие латунные язычки. И оттого, что сразу не поддавались разгадке ни инструмент, ни самая песенка, раздражение Глеба усилилось. Стремясь доискаться до причины, он вступил в ближайший световой круг. Мелкий, частый грохот передался ему одновременно и через ноги, и через ухо. Человек с отбойным молотком приник к дымогарной решетке; он вальцевал трубы. Гудело гулкое чрево котла (— но песенка была слышнее!). Мастер поздоровался с начальником, и начальник отошел. Такой же паровозный хирург сидел на горбу другой машины, копаясь в сухопарном колпаке. Факелок, похожий на чайничек, пылал сбоку. Оранжевые, текучие отблески его глянцевели в засаленных штанах мастера, и заплаты на них были как бы из красной меди. Самое лицо его исчезало в потемках, но вот блес-

нули зубы, и Глеб понял, что тот улыбнулся.

— Стараются, татаре-то... всю ночь малярили! — И показал на соседнюю секцию, откуда доносилось шипенье пара и исходило голубоватое свечение. — Точно невесту обряжают. На такую, Глеб Игнатич, во всем Черемшанске кобла не сыщешь!

Смысл его замечания был зlostный, непонятный и постыдный.

— Я не люблю твоих прибауток, Гашин, — сдержанно заметил Глеб, — и давно держу тебя на примете!

Мастер засмеялся, с низменным воодушевлением сдернул с себя шапку, и странно было видеть, что прическа у него слежалась в виде кепки. Смешок означал, что ему известны пределы его власти и что ссориться с ним не следует.

— Еще бы не приметить: место тесное. Я и не такое за тобою примечал, Глеб Игнатич! — и тихонько постукивал молоточком по балансу, а намека своего не разъяснил.

Было унизительно стоять перед ним и ждать, не проговорится ли; вместе с тем нехватало силы повернуться и уйти. Держа руки в карманах, Глеб молча всматривался в лицо самого опасного из врагов (— так ему тогда казалось) и старался припомнить, при каких обстоятельствах они встречались раньше.

— ... и скажем прямо, шалят ребята, и оттого непременно что-нибудь у них случится!

Ясно, этот человек приложил бы все старания к тому, чтобы пророчество его оправдалось. Ему прямой был смысл противиться выпуску комсомольского паровоза. Когда-то эта машина находилась в его ведении, пока за неоднократный обрыв поездов в пути не перевели его с правого крыла на левое, а затем и вовсе сняли с паровоза по настоянию молодежи. Глеб хорошо знал, кто именно бросил горсть песка в цилиндры паровоза и каким образом угольная лопатка оказалась в дымовой его коробке. Но это был единственный человек в депо, на которого не подымалась карающая рука Протоклитова. Считали даже, что Гашин находится под особым бла-

говолением начальника депо, и удивлялись вслух, когда тот не сумел отстоять любимца. Надо было уйти куда-нибудь от этих нестерпимо-дерзких глаз, но последнее, приличное для начальника слово не подыскивалось. Зная отношение Протоклитова к начинанию комсомольцев, Гашин видел в нем прямого сообщника и ворчливую сдержанность начальника принимал за намерение держать его, Гашина, на почтительном расстоянии от себя. В этом месте опять зазвучала давешняя мелодия, и тогда Глеб машинально обернулся к соседней секции депо. Он заглянул. —

У окна происходила автогенная сварка. Догадались отставить защитную ширму, чтобы воспользоваться этим дополнительным освещением. Сиянье горячей кислородной струи во много раз пересиливало рассветные сумерки. Окна казались темными, хотя уже окончательно рассвело. И, празднично сверкая в этом пульсирующем свете, стоял посреди комсомольский паровоз. Потребовалось ввести эту громадную вещь в такое тесное пространство, чтобы явственной стали ее могучие размеры и возможности. То была гордая и красивая машина серии ЭШ, № 4019, пятискатная, с заново отремонтированным котлом, с зеркальными прожекторами и поручнями, свежее-выкрашенными в пронзительный суриковый цвет. Гигантский значок КИМ, точно снятый с груди богатыря, украшал широкую, конусом вперед, дымовую коробку паровоза. Профильная тень его на стене, чуть откинута назад, как бы на последней скорости, могла служить девизом к замыслам будущих конструкторов. Машина исходила паром, и было что-то колдовское в том, как гремучий кипяток из брандсбойта бился в стальные мышцы движения.

Ее мыли; после долгих волнений наступало самое ответственное испытание. Скоро, совсем скоро, 4019-я уходила в свой первый пробег. Человек десять молчаливых ребят с тряпками и паклей суетились вокруг длинного, почти стрекозинного тела машины. Отполированные дышла и наружная арматура уже радовали глаз, но какой-то предельной, навеки пленяющей красоты хоте-

лось добиться энтузиастам. (Глеб подумал, что женам с такими жить будет жарко и весело!) Кстати, опять зазвучала металлическая песенка, уже громче, ближе и уверенней. Мелодия была чиста и приятна; было хорошо, что чья-то свежая озорная нежность вступила в суровую утреннюю скуку депо. По возрасту и опыту Глеб был старше этих ребят, но не острое стариковское чувство было причиной его раздраженья. Все время он не переставал думать о Кормилицыне; в самом факте его приезда заключалась недоступность для Глеба этих простых и честных радостей.

Он прошел за машину. У просырелой стены, на груди пакли, сидел паренек в старенькой, залатанной фуфайке, одно колено подогнув к себе; сапог на другой ноге подмокал в лужице воды. Музыка исходила отсюда. Левая рука паренька держала недокуренную папироску, а в правой — пластинка дерева, одетая жестью и начиненная уймой всяких латунных голосков. Он самозабвенно проводил мимо губ свою певучую игрушку, и стремительная россыпь звуков, то собранных в низкие трелистые пучки, то в одиночку, по-птичьи звонких, заставляла улыбаться его хмурых, бессонных товарищей. С видом сосредоточенного равнодушия Глеб слушал эти музыкальные упражнения. Кочегар Скурятников был из бригады комсомольского паровоза, совсем недавно принятый в организацию. Паренек был дерзкий, чудакватый, не без норова; товарищи его любили.

Скурятников открыл один, потом другой глаз, и музыка замолкла.

— Что это вы играете? — по возможности дружелюбно спросил Протоклитов.

— Марш играем, товарищ начальник. — И спрятал гармошку в карман.

Он имел право заниматься чем угодно в свой выходной день; он никому не мешал здесь, в уголке. Протоклитов собирался осведомиться и о причинах такого веселья, но тут его заметили; слышались шуточные приветствия, и кто-то вслух, настороженно позвал невидимого пока Пересыпкина... Надо было как-нибудь отметить их молчаливые

упорство и усердие; Протоклитов сказал негромко, что на такой машине не зазорно в'ехать прямо в социализм. Ему гаркнули в десяток дружных глоток: «На-легаем!» Затем что-то зашумело в будке, и тотчас незнакомый молодой человек стал спускаться к нему, непривычно цепляясь за поручни. Фигура эта показалась занятой Глебу; на вид ей было уже около двадцати трех, но она стоически выносила бремя своего возраста. Вся она была обвязана ремнями, как модан в далеком путешествии. Рукав кожаной рыжей куртки носил следы свежей краски, и паренек заметно франтил этим пятном, как боец гордится раной. С минуту он пытливо и озабоченно всматривался в паровоз, как в любимое свое творение, барабанил пальцами в походную сумку на боку. Потом протянул руку Протоклитову и сообщил, что это он и есть Пересыпкин.

— Давно ищущ случая познакомиться с тобой! — заметил он с насупленными бровями.

— Ну, найти меня легко. На горе, собственннй дом, нижний этаж... Тогда извини, — тихо сказал Пересыпкин. — А я искал тебя в депо.

Упрек был незаслуженный; Протоклитов большую часть суток проводил в депо, но так уж пришлось к слову, и, кроме того, юношу слушали товарищи. Он и сам поторопился смягчить свою дерзость признанием трудностей деповской работы. Однако, проявленная мягкость показала ему чрезмерной, и он снова весь заострился, готовый к бою.

— Вот, — начал он, с нежностью касаясь голубоватого мяса стали, еще теплой от кипятка. — Вот то, чему ты противился. Отличные у тебя ребята, Протоклитов. С такими только на штурмы ходить!

Протоклитов намекнул, что паровозная служба — дело несколько сложное для всякого случайного на транспорте человека.

— Ну, я не первый год на транспорте! — обидчиво вспрянул Пересыпкин.

— Во всяком случае, ты хорошо сохранился для своих лет, товарищ!

Тот вскинул лицо, уколотый в самое большое место; даже в роговице глаз,

казалось, проступила краска. И, точно заподозренный в невежестве, он выпал в один дух все обвинения, какие успел собрать в черемшанском депо. Он помянул случаи недодачи паровозов, частый повторный ремонт, неправильное чередование горячих и холодных промывок; стремясь к похвальной точности, он указал, что у машины С-64 тендерные коробки разболтаны и текут, а в машину ОВ-201 еще вчера закачали не смягченную, при жесткости в тридцать процентов, воду. Наведя легкую критику на планы цеховых ячеек, он спросил также, почему т. И д р и с о в а не кончила до сих пор расчетов по водокачке за вторую половину ноября. Он раскалялся, и потом — драться, так уж до конца! Угольная смесь по полугодю валяется под эстакадой, пока все калории не изойдут в воздух. Температурный режим в депо не соблюдается, и паровозы подвержены простуде в той же степени, что и люди...

— ... Они ж чихают у тебя, как сумасшедшие! — запальчиво и своеобразно заключил он.

Они были не одни; ребята слушали каждое слово их перебранки. Копоть углубляла рельеф их нахмуренных лиц. Начальник депо указал молодому человеку и уважаемому журналисту, что разговор ведется в присутствии людей, от которых он требует безусловного подчинения. Он повернулся спиной к Пересыпкину, пообещав в свободную минуту и в ином месте продолжить эту поучительную беседу. Затем деловито, без особой ласки, он поблагодарил комсомольцев за проделанную работу и сказал об ответственности, какую они отныне берут на себя. Тотчас же старики, собравшиеся на шумок, оживились, и один каркнул вещее слово «докатаются!»; а другой пообещал выбрать им самую грязную рогожу для знамени, если проиграют эту, слишком крупную для их опыта, игру. Третий прибавил баском, что и до ремонта эта машина хаживала без греха.

— ... Господи! Да дай в нее тройку лопат хорошей марки, и пар гремит!

Так несостоявшаяся ссора завершилась шутливой и дружеской переключ-

кой стариков и молодых. Комсомольцы приглашали начальника депо притти к ним на собрание после гудка. Это было шагом к примиренью. Протоклитов пообещал и, стремясь закрепить дело дружбы, осведомился, кто завтра поведет машину. Высокий широкобровый юноша в замасленной, с графитовым гляncем, спецовке выступил вперед. Это был единственный в Черемшанске механик из татар, только-что переведенный с левого крыла на правое. Его звали Сайфулла, ему было не больше двадцати пяти. Он доводился каким-то дальним родственником Бадрутдину Зиганшину, комиссару мусульманского батальона, погибшему, по слухам, в башкирском восстании под Белебеем. И правда, Сайфулла походил на своего легендарного родича: те же рост и матросская осанка, та же гордая, всегда припнутая подбородком к груди, голова: те же острые, с желтинкой, чуть исподлобья ястребки-глаза. И, может быть, сттого, что Протоклитову довелось однажды повстречаться с Зиганшиным, он недолюбливал и этого красивого и мужественного человека.

Ребята ждали слова от начальника —:

— Ну, поздравляю, Сайфулла! — и даже угостил папироской.—Расти большой, умей хозяйствовать, не промахайся... — И вдруг спросил мимоходом, что он станет делать, если лопнет дышло в пути.

Таких вопросов не задают бывалому машинисту; широкие, как у его кочевых предков, брови Сайфуллы сомкнулись у переносья. Волнуясь, он заговорил, и с первых же слов стало видно, что о таинствах парораспределения он имел несколько смутные понятия. Глеб одобрительно кивал и стряхивал пепел с папироски. Потом он протянул руку юноше, и все тело Сайфуллы повело застенчивой и благодарной улыбкой.

— Вот хорошо, вот хорошо, начальник! — бормотал он, роняя на пол кусок наждачной бумаги.

Ребята разбрелись, а он все стоял посреди дымящихся луж, опустив глаза на свои растопыренные, в копоты и ржавчине, пальцы. Жар недавней радо-

сти проходил; сквозь спецовку, надетую поверх рубахи, добирался утренний озноб. Татарин поднял голову и увидел машину, владыкой которой становился. Детская мечта сбывалась, но иным представлялся теперь паровоз, чем в сновидениях крестьянского мальчонки. Он глядел на эту грудую умно и отчетливо организованного металла, когда-то подавлявшую его воображение, и, казалось, наспех и в уме повторял все, что знал о паровозе.

В каменных выемках под крышей жили упитанные деповские голуби. Поворобинному тесно они сидели на кирпичных выступах, покрытых парчой инея, и болтали что-то о новых и новых хлебных эшелонах. Сайфулла рассеянно слушал их воркотню, напоминавшую о давних мальчишеских приключениях. Громадный путь отделял его от прошлого. Вдруг он схватил шкурку с пола и принялся оттирать свежую рыжеватинку на буферных тарелках.

Разговор с прошлым

Кормилицын ждал Глеба, сидя на его койке.

Она была жестка; сквозь одеяло прощупывались щелеватые доски. Он оперся локтями в колени и так сидел, закрыв лицо руками. Часов у него не было, и неизвестно, сколько времени он высидел так, в бездельи и забытии. Он отдыхал от путешествия, от Зоськи, от самого себя... Дом был двухэтажный. Время от времени двигали стулья наверху, и Кормилицын, вздрагивая, всматривался в тесовый, гладко обструганный потолок. Он почувствовал голод и обошел комнату в поисках еды. В некрашеном стенном шкафчике, аккуратно сложенные, лежали нитки, пуговицы и всякая обиходная мелочь холостяка. Стопка книг по паровозному делу возвышалась на подоконнике; Кормилицын машинально полистал их. Третья сверху, с неистово-красным матерчатым корешком, носила имя Ленина; он напуганно отдернул руку. В незапертой плетеной корзинке под койкой хранились новые суконные штаны, белье и сверху, совсем на виду, револьвер. Холодок во-

роненой стали почему-то вызвал в памяти образ Зоськи и ее нового, громадного во всех частях своих, любовника. Вещь почти прилипла к руке, потребовалось усилие воли, чтобы стряхнуть ее назад. Других тайников здесь не было. Комната казалась пустыней; ни зеркала, ни соринки... Все это соответствовало представлению Кормилицына о его приятеле. Это было лишь временное пристанище Глеба; и здесь-то, на перекрестке двух дорог, суждено было им встретиться. Оба не имели вещей при себе; Глеб оттого, что подымался в гору, а Кормилицын, торопясь вниз, в долину блаженных. Так называлось на их давнем интимном языке последнее место назначения для всякого кожного мешка с душой.

Тем временем за окном прояснилось. Дым спал, и в небе прозрачное, почти намек, объявилось солнце... Гость начал сердиться. В отсутствии Глеба мнилса ему заведомый и хитрый план: сократить до предела время близости. И так велика была все же его привязанность к Протоклитову, что разом простил ему недобрые догадки, едва тот вошел. С любовной и смущенной улыбкой он следил, как тот громадными ломтями резал хлеб и взламывал консервные коробки. Дополнительно Глеб извлек из кармана горсть конфет и бутылку водки, окончательно рассеявшую подозрительность Кормилицына.

— Я доставил тебе хлопот, Глебушка?

— Пустяки... присаживайся, будь гостем. Меня задержали, извини.

— У тебя неприятности в депо?

— Нет... но все горланят о борьбе, убеждают друг друга и забывают, что в атаку ходят молча. И прежде всего надо гаркнуть басом этой равнодушной шпане: хочешь жрать досьята, хочешь жить в теплом доме, исполняй свое дело, как следует. В Америке не устраивают соревнований, а поезда ходят минута в минуту и по сто тридцать в час... Руки у меня коротки, Евгений!

И он распространился на эту тему, а Кормилицын почти восхищенно кивал ему, с точностью зеркала подражая его лицу.

— Ты умный, Глебушка. Ты умеешь выразить то, о чем я только подумаю. И ты любил всякое дело исполнять по совести. Но не кричи, вокруг чужие люди. — Он показал на потолок. — Там все стулья двигают... ничего это? Я теперь раскусил твой намек насчет письма... ты уж извини по дружбе! Кстати, что же ты так, без женщины, и живешь? ...обходишься? — И собрался было сделать соответственный жест, но испугался внезапного блеска в глазах Глеба: — ...я хотел сказать — без семьи?

— Да, я один. Ты пей, пей... я уже пообедал! — И это прозвучало как «напивайся скорее!»

— ... ты не хочешь со мной? Ну, не настаиваю. Значит, за нашу встречу, милый старик! — сказал он хрипло от нахлынувшего чувства. И выпил, и, видно, застряло где-то; он провел ладонью по горлу, как бы продавливая слишком крупный глоток, и сидел оглушенный, со сконфуженным и подпухшим лицом. — Я уж еще налью, можно?

Глеб пристально изучал своего гостя. Это был только скелет прежнего богатыря, наспех обтянутый нездоровой, нечистой кожей. И какой-то дьявол неутешного горя надоумил его отрастить эти длинные поповские кудри...

— Ты основательно пьешь, Евгений?

— Нет, изредка... чтоб отрегулировать организм. Понимаешь, увидел тебя, и ожило все, что закопано под нами. Вот, мы ходим, и шаги наши гулко отзываются в их гробах, а? Так выпьем за них, которые слушают сейчас нашу беседу... Тебе не нравится, что я буюню?

— Нет, отчего же... ты мой гость. Только ты закусывай, закусывай!

— Так за вас, мертвые, погибшие не желанной смертью! — сипло провозгласил он куда-то в пространство и высоко поднял руку, и, точно взорвалось в нем вино, поморщился, и опять потянулся к бутылке, и посовестился, и спрятал руку под стол, и сидел, левой рукой пощупывая несуществующую бородку. (Видимо, в самом начале новой жизни отрачивал себе бородку,

но сбрил в минуту просветленья, а привычка осталась.)

Глеб молчал; он сам вызвал свое прошлое на поединок, и оно выкинуло ему эту кость из могилы, и он следил, прищурясь, как содрогается на ней какой-то уцелевший мускул. Пряча глаза от друга, Кормилицын копался в консервной коробке перочинным ножом.

— Это лещ? — спросил он, тяготясь молчанием Глеба.

Похоже было, что вопрос разбудил Протоклитова —:

— Кто ты теперь?

— Кто? — и захохотал униженно, постыло и визгливо. — Да, как и ты, просто беспартийная шатия...

— Ты... порядочный человек?

— Я не убиваю и не граблю...

— ... но ты сидел в тюрьме?

— Да. У меня нашли при обыске полковое знамя. Плохо спрятал...

Глеб вопросительно поднял глаза; Кормилицын никогда не служил в пехотных частях.

— Откуда оно у тебя?

— Мне дал его на сохранение покойник Ферапонтов... Помнишь его?

Еще бы не помнить этого приплюснутого снизу, мясистого, как у кита, лица (— и там, в смуглой мякоти его, подразумевались косоватые глаза). Имя это пользовалось почетной и заслуженной ненавистью у красных.

— Ты сказал, он умер?.. отчего?

Кормилицын выпятил губу —:

— Хо, отчего в наше время может умереть порядочный человек!.. от революции. Его опознали в поезде, он выпрыгнул с ходу, но сломал ногу. Стареем, уж не до гимнастики! Вот и мы с тобою...

— Ну, положим, сходство маленькое.

— А почему? — взърился тот; начинало действовать выпитое вино. — Мы тоже вполне израсходованные люди. Э, не притворяйся, Глебушка! Тебя спасло неистовство твое, а меня лень: я ведь всегда оставался в тени. Но нам обоим поздно начинать себя снова и рано кончать... — Так, махнув рукой на будущее, он обращался к прошлому: — А чудно, Глебушко... в Забайкальи, не-

бось, багульник зацветает сквозь снег... Еще ни листочка, а уж малиновые, на голых прутиках, цветы!

— Рано еще цветает.

— А что у нас нынче?.. январь? Да, пожалуй, рано. — Он правильно рассчитал, что под багульник можно выпить и пятаю; третья и четвертая проскочили как-то сами собою, в пылу беседы. — Что это ты Ленина у себя держишь? У тебя бывают посторонние, или только так, для цитат?

— Нет, я читаю его, — твердо сказал Глеб.

— Хм, у него слог тяжеловатый, а? Я как-то взял у зоськина хахала, но... не вышло! — Он с любопытством покопился на Глеба: — И что же, нравится тебе, как он пишет?

Глеб постучал пальцами в стол; пора было кончать эти унизительные прятки.

— Видишь ли, Евгений... я член партии.

— Да ну-у? — пучеглазо, со всею искренностью, удивился Кормилицын. — И давно?

— Лет семь...

Тогда Кормилицын поднялся и энергично отодвинул недопитую рюмку; она расплескалась. Он был бледен и скорее сконфужен, чем потрясен, оглушительным цинизмом признания. Глаза его забегали по комнате, пока не отыскали шапки. Он долго смотрел в ее темное, ватное доньшко, как бы не понимая назначения вещи, потом положил обратно.

— ... не может быть! — и подмигнул почти напуганно. — Ты смеешься надо мной. Это все длится великий обман... ты же никогда не уважал меня, Глебушка. А?.. Как же все это произошло?

— Боюсь, что это выше твоего понимания, Евгений.

— Да, ты был даровитее всех нас. Ты все рассчитал, ты же математик. Но я помню твою угрозу, что надо считать перебежчиком всякого, кто пойдет на советскую службу. Неужели ты и тогда предвидел, кто кого подомнет? Наверно, ты хотел, чтобы всех нас постреляли и чтоб некому было уличить тебя... так ведь? — Он вскочил и с разгона вцепился в Глеба, скомкав одежду на его плечах. — Кричи, дьявол, правда это?..

а как же все, что было? А как же мы-то?.. что же нам-то — рукоплескать тебе, что ли?

— Это ваше дело. И не дыши на меня, Евгений: противно!

Кормилицын отошел, с машинальной брезгливостью вытирая руки о полы своей шерстяной рубахи. Он поднял шапку с пола; напряженно соображая, что же именно случилось, он выдергивал по волоску из меха и бросал вокруг себя. Вдруг он обиженно ухмыльнулся и очень бережно положил шапку на край стола.

— ... ну, тогда я, пожалуй, и сяду. Чего ж мне стоять перед тобой! А я-то, балда... — Уже не стесняясь, он налил себе еще и следом еще, несчитанную. — Странно: ведь я ничего о тебе не знаю... есть ли у тебя сестра, брат, мать — чтоб плюнуть тебе в глаза! ... или ты от непорочного зачатия произошел. Кто же ты, кто?.. и как же... я хочу спросить: ты предан этой, новой власти?

— Я сам эта власть, — не очень уверенно произнес Глеб, решаешь итти до конца.

— Да, да, понимаю. Что же это, честолюбие? Судя по твоим пожиткам, — он насмешливо обвел глазами пустые стены, — профиту тебе пока мало. Рассчитываешь отыгратья в будущем?.. и ты же не за социализм борешься, даже не за власть (— все равно дальше прихожей тебя не пустят!), даже не за право открыться впоследствии, чтоб плакали над тобой, как над Жаном Вальжаном... Ведь ты же без верхнего этажа человек, без бога, без совести... ты, смертельно равнодушный ко всему, примазался к большим игрокам — а для чего? Занятно, все в жизни повидал, а вот раскаявшихся негодяев не приходилось... И, знаешь, я могу убить тебя сейчас, и меня станут судить как убийцу советского праведника, а?.. — Он хохотал, балансируя на стуле, размахивая всеми конечностями. — Ах ты, гл-ладдиатор, сук-кин сын...

Он проделывал все это уже без всякого стеснения, запрокидывая голову так, что Протоклитову видно было в подробностях его небритое, кадыком вперед, горло. (— Стулья в верхнем этаже

вдруг перестали двигаться.) Вслед за утратой пристанища и жены Кормилицын терял единственного друга и мстил ему, и сыпал ему в раны соль, чтоб закричал, наконец, и признался в нечестной шутке. Чуть прищурился глазом, Глеб следил за конвульсиями Кормилицына. То была живая улика прошлого. Раздавленное, оно извивалось под ногами, если не в состоянии ужалить, то хотя бы осквернить прикосновением... Внезапно безостовно одело разом Глеба. Руки непроизвольно сжались, и ладони с галлюцинозной четкостью ощутили колючее, небритое горло Кормилицына. Внешне оставаясь недвижимым, он сжимал кулаки, и оно туго подавалось, продавливалось вовнутрь, хрящеватое, теплое, ненавистное... А тот все хохотал, пускаясь в замысловатые рулады и переливы, размахивая руками и следя украдкой, как темнели протоклитовские зрачки. Он перестал так же неожиданно, как и начал, и с прежней собачьей униженностью налил себе еще.

— Я прогоню тебя, Евгений, если эти судороги повторятся еще раз, — невозмутимо заметил Протоклитов и откровенно разглядывал следы ногтей в своих ладонях. — Кстати, я не особенно и верю в их искренность.

Сверкнув глазами, Кормилицын высоко поднял рюмку —:

— Мне нравится бесстрашие твое, друг. Беру назад подлые свои ругательства. Пророчу тебе: ты в самом деле далеко пойдешь! Это, пожалуй, и лучше для нас обоих. Я старею, я становлюсь все менее изобретательным... ведь ты не забудешь меня? Итак, за великую будущность твою! — И тост прозвучал, как обещание не портить карьеру друга. — Вот, теперь можно и закусить. Я, знаешь, проголодался...

Он ел с порядочным аппетитом, ведя учтивый и вполне интеллигентный разговор. Темой служило пережитое и передуманное. Так, в повесть кормилицына входило и описание совхоза, и живописные сведения о ссоре с неким бухгалтером Чумко, об интересных разговорах со следователями, из которых последний заявил об окончании допроса, что он, Кормилицын, совершенно не

опасен для советской власти. «Он был большой нахал, но в общем ему нельзя было отказать в известной доле юмора!» Глеб рассмеялся проницательности чекиста и даже собирался выпить рюмку за состоявшееся примиренье, но тут прибежали из депо за Протоклитовым.

Кормилицын боязливо проводил его до двери —:

— Ты надолго?

— Во всяком случае, мы еще увидимся до твоего отъезда. Советую прилечь и отдохнуть, Евгений. Я разбуду тебя...

Тот замялся —:

— Видишь ли, я боюсь, что не достану билета на вечерний поезд...

— Пустяки, я устрою тебя в вагон. У меня имеются знакомства на станции...

Он ушел и пропал до сумерек. Когда, за полчаса до прихода поезда, Глеб вернулся за Кормилицыным, тот все еще сидел у стола. Бутылка перед ним была пуста. Глеб сказал, что пора собираться, но тот бессвязно бормотал что-то все о том же бухгалтере Чумко; видно, досадил ему этот неизвестный кляузник. Глеб попытался, было, окрикнуть эту падаль, но та зашевелилась и выпустила когти. «Мы с тобой все в сюртуках, а ну, давай сьем их, любезный!» Однако, он тут же раскаялся в своей дерзости, заплакал, запросил прощенья и стал окончательно нестерпим.

— Я тут твои валенки надел, Глебушка, — вспомнил он и выставил вперед ноги из-под стола. — Они у меня обморожены были, болят... ноги-то, а?

Это были великолепные козловые сапоги, с длинным начесом и новыми обсоюзками, теплые, как лежанка в домотканой избе; вещам такого рода в Черемшанске знали цену, но Глеб на все махнул рукой —:

— Ничего, забирай их на память, Евгений!

Тот упирался; обоим становилось тошно от этого соревнования в благородстве, где каждый ошибочный шаг мог иметь совсем обратное значение.

— Мне стыдно, Глебушка... я ведь не грабитель.

— Пустяки, пустяки! Ну, я договорился насчет билета. Тебя сунут на место... Одевайся.

Кормилицын мялся и смущенно поглаживал краешек стола. Вдруг он заявил откровенно, что приехал не в гости, что ехать ему некуда, что временно он решил остаться у Глеба. «Жаль, понимаешь, ноги из валенок вынимать. Пригрелся... а взять их как-то со вкусом!»

Сообщение Кормилицына сразу и накрепко обессилило Глеба.

— И как же... надолго ты ко мне? — вяло спросил он.

— Боюсь, что да... — Приподнявшись через силу, он попытался заглянуть в самые глаза друга: — а здорово ты меня ненавидишь, Глебушка?

Он едва стоял на ногах; было бы равно и бессмысленно, и опасно волочить его в таком виде через станцию. Тогда Протоклитов запер его на ключ и отправился на работу более спокойный с виду, чем когда-либо. На ночь Кормилицын великодушно устроился на полу. «Ты работаешь, Глебушка, тебе нужен отдых». До рассвета его мучил кашель. Все сотрясалось при этом. Дважды в течение ночи Глеб привставал взглянуть, какие гарпии терзают грудь этого дурака...

Разумеется, из всякого рода друзей он предпочитал иметь собаку; ее можно было бы и застрелить в нужде.

Мертвый хочет жить

Итак, он не уехал ни завтра, ни в один из последующих дней... Глеб ничем не выразил неудовольствия, даже притащил досок на плече и собственноручно сколачивал ему кровать, пока тот, недоверчивый на всякую ласку, сидел рядом, в позе искусителя, истребляя остатки протоклитовского табака. Теперь все у них делилось поровну, даже белье. Кормилицын брал свою долю небрежно, жил сорно, вел себя надоедливо, все требовал вина и косил глазком при этом; ждал, что тот взропщет, взбунтуется, а тогда-то он и разразится над ним ливнем мертвых костей, их совместным прошлым. Глеб как бы не замечал

этих беспричинных приступов вражды, и втайне Кормилицын завидовал его уменью подчиняться без утраты выдержки или достоинства. Раскаяние приходило по мере того, как все глубже осознавал гость свою роль непрошеного нахлебника, если не шантажиста.

Однажды, придя с работы, Глеб увидел вымытые полы и понял, что Кормилицын томится бездельем. Сам он очень уставал в этот месяц и свалился в кровать, не произнеся ни слова. Днем позже он застал Кормилицына за штопаньем белья. Лицо его было красное и напряженное; заплаты выглядели уродливо; он сердился на свою неумелость и на исколотые пальцы. Кормилицын смутился, сунул иглу куда-то в папку между бревнами и поспешно отошел к окну.

— Мне совестно есть твой хлеб, — через минуту сказал он оттуда глухо и ожесточенно.

Впервые он заводил такого рода разговор. (Обычно в присутствии Глеба он любил разыгрывать лодыря и еще недавно обмолвился фразой, достаточной, чтоб взбесить: «Брился сегодня утром, ужасно устал...») Глеб лежал на кровати и смотрел в потолок.

— ... почему? Его достаточно у меня, кажется. Напротив, ты мало ешь для мужчины твоего сложения.

Кормилицыну почудился иронический оттенок в этих словах.

— Тебе это смешно, Глебушка... а ведь я еще живой! И мне хочется, чтоб и я — как все. Мне, например... — Голос его звучал так, словно речь шла о несбыточном — ... мне даже хочется купить какой-нибудь сундучок, и чтобы там лежали новые брюки, непрочитанная книжка, собственная бритва, портрет девушки... хотя бы даже лет тридцати пяти, мне ничего! Ну, чего ты смотришь на меня египетскими глазами? У тебя, наверно, нечестные мысли на меня!.. э, не финти, Глебушка. Вчера ты имел бестактность предложить деньги, чтоб запихнуть меня куда-нибудь в санаторий. Это, пожалуй, слишком откровенно, милый. Боюсь, тебе столь быстро не избавиться от меня. Я так понимаю нашу дружбу, что —

или совместно взлетим с тобою, или грянемся оземь в обнимку. Пока не сдохну, я буду ходить за тобой, как верный пес, слышишь?.. но я загрызу тебя, за минуту до того, как ты мне изменишь. Помни, собака может быть благовоспитанной, как человек, но кусает она всегда, как заправская собака!

Снисходительно и терпеливо Глеб выжидал конца очередного припадка. А когда эти словесные конвульсии окончились, он поднялся, обнял Кормилицына за плечи, заглянул мужественно и властно в его вылинявшие глаза, назвал дурачиной, и тот обмяк, осунулся весь, пожелтел, стал меньше ростом, поверил его мужской, сильной, грубоватой ласке.

— Разве я гоню или упрекаю тебя, Евгений? — И со скукою слушал суетливую тираду о том, как ему хочется ожить, распрямиться, принять человеческий облик. — Чего же ты хочешь? Скажи, нас никто не слышит... мы обсудим.

Оттенок оживления явился в лице Кормилицына — :

— Я хочу... (— Ему было стыдно, как будто кто-то мог отказать ему в этом! —) Я хочу забыть все, уставать, как ты, врыться в эту грязь и копать... и чтобы кто-нибудь, хотя бы самый маленький, хотя бы через десять лет, похвалил меня. Ты большой, сильный человек... помоги мне! Я хочу работать.

Глеб выпустил его из своих объятий, потому что удивление было много искреннее, чем фальшивая давешняя нежность. Было странно умолять о работе в стране, где в любом деле и повседневно ощущается нехватка людей. Вместе с тем это было самое большое, что Кормилицына мог потребовать от него. Появление в Черемшанске нового человека, да еще с помощью начальника депо, привлекло бы широкое общественное внимание. Из сотни зряшных догадок одна могла прийтись как-раз впору, и тогда крушение становилось неминуемым. Некоторое время спустя Глеб потребовал у Кормилицына его документы и тщательно изучал их со всех сторон. Между прочим он выразил изумление, что тому только сорок один; Кормилицы-

цын, имевший склонность к образам повышенного типа, заметил с горечью, что остальные двадцать протекли за один последний год. Глеб молчал.

— Ну!.. — поталкивал Кормилицына и зябко потирал руки. — Ведь я же отбыл все наказания. Или ты веришь в какой-то особый, первородный грех, достаточный для постоянного моего отлучения от жизни?

— Ты... чист? — неожиданно спросил Глеб.

— Ты уже спрашивал меня об этом. Могу сказать, что мне очень трудно притворяться свиньей. Я не боюсь никакой работы и раз взятое исполняю хорошо.

Тогда Глеб вслух стал перечислять все возможные должности в Черемшанске. Табельщиком или нарядчиком паровозных бригад Кормилицына не мог стать без основательного знания деповского дела. Сидеть в конторке он не пожелал сам, хотя когда-то в этой самой должности служил на железной дороге. Оставалось только место заведующего деповским складом материалов. Его возможного предшественника собирались увольнять за продажу на сторону двух килограммов нашатырного спирта. По этому, не очень хлопотливому разряду полагалось двести пятьдесят в месяц и, кроме памяти да честности, не требовалось ничего.

— Ну, выбирай, Евгений! — с холодком предложил Глеб.

Тот вспыхнул и отвернулся — :

— Мне бы куда-нибудь пониже, Глебушка. Любая работа... — ударил он на слово. — Я же очень сильный, ты не веришь? Экзакустодиан-то избегал встречаться со мною!.. Мне казалось, что если бы мне начать с самого низа, со дна жизни, как ты...

«Ага, этот бухгалтерский чин желал мучений!» Ниже была только деятельность деповского чернорабочего; она составлялась поровну из мускулов, скромности и безусловной исполнительности. По этому разряду нервов не полагалось иметь вовсе; не стоило искать другого средства с равными целительными свойствами. При хорошей дозировке этого лекарства у человека не оставалось вре-

мени побыть наедине с собой; таким образом, возникала надежда избавиться от себя и мучительного призрака Зоськи... Имелись налицо и для Глеба смежные выгоды, и первая заключалась в возможности держать Кормилицына подалеже от себя. Вместе с тем Глебу не составило бы никаких хлопот устроить его на эту должность: текучесть черно-рабочей силы в Черемшанском депо неоднократно бывала предметом особых обсуждений. Администрация и сама частично путалась в фамилиях и лицах этих живых черномазых машин. Словом, один из полусотни обращал на себя меньше внимания, чем один из пятка. Самое раздумье Глеба указывало на его согласие. Дело заканчивалось к обоюдному удовольствию. Весь тот вечер Кормилицын выглядел рассеянным, не пил водки, задевал вещи и, ближе к ночи, ушел бродить в снежные перелески на Борщнинскую дорогу. Теперь оставалось разыграть для публики заключительную пантомиму. Они решили сделать вид, что встречались когда-то, еще в ремонтной колонне, и Глеб по старой памяти покровительствует бывшему человеку на невой стезе раскаяния и труда. А пока-что мирные будни все еще чередовались с истерическими конвульсиями Кормилицына.

Уже на другие сутки Глеб проснулся среди ночи; какая-то внезапная сила через голову сорвала с него одеяло; он проснулся от ветра. Наклонясь к самому изголовью, Кормилицын стоял над ним с горящей спичкой, и явным безумьем отливала обычная косинка его глаз.

— Зачем же ты раздел меня? — строго спросил Глеб и не решался нагнуться за одеялом, чтобы в темноте не подставлять Кормилицыну затылка.

Чиркнула новая. Корчась и возбужденно смеясь, тот пояснил, что ему приспичило посмотреть на сукина сына в голом виде: «Ты хочешь убежать от колес, но все равно... ха, все равно они тебя настигнут! Вертись, вертись...» Глеб брезгливо усмехнулся на эту патологическую галиматью, а утром поднялся с головной болью, следствием двухчасовой ночной возни с этим ожив-

шим покойником. Прикинув в уме всякие варианты и повторения этой сцены, он припрятал револьвер из корзинки в одно потайное, ему одному известное место. (Он успел заметить посещения чужой небрежной руки.) В другой раз Кормилицын разбудил его по другому поводу, таинственно тормоша за плечо. Из бредовых его речей выяснилось, что ему приснилась Зоська, изменница и последняя его привязанность на этом свете; и не понять было — приснилась ли в обольстительной своей наготе, или в потеках собственной крови... Она мучила его даже в сновиденьях! Заикаясь, поглаживая волосатое запястье Глеба, он описывал ему Зоську, как ее не знал никто, ее высокий рост и гордую покатошь плеч, ее гортанный металлический голос, темные, слишком правильные, как от циркуля, полудуги ее бровей, ее длинные и полные ноги, ее щеки, нестерпимо розовые, точно наколотые усищами теперешнего ее молодца, ее глаза в смеющихся ресницах, чуть зеленоватые, как озерная вода сквозь осоку, ее всю, и в самых сокровенных женских тайнах. Он переворачивал ее по-всякому на глазах у Глеба, милую, голую, паскудную, приглашая его руки, его ночную встречанную мысль следовать за ним, по всем ложбинкам, извилинкам, с м е ш и у ш е ч к а м и теплым ямочкам этого большого, прекрасного, ненасытного и воображаемого тела. «Трогай, трогай ее везде...» — кричали его опустошенные глаза, и Глеб слушал его, спиной чувствуя каждую лучинку кострицы в конопатке стены. Какое-то темное, скрытое мужское чувство начинала вызывать в нем эта женщина, которой он не видал никогда. (Лишь наутро ему пришло в голову, что Кормилицын сознательно делал его соблазном своей тайны, тоски и ревности, показывал ему ж и в у ю Зоську, чтобы было на кого перенести злобу и мщение.)

Он простонал, падая и мечась:

— Она мне с этим, Экзакустодиадом... везде! Деревья палые вижу в лесу... они. Вхожу в темноту — они два. Я закрываю глаза, опять они, они. Как же она его ночью-то, в обнимках-то кличет... Кузей, что ли?

Его трепало в горячем знобе, и можно было представить, какие неистовые фигуры плотской любви день и ночь наполняли пространство вокруг него. При этом ревность удесятрела воображаемое количество соперников; они шли уже взводами, и всегда в центре их, развеселая, находилась Зоська. (А на деле это была тихая женщина, которой опротивели вконец унылые и восторженные клятвы кормилицынской любви!) Становилось понятно, что он убил бы ее, будь она поблизости...

Рассчитав все последующие за преступлением события, Глеб увидел в этом неплохой способ избавиться от Кормилицына. О, Зоське было гораздо больше причин опасаться за жизнь, чем Протоклитову. Тогда Глеб решил помочь другу, направить его руку так, чтобы не промахнулась. Надо было спешить: ненависть мелкого человека требует немедленного насыщения. Утром Глеб положил револьвер в корзину на прежнее место; так ставят перемет на рыбу. Он уходил в депо с уверенностью, что час спустя Кормилицын в поисках свежей рубахи наткнется на находку и сама вещь надоумит его. И верно, на другой же день Глеб не нашел револьвера на месте: наживка была проглочена... но к вечеру оружие появилось снова, чтобы исчезнуть через сутки. Кормилицын колебался выстрелить в свою вчерашнюю любовь, и Глеб решил усилить свой гипноз прямыми расспросами о Зоське.

Замышленную операцию он проделывал не слишком тонко, не церемонясь с сердцем этого скучного солдата. Он интересовался подробностями этой запоздалой любви; грубо, почти цинично он расспрашивал о физических свойствах помянутого Экзакустодиана; он выражал сочувствие выгнанному любовнику; он завинчивал свои слова в самую шкуру Кормилицына, как штопор, нащупывая какой-то самый чувствительный в этом организме нерв... Предположения Глеба не оправдались. После первого же дня работы Кормилицын заявился полумертвый от усталости и тотчас же завалился спать. Он набросился на работу с яростью голодного; никто не требовал от него таких усилий. Он нарочно из-

матывал себя на самом тяжком, вертел ручные домкраты, поднимая паровозы на обточку, снимал дышла, чистил шлаковые каналы. Его чрезмерная расторопность могла даже внушить опасные подозрения, что не только ради заработка он поступил в Черемшанское депо; старательность могли принять за маскировку. Одновременно Кормилицын стал посещать всякие кружковые занятия, высиживал лекции, и девственное невежество в политических вопросах надежно охраняло его от посторонней зоркости. Ему нравился этот угар; он верил, что вместе с обильным потом с него сползает и вчерашняя шкура. Постепенно его наружность, речь, повадки становились неотличимыми от тех же свойств его товарищей. Он выглядел теперь трезвее, черный воздух депо оказывался благодетельным для его душевного здоровья. Переезд в общежитие задерживался по разным причинам; так же, как когда-то от кашля Кормилицына, теперь Глеб страдал от его чрезмерного храпа. Черных снов у него, повидимому, не стало. Призрак Зоськи не ломился более в наглухо замкнутую дверь, забаррикадированную паровозными топками, бидонами со смазкой — всем, что в течение дня проходит через руки чернорабочего. (И Глеб решал со сдержанным сожалением, что, может быть, там, во сне, Кормилицын и убил ее!) Постепенно между ними устанавливались нормальные отношения начальника и подчиненного.

...И, вот, он уже пытался произнести самое слово — с о ц и а л и з м. Глеб сердился, когда тот приходил к нему и длинно выпрашивал, как именно будет выглядеть этот новый мир. И ни разу Протоклитову не удавалось насытить жгучую жажду знания в этом дикаре.

— Я присматриваюсь к тебе, Глеб. Ты ешь серый хлеб, знаешь только свои паровозы, спишь на жестком, не высыпашься...

Тот отшучивался —:

— Вот придет социализм — нажрусь и отосплюсь за всю жизнь.

— Ты не хочешь говорить со мной об этом?.. может быть, мой язык оскверняет эту будущую страну? Но ты

сам-то... Ведь нельзя же верить в ничто! — Очень путанно он выкладывал свои опасения; по его мнению, мысль всегда концентрируется в одной общественной прослойке, как капитал в руках стяжателя, а мысль вместе с ответственностью не отнимешь у людей!

Протоклитов говорил, зевая:

— Зачем же! Мысль станет достоянием всех. У каждого будет с избытком времени подумать о мире и о себе.

— Вот-вот! — подхватывал Кормилицын. — Но ведь никто не может предписать, чему вырасти на его костях, а?

— Что ты хочешь сказать?

— Новые-то люди родятся от старых, а ты загляни вовнутрь себя. Тебе все ясно там? Непонятно, но я не умею точнее. Хорошо, вот: кто же будет править ими?

— А зачем это им нужно, чтобы ими управляли? Тогда не будет власти!

— Кто же укажет им, куда двигаться... или что есть добро и зло?

— А кто указывал первобытному человеку?

— У него не было такого хозяйства!

— ... у него не было и такой культуры!

Кормилицын недоверчиво усмехался; в этих шахматах он чувствовал себя новичком.

— Ты не торопись с такими вещами, Евгений. Почитай, подумай. — И набрасывал приблизительную схему того, во что верил. — Новый человек создаст новых, железных рабов по образу своему и подобию. Словом, он станет богом. Он будет душою громадных механизмов, заготавливающих впрок пищу, одежду и удовольствия. Эти железные, суставчатые балбесы будут трудиться, петь песни, пахать землю, плясать по праздникам на манер Саломеи, даже делать самих себя. Человеку не потребуется изнемогать от работы, он должен будет только знать...

— Это интересно, — тянул Кормилицын. — Я всегда любил почитать про чудеса науки и техники. А люди — сами по себе?

— Будут отдельные объединения... скажем, северная или северо-восточная ассоциация производителей льна. Возможно, единственным органом государства будет

центральное статистическое управление планеты. Там будут составляться сравнительные таблицы за истекший год...

— А кто будет делать выводы из этих таблиц?

Его беспокойство за столь отдаленную будущность смешило Протоклитова:—

— Ну, об этом нет и у Маркса. Это далеко, и это только деталь!

— Вот, я и говорю о том человеке, в чьих руках соединятся нити совершенного знания. Ты не обижайся на меня! А что, если им станет такой же Протоклитов, как ты, самолюбивый, затаившийся, нераскрытый никем!

Это был отголосок прежней и, казалось бы, погашенной вражды.

— Такой человек бессилён будет принести вред. Кроме того, он будет и сам совершенен...

— А ты помнишь в прошлом хоть какое-нибудь божество, лишенное недостатков? И потом — почему непременно вред! Он будет делать пользу, но по своему усмотрению... Словом, я не верю тебе, Глебушка. Революция убила врагов и поддержала друзей... но сколько и тех, и других осталось еще нераскрытых!

Протоклитов начинал сердиться. Он пошел к окну. Можно было заболеть от одного разговора с Кормилицыным. Глебу никогда не нравились простодушные провинциалы. Смеркалось. Чья-то тень мелькнула на снегу; по кожаной сумке на боку, придававшей характерный рисунок силуэту, Глеб узнал Пересыпкина. Молодой человек направился к нему, и Глеб вышел встретить его в сенцы. Кормилицын стал невольным свидетелем одного примечательного разговора. Упала железная щеколда, и почти сразу—

— У меня к тебе два дела, Глеб Игнатьич. Во-первых, относительно комсомольского паровоза: завтра он отправляется, наконец, в первый рейс... и мне немножко тревожно!

Глеб перебил его—

— Боишься ответственности?

— Я боюсь, что моих трудов слишком мало, чтобы делить вместе с ними эту ответственность, — заносчиво отрастил Пересыпкин и тотчас же смягчил

ся: — а, может быть, зайдем, поговорим.

Кажется, он намеревался проникнуть в комнату, но Протоклитов не видел необходимости затягивать этот разговор—:

— К сожалению, ко мне сейчас нельзя, дорогой товарищ. Видишь ли, у меня сидит... — и уже шопотом: — девочка одна...

Опять прогремела щеколда. Протоклитов вернулся со сконфуженным и лживым лицом. По счастью, Кормилицын не заинтересовался, почему Протоклитов не пожелал сводить его с Пересыпкиным.

— Что же ты мне сразу-то не сказал, что бабёшку ждешь? — завистливо упрекнул он, подмигивая и толкаясь плечом в своем обычном стиле.

Он заторопился, чтоб не мешать протоклитовскому свиданию; замешательство Глеба получало естественное объяснение. Они расстались на этот раз вполне мирно и как будто даже довольные друг другом. Глеб вышел посмотреть, не стоит ли Пересыпкин за углом. Зная об его почти родственной близости с Куриловым, он подозревал какую-то иную, спрятанную цель в посещении молодого человека.

Сайфулла

Им хотелось, чтоб это была самая шумная ночь за все время существования в Черемшанске комсомольской организации.

Ближе к ночи молодежь собралась в клубе. Вопреки обычаю, на повестке стояло одно лишь огненное для них слово — паровоз. Ребята пришли прямо из смены, и хотя в соседнем кинозале крутили в тот вечер ковбойскую картину, беспартийные заполнили скамьи задолго до начала; они ждали продолжения борьбы, приобретающей тут же романтическую увлекательность. Долго не начинали и все поглядывали на дверь, но Протоклитов так и не пришел... Там, на столике, стоял радиоприемник, и кому-то пришлось в голову поискать, не танцуют ли где-нибудь на свете. Из свиста вскоре родился звук. Это был одинокий, ночной голос с мо-

сковской радиостанции; он передавал сводку о погоде. Центральное метеорологическое бюро оповещало о зарождении циклона где-то в районе Гаммерфеста. Буря двигалась по дуге через Мурманск, к югу от Печорского бассейна. Пересыпкин, печатавший подобные сводки у себя в газете, разбирался в такого рода пророчествах; он оглянулся на беспечного Сайфуллу, сидевшего в президиуме. Глаза у него при этом были такие, точно кто-то третий замахивался на молодого машиниста. Решили начинать без Протоклитова.

Секретарь деповской ячейки огласил ответную телеграмму комсомольцев из третьего района, вызванных на соревнование. Звонким от волнения голосом стрелочница Катя Решоткина перечислила добровольные обязательства девушек со станции в отношении подшефного паровоза. Неожиданно для всех она приколола кумачевую розетку на грудь Сайфуллы. Она наклонилась над ним, глаза в глаза, и Пересыпкин видел, что в эту минуту их было только двое; остальные не существовали... Потом он и сам поделился эпизодами борьбы с Протоклитовым, имени которого, к великому неудовольствию публики, не называл; голос его достигал степеней разящего сарказма, когда речь пошла о подозрительной спайке парторгов с администрацией. «У нас иногда так уважают культурность, что даже не обращают внимания, откуда она идет...» Он заверил собрание, что очень скоро не только паровозы, а и поезда, и районы, и даже дороги целиком станут комсомольскими. Один сцепщик из четвертого ряда поинтересовался, куда собирается надевать стариков этот шустрый деятель; бородачу недоступно было риторское искусство. Оратор отвечал, что старики переведутся сами собою, как вывелись, например, в красной столице.

— На экспорт, видно, погнали нашего брата!

— Нет, а просто чистоплотнее стали и бреются каждый день... — И грохотом рукоплесканий был встречен пересыпкинский контрудар.

Тотчас по окончании торжественной части решили устроить небольшую пи-

рушку; стали думать о месте. Общежитие слесарей отпадало само собою. Бедный, мальчишеский их разгул могли подслушать и осудить степенные мужички из соседних ремонтных барачков. И оттого, что итти было больше некуда, постановили отправиться за три километра, в самый Черемшанск. Славилась там пивная под названием Красный Восток. Они пошли туда стайкой, человек двенадцать, молча, похожие на заговорщиков, и каждый думал, все ли выполнено для завтрашнего успеха. Катя Решоткина была с ними; не хотелось проводить вечер без Сайфуллы... Зима стояла неровная, к вечеру потеплело, снежная каша с хлопьями раздавалась из-под ног. Катя Решоткина высоким голосом затянула про комсомольский паровоз, но мокрый ветер захлестнул песню; она загасла на полуноте. Сквозь рожищу засветились скудные керосиновые огоньки черемшанских окраин. Очень белые облака бежали в ночном небе, и такая же пятнистая, точно в пролежнях, стала поверхность полей. Все слышали, как Сайфулла спросил Катю, не озябла ли... Ветер почти опрокидывал согнувшихся людей.

(Привести бы сюда Кутенку, чтоб послушал беседу молодых и увидел, как воплощаются в жизнь черновые планы старшего поколения. Правда, он выглядит грубее и вещественнее, новый мир, но руки мастера всегда неискуснее чудесного могущества мечты. Да ребята и не помышляли о расплывчатых мировых задачах; их неистраченный задор объединялся пока вокруг образцовой машины, становившейся паспортом на зрелость... И пусть бы вместе с ними спустился маловер в принципиальную пивнушку, где плывет сизый пар от тающего снега, где зыбко пляшут половицы под шагами, где на сехавших скатертях пылают бумажные, линейные цветы, где галдят и жгут дешевые папироски черемшанские ремесленники и подонки, где из-за пивного бачка выглядывает рябой и медноликий Абдурахман!)

— Исанме, здравствуешь ли ты, знаменитый буфетчик? Вот, мы пришли к тебе изведать твоего веселья!

Скала желтые зубы из-под стриженных усов, Абдурахман смахивает пыль со стеклянного ящика перед собою. Там хранятся его соблазны — печеные до темной прожелти яйца, многострадальная и в луковом венчике селедка, горох на блюдечках зерен по двадцать и цветные, обмылившись бутерброды. Ничего, что скуден этот выбор: два года назад не существовало и самого ящика!

— Хуш киялез, молодцы! У меня мировое пиво завода Красный Восток. Ко мне ходят все, инженерлар, докторлар, техниклар. Я один такой, и все меня любят! — Он очень горд, этот черемшанский Бахус; через посредство вверенного ему учреждения он уважает даже себя. — Люди говорят, что я похож на Омара, Гумаршикелле, а я говорю, что Омар похож на меня, хо-хо... Садитесь, джигитлар!

Он смотрит зорко. Сюда редко заходят с женщиной, и вот, уже скалится из угла хулиганская стайка. Но женщина эта не одна. Дюжинка статных молодцов с броневыми кувалдами вместо кулаков окружила ее стеной. Они ее усаживают первой. Абдурахман разливает по кружкам грузную пенистую жидкость. Он любит пышное, изысканное слово: оно украшает еду. Он говорит, что за их плечами Катя, единственная, как солнышко за каменными зубцами крепости. Ей отдельно он приносит шипучее, с сиропом, и поочередно испытующе каждому смотрит в лицо, чтоб узнать, кто ее любимый. Беседа складывается из всяких отрывочных мыслей о паровозе. И одних пугает отсутствие администрации на собрании, а других настораживает фальшивая примиренность Протоклитова... Абдурахманово пиво мнится им бесценным вином, таинственно скрепляющим дружбу!

Тем временем Пересыпкин с видом исследователя обходит по кругу это низенькое помещенье. Он трогает руки, он внюхивается, он изучает качества черемшанского бытия. Странная мебель, напоминающая комод, загромождает темный угол. Она расписная; усатый незнакомец, явный татарин, подносит фиолетовой даме букет жестяных цветов. Над головой у дамы щель и над-

пись, что именно сюда следует опускать монету. С научной целью Пересыпкин кидает туда громадный царский пятак и ждет. Гремят шепелявые пружины, и вот, хор сиплых металлческих голосов выводит старинный мотив о манчжурских сопках. (—Какая старина, Кутенко! Вспомни: японская война и Порт-Артур, Рождественский и Куропаткин. В тот год ты становился на призыв, фельдфебеля тебя учили строю... Потом вас отправляли под Мукден, и тонкобровый гармонист с напуганным навеки лицом наигрывал тот же самый мотив во утешение всему серошинельному братству. Играй, играй, напоминай о прошлом, деревянный инвалид!)

Пересыпкин слушает, прижав к груди ладони. Ему хочется прокричать товарищам о замечательных странах, что близ самого великого водоема, о будущих братских республиках на его берегах, обо всем, что ему довелось услышать от Курилова и что думают по этому поводу он сам и его сверстники. Он машет рукой, но ему не дают сказать и полслова. Шумят пивные дрожжи в непривычных головах, и кто-то из татар запекает веселую песню «Бала-Мишкин...»

Абдурахман бежит на них, подобно падающей башне. Он требует прекращения песен. Он хочет втолковать озорникам, что могущественным декретом местного потребительского общества запрещено петь в его заведении.

— Граждане, иптышляр!.. Грамотный пусть читает плакат. Мэна!

Опечаленные, они уходят искать другого места. Не удастся нынче дружеская пир овня, как обозначают в Черемшанске веселые встречи друзей. Они идут без цели по улочкам. Спят по сторонам мышинового цвета домишки. Ветер свистит в прорезях скворешен, брызги радуются из-под ног.

— ... ты не промокла? — спрашивает Сайфулла, лишь бы услышать голос Кати.

— Нет, они совсем сухие...

Машинист Рябушкин, единственный старик в их компании и спутник их в эту бездомную ночь (— это он помогал молодым в одолении паровозной техни-

ки!), вспоминает о существовании Махуб-эби. У старухи удобный дом, аулак уй! Отчаявшись, они бредут на окраину, к лагере бабушки Махуб. Их стайка редет, только семеро доходят до места, и Катя с ними. Они бьют в ворота. Гавкает простуженный пес. На опушке рощицы врукопашную борются деревья, и глазу мнятся их длинные, сплетенные тела. Махуб спит, Махуб стара, Махуб устала.

— Эй, поднимайся, бабка! Мы со станции, и у нас есть деньги, целых восемнадцать рублей...

Простоволосая, она всматривается через форточку в ночь. Злые люди любят полночь; они рыщут и по окраинам!

— Июк, у Махуб не осталось ничего. Все выпито, валлаги-билляги! Горлышки ее бутылок давно заплела паутина, только пауки и живут в них...

Но она уступчива, когда умеют уговорить. В низенькую дверцу, пригибаясь, они входят гуськом. Махуб отшатывается: впервые женщина приходит в ее дом. «Ничего, Махуб, мы пришли не за дурным и девушка эта — невеста!» В темных сенцах, заставленных ларями и укладками, Сайфулла натывается на Катю. Рука тискает руку до боли. Он произносит глухое, гортанное слово, и та, не понимая языка, правильно переводит значение любовной обмолвки. Старуха начинает колдовать. Она зажигает целых три керосиновых лампы и (— чтобы скорее действовало вино!) красную, как пламя, скатерть стелет на шаткий стол. Чисто в доме у Махуб-эби. Вытканная на холсте и краткая, как заклинание, фраза из Корана висит над окном. Посконные полотнища, расписанные огненными шерстями, как молниями июльское небо, свисают со стен. Он понимал мир, несравненный, безымянный художник!.. «Колдуй, мобилизуйся, Махуб!» Нелюбимая, она приходит и уходит. Она режет черный хлеб по числу гостей, приносит глиняный кувшинчик с разбавленной водкой и ставит чашку, битую и прокленную замазкой; в ее лунке собирается свет. Рассевшись на скамьях, сидят молчащие гости.

... Так текли бесценные минуты ночи. И тогда вылез из-за стола Рябушкин, как был — с камышевой сумкой, потому что послала его жена в кооператив, а он нечаянно увязался с молодыми, — вышел и притопнул ногой. Кочегар Скурятников заиграл на губной гармошке, что всегда хранилась в заветном кармашке на груди. Потряхивая плечиком, Рябушкин сделал два круга пляски и махнул Скурятникову, чтоб не тратил своей музыки зря—:

— Нет, уж не побегаешь, — сказал он и смущенной рукой шарил то место на груди, откуда исходил недуг старости. — Эх, пора не та: должно, сносились шашечки на моих коленцах. А ну-ка вы, татаре!

Жарко топит бабушка Махуб!.. Ребята сидели парные и тревожные. Кровь стучалась в висках. Тогда они раскрыли окно, и, вот, отдельные снежинки стали залетать к ним, на шумок молодости. Роль оркестра изображал все тот же Скурятников... И еще Катя Решоткина танцевала цыганочку, и, пока танцевала она цыганочку, немигающим и грустным взором следил за нею Сайфулла. Смуглая красота ее — и даже не красота, а сиянье глаз и неукротимая ее подвижность — все могущественнее заслоняли от него образ далекой и гордой Марьям. И когда остался от Марьям лишь клочок, малый, как кровинка, выскочил на середину Сайфулла и гортанно закричал о чем-то по-своему татарам, и смолкла певучая скурятниковская жестянка. И те запели что-то протяжное, выбивая такт в ладоши, раскачиваясь, перемигиваясь и поталкивая друг друга в бока. И он пошел по кругу между ними, огромными сапогами ширкая по намощшим половицам.

Это был мужицкий танец, а пипа, веселый и грубоватый, что пляшут на свадьбах, заложив руки за спину. Сайфулла показывал его со всей стремительностью крови, со сдержанной и четкой страстью. Это была грация мужественного тела, привычного к тяжестим, к длительному напряжению и предельно уверенного в себе. Он плясал, и с шутовой завистью морщил лоб Рябушкин, и надтреснуто звякала чашка, касаясь

глиняного кувшина, и вздрагивала июльская гроза на полотенце, и, глядя на юношу, качала головой и двигала беззубой челюстью старая Махуб. И казалось, нарочно, в угоду Кате, прищурившейся и застывшей у притолоки, он топчет свое прошлое, свою вчерашнюю влюбленность, сердце и неуклюжие клятвы: милую свою Марьям.

... по реке плывет лодка,
девушки притопывают ногами.
Те, которые любят,
сохнут и желтеют.

А Махуб пришептывала, полузакрыв глаза, — уж она-то знала толк в этих древних строках —:

Парни глядят на девушек,
и девушки знают:
земля кипела бы под веслами,
плыли они по земле!

Не закончив последней фигуры танца, Сайфулла опрометью кинулся из избы, опрокинул гремучую бадью в сених и бежал далеко, пока не затихли в ушах аплодисменты товарищей, пока ночным ветром не опало лицо. Провалясь по колену в мокрый снег, он один стоял под звездами, вслушиваясь в глухую, дальнюю переключку ночных паровозов. Точно завихренные скоростью его бега, звезды кружились над головой. Облака, похожие на сугробы, веще пронеслись вверху. И мало было Сайфулле зимнего холода... и полными пригоршнями он хватал снег и прикладывал к воспаленным вискам... и текло... и дрожал, и корчился от ледяной щекотки, уползавшей за ворот рубахи. Она была из грубой конопляной ткани, прощальный подарок Марьям, вышитая красными лебедями, маленькими — как ягодки волчьего лыка. И это безотчетное кружение среди ночного леса было самым выразительным из танцев созревающей юности, как и беззвучное шевеленье запухших губ — самой безыскусственной из любовных песен!

Здесь заканчивалась история одного любовного порыва. — Воспоминанье ведет Сайфулла далеко вглубь Татарстана, к окошку бедной крестьянской избы. Оно разбито и заткнуто тряпкой.

Ветер шевелит соломенную, под выдру выделанную, кровлю. Горячим лбом Сайфулла приникает к холодному стеклу. Скуден свет жировой коптилки, и нужны дополнительные усилия памяти, чтоб осветить подробности, спрятанные по углам. Сперва — только тонкие волоконца копоти струятся над розовой дужкой огня. Потом юноша различает громадный ткацкий станок, чыпта суккыч, хитроумное сплетенье деревянных колес, длинных перекладин и отлакированных временем штырей.

Спит Альдермеш, и пока Альдермеш спит, две старухи ткут рогожи, старушечью норму в двадцать пять кулей. И пока одна сильным толчком руки прогоняет сквозь лубяную основу тяжелый, как полено, челнок, другая, наклонив голову, разбирает на полу пахучее, саднящее руки, волокно. Это мать, Биби-Камал. Она поет песню напевом германские; его принес с мировой войны отец. На нарах в глубине избы лежит он сам, поломанный войною; шестнадцать лет он отдыхает от военной непогоды! И, вот, Сайфулла проходит сквозь стену, и незримо движется, тень среди теней. Он заглядывает в жесткое лицо матери, которого никогда не видал смеющимся. Он наклоняется над отцом. Тараканы равнодушно путешествуют по этим горам тряпья и страданья. В головах у старика сложен вчетверо старый стеганный бешмет. Самое лицо — как подорожный камень, с тонкими, похожими на джеп, суровье, усами; и там, во впадинах, покорные молчащие глаза... Сыновний селям тебе, Самигулла!

Прежде чем покинуть отчий дом, Сайфулла в последний раз обводит глазами стены. Соседкин мальчик (—пока его бабка сурово творит рогожу) спит на груди пахучего мочала. Сквозь дыру в рубаше виден большаяш, с лесное яблоко, пупок младенца. «Спи, вырастай, скуластый, бравый, веселый. Десятки новехоньких электровозов, что пройдут по пустыням в чудесные, иноголосые страны, уже ждут, не дождутся своих машинистов!» И вдруг, обернувшись, Сайфулла видит Марьям, приникшую к стеклу с того места, где за минуту стоял он сам. Ее лицо темное и худое. Золо-

тые луны уже не качаются на маленьких мочках ушей. Она ревниво заглядывает в избу Самигуллы, не вернулся ли за нею ее гармончи-джигит... «Нет, не жди его, глупая. Он советится прошлого, он читает книжки, он утром не дождет-ся вечера, а ночью торопит утро... Он стал капитаном величественной и сильной машины, а капитаны — ветренный народ!» (—Она была дочерью богатого, заносчивого бая. Когда они встречались на Су-Юлы, дороге воды, что вела от колодца, Марьям ставила ведра и подолгу глядела на Сайфулла. Единственно, чтобы добыть коня, сапоги и магар — на выкуп невесты, Сайфулла ушел на железную дорогу. Он уходил, сутулясь, нищий, и даже штаны на нем были чужие. Семья провожала его воем, как на гибель, и сперва трудно давалась паровозная наука, но удачливы, по поверью, дети, зачатые на лубяной постели. И теперь, если бы даже тысяча Марьям, неутешных и нежных, как вдовы, манили его назад, были отрезаны ему пути для возвращения!)

Здесь, в перелеске, и отыскал Пересыпкин сбежавшего машиниста—

— Ну, в самую воду залез! Небось, не дети... — бранился он, толкая в руку Сайфулла. — Весь мокрый. Вылазь из сугроба, чорт татарский. Остынешь, а завтра, помнишь, что?

Он захватил с собой кожанку Сайфуллы и заботливо, совсем по-женски, прикрыл его влажные, охолодавшие плечи.

— Катя ушла домой?

— Еще доплясывает с твоей Махуб. Хотя что ей там делать без тебя? — пронизательно заметил Пересыпкин, а Сайфулла улыбался, радуясь самому звуку этого имени. — Тебе спать пора, пошел! Здесь яма с водой, не оступись. Я провожу тебя...

С самого начала он неохотно шел на эту вечеринку; неловко было показывать себя сторонником дурной, обычной среди машинистов, традиции. Всего за неделю в стенной газете появилась его громовая статья против станционных шинкарок вообще. Но раз случился грех, он старательно делал вид, что и его шатает от непривычки к хмелю.

— Хорошая ночь, Алексей!

— В такие и зарождаются глупости всякого покроя, — по-стариковски ворчал Пересыпкин.

— Хорошая ночь... — повторил во всю грудь Сайфулла и рассказывал, каким великаном среди людей был его дальний дядя Бадри, и какой это обширный и гостеприимный дом — советская власть, и что не случалось у них в Альдермеше, чтобы татарин становился машинистом. Он бормотал всю дорогу, мешая русскую речь с горячими татарскими словами, как вскипали они на сердце. И хотя это было им не по пути, они без сговора направились в депо. Комсомольский, 4019-й, стоял на заправке. Тошная, ленивая гривка копоти струилась в дымоход. С десятков таких же паровозов готовилось к завтрашнему рейсу, — не успевал обегать их дежурный кочегар. Но только у этого находился нарочно приставленный, караульный комсомолец. Смысл его присутствия заключался даже не в охране машины от возможных покушений, а скорее в демонстративном недоверии к администрации депо. Ребята поднялись в будку, и Сайфулла, касаясь кончиками пальцев, осмотрел все. Вдруг он полез за пазуху и достал полустлевшее письмо. Бумага проносилась на сгибах, она распадалась на серые куски.

Он не сразу отдал ее Пересыпкину —

— Шесть лет — много лет, правда?

Пересыпкин сообразил, чем он был тогда, и согласился, что шесть лет — уйма лет!

— Возьми это, Алексей... рахим итэ-гез!

— Зачем мне это?

— Читай. Скажешь, что думаешь... Э, ты не знаешь по-нашему, гаур! — Он огорченно принял письмо назад и, почти не глядя, наизусть стал переводить его текст.

Чернила растеклись и выцвели от испарений тела, но Сайфулла не ошибался ни на слове. — Письмо было от матери, из деревни, по-татарски. Старуха описывала жизнь и сообщала, что, слава богу, дни ее идут на убыль: все чаще деревянеют руки, разбирая луб на волокно. По праву старости на горькую

и беспощадную прямизну, Биби-Камал в лицо называла сына беглецом, утратившим сыновнюю близость. Она просила хоть на неделю заглянуть на родину, прежде чем на трех полотенцах опустят отца его в кабыр, в могилу. И еще писала она, что Хайруллиных раскулачили полтора года назад, и мать умерла с горя, а хозяйина, как члена мечетного совета, мутавалли, услали копать какую-то новую реку, которую забыл сотворить господь. С предельной сухостью она уведомляла также, что в доме их очень хорошо разместились амбулаторный пункт со школой и что Марьям живет далеко, в Чукурге, у дальней родни. Каждый шестой день она приходит в дом Биби-Камал и почерневшая, с опущенной головой, сидит на лавке. И никогда ни о чем не спросит, а дожидается молча милого своего жениха... В письме имелось также упоминанье, что план посева колхоз выполнил на сто десять процентов, а тканье рогож только на семьдесят шесть: не проворны стариковские руки. А снега в этом году глубокие, и ягняток в колхозе поморозили, а мулла недавно вышел на улицу и кричал, плача и приседая, и золой посыпая плечи, что никто не хочет молиться, и нет ему ни баранов, ни хлеба, чтоб кормиться с семьей... Сайфулла читал некоторые места особенно четко, чтобы Пересыпкин на слух мог воспринять земляную тяжесть крестьянского слова.

— Теперь скажи! — И следил за сменой выражений в алешином лице. — Ты все знаешь.

Пересыпкин деловито почесал переносье —

— Что ж, это очень хорошо, что план посева перевыполнен. Татарстан... хорошая, честная твоя земля, Сайфулла! Похвали, станешь писать, непременно похвали. Но укажи, что рогожи также нужны пролетарскому государству... и чтоб ягняток берегли. Что касается отца, навести его в отпуск! — И горько двинулись его губы. — Это не у всякого в наше время — степь...

Сайфулла жадно слушал каждое его слово. Он волновался не меньше, чем в

тот раз, когда приезжий ревизор тяги экзаменовал его на машиниста.

— ... а Марьям?

Пересыпкин опустил голову и молчал.

— Знаешь ли, Сайфулла, я немножко выпил... мысли идут кругом. Мне трудно об этом!— Но его почти давило вопросительное молчанье Сайфуллы, и он продолжил: — видишь ли, я много испробовал на свете, попадал в крушения, был ранен снарядом, прыгал с парашютом, видел, что делается с человеком, когда он съест слишком много глины... А этого я не знаю, товарищ!— Вдруг он честно и прямо взглянул в лицо Сайфуллы. — Катя хорошая девушка. Она красивая, она умная, она наша девушка. Может быть, забыть твою Марьям?

— ... забыть, — эхом откликнулся Сайфулла, и рука его, машинально протянутая к инжектору, дрожала.

Машина становилась теплой. Все заметнее становилось в ней скопление горячих, движущих паров; росла на манометре ее сила. И наверно, если бы слегка отвести влево ручку регулятора, легкая дрожь вступила бы в ее массивное, длинное тело, точно к полету изготовившаяся, торпеда. Всего семь часов оставалось до ее испытанья. В 9.34 должна была наступить зрелость Сайфуллы. Думать об этом было жутко и радостно.

— Ничего, Сайфулла! По слухам, Наполеон перед боем тоже нервничал.— Это была любимая аляшина поговорка.

Они пошли спать.

Исторические опыты Алеши Пересыпкина

Коллектив почти в полном составе вышел проводить Сайфуллу с его бригадой. Играл оркестр, четыре трубы и одна старательная такая флейта; остальные музыканты были заняты в смене. Просыревшие птицы тяжело шарахались от звуков. Все, что намело с ночи, потаяло к рассвету, но старый снег держался. Поезд был длинный; хвост его терялся в смутных, каких-то мерлушковых, потемках. Кричали вослед вагонам,

махали платками, у кого имелись. Катя Решоткина ковыряла прутиком мокрый балласт между рельсов. Незаметно Пересыпкин отправился назад. Победа утратила свою новизну; сыроватый снежок стал налипать на свежую покраску паровоза. И то обстоятельство, что в эту праздничную минуту все забыли об Алеше, потратившем столько усилий на одоление Протоклитова, доставляло ему маленькую и приятную боль. Он сознательно отказывался от своих заслуг в пользу героя дня, Сайфуллы. Он возвращался, слегка сутулясь, с высоко поднятыми бровями, даже в этом отдаленно подражая Курилову... Пожалуй, это было все, что осталось в нем от вчерашнего мальчика.

Его временное пристанище находилось в дежурной комнате кондукторских бригад. Помещение непорочно делилось печкой на две части. Всегда на ней сушилась мокрая одежда; гнилой овчинный пар мешался с махорочным чадом. В пустоте за печкой, у окна, прорубленного на диспетчерскую башню, стояли два стола. На одном и спал Алеша, подложив под голову бланкенгагелев архив, который всюду таскал с собою; другой же употреблял для работы. Сделано было много, а все не виделось конца его мытарствам. Первоначальный план истории дороги распался. Внутренняя логика материала диктовала Алеше причудливую форму полусторического жанра и даже не без примеси фантастики, о чем своевременно догадывался Курилов. В этом обширном сочинении, написанном на обороте старой дорожной ведомости, юноша стремился исследовать некоторые деяния хозяев минувшего века; их мытая фотография, приколотая к стене, украшала теперь пересыпкинский застенок. Он верил, что постоянное созерцание ее поможет ему проникнуть глубже в круг дворянских интересов того времени, в их быт, в их настроенья и идеи. К этому сроку документов скопилось непосильное множество. Эти амбарные и инвентарные книги, дополнительно полученные от Кости Струнникова из Борщни; эти интимные и скарденные признания гофмейстеров двора, архимандритов, откупщиков, по-

живившихся на авантюре; эти донесения исправников, деловая переписка с банками и безграмотные рапортчики техников и рядчиков заволокли Пересыпкина в такие дебри, откуда выбраться без посторонней помощи было ему уже не под силу. Но удача покровительствует неопытным игрокам!

По недостатку времени он никогда не писал романов. Некоторые стихийные обстоятельства помешали ему стать ученым историком, а вредное прямодушие — следователем по такого рода делам. Для успеха же требовалось объединить в себе эти три смежных профессии... Больше того, он понимал, во что превращается всякая реликвия, побывавшая в небрежных руках потомка. Тогда ему захотелось стряхнуть с устарелых понятий и идей тот иронический налет, что происходит от ускорения темпов жизни, от развития новых творческих заданий и от накопления материального могущества. Словом, он полагал советское государство достаточно сильным, чтобы его историки были объективны и даже бесстрастны в отношении к мертвому врагу, чей пепел нынче ждал его суда... Но нет, не давались Алеше эти стариковские достоинства! Он все еще слышал совокупный скрип чиновничьих перьев и железного ярма на шее подневольного люда. Чернильницей ему служила ненависть, и сочинение невольно становилось его собственным портретом.

В тот месяц из Борщнинского совхоза дважды приезжал к нему Костя. Он входил, тоненький, подтянутый и острый, обдавая зимней свежестью; он стряхивал рукавички на стол, протирал запотевшие очки, улыбался — точно зорьку дарил товарищу.

— Все скрипишь, Пимен?

— Сооружаю эшафот, Костя. Хочу судить их по-своему! — И, поминутно вскакивая в поэтическом возбуждении, делился всем, что скопилось у него на руках и принимало форму загроbnого обвиненья.

Итак, после бессонных ночей, проведенных над первоначальным проектом Волго-Ревизанской дороги, после неоднократных посещений всяких архивов и,

прежде всего, одного старичка-бухгалтера, разводившего канареек на Зацепе, после пристального рассматривания патриархальных картин прежнего бытия, запечатленных в документах, обстановка и детали того чудовищного предприятия представились ему в следующем виде. — Это была пора, когда дворянство, выталкиваемое из жизни научившимся разночинцем и обогатившимся купцом, все охотнее подавалось в сторону коммерции. Напуганный угрозой разоренья, дворянин пускался во всякие спекуляции, нередко приводившие к прямой уголовщине. Но избалованному хищнику нехватало ни той выдержки, какая у купца происходила от недоверия и настороженности, ни того стремительного натиска, что характеризовал их современника-разночинца. Когда же после неудачной войны объявилась грозная потребность в железных дорогах, все более предприимчивое бросилось туда, как в Калифорнию. Но и здесь в основу был положен тот же принцип: если и марать руку, так было бы ради чего!

За исключением небольшого участка удельных земель, весь Горигорейский уезд в семидесятых годах представлял собою феодальный монолит из четырех крупнейших поместий; крестьянство проживало, повидимому, на межах. Три из них, граничившие с Волгой и ее притоками, принадлежали барону Тулубьеву, некоему Хомутову П. П. и, наконец, Бланкенгагелю, занимавшему особое место в пересыпкинском исследовании. Бланкенгагелевы земли, расположенные между пахотных угодий Тулубьева и бескрайних монастырских лесов, составлялись, главным образом, из пространств малоходовных, и обладатель их вскоре после 61-го года стал искать способа поддержать пошатнувшееся благосостояние. Не гонясь за чинами, где можно было бы торговать понемножку служебным положением, не имея титулов для блистания в высшем свете, этот героический человек удовлетворялся званием предводителя губернского дворянства и усердного сельского хозяина. В период с 1858 по 1862 он поочередно занимался то акклиматиза-

цией редких животных, то изданием журнала по племенному куроводству, то, наконец, шелководством; судя по сохранившимся распискам, все подвластные мужицкие души усердно и по сходной цене мотали ему шелк. Однако, в 1862, в годовщину манифеста, на червей напала пембрина, тогда еще не зарегистрированная в летописях отечественного шелководства. Личинки чернели на глазах и сворачивались, как обугленные; их корзинами вытряхивали в яму и, побрызгав вонючкой, засыпали мартовским песком. Значительный капитал, вложенный в эти инкубаторы, морильные печи, оранжереи со скорпионерой, заменявшей по тогдашней моде тутовое дерево, мотальные станки и в прочие мудреные штуки, — этот капитал был подрублен в корне. Монаршее благоволение, выраженное Оресту Ромуальдовичу за развитие нового отечественного производства, звучало в таких условиях, как прямое издевательство. Пользуясь случаем, Хомутов П. П. отстриг у будущего компаньона три богатейшие рощи, сыроварню и винный завод. Тогда-то Бланкенгагель и задумался над жизнью, что она такое есть, и какой в ней верховный смысл, и почему оно так получается!

Обогащение Дервиза на Московско-Саратовской и вслед за тем успешная продажа акций Волго-Донской железных дорог давно служили ему соблазном. Еще ранее статья известного Погодина¹⁾ о пользе Московско-Сергиевской линии пробудила в нем гражданские чувства. Началась деятельная переписка, визиты и таинственные свидания: Бланкенгагель нащупывал возможных сообщников в предстоящей афере. Но только в апреле 1869 состоялось в Боршне секретное совещание, где принял участие ближайший сосед Бланкенгагеля, находившийся в гостях у Тугубьева двоюродный племянник всеильного А. Е. Тимашева в должности шталмейстера высочайшего двора К. К. Шепеляшин и близкий друг самого Адлерберга, камергер Туфелькин. При-

глашен был также видный промышленник и начинающий судовладелец И. Л. Омеличев, кровно заинтересованный в новой дороге, так как она создавала ему дополнительные потоки грузов для его будущего флота. Этот видел дальше всех. Он, было, и примчался по жаре, весь облепленный оводами и размахивая хамским своим картузищем, но его не впустили по требованию старика Туфелькина. Камергер не выносил кожаного запаха. Сидеть в прихожей Иван Лукич не пожелал, и это смешное приключение отозвалось впоследствии на бланкенгагелевом предприятии¹⁾. — Соевещание единодушно постановило присоединить Горигорецкий уезд к лону европейской цивилизации посредством железной дороги, для чего произвести изыскания, выпустить акции и, в духе времени, просить правительство о предоставлении льгот и гарантий.

— ... Все это чистое мошенничество, милый Костя, и механизм его состоял в том, что группа высокопоставленного жулья в целях самообогащения учредила некое общество. Ни денег у них, ни знания дорожного дела не было. Какой-нибудь иностранный банк давал им под залог акций, скажем, половину действительных затрат на дорогу; особого риска он не нес, так как русское правительство гарантировало прибыль, если бы даже дорога оказалась коммерчески невыгодной. Определим стоимость дороги... ну, назови любую сумму!

— Ну... пять миллионов, — осторожно откликнулся Струнников.

— Отлично... Смета, а впоследствии и отчеты составлялись на десять. Эти пять расходились по директорам, как первая прибыль от их учредительства. Один заключал договор на шпалы и брал за них двойную цену; другой покупал за бесценок землю у вла-

¹⁾ В последующем частном письме от 21 января 1871 на имя министра финансов М. X. Рейтерна, имея в виду застрашать наступлением неумытых купеческих орд, О. Р. Бланкенгагель приписывал кожевнику вещь фразу: «...не хотите, дворяне, Россией делиться, мы ее из-под вас с волосьями выпростаем!» И еще что-то, не совсем приличное, насчет бабы, которая не по чистой одежке избирает себе мужика.

¹⁾ В Русской газете от 23 сент. 1859.

дельцев, не знавших о предположенной дороге, и через подставное лицо продавал обществу по десятикратной цене. Третий свою же собственную землю, назначенную в полосу отчуждения, вручал, скажем, тете, и сам же от имени общества покупал ее по приличной цене... Понятна махинация, Костя?

— Мутно пока, но просвет виден. Давай дальше... посмотрим, что у тебя там на доньшке!

— Дальше начиналась биржевая часть. На помянутые десять миллионов правительство гарантировало шестьсот тысяч ежегодной прибыли. Любому вкладчику, в надежде на увеличение прибыли, представлялось выгоднее купить акции, чем положить деньги просто в банк. В том и состояла игра, чтобы путем взятки редактора газет, директорам банков и прочей шпане создать в публике ложную уверенность относительно процветания дела. Таким образом, капитал в десять миллионов удавалось сбить за пятнадцать. Это была уже вторая прибыль... (А дороги пока все еще нет!) Так вот и обогащались они под шумок освободительной реформы... Потерпи еще немножко, Костя: главное впереди!

Это была пора покровительства всяким железнодорожным компаниям, хотя предоставление в частные руки такого важного источника дохода и наносило ущерб народу, умножая его податные тяготы. Кроме того, у надлежавших чиновников были, видимо, основания забыть о действительном экономическом значении новой дороги. Почти параллельно предполагаемой уже велась Московско-Саратовская, и прямой государственной необходимости в Волго-Ревизанской не было. Бросалось в глаза, что намеченная трасса проходила через поместья всех учредителей. Эти люди не руководились соображениями наименьшего пробега грузов. Только сам главноуправляющий путей сообщения, хитрый К. В. Чевкин, усмотрел спекулятивный характер молодого общества (— никто из его столпов не зарекомендовал себя ни в промышленности, ни в строительстве, и между ними не было банкира). «Барыши-то уж поделили, ваши

превосходительства?» — поворчал он шутливо, и был непреклонен старческий его смешок. Напрасно бланкенгагелевы орлы, Тулубьев и Грубе, будущий правитель дороги, метались по всем приемным Петербурга. Полтора года спустя, при обсуждении в совете министров, Чевкин лукаво соглашался на гарантию дивидендов из расчета четырех процентов на основной капитал, при условии, что стоимость пути, включая все расходы, не превысит 50.700 рублей за версту, а линия от пристани Тырца будет продолжена вдоль берега до Астрахани. Учредители предались размышлениям, стоит ли и Каспий присоединять к цивилизации... Словом, денег у правительства Бланкенгагель не получил. Тогда и был придуман стратегический маневр в обход затруднения.

На первой же сессии губернского земства, тотчас по получении безгарантийной концессии, Оресту Ромуальдовичу удалось добиться того, что само земство становилось гарантом займа для Волго-Ревизанской. Гласным внушили, что они во имя все той же цивилизации обеспечивают держателям акций доход лишь с четверти всего капитала. Несмотря на то, что Бланкенгагель помянул и Муция Сцеволу, и других носителей гражданской доблести, кое-кто из помещиков стал протестовать, угадывая лихой стиль аферы. В столицу полетела просьба оградить интересы земства от увлечения некоторыми влиятельных руководителей. Комитет министров заколебался... но высокий племянник посетил могущественного дядю, большой князь шепнул при случае августейшему кузену, и все уладилось. Правительство мудро утешалось тем, что кое-какие следы деятельности все же оставались от этих скоропалительных обществ.

Последнее сопротивление архиепископа Иннокентия, видевшего в распространении железных дорог угрозу вере, ущерб церкви и разращение паствы, было сломлено личным письмом Бланкенгагеля. Он заверил владыку, что уплата за отчуждаемые у Горигорецкого и Василь-Дубнянского монастырей земли будет произведена по цене, не меньшей, чем Мамонтов и Шипов пла-

тили Сергиевской лавре. Все же осторожный архипастырь списался с сергиевским архимандритом и только по получении благоприятного ответа ¹⁾ выразил свое одобрение. Больше того, движимый прогрессивными побуждениями, он самолично, с поднятыми хоругвями и хором монахов, где преобладали глубочайшие басы ²⁾, отправился на освещение закладки. При большом стечении простонародья архипастырем были вознесены моления о даровании всяческих преуспеший гг. благодетелям Горигорещкого края.

(— Ну, не надоело тебе таскаться по моим раскопкам, Костя?

— Нет... но я слишком узнаю тебя во всем этом: твоё терпение, твой гнев, твою насмешку...

Кажется, он требовал уточнения границы между действительностью и вымыслом летописца; и он остерегался обидеть товарища прямым недоверием к его работе.

— Так докажи мне по этим бумагам, что всего этого не было! — запальчиво возражал Пересыпкин, сдвигая в его сторону всю грудку балансов, коносаментов и рапортов. — Судья считает показания свидетелей достоверными, если нет других, им противоположных!

— Где они, твои свидетели? Они в безвестной отлучке. Спустись в их могилы, растолкай, расспроси их, Алеша!

— Я спрошу книги...

— Э, книги те же кости — идей, веков и великих человеков!

— ... наконец, последний мой свидетель еще жив! — торжествуя, кричал наш историк, и кондуктора в соседней половине прислушивались, как к возникающей ссоре. — Я разыщу его, я возьму его за плечи, я взгляну ему в выцветшие глаза и по ним выверю мою правду...)

¹⁾ А. В. Пересыпкину не удалось установить, каким образом оригинал послания от сергиевского Антония попал на бланкенгагелев чердак.

²⁾ Среди всяких арифметических упражнений и проб пера, на стр. 32 своих деловых записок, Орест Ромуальдович с несвойственной ему теплотой упоминает о некоем иеромонахе Иове, гортани которого позавидовал бы сам Дьявол.

... достаточно было взглянуть на расценочную ведомость, чтобы постигнуть размах аферы. Считая, например, стоимость подвижного состава по нормальным ценам того времени в два с половиной миллиона, Бланкенгагель округлил эту цифру до трех. («И это в то время, милый Костя, когда берлинский завод Борзига и фабрика Флуга предлагали паровозы по цене в полтора раза нижешей манчестерского Геста и бирмингамского Сога!») Количество земляных работ исчислялось в суммах, как будто это была самая гористая часть империи. А местность была ровная, балласт укладывался по равнине, и требовалось лишь наковырять канавок по сторонам пути. Даже шпалы были расценены по рублю с четвертаком, хотя красная их цена была в полтинник, включая стоимость пропитки. Таким образом, 180 верст двухколейного земляного полотна с одним рельсовым путем обошлись по семидесяти пяти тысяч рублей. Самое утверждение этой ведомости обнаруживало полную неосведомленность министров даже в географических особенностях различных областей империи.

Итак, хрипучий бас велиароподобного Иова подал сигнал к движению бумаг, людей, капиталов, рабочих тачек. Первая партия землекопов, вследствие недорода в Заволжье и смежных благоприятных обстоятельств, готова была немедленно, за хлеб и воду, двинуться на место работ. (Покамест Бланкенгагель хлопотал о получении по сходной цене польских арстантов, как это практиковалось на постройке Харьковской и других дорог.) Главный подряд получил известный г. Орбек... Словом, происходила деятельная суматоха: директора подмахивали чеки, чиновники скрипели перьями, священнослужители вносили моления, а мужички («— эти древнерусские экскаваторы, Костя!») потуже подтягивали пояс, отправляясь в дальний путь. Социальная машина века приходила в движение.

Акции нового предприятия разбирались неохотно; за полтора года из всего количества их была продана едва треть. К этому сроку правительство выпустило 5-процентные, с твердым доходом, бан-

ковые билеты, и малосильные дельцы принялись сбрасывать спекулятивные бумаги Бланкенгаеля. В середине 1874 цена акции снизилась до 165 (против 225 по номиналу), потом поднялась немножко, как всегда перед последним дыханием, и уже накрепко рухнула до 112. Тем временем земские субсидии были уже съедены. Для продолжения строительства оставалось или вернуть расхищенные средства, или найти крупного и дураковатого пайщика, чтоб взял на себя финансирование дороги. В этих условиях было сущим ребячеством обращаться к знаменитому В. А. Кокореву; тогда-то Омеличев, состоявший в близкой дружбе с откупщиком, полностью расплатился за свое поруганье. Кокорев приказал передать Тулубьеву через приказчика, что не гоже неумытой купецкой денежке с белым дворянским рублем в одном кошельке лежать. Уже едва тащилась резвая русская тройка; из сил выбивался коренник, пристяжные пугались в постромках... Когда впоследствии, по окончании дороги, подступила уплата процентов, в губернской управе подсчитали: для оплаты помянутой гарантии потребовалось бы увеличить земский сбор на 70 коп. с десятины. Великий, во всегубернском масштабе, вой плательщиков достиг столицы. Этот (названный Рейтерном) бунт дураков грозил банкротством земству. И тогда, вопреки логике, казенные миллионы были брошены на заделку бреши в Волго-Ревизанской. Для видимости земство обложило дополнительно каждую десятину по пятаку, на этом и покончилось...

(— ... взгляни только на эти пыльные хари, Костенька! — и пальцами прищелкивал по ветхой фотографической картонке. — Эти жулики — в чуйках, мясах, камергерских мундирах — шесть миллионов украли у казны. Никакой вор не нанес бы столько убытка!

— Приезжай в Борщню, пока жива наша старуха. Она тебе, наверно, расскажет... Кстати, и Курилов гостит у меня сейчас. Приехал он, между прочим, с девушкой... миловидная, простенькая, а есть в ней какой-то кнутик на нашего брата!

Пересыпкин строго взглянул на приятеля, но глаза у Кости были ясные, и ни намека, ни насмешки в них.

— Ее зовут Мариной? — спросил он, кусая губы.

— Да нет... Я уезжал, они отправлялись в соседнее село, на прогулку. Помнится, он называл ее Лизой.

Перед таким сообщением становился втупик даже он, разобравшийся в хитроумных бланкенгаелевых тенетах, Алеша Пересыпкин.)

В расценке земляных работ указана была цена кубосажени по два с полтиной. Казалось бы, работа на Волго-Ревизанской постройке должна была обогатить землекопные артели. На деле же получалось наоборот, потому что Поммье, правая рука Орбека, сдал подряд перекупщикам, чтоб не мараться о черную Россию, а те спустили его, в свою очередь, дальше. Каждый оставался не без барыша, и мужику в четвертой, а то и пятой руке приходилось едва шесть гривен за кубосажень вырытой, перевезенной и уложенной земли. Условия существования были жестоки даже для привычного ко всему мужика тех лет. Суточный урок был громаден; требовалось подлинное самоотвержение, чтобы уберечь копейку до возвращения в семью. И все-таки дорога продолжала строиться. Была, поистине, неистощима нищая сума российского мужика...

— ... и в этой точке, товарищ милый, рождается у меня образ Спиридона Маточкина. Он жил, потому что я видел следы его лаптей и крови на государственных бумагах. Он умер от невыясненных причин у тебя, в Борщне. И когда я писал об этом человеке, Костя, я думал об своем отце; видишь ли, его засекали белые... я не рассказывал тебе о нем? Не моя, значит, вина, если их судьбы будут немножко похожи.

Это был единственный раз, когда Алеша проговорился об отце, и Струнников подумал, что для истории выгоднее составлять биографии не великих, а именно рядовых людей, потому что в них много выразительнее скрещиваются все условия эпохи.

Спирька проходит по алешиным страницам

16 июля 1874 года, почти за два года до открытия дороги, Еким Шарвин из артели Лариона Баюшкина, получил письмо с родины. Вечером, за своеобразной мурцовкой, полуграмотный Спиридон Маточкин прочитал его вслух у костерка. Всем было по поклону. Жены и старики землекопов уведомляли мужей и сынов, что жизнь их пошла совсем худо: едят, что придется, а собаки на деревьях и лаять перестали, и были знаменья к войне и гибели, и в одном неназванном селении сотского жена будто бы сунулась к рукомоинику дите омыть, а там жидкая, не гуще кваска, кровь... И началось с того, что сурожинское окружное управление государственных имуществ отбирает у бедных их скарб и родимые гнилушки, хлеб продает на корню, выводит со двора скот, у кого есть. Речь шла о шестистах осьмидесяти рублях недоимки, давно отосланных кормильцами и затерявшихся на почте. Чиновнику были предъявлены почтовые документы о высылке денег в уплату податей, но тот не пожелал внять ни слезам, ни казенной печати, пока не получит полностью удовлетворения в долговой сумме.

— ... по-о... по-охлаем го-оремыки, — по складам, с натугой читал Спиридон. — Ду-ух от тела отстаё-от...

Сообщалось в письме, что у Кирилла Макурина корова пошла за восемь, а изба описана за двадцать девять целковых. А у Баюшкина старуху увели в уездный земский суд за неосторожное слово. А у Маточкиных дочь Феонию, заголя тело, несмотря, что невеста, постегали маленько крыжовником за причинение обиды стражнику Ломоносову. (Феония доводилась сестрой Спиридону.) Так всем досталось по гостинцу да новости. Чтец сложил письмо и отдал по принадлежности... Стояла отличная тишина. Горизонт помаргивал зарницами; луна вылезала, как после опоя; костер задыхался от отсутствия воздуха; комары из ближних болот трубили над ухом, точно ангелы судного дня. Весь день калило солнце. Ждали — к

вечерку косою, ровно из бадьи, дождик сполоснет дикие здешние пустоша. Но гроза изошла в громе и блесках дальних молний. Говорить стало больше не о чем. Вычерпав со дна миски лук и раскисшие ржаные корки, артель пошла спать.

Поутру проведали, такие же грустные послания в разные сроки полученные были и в соседних артелях. И везде госпелал вышеуказанный Ломоносов. Однако, на работу вышли во-время, с рассветом, намереваясь по окончании урока сходить по холодку к инженерному начальству. Непорядков накопилось свыше всякой божеской меры. Главное мужиковское пойло и топливо — квас неизменно бывал окисший; подстилка для ночлега выдавалась всего в размере одного снопа на человека в неделю; народ, договоренный на земляную работу, по той же цене употребляется на каменную; сапоги, полной стоимостью записанные в рабочие книжки, оказались на сущем кленовом листке — «пальцы сквозь подошву каждого жучка, извините за выражение, учують!»; взамен бани, обещанной по неписанному контракту, выдают либо водкой, либо деньгами, по пятаку на руки; господин дистанционный офицер нанес удар по леном дров землекопу свиридовской артели Агафону Зимину, отчего тот маненько оглох, провалялся неделю в землянке и сам же получил вычет, хотя прогулял и не по своей вине... Множество имелось и других жалоб, а главная — на чиновника из управления государственных имуществ. И уж кстати, чтоб итти веселей, захватили в плошке нерушенного овсеца, на кануне выданного на кашу...

Мужики в большом количестве полукругом столпились у конторки четвертого строительного участка и посреди поставили обвинительную плошку, а рядом сложили всякий земляной инструмент, так что все стало понятно без объяснений. Прокашливаясь, чинно, как перед молебном, ждали они выхода начальства. Но взамен инженер-поручика г. Щекотихина, славившегося отзывчивостью, как и преданностью картежной игре, вышел сам г. Поммье, предприняв-

ший обезд строительства ввиду некоторых неблагоприятных слухов. Небольшого роста и чернявый, похожий на горелый пень, в чesучевом кителе, он по-русски знал только брань, что всегда поселяло недоверие среди рабочих. Вышел он зато не один, а в сопровождении чиновника особых поручений г. Шемадамова и некоего Ахиллеса Теофиловича Штейнпеля, который выступал в роли губернской лисы, обладавшей высоким даром убеждения. Присланы они были в целях узнания о направлении мыслей¹⁾, и было счастливым совпадением, что в этот именно час они оказались здесь.

Г. Шемадамов, плачевного вида человек с длиннейшими вислыми усами, выступил вперед, делая странные движения пальцами, как бы ощупывая воздух, и осведомился, что означает притча с овсом и грудой лопат. В голос он вложил всю возможную участливость, и мужикам показалось, что он тут же, если и не умрет, то непременно разрыдается. Тогда один птицеобразный старичок отвечал на это, что налево стонт пи шша, а направо положен труд, и что довольствие труду неравновесно. В один залп, за что и выбрали его миром в говоруны, он перечислил и другие обиды, пока г. Поммье насасывал свою хрипучую трубочку, а Штейнпель пристально рассматривал пыль на своем ботинке. Г. Шемадамов наклонился к плошке и, зачерпнув десяток зерен, бросил себе в рот; ему показалоcь, что просто сапожные деревянные гвоздики попали ему на язык. Он выплюнул и покачал головой —

— Бога побойтесь, ребятаки... — жалобно сказал он, снимая с усов один застрявший там гвоздик.

— Богу стыдно не бывать! — вздохнул один древний цынготный старик, весь дырявый, точно огонь с'ел на нем одежду, с глазами, как две незаживляемые раны.

¹⁾ В копии рапорта горигорецкого исправника г. Рынды-Рожновского в адрес департамента исполнительной полиции имелось указание на подслушанные в артелях разговоры о некоей в т о р ой свободе и прочих вредных пустяках.

Толпа зашевелилась, и тогда г. Штейнпель, быстро отстранив вислоусого Шемадамова, нашел толковые и вполне резонные объяснения всему. За время двухдневного пребывания на строительстве он успел ознакомиться с содержанием мужиковских неудовольствий. Так, по главному делу о взыскании недоимки он показал собравшимся бумагу за № 5591, посланную в Сурожин, и полученное оттуда сообщение за № 1115. Ввиду явной неясности № 1115 в управление государственных имуществ отослано было повторное отношение № 5602, на которое и следовало теперь дожидаться благоприятного ответа. Касательно оглохшего Зимина он во всеуслышание прочитал заключение местного подлекаря Дубяги и приходского священника, что органы слуха у помянутого Зимина оказались налицо и в нормальном состоянии, хотя и не могли действовать вследствие истощения прежними болезнями. Что касается кваса, бани и сапог, он предложил среднее миролюбивое решение, количество же соломы для спанья от лица дирекции обещал удвоить. При этом он все напирал на цифры, потому что, при неспособности русского мужика к быстрому исчислению, цифра издревле являлась лучшим способом убеждения... Таким образом, все улаживалось; г. Штейнпель довел толпу до ясного сознания святости контракта, и уже сами мужики готовы были, хоть под присягой, подтвердить, что обращение с ними было самое кроткое, как вдруг произошел анекдот.

Молодой мужичонка, одной волости со Спиридоном, Семен Шпагин, вздумал показать французу язвы и опухоли на русской ноге, доставшиеся ему на 124-й версте, при возведении насыпи через Закревское болото. Размотав тряпье, он отважно пошел прямо на г. Поммье, но, по незнанию русской речи, тот принял поступок Шпагина за поносительную дерзость и смаху, не выпуская трубочки, ударил его сапогом в нижнюю область живота. От этого действия Шпагин тотчас упал и лежал, как бы завязанный в узелок, с коленями у самого подбородка, страшась кри-

чать, лишь мигая в небо глазами совсем смолевого цвета. И хотя лицо его не повредилось при падении, кровь выступила на губах у Шпагина. Вся работа г. Штейнпеля шла на-смарку. Мужики зашумели, ворвались во двор, изрубили стоявшие там две телеги и дрожки г. Шемадамова, отняли ружье у караульного солдата и раскололи икону — зачатие св. Анны. Впрочем, стало накрапывать, и буяны мирно разошлись по землянкам, унося безжизненного Шпагина с собою! ¹⁾ В тот же вечер г. Штейнпель имел беседу с г. Помье и склонял его, как правую руку Орбека, к примирению с крестьянами в духе статей 1534, 2224 и 2226 Тома X, Части 1 Законов гражданских, но тот послал его к чорту на французском языке. Опашения г. Шемадамова подтвердились. Утром четыре артели в составе 245 человек не явились на линию, и землянки их оказались пустыми. Они ушли в неизвестном, повидимому северо-восточном, направлении. Тогда г. Штейнпель направился верхом в Боршню, где, как всегда, проводил свой летний отдых О. Р. Бланкенгагель. Шемадамов же остался допивать свою долю и доигрывать партию с гг. Щекотихиным и Помье.

На совещании, где, кроме помянутых, присутствовали Э. Г. Грубе, пристав второго стана Рында-Рождновский и домашний учитель А. Г. Похвиснев, высказана была догадка, что сбежавшие крестьянские артели направились к своему губернатору просить об ограждении их семей от произвола чиновника управления государственных имуществ. Тело Шпагина, не могшее уйти самостоятельно, они, по всей видимости, захватили с собою. В таком виде, естественно, они являли собою подобие пороха: жители деревень на всем протяжении четырехсот двенадцати верст неминуемо должны были видеть горькое шествие мужиков, соблазненных на железнодорожную повинность. Можно было пред-

полагать, что именно произойдет, когда эта босая орда появится на площади перед губернаторским домом. (Насмерть перепуганный г. Похвиснев не сомневался при этом, что душою всего дела был Спиридон Маточкин.) Тотчас была составлена телеграфическая депеша г. начальнику военной части с просьбою охранить от возмущения полторы тысячи рабочих на протяжении двадцати верст, ближайших к Боршне. В губернию же с нарочным послано было подробное изложение обстоятельств дела, сопровождаемое удостоверением местного подлекаря Дубяги и приходского священника, что болезнь Шпагина проистекла скорее от хронического расстройства паховой части живота, чем от соприкосновения с ногою г. Помье.

Очень расстроенная происшествием. Танечка Бланкенгагель передала подробности своего посещения землянок, и г. Штейнпель нахмурился.

— А с вами, — обратился он к Похвисневу, — я еще буду говорить, при каких условиях вы выдались с Маточкиным и кто ¹⁾ надоумил их уходить с работ! — И тот испытал странную вязкость во всем теле от одного взгляда этих скользких, ализаринового цвета глаз.

В качестве временной меры постановили снять мост и переправу на р. Зуйке, но как-раз проходили последние плоты по Зуйку, и мужикам не составило труда пяток из них подтянуть к берегу. Выбравшись за пределы ненавистной губернии, они двинулись дальше, и стало ясно, что у них хватит ожесточения пройти насквозь бескрайнюю Россию. Уже через полторы недели все наличные учреждения трех смежных губерний вступили в деятельную переписку по поводу буйства, покушения на жизнь г. Помье, самовольного побега с места работ и, наконец, неслыханного кощунства, о котором страшались говорить вслух. Речь шла вовсе не о разбитии иконы св. зачатия.

¹⁾ Сопоставляя даты этого случая с неотсланным письмом Танечки, Пересыпкин имел основания догадываться, что похвисневское посещение землекопов произошло часа три спустя после этого события.

¹⁾ Имелись особые сведения, что г. Похвиснев фангазирует, умодействует, пытается увязать христианство с социализмом и грозит отыскать способ обновления человека.

... и вот уже не хватало алешиных сил изобразить беспорядочное шествие босых, истощенных людей; и вел их Спиридон Маточкин. Впереди тащились, что постарше, а потом четверо помоложе несли на армяке, подвязанном к жердям, распластанное, развязавшееся, наконец, тело Шпагина. Он умер на третий день, а его продолжали нести с мрачным и диким вдохновением; только почаще, по случаю великой жары, сменились на жердях. В этом образе еще убедительней представляли злодейства властей, а ради такого случая Шпагин, свой человек, мог и подождать с погребеньем. «Потерпи, родной!.. Мир просит!» И он плыл, черный и покорный, распространяя вокруг смрад и тишину...

Так они шли, наугад, с сосредоточенным, даже фанатическим упорством, руководясь отчаянием, как инстинктом, что гонит на старое место перелетную стаю по весне; шли через луга, молчаливо взбираясь на зеленые холмы милой родины и снова опускаясь в вечерние туманы речных низин; шли мимо зреющих нив, мимо беспечных тенистых усадеб, мимо веселых, на пригорках, деревенских храмов, и, наверно, сами при их приближеньи набатно гудели колокола. Пели жаворонки над ними, жмурился от солнца мертвый, издали блестя круглые, цвета розовой дресвы, обгорелые лысины стариков. Ночью сваливались, как придется, у костра, выставив дозорного и разложив по муравейникам тельные рубахи, чтоб освободиться от насекомых, — и Шпагин тоже отдыхал в сторонке... А был там среди них один не без воображения парнишечка; он захватил с собою плошку с овсом. Видно, засыпало ее пылью проселков, помочило дождичком, и зерно медным ядовитым цветом прозеленело в плошке. (Не было ли расчета у паренька, что оно и всколосится к той поре, как доберутся они, наконец, до губернаторского дома?)

«Что же вы, так-сяк, оглашенные, — матерински спросит губернатор, — отечество свое позорите? Кто из вас пострадавший?.. пускай выйдет и скажется!»

«Не может он выйти и сказаться, — хором скажут мужички. — Он маненько ушибен, ваше дорогое превосходительство, и лежит невосклонно. А за эти сроки, гляньте, загорел малость и поправился...» И поднесут ему прелый сюрприз на армяке, и ужаснется, и уволит чиновника из управления государственных имуществ, а французу повелит всыпать двадцать пять горячих, чтоб не забывался на чужой земле, а семейству Шпагина выдаст денежное вознаграждение за порушенного кормильца. — Так они думали, но вышло иначе.

Первою была брошена вдогонку горигорецкая инвалидная команда в составе двух унтер-офицеров и шестнадцати рядовых. В предписании предлагалось сперва мерами кротости и вразумления добиться раскаяния беглецов, а затем уже посечь зачинщиков для закрепления достигнутых результатов. Но то ли быстрее шагали мужички, чуя врага на следу, то ли отвыкли ветераны от военных переходов, — шествие продолжалось, и уже пространства второй губернии подходили к концу. После же того, как Спирька пытался увлечь с собою население одного села, последовало приказание конному отряду ногайских татар атаковать и примерно наказать на месте этих самодельных пропагаторов. Стремясь, однако, избежать возможного кроволития, отряду был придан А. Т. Штейнпель, уже в полной форме жандармского полковника¹⁾. По чело- веколюбию, не желая доводить дело до следствия и тем портить карьеру молодого человека, а вместе с тем стремясь наказать его психологическими средствами, г. Штейнпель взял с собой в поездку г. Похвиснева... Войско двинулось в путь под командой штабс-ротмистра

¹⁾ Из архивных материалов III отделения е. в. канцелярии Пересыпкин имел основания заключить, что Штейнпель был лишь подражателем некоего Джолио, жандармского полковника, действовавшего всего лет шесть назад от описанных событий. Обладая внушительной внешностью, зычным голосом и глубоким познанием крестьянской души, он зачастую единолично умиротворял беспорядки, возникавшие на строительстве частных железных дорог.

Казначеева и в два перехода настигло беглецов.

Встреча состоялась при р. Псне, на выгонах у деревни Апракино, и три белых разлтых березы давали достаточно тени, чтобы люди могли без утомления потрудиться здесь. Дабы не пугать одичалых мужиков, отряд всадников спустился в лощинку, и солдаты имели возможность оправиться и попить лошадей. Прыгая по лужку, коляска приблизилась к толпе, которая остановилась. Шпагина положили позади, на склоне холма; он уже отказывался двигаться дальше. Г-н Штейнпель решительно вытолкнул вперед молодого человека, и тот сразу обратился к толпе с объяснением великого значения железных дорог в деле перевозки тяжестей, а также призывал отречься от заблуждения и верить заботам правительства о себе. Он едва стоял на ногах, и то ли от долгой тряски по дурным проселкам, то ли цвет листвы отражался на нем, — было совершенно зелено его лицо. Однако, у него нашлось духу указать на свою собственную судьбу, судьбу простого крестьянского внука, достигшего и в нынешнем положении известных высот и образования. (Ахиллес Теофилович курил тем временем папироску и заметил сквозь зубы, что, наверно, и дедушка был такой же суккэн син.)

Тут еще ветерок со Шпагина повернул на молодого человека, и теперь плачевный вид его требовал даже медицинского вмешательства.

— Что ж ты, баринок, — жалостливо кивнул ему Ларион Баюшкин, поглядывая в сторону лощинки, — надгробно-т слово трудишь. Не бойсь, ето не тебя, ето нас драть станут!

Г-н Похвиснев окончательно смутился и, зажимая нос платком, устранился из беседы. В свою очередь г. Штейнпель притушил папироску и приступил к выполнению службы. Форма к нему больше шла, нежели штатское платье. Уже без доли фамильярности он огласил постановление властей вернуть беглецов в землянки, тело Шпагина, умершего от хронической болезни, предать земле, и выдать трех зачинщиков. Он, было, сам двинулся по рядам выбрать виновных,

но мужики заволновались, и тут, между прочим, г. полковнику было нанесено неоднократное оскорбление действием...¹⁾ Это послужило разрядкой злой, истерической устремленности мужиков; наступило трезвое понимание действительности, выступивший в образе г. Казначеева. Из лощинки следили за ходом переговоров... Было красиво видеть, как впереди лихой ногайской лавины легкий ветерок стлался по траве. Погрузив замутившегося г. Похвиснева в коляску, Ахиллес Теофилович отехал в сторону, чтоб не быть помехой действиям г. Казначеева.

(Пересыпкин намеренно миновал описание расправы; и без того чернила пенились и вскипали у него на перел!)

Отправка покаявшихся преступников по этапу в горигорецкий земский суд и бегство Спирьки из-под стражи не нашли отражения в бланкенгагелевом архиве. Только по частным письмам борщунских обитателей можно судить, какой страх наводили на округу последующие похождения Маточкина. Удивляло всех, что, ставши совсем вольным теперь, Спирька не возвратился на родину, а продолжал действовать²⁾ в районе железной дороги. Им владела странная затея: изловить и посечь самого Бланкенгагеля. В разбое у него не было сообщников, и, может, поэтому охота на него заняла свыше года. Его захватили, наконец, на чужой свадьбе, и на той же тройке, с лентами на дугах и в хвостах лошадей, хмельного доставили в Борщуню. К этому времени казенные бумаги о нем весили почти столько же, сколько и он сам. Горигорецкий тюрем-

¹⁾ Судя по личному рапорту г. Штейнпеля, он получил всего два раза по лицу; Маточкин же показал, что целых шесть раз ударил пострадавшего. Пересыпкину посчастливилось отыскать размашистую, недоуменную резолюцию шефа жандармов кн. Долгорукова: «государственное дело требует точности. Куда девались остальные четыре раза?» (Повидому же, г. Штейнпель считал только удары в ухо.)

²⁾ Действия его, однако, не приобрели больших масштабов. Старинное пожелание г. Рынды-Рожновского («пошли, господа, кошмарное преступление: можно прославиться!»), выказанное в частной беседе с О. Р. Бланкенгагелем, так и не сбылось.

ный замок был закрыт по случаю ремонта, и, как-то случилось, последние дни жизни Маточкин провел в Бордне. Следующее упоминание о нем попадает только в документах самого открытия дороги.

Оно произошло 20 июля 1876 года. (Пересыпкин отыскал в старых газетах кое-какие подробности этого знаменательного праздника.) Первым пустили поезд с солдатами, которые пели приличные случаю песни; с той же целью однажды Ной выпускал пробного голубя из своего ковчега. Потом при стечении народа на грузовую платформу поставили скамейки, устланные коврами, и впрягли двухосную, со здоровенной трубой, машину, которая дымила, как чорт. Здесь уселись директора, инженеры, важнейшие из пайщиков со своими семьями, инспектора наблюдения и другие губернского масштаба деятели, приглашенные на домашнее торжество. (Официальный банкет в честь открытия состоялся двумя днями раньше в Горигорецке.) Преосвященный согласился прокатиться при условии, что паровоз не будет свистеть в пути. Впрочем, он долго не решался влезать на платформу: «как все это грустно!» — молвил он. Бланкенгагель махнул платком, простонародье гаркнуло ура, солдаты взяли на-караул, поезд тронулся. Искры летели в лицо, потом пошел дождик по причине ильина дня, и многие не понимали, зачем же все это напрасное стеснение людей? Мокрые вернулись назад, и только олегово пиршество на семьдесят пять человек вознаградило участников прогулки. Обед длился шесть с половиной часов; слепые воспитанницы из приютского дома непрерывно исполняли кантаты, а Хомутов П. П. произнес речь о культуре, где очень ловко и кстати ¹⁾ приравнял борзиговские паровозы к той огненной телеге, на которой, по преданию, пророк Илья отбыл на небо, в нетленные чертоги творца.

Когда гроза прошла и в травке засверкало солнце, уже утратившее свою силу в борьбе с грозой, все ходили смо-

треть на пойманного злодея. Интерес со стороны гостей проявлялся к нему огромный. Они встали полукругом и ждали, и дамы дрожали не только от вечерней сырости, хотя Спирька еще не выходил. Прошло минут десять, прежде чем из погреба вывели под руки Маточкина. На плечи его был накинут рваный чапан. Хомутов П. П. попросил гостей расступиться, чтобы и дамы, не приближаясь, могли видеть то же самое. Разбойник стоял весь в багреце закатного солнца; оно еще пробивалось отлогими лучами сквозь ветви. Спирька молчал, низко опустив голову. Глаза его опухли. Зачем-то наспех, перед тем, как вывести, сполоснули его водой. Слипшиеся волосы приклеились ко лбу. Врезалось в память страшное благообразие этого лица. Преосвященный выступил вперед.

— Приподымите ему веки! — велел он.

Будучи почетным попечителем народных школ, он поощрял гражданскую словесность, Гоголя же знал на-зубок. Бланкенгагелевы молодцы поняли его слова, как приказание приподнять голову преступника.

— Видишь ли ты меня, Спиря? — тихо спросил владыка.

— Вижу, да руки коротки... — со вздохом произнес Маточкин, и все подивились обилию железа в этом битом человеке.

Он ггал, он не мог видеть ничего этими багровыми опухольями; он ггал даже перед пастырем.

— А ты веселый, Спиря! — продолжал преосвященный, грозя посошком.

Темное лицо разбойника оживилось; кажется, он пытался улыбаться всем тем, кого не видел.

— Я веселый. Взял бы ты меня, старичок, в песельники...

Тогда, стремясь соблести благочиние, преосвященный сказал увещательное слово, и все увидели, как наяву, громадное, черное тело Вараввы, обвисшее на гвоздях и веревках. С глубокой проникновенностью он распространился также о значении новой дороги для простого народа, когда каждый, купив билет в кассе, сможет посетить любую на род-

¹⁾ Еще гремело в небе, и сквозь ленивую радугу надвигался лиловый вечер.

ной земле обитель. Это был страстный поединок молчащей, отвердевшей души и проповедника, несправедливо забытого историей церкви. Спирька заплакал, хотя и были сжаты его кулаки; его приклонили к дереву, чтоб не упал сослепу на землю. Орест Ромуальдович приказал поднести ему чарку, и тот, задыхаясь, выхлебал ее в мгновение ока. А преосвященный все говорил о тщеславном знании и напрасной гордыне людского рода. «Вот все болтают: Юпитер-Юпитер, а что это такое, — никто в точности и не знает!» Было очень хорошо. Душевное умиление располагает к аппетиту. В воздухе посвежело. Все вернулись к столу. Натуры развернулись, и через полтора часа отца-эконома Василь-Дубнянского монастыря замятку вынесли на руках. Если бы не это да не ссора двух бравых путейцев по вопросу о спиритизме¹⁾, день этот был бы совершенным праздником единения всех прогрессивных сил.

... с самого начала, однако, дела на дороге пошли из рук вон плохо. Главные грузы успела захватить Саратовская, и на долю Волго-Ревизанской достались единственно дрова. Первые годы грузооборот был настолько мал, что по зимам не стоило и снегов разгребать. Акционеры разочаровались окончательно... и тут случилось, что новый главноуправляющий П. П. Мельников имел нужду проезжать по новооткрытой линии. И хотя этот высокопоставленный господин слыл великим скупердяем²⁾, Орест Ромуальдович совместно с тем же Хомутовым отправился к нему с ходатайством. До-

рога все еще не давала своих пяти процентов, и Бланкенгагель собрался просить хотя каких-нибудь военных перевозок, солдат или пушек, или что-нибудь другое, тяжелое и казенное. Свидание произошло на станции Бармалево. Мельников встретил гостей радушно, отметил уединенное очарование здешних мест, богатства края и предприимчивость высшего сословия. Похвала смердела издевательством. «Я ждал увидеть горы!» — иронически заключил он, намекая на высокую поперстную цену дороги. В ответ на жалобы он дружелюбно посоветовал открыть на крупных станциях недорогие публичные дома для привлечения иногородних пассажиров. Орест Ромуальдович чопорно напомнил его высокопревосходительству о своем дворянском достоинстве, но генерал-лейтенант сухоовато осведомился лишь, почем платили хотя бы за отчуждение земель¹⁾. Бланкенгагель смягчился (— главноуправляющий мог, например, потребовать лучших мостов в целях безопасности движения!), почесал бакенбарду и даже отвесил какой-то комплимент мудрой пронизательности государственного мужа.

Очень скоро, впрочем, примерная наглость «горигорецких разбойников», как стали их величать в губернии, потерпела крушение. На дровяной дороге кормилась уйма всяких директоров с многочисленной родней. 5-процентные государственные субсидии не покрывали и наполовину хищений, производимых под видом окладов и жалований. Тогда Бланкенгагель заложил акции в надежде обернуться к моменту оживления перевозок, но дошлые люди дознались, что сумма акций все же не покрывает его счетов. Банк потребовал покрыть возникшую разницу и, следом, принял крутые меры. Дело попало в руки следователя по особо важным делам. Управляющий дорогой, Э. Г. Грубе, показал на первом допросе, что деньги были изъяты по приказанию Бланкенгагеля на благоустройство края, а кассовые

¹⁾ За месяц перед тем некий Менделеев выпустил разную книгу о спиритизме (1876), сбор от которой предназначался на исследование верхних слоев воздуха. Эта отчаянная попытка выудить у русского общества 6.000 рублей на постройку какого-то заатмосферного дирижабля, как и следовало ожидать, успеха не имела.

²⁾ Про него шла молва, что во внеслужбное время он и часов не заводил, чтобы не стачивались попусту драгоценные колесики. (В этом письме к О. Р. Бланкенгагелю по поводу банковского отказа в субсидии на приобретение дополнительного подвижного состава Грубе явно напутал: острота касалась другого петербургского вельможи.)

¹⁾ Учредители получили по 450 за десятину пахотной и по 285 за порубь, то-есть за пеньки разных пород, а дровяные сараи обходились по 3.000 рублей.

прорехи наспех залатаны дутыми векселями. Вся губерния с замираньем сердца острила об аресте предприимчивого Ореста. Предводителем дворянства стал радикал, бывший мировой посредник в крестьянской реформе и непримиримый враг Бланкенгагеля. Уныние опустилось на Борщню. Учредитель, действительно, сидел под домашним арестом. Сюда заезжали на дрожках ходатаи, шлюны, замешанные в неприятность чудачки и престо воронье в поддевках и суконных казакинах. Опускались шторы, и час спустя небритый казачок отвозил на почту секретные депеши. Они оставались без ответа. Адлерберг был болен.

Орест Ромуальдович много читал в эти дни. Его настольными книгами были уложение о наказаниях и апокалипсис. Так он примеривался по одной и вкушал горькое противоядие из другой. (Кстаги, из столицы стали поступать запросы об исчезновении государственного преступника С. М. Маточкина. Повидимому, С.-Петербург также желал приложить руку к злодею.) Иногда Орест Ромуальдович спускался к Похвисневу в его получуланчик и до одурения играл с ним в шашки... Аркадий Гермогенович скучал. Ничто более не задерживало его в этом приюте изящной жизни, как он сам называл когда-то Борщню. Дудникова отправили вместе с отпрыском в столицу, Танечку же в Крым, чтоб избавить их от присутствия при последнем акте родительского позорища. Романтические рощи опустели. Желтый лист валился на дорожки, и по ночам спирькиным голосом кричал ветер. Ореол Маточкина окончательно истаял еще до поездки со Штейнпелем на расправу, едва Аркадий Гермогенович усвоил, что уж его-то этот самодельный Спартак зарезал бы в первую очередь за одно блудливое выражение глаз. Аркадий Гермогенович решил исчезнуть из Борщни. Он сделал это, даже не поблагодарив за гостеприимство. «Я задыхаюсь в спертom воздухе все еще крепостных латифундий!» — писал он в оставленной записке и обещал в других местах искать народную правду. (Так сильна была его уверенность, что Танечка по возвращении ста-

нет спрашивать о нем!) Записку увенчивала латинская цитата о Карфагене, который должен быть разрушен.

Бланкенгагелю подали ее утром, когда он расхаживал по террасе в ожидании кваса. Он прочел похвисневские объяснения и, усмехаясь, долго гладил пса. Халат его распахнулся, и горничные, собирая на стол, испуганно отворачивались. Старика удивило содержание письма. Никто не хватал за фалды этого щелкопера; притом же этот доморощенный фурьерист целых два года кормился на сытных карфагенских пастбищах и, кажется, имел время научиться с учтивости.

— Крыса какая, а? Три с половиной, балбес... — трубел в нос Орест Ромуальдович. — Латифундии, а? Тацит какой отыскался!..

(... Пересыпкин захлопнул рукопись и стал глядеть в окно. Первый огонек мигал в тумане, ночной снежок лепился на стекло.

— Ну, Костя, хватит с тебя на сегодня?

Струнников неохотно взялся за шапку —:

— Чем же все-таки это кончилось?

— О, ничем, Костя. На этот раз Адлерберг выздоровел!)

Курилов изобретает курс лечения

Уже к концу первой недели Алексей Никитич выглядел много свежее. Предельная ясность установилась в мыслях, и такая логика в явлениях жизни предстала перед ним, как будто мир был построен из одних прямых линий. Все остальное также говорило об улучшении. Со времени приезда в Борщню припадки не повторялись. Монотонный голос профессора давно загас среди других шумов жизни, а практика учила его не слишком доверять профессорским предсказаниям. В конце-концов, медицина тем и хороша, что часто ошибается! Как большинство не болевших никогда, Алексей Никитич ребячливо верил в целительную силу стихий.

Он поднимался, едва первая жилка рассвета опояшет восток. Уборщица вносила таз воды с плавающими льдин-

ками. Уверенный, что всякая болезнь не любит бритых, он заботливо выскрабливал свои щеки по утрам. Читал толстую книгу — что-нибудь о соперничестве морских и сухопутных держав на Океане — и, поглядывая на спящего сожителя своего, Гаврилу, медленными глотками пил молоко... Когда он выходил из дому, еще таял месяц в небе, тоненький, — как от надреза ножичком. Все спали. Шел наугад по скрипучей, все более слепительной дороге. Рассматривал следы ночного зверка и читал его приключения, записанные на снегу. Поднимался на Спирькину гору и недвижно подолгу стоял здесь, лицом в грустную и милую необозримость. И дышал, дышал, втискивая в себя как попало ощущения снежного воздуха, похрамывающего утреннего ветерка, кособокого и лохматого лесишки, торопливо нарисованного на снежной синьке. Думал, — как смешно, что вот он, грубый и сильный человек, прошел огромный путь, чтобы тайком остановиться здесь и ждать чуда.

Бывало славно на природе в эти часы. Облачишки в небе были какие-то мальчишеские, очень хорошие, и прозрачность пространства позывала на писание стихов. Алексей Никитич спускался в низинку, покурить, посидеть на знакомом пеньке, опустить пальцы в черную, с топазовым отливом, воду неумирающего ручейка. Лес рыжел, цвета и звонкость меди приобретал он по мере того, как всходило солнце: выстрел охотника в чаще походил на удар в металлический бубен. Тогда Курилов поднимался и шел на звук...

Так в нескончаемых этих блужданиях объявился у него потаенный и безымянный приятель годов шестидесяти двух. Это был веселый, совсем лубочный дед, охотник и невесомый человек, — без лыж хаживал по насту, чуть схватит его морозцем! В трудные годы все у него померли, и теперь старикашка проживал один в заколоченной избе, бил всякую дичину на продажу, летом ходил по деревням — «выслушивал воду для новых колодцев» — и хвастался, что самая смерть трусит встретиться с ним и все поровит тяпнуть из-за угла. Уговари-

вал Алексея Никитича полечиться у одного знахаря (— что уехал сейчас покупать хомуты для колхоза и вернется на будущей неделе), рассказывал ему мужицкие истории, круто посланные лаконическим мужицким смешком.

Алексей Никитич дымил трубочкой и слушал, слушал музыку его слов—:

— ... вот, приспело мужику помирать, и плачет жене: «Как умру, ба, чем ты меня накроешь?» — «Уж помирай, накрою...» — жена ему говорит. Вот помер, жена оммотала его тремя нитками (— ничего-то у ей, бедняшней, нету!) от пяток до головы, встала, убивается: «друг мой милый, да-а на что же ты похож?» А он, ба, и отвечает: «на балалайку!»

Было уже неважно, какая сила поднимет его назад, в жизнь. «Лечи меня, лечи, лесной старик!»

... итак, признаков умирания не осталось вовсе. Зато давняя пронзительная пристальность еще более увеличилась в его взгляде, как будто дали этому человеку вторые глаза. Вдруг все ему стало интересно — как обделяет свои зимние дела лесная мелкокалиберная пичуга, как переметнется белка с дерева на дерево, оставляя игрушечную вьюгу за хвостом, — как упадет на рукав и растает от дыханья граненая хрусталинка снега. Так он узнал, что зимний лес легонько припахивает псинкой, а дятлы до самоотверженности любознательный народ. И, как с большой высоты взгляд легко проникает в толщу моря, — ему стали доступны все мельчайшие душевные движения людей. Издалека он прочел по-новому льстивую, тревожную восторженность мальчика Луки и открытую, мужественную дружбу Зямки. Тогда ему стало ясно, что и Гаврилу приютит у себя из-за неутолимого желания вслушиваться в детскую речь... Бывало также, заходил в соседние колхозы напиться молока, рассказывал мужикам о замыслах советской власти или, напротив, сам вслушивался в их жалобы, обозначавшие рост потребностей, неудовлетворенность растущей зажиточностью и, следовательно, страстное стремление к тому, во имя чего были принесены жертвы. Он угадывал изнанку

человеческого поведения (—и смеялся от души, когда забежал к нему борщинский завхоз, и все юлил, допытываясь, куда Гаврила запрятал рукавички, купленные на именины жене; глаза завхоза бегали, точно на ниточках привязанные к мыслям, и втайне он, видимо, допускал тайное сообщничество самого Курилова); его внимание все чаще останавливалось на Лизе.

Он откладывал книгу, прекращая на время сражение величайших эскадр, и сравнивал двух, мертвую и живую. Чем-то теперь Лиза отдаленно напоминала Катеринку. По его мнению, их роднили — кажущаяся беспомощность (—хотя покойница имела силу воевать со старым Протоклитовым, а в числе лизиных трофеев был Ксаверий —), задушевная вкрадчивость и отсутствие внешней нарядности, общее для обеих ощущение какой-то надкушенности, застенчивая двойственность речи (—всегда позади сказанной звучала другая, главная фраза —) и все то, что он дополнительно придумывал в поисках сходства и преемственности. Он ошибался; в облике Лизы имелось что-то, чего всегда недоставало Катеринке, и, сказать правду, эти поверхностные сравнения редко выходили в пользу покойницы. Он всегда слишком уважал и боялся огорчить ее, чтобы быть счастливым с нею. Двадцать три года катеринкиной верности и преданности подвергались запоздалой переоценке. В своем позднем разочаровании он допускал несправедливость и к этому безжалобному другу, и к своей работе, полагая, что в нее он и вколачивал все свои грешные и вполне человеческие страсти.

На его примере неопытность юнши сочеталась с иронической прозорливостью старика. Все лизины секреты он разгадал давно. Наверно, это была переломная властная жадность к овладению миром путем создания его двойника, — и не с нее ли начинается подлинный художник? Он определял это качество, как подсознательное стремление закрепить в памяти мгновенье, его цвет и форму, идею и выразительность, самую игру заключенных в нем отражений обширного и сложного мира. Не

осудить всего этого — значило понять неумелую самонадеянность молодости, сложенные лепестки еще не распустившегося существа, выращенного в условиях тех лет, — то самое, что проглядел в ней муж. В своей преувеличенной снисходительности Курилов старательно отыскивал в памяти случаи, когда размах ошибок определял и масштабы будущих побед... У этой женщины все было впереди, и это было так же верно, как то, что у него то же самое оставалось в прошлом... Его приветливая внимательность к ней сменялась каким-то тревожным и незнакомым ощущением. Так вот как оно выглядит, настоящее! Похоже было, что его собственная молодость наступала только теперь. Поистине, он выздоравливал. Здесь, на закате, любовь становилась могучим и еще не исследованным средством физиотерапии. В другое время он счел бы это за волшебство. Два дня сряду ему казалось, что он совсем забыл о припадках. Уже он считал десятками признаки своего помолодения...

Куда бы ни глядел в присутствии Лизы, она всегда оставалась в поле его зрения. Встретясь утром, он до вечера носил на руке ее прикосновение, как перчатку. Это чувство мешало ему думать, но он охотно свикался с неудобствами своей второй молодости. Он хотел Лизы, он засыпал с мыслью о ней, и Лиза также подвигалась ему навстречу... Дома отдыха всегда располагали к романтическим приключениям, а в Борщине даже существовал особый лунный комитет из отдыхающих; он вел шуточную регистрацию всех любовных происшествий. Только этот двухнедельный роман ускользнул от летописей комитета; подготовка к нему совершалась втайне даже от самих участников, а завершение его походило на взрыв, слишком мимолетный, чтобы его успела отметить борщинская сплетня... Лизу притягивала значительность этого человека и не разумела вначале, в чем она состоит. Она приписывала Курилову великое право порицания и похвалы, и уже не желанного разговора с Тютчевым, а хотя бы маленького куриловского одобренья нехватало ей теперь для

счастья. Вдобавок ежечасно она угадывала темное облако, нависшее над Алексеем Никитичем, и хотела бы отстранить его, и не умела...

В письме к Аркадию Гермогеновичу, написанном по поводу его секретного порученья, она писала: «... извини мое запозданье. Я ходила на борщнинское кладбище, как ты велел. Едва нашла. Оно в запустеньи. Это сплошной сугроб; хорошо, что я догадалась отправиться на лыжах. Ночью, при луне, это красиво, но луна здесь очень мелкая; должно быть, износилась со времен твоей молодости. Сколько влюбленных уже пользовалось ею!.. Ко мне хорошо отнеслись. Один добрый человек, Шамин, возил меня в Черемшанск показывать людей. Странно, в общении с ними испытываешь потребность делать что-то большое, чтобы иметь право сказать — мы. Не удивляйся, если я задержусь здесь. Возможно, я вернусь в Москву только за вещами...»

«... все сбиваюсь с темы, интересующей тебя. Дважды я обошла это место, но той могилы не отыскала. Дело в том, что памятники употребили в дело, когда мостили площадку на конном дворе; похоже, что и это надгробие постигла та же участь. Между прочим, твоя Танечка могла быть похоронена где-нибудь и в другом месте... Смерть, как и все прочее, не сообразуется с прямой логикой; только оглядываясь из будущего, легко установить причинность событий. Вспомни ту же Марию... Кстати, я окончательно отказалась от мечты играть ее. Это был только детский миф, но я обязана ему тем, что образ этот провел меня через многие книги, о существовании которых я не подозревала... Здесь сохранилась прекрасная библиотека. Я много прочла. Мне скучно думать о том, что было моей мечтой.

«И опять удалилась в сторону, болтунья! Зато мы отыскиали здесь родственницу последнего борщнинского владельца, чуть ли не его родную сестру. Она живет здесь в сторожке среди парка. Я непременно постараюсь, если успею, расспросить ее о твоей Танечке; наверно, помнит. Мы ходили с Але-

ксеем Никитичем посмотреть на нее... Кстати, ты напрасно так дурно отзывался о нем. Жизнь его — сплошной рабочий день, и все-таки я ловлю его на постоянном страхе, что он не успеет, не успеет сделать чего-то самого главного. Это, конечно, большой человек. Я уже переполнена им, а он все еще не уместается во мне. Не думай: ничего не случилось. Я прежняя. Считаю, что твоя Лиза просто пьяная от воздуха, снега и людей...»

Самым убедительным доказательством ее искренности было ее безразличие, состоит ли Тютчев в куриловских приятелях. Больше того, она очень ловко переменила разговор, когда он сам мимоходом начал об этом. Она приходила к Курилову, теряя даже то бедное оружие провинциальной девчонки, каким кое-как научилась владеть. Ее пугало только существование Марины, роли которой в судьбе Курилова она не понимала. Приписывая сопернице качества, которых та не имела на самом деле, она решалась вступить в заочную борьбу с нею. Она старалась придать этим попыткам оттенок случайности—:

— Знаете, она красивая, эта женщина, что была тогда в машине. Такие утопленницы бывают: немножко полные и с зеленоватыми глазами... потому что насмотрелись воды. В июльский полдень... она плывет лицом вверх... Офелия.. вся в желтых цветах и поломанной осоке. И все вокруг плывет вместе с нею...

Он даже не понял, что это была ревность, но ему было ясно, что Катеринке, например, не понравилось бы замечание Лизы.

— Эта женщина — мать о-отличного сына, — сказал он с уважением к Марине. — Кроме того, она и сама неплохой человек... и она знает, где надо искать себя. — А сам подумал, что с такою, как Марина, Катеринка подружилась бы на протяжении часа и на всю жизнь!

Лиза замолкла, и, может быть, это был стыд. Они возвращались домой. С ночи, не переставая, валил снег. Лесная дорога угадывалась лишь по ширине просеки. Весь этот разговор и слу-

чился только потому, что из-за снега не видели лица друг у друга.

— Ну, что в а ш е Г а в р и л о ?

— О, большой скачок. Он учится улыбаться. Знаете, ко мне ребята с большим доверием относятся.

Она кивнула, соглашаясь и, наверно, имея в виду себя.

— Это правда. У вас есть дети?

... И не было! — он наспех придумал объяснение: — сперва все прятаться прихотилось, потом — помните? — республика три года не слезала с коня. А когда жизнь наладилась, супруга наша стали прихварывать...

— Она жива? — быстро спросила Лиза.

— Нет. — И шагов двадцать шел молча. — Но, бывало, очень хотелось завести себе сынищу... плечистого, на-смешливого, сурового, т а к о г о ... — и в жесте, каким он вскинул кулак над головой, сказала сила его давнего желания — ... чтоб я ему слово, он мне два. Сейчас он был бы уже красноармейцем. И он бы мне письма с Океана писал, не очень длинные, вполне деловые... поплакать не над чем, но в каждом листке едва уловимый запах большого водного пространства. «Прилетай, написал бы он мне, древний и многопочтенный старец, повидаться перед тем, как засунут тебя в большую печку, как уйдем мы с песней в далекий и последний поход!» И меня повезли бы, с уважением к отцу красноармейца... и я вошел бы посидеть на жесткой койке сына, а потом прошелся бы с ним по изрытой снова земле, угощаясь крепким красноармейским табачком... и все наблюдал бы, много ли в них от меня, а во мне от них. А кто знает, может быть, и внук прислал бы мне такое же письмо. Мы бы дружно жили с внуком: я никогда не обманывал детей...

Все гуще становился снегопад. Дорогу заносило, но проехал кто-то на пошевнях и оставил смазанную, расплывшуюся колею. Полозом обрезанный прут от подорожного куста валялся на снегу. Лиза подняла его и шла дальше, впереди Курилова.

— Вас, наверно, животные также любят... деревья, собаки, — сказала Лиза

и сразмаху хлестнула по елочке, одетой в синие вечерние хлопья. — Они любят таких хозяев — щедрых, с тяжелой и верной походкой. И чтоб не жалостливые, а умные были ко всему на свете! И тогда им ничто не страшно, ни ночь, ни враг...

— Вот, насчет деревьев не замечал. Они мне попадались, главным образом, в виде дров, — суховато заметил Алексей Никитич, сердясь на себя за не очень ловкую остроту. — Идите быстрее, темнеет... еще заблудишься в этих чортовых рощах. — Он повысил голос: — вы же видите, метель начинается!

Внезапно она повернулась к нему, поднятыми руками преграждая дорогу —:

— Слушайте, Курилов... мне от вас ничего не нужно. Мне не надо, чтобы вы были моим спутником до конца, но... слушайте, хотели бы вы иметь сына от меня? — Ее пугало, что он заподозрит ее в какой-то нечестной игре. — Я вырашу его таким, как вы сказали...

Он молчал, иронически щурясь в ее приближенное и, за снегом, точно за дрожавшей венчальной кисеей, лицо. Он верил, что это чувство в Лизе — минутное, головное, от порыва, без связи с сердцем. Ему хотелось сказать, что она не обратила внимания на нечто самое существенное в воображаемом письме сына. Лиза ждала, подняв голову. Снежинки повисали на ее ресницах. Вдруг она спросила, нахмурясь:

— Может быть, вы нечистый?.. или вам поздно?

Тогда он стал торопливо припоминать, как это делала та безымянная парочка под его служебным окном. Вот вторично давалась ему молодость и распахивались ворота сада! Маленькую и легкую, он приподнял Лизу на руки, чтобы ей не тянуться к нему. Она повисла на нем, и сердце ее сжалось, точно взошла на высокий мост, над громадной рекой, приникшей далеким устьем к Океану. Да, он был, как мост, и люди по нему переходили в будущее... Ее вязаная шапочка упала с запрокинутой головы. Горьковатые, влажные от снега губы ее были тверды, как сургуч;

они плавались и проливались куда-то в глубину куриловского существа.

— Ты рысь... ты скачешь на людей, — шептал он растерянно и тревожно, и еще что-то, неумелое и сильное, шептал он, держа в руках свою любовную добычу.

Она старалась освободиться—:

— Пустите меня, я искололась об вас. Это все равно, что целовать куст крыжовника...

Он бережно поставил ее на дорогу, откопал ее шапочку в снегу и протянул. Она забыла ее надеть и шла горбясь, с белыми от снега завитками волос. Минута была нехорошая, как всякая минута отрезвения. Алексей Никитич догнал Лизу и спросил, не обидели чем-нибудь. Она пробормотала сердитый вопрос, не карают ли законом тех, кто производит беспорядок в жизни ответственных работников? Она испытывала неловкость, точно все время из-за плеча подглядывал за нею Ксаверий и трясся, удушаемый подлым стариковским хохотком. Тогда Алексей Никитич рассмеялся и по-товарищески сжал ее холодные, мокрые руки.

— Нашему брату простительно терять голову: возраст! А уж вам-то...— Повидимому, он имел в виду ее профессиональный, защитный инстинкт актрисы.

Как будто ничего и не случилось, они возвращались рука об руку, шутливо обсуждая имя третьего. «Наверно, он будет называться Измаилом... — думал Курилов. — Это хорошее имя для водителя великой освободительной армии, не правда ли?» Вдруг она остановила его и повторила, как бы обороняясь от самой себя—:

— Мне ничего не нужно от вас, милый...

Мы берем туда с собою Лизу

Прикасаясь и радуясь, мы повидали многое там, на Океане. Порой бывало грустно возвращаться назад, как из нарядного жилого дома в незаконченную стройку, которая стоит еще без кровли, где еще протекает, и стропила чернеют над головой, и видна грубая кладка кирпичика на нештукатуренных стенах, и

поджигатель зачастую копошится у фундамента. Пешком мы обходили пространства преобразенной планеты. Нам нравилось там все, даже окраска вечерних облаков, которые выглядели совсем другими. Иногда, без сговора мы останавливались, брали в горсть эту тучную землю и подолгу, затуманенными глазами, смотрели на ее крупинки. Не мог не отпечатлеться на ней соединенный подвиг моих современников, землекопов, проектировщиков, вождей!.. Тогда мы с особой нежностью оглядывались на страну, одетую в строительные леса, и гордость принадлежности к поколению зачинателей овладевала нами.

И хотя беспредельно время будущего, мы успевали только полистать это великолепное переиздание мира, исправленное и дополненное человеческим гением. Впрочем, мы и не собирались составлять путеводитель по новой планете. Это была бы смешная попытка рассказать о блеске полдня средствами копеечной акварели. Мы ограничиваемся простым перечислением: известия первых путешественников всегда скудны и неточны...

Итак, мы старались побывать везде. Мы присутствовали при пуске монументальных гидростанций, и утро, например, когда воды средиземноморской плотины, скипая и беснуясь, рухнули в Среднюю Сахару и на турбины, сохранится в моей памяти, как величайшее торжество разума и человека, не заключенного в тюремные границы древних государств; мы обошли арктические захолустья и ели виноград, выращенный на семидесятой параллели, — он годился и для вина; мы познакомились с новейшим способом кольцевания электростанций: хевсайдский слой служил им громадным бассейном энергии, откуда и высасывали ее по потребностям промышленные предприятия земли; мы посещали удивительные комплексные комбинаты, где все изготовлялось из всего, потому что едино вещество материи и все находится везде. Мы спрашивали, сколько это стоит, и нам отвечали, что это неинтересно, то есть дешево; мы добивались, как все это устроено, и я рад, что моя техниче-

ская неосведомленность освобождает меня от необходимости приводить чертежи и цифры.

Не удивляясь¹⁾ зоотехнической умудренности потомков, мы пристально присматривались и к людям. Нам показалось, что улучшилась самая человеческая порода. Эти люди держались прямее и увереннее, — оттого ли, что каждый чувствовал плечом соседа и не страшился ничего, или оттого, что в чистом воздухе новейшего времени не носилось бактерий лжи... Я все ждал, что они станут хвастаться совершенством своего общественного устройства, и я не осудил бы этой заслуженной гордости, но они просто не замечали его. Здесь было достигнуто естественное состояние человека — быть свободным, тешиться произведением рук своих и мысли, не быть эксплуатироваемым никем. Но хотя все было у них в руках — хлеб, работа и самая судьба, нам часто попадались люди с озабоченными лицами. Мы поняли, что и у них бывает печаль, что и они знают трагедии, но лишь более достойные высокого звания человека.

В особенности нам бросилось это в глаза, когда Океан готовился чествовать первого человека, совершившего межпланетное плавание. Весь этот эпизод живо сохранился в моей памяти. Я помню, как целых две недели сряду газеты трубили о дне возвращения отважного путешественника. Это была самая популярная фигура того года. Его портреты были рассеяны во множестве по городам земли. Знали наизусть его биографию и наиболее знаменательные даты ее; девушки сохраняли в любимой книжке фотографии его двух сыновей, отправившихся вместе с отцом во вселенскую Арктику. И мать смельчаков была в тот год матерью всех героев, мечтавших совершить достойные истории дела. Трудность подвига состояла не в том, чтобы погибнуть там во

славу человеческой любознательности (— смерть давно утратила характер сенсации, способной взволновать мир), но в том, чтобы вернуться живым, и никому не доставить печали, и поведать товарищам о развенчанной неизвестности. В назначенную ночь их прибытия планета светилась огнями, и для возвращающихся на большую родину она, наверно, плыла во вселенной, как пушинка в солнечном луче... Ночь прошла, как и вторая и третья за нею, а корабль не возвращался.

На пятый день весь мир заволновался о судьбе этих четырех человек. Стихийно, по радио, началась самая затяжная и ожесточенная дискуссия с участием конструкторов всех пяти континентов. Были подвергнуты придирчивой критике все навигационные качества корабля; делались невероятные предположения; газеты получали сотни тысяч писем с советами, как разыскать их там, среди миров. Репутация строителей астроплана повисла на волоске. Эти люди стали, поистине, несчастны. Неудача полета была равносильна их моральной гибели, потому что звание человека в ту пору окончательно совместилось с понятием действительного человека, то-есть мастера. Под давлением общественного мнения и по их собственному требованию была создана правительственная комиссия из двухсот с лишком человек, которая должна была подвергнуть судно заочной экспертизе, выяснить расположение планет в день отлета и в срок предполагаемого возвращения с целью определения формул межпланетного тяготения, произвести подсчеты давлений, скоростей, парабол и всего того, что определяло успех предприятия. Заключение комиссии было самое благоприятное, но никто не видал, чтобы конструктора «Океана 1» хотя бы улыбнулись своему оправданию. Корабль не возвращался... В четвертом пункте заключения несколько туманно было сказано, что запасы энергии, газа и продовольствия должны по всем данным подходить к концу (— читай: иссякли!), и все же газетам было запрещено печатать некрологи о погибших. Все четверо продолжали числиться в своих ор-

¹⁾ Мы не удивлялись. Древние с испугом говорили о странных, где шерсть растет на деревьях. Им не верили, а это был только хлопок. Удивление же всегда было уделом людей, которые видимый горизонт принимают за границы мира.

ганизациях, как находящиеся в бес- срочной командировке. Не заключалась ли в этом самая совершенная форма бессмертия: считать живыми... Одновременно на улицах были расклеены новые списки добровольцев, предлагавших себя для повторного путешествия в неизвестность. Рядом с именами были обозначены их научные работы и спортивные достижения, которыми следовало руководствоваться при обсуждении кандидатур. И только, когда, по конкурсу, был назначен завод для постройки нового астроплана, стало известно о приземлении «Океана 1» в районе Таруссы, под Москвой; постоянная межпланетная станция прозвала их прибытие. Во избежание наплыва любопытных местность была оцеплена, и всякое сообщение с нею прервано.

В ближайшие дни по радио были опубликованы скудные, из четвертых рук, подробности возвращенья; что-то скрывали. Еще никто, кроме врачей, не видел их. В ежедневных бюллетенях, скрепленных первым правительственным секретарем, много говорилось об утомлении навигаторов, но почему-то упоминались имена только двух. Потом все узнали, что в этом путешествии погибли оба сына смельчака. Передовые газет, исполненные глубокой и сдержанной печали, посвящены были первым человеческим могилам вне земли: с этого всегда начиналось заселение новооткрытых материков... Я ходил по улицам многих городов в тот день, и мне казалось, что все девушки мира чувствовали себя вдовами. Мать погибших поместила короткое письмо в газетах; она разделяла горе родины, потому что ее дети были хорошими мальчиками и всегда стремились оправдать любовь и доверие друзей. Количество писем, полученных ею отовсюду, было таково, как будто все юности земли хотели стать ее сыновьями. Ничто другое на Океане не демонстрировало с такою силой человеческой спайки между людьми.

Был назначен день и установлен скромный церемониал вступления в город этого Колумба новейших времен. Началось невиданное переселение людей из одного полушария в другое, и это не столь-

ко ради одного получаса, чтоб видеть его или услышать его голос, а лишь за тем, чтобы в лицо ему сказать свое громовое земное здравствуй!.. Мы с Куриловым были там и захватили с собою Лизу, чтобы поверила, как прекрасен очищенный от грязи человек.

Всякий, кто побывал там, кроме нас, наверно, помнит, что, если пройти от набережной по улицам Сталина и Ян-Цзы, миновать площадь Академий и встать лицом на юго-запад, оттуда будет виден двугорбый холм Единства с гигантским фонтаном на его второй вершине, так называемым деревом воды. Конечно, это было самое великолепное место в нашем Океане... В гляцевитых стенах Дворца Статистики, покрытых китайской глазурью, отражается арочный мост через канал, и кажется, что его тончайшие, как формула математика, конструкции пронизывают толпу фантастических призраков древности, изображенных на керамических панелях. Задолго до начала торжества мы поднялись туда на эскалаторах в знакомое кафе. Но столики были убраны, потому что нехватало места для людей. Все было полно, шумело и смеялось. Слет начался с рассвета, и бескрайние поля за Нантао искрились от обилия авиаток. Было жарко; солнечные охладители не справлялись с июньским зноем. Мы выпили пряной, льдистого и крупчатого вкуса, врды. Город был виден на громадном радиусе. Как изменился он с тех пор, когда здесь бегали рикши и неуступчивые джентльмены гнездились в фортециях сеттльментов!.. Далеко впереди, за проливом, маячил в зеленой дымке остров, а позади, как исторические письмена на сером выгоревшем холсте, лежали древние кварталы Путунга и героического Чапея. Пока Курилов спорил о чем-то с Лизой (—и я тогда еще не угадывал, куда клонится развязка) я просмотрел газету. Только с десятой страницы шла информация и второстепенные сенсации дня. Было помещено интервью с какой-то некрасивой женщиной, заболевшей сыпным тифом, ее фотография и рисунок клиники, где она была помещена; я так и не понял, в чем дело. Я прочел

также стихи расхожего поэта, в звонких образах восхалывшего прогулку пешком. Это был лирический трактат о пользе ходьбы, о том, как благотворно работает сердце и сокращаются мышцы, и как играли солнечные зайчики на тропинке, по которой он ступал... Внезапно послышался отдаленный грохот оркестров. Я выронил газету...

Вдруг все стихло. Улицы внизу казались пустыми из-за тишины и блестели, точно натертые тяжелым маслом. Произошло общее движение, как будто все кругом вспорхнуло. Люди обнажили головы. Я рванулся вперед, и давление могучего, единодушного вздоха упало на мои плечи. Мне все казалось, я увижу человека с темным лицом Лазаря, три дня пробывшего по ту сторону жизни. Он будет идти один, капитан сверхдалеких плаваний, распростирая вокруг себя безмолвие и холод вечности. Мои предположения рухнули сразу. На эстакаде, отлого спускавшейся на площадь, внезапно появились трое. Я увидел председателя исполнительного комитета этого полушария, высокого бритого старика с вислыми усами, в широкополой черной шляпе. Рядом с ним и под руку шел плотный, коренастый человек в темной суконной шапочке, с умным и мужественным лицом Коломана Валиша, когда-то, на заре эры, повешенного за горло дикарями земли. Он шел, немигающими глазами глядя прямо на солнце. Третий, врач и помощник капитана, шел позади в нескольких шагах. Глаза и телемеханизмы следили за каждым их движением. Оркестры молчали, никто не кричал этим людям, и во сто крат внушительнее всяких оваций было это простое человеческое безмолвие.

Он вступил на трибуну, и тотчас же девочка с букетиком цветов, нарванных ею самолично, побежала к нему через всю площадь. Вся планета, ликуя и смеясь, следила, как мелькали ее загорелые коленки. Не смея сказать и слова от восхищения и испуга, девочка протянула ему цветы и раз, и два, а он продолжал стоять, глядя в небо перед собою. Оно было синее, очень доброе, насколько не похожее на то, которое убило его сыновей. Затихшая толпа шевель-

нулась, подалась вперед, и шелест догадок смутно пронесся над головами. Старик в громадной шляпе шепнул что-то на ухо этому человеку. Тот оживился и, наклонясь, виноватыми, осторожными руками стал шарить воздух перед собою. Сам того не замечая, он наступил на упавшие цветы... Но он поймал ребенка и нежно ощупал ее лицо, и поднял на руках, и все сдвинулось со своих мест, и в эту минуту, мне показалось, в едином вихре разрядилась тихоокеанская гроза...

Доклад начался не прежде, чем изошло из сердца все, что скопилось там за три с половиной года беспримерного по героизму путешествия. Тихим, почти домашним голосом (— и потрясала мудрая обыкновенность этого торжества!) человек в суконном берете говорил о чувстве благодарности народам земли за участие и поддержку; он сожалел, что судьба лишила его возможности повторить это плаванье; он рассказал вкратце про гибель своих спутников, про катастрофу при обратном отплытии, про то, что видел, чего касался и неостылое воспоминанье о чем привез с собою. Эти годы состарили его, но он находил силы и на шутку, и на острое, запоминающееся слово. — Со временем, если продлится наша дружба с Алексеем Никитичем, мы припомним подробности этого самого удивительного приключения, когда-либо выпадавшего на долю человека.

Начались приветствия, и я с удовлетворением указал Курилову, что не длиннота, а краткость речей, доведенная до афористической сжатости, считалась достоинством у этих людей. На невидимом телеэкране, многократно преувеличенные и почти трехмерные, появлялись представители народов, стран, материков; мальчик позади меня (— может быть, радиолобитель тех времен?) шепнул с деловитым придыханьем: сейчас будет говорить Африка!.. И вот, мы увидели знаменитого Сэмюэля Ботхеда. Мое сердце забилось, как если бы другом моим был этот седой, величавый негр. Он сильно постарел с тех пор, как мы видались с ним в Адене, и заметно прихрамывал

на ногу, раздробленную в шанхайском сражении. Что-то оставалось, однако, в его голосе от прежней страстной устремленности, которая так привлекала меня в его молодости. Он говорил, отбивая такт клюшкой, на которую опирался; он говорил о беспредельных пространствах мира, куда отныне будет расти свободный и гордый человек земли. Я дослушал его до конца и стал спускаться вниз, оставив Лизу и Курилова. (Она жадно выпивала все, что окружало нас, и этот благородный воздух дружбы, и это прекрасное волнение, происходящее от созерцания героических дел; и такая детская восторженность была в ее глазах, что мне пришлось навсегда изменить свое первоначальное мнение о ней.)

Уже стемнело. Высоко в небе, яркий и вдвое больше луны, светился старинный иероглиф, означающий долголетье. В громадных парках, под деревьями, танцовали люди: легкий ветерок их движений еще лежит на моем лице. Я слышал смех и нежные слова; мне было грустно покидать Океан в такую ночь. Проталкиваясь среди людей, я чувствовал себя почти стариком... Какие-то сверкающие мелодические жуки порхали в воздухе над ними; мне почудилось, они пели. Я видел, как один из них, летевший издали, со всего лета ударился о фонарь и отвалился, сложив крылья, сытый и мертвый. Я прибавил шагу; нужно было торопиться, потому что реальные, ничем не остановимые события отрывали меня от блужданий по сияющей неизвестности.

Солдат стучит веслом в куриловскую дверь

Еще немало раз Курилов встречался с Лизой на том же месте, в лесу. Никто не мешал им видиться и дома, но на привольи эти свиданья казались и чище, и честней. Они выходили из дому порознь, часто останавливаясь на пути и вслушиваясь в вечерние потрескиванья веток, сворачивая с тропинки в снег и путая кого-то, кто задумал бы пробираться по их следам. Всесильная борщниковская сплетня, объединенная в лунном комитете, везде имела своих агентов. В

этих страхах, пожалуй, и заключалось самое острое, неизведанное чувство новизны... Итак, они сходились, стыдясь той первой метели, и сперва шли молча и наугад по бесконечной зимней дороге. Угасала линиялая небесная зеленца; скупая оранжевая краска мерзла в накатанной колее. Курилов рассказывал о друзьях и врагах, и Лизе бросалось в глаза, какими значительными выглядели они в его передаче, как будто среди особого, великанского племени провел он свою жизнь. (Лиза начинала понимать, отчего все ее собственные встречи с людьми казались такими жалкими и ничтожными.) Пожалуй, здесь и заканчивался желанный трепет свиданья. Каким-то зловещим холодком бывали пропитаны эти минуты.

Иногда Лиза решительно верила, что Алексей Никитич, действительно, владеет ключом к миру и жизни, и нужно было войти вовнутрь этого человека, чтобы прочесть на дне его это могущественное всеобъясняющее слово. (Изм а и л, имя неродившегося никогда, становилось для нее дорогой на куриловский Океан.) Значит, не спраста ее тянуло и к этому человеку?.. Словом, та вспышка, что однажды почти сблизила их, уже не повторялась. Алексей Никитич и сам ловил себя на мысли, что эти встречи в зимней глуши — лишь неискusstное подражанье безвестной парочке под его политотдельским окном. Нет, не получалось у них певучей легкости, которую отмечены все поступки влюбленных, от таинства первого рукопожатья до того заключительного порыва, когда в одночасье расходуется вся накопленная по крохам нежность.

Месяц подходил к концу, борщниковские окрестности были исхожены, и пересказаны события жизни; к слову, их оказалось не так много у Курилова, и все они включались в одно бездонное слово — р а б о т а. Разбег романа замедлялся все более. Шамин требовал у Лизы решительного ответа. Все чаще и Алексей Никитич заговаривал об отъезде; манила привычная сутолока, Клавдия писала о возвращении профессора из Барселоны, и, наконец, не таким организмом оказался Гаврило, чтоб заменить иро-

нического и занимательного Зямку... Вскоре одно маленькое происшествие оборвало их свиданья. Вняв приглашениям друга, в Борщню приехал Пересыпкин. В его намерениях было отыскать спирькину могилу и посидеть на ней часок, прежде чем закончить эпическую главу о волго-ревизанских жертвах. Едва вылез из саней, бросился наверх к Курилову, обнять старика и поведать об очередных сенсациях, но Алексей Никитич оказался на прогулке. Алеша бросился по следу и через четверть часа наткнулся на сцену, заставившую его пересмотреть привычные представления о самых близких людях.

Не дальше тридцати шагов двое преградили ему дорогу. Склонив голову (—и будь это посторонний, сцена приобрела бы, пожалуй, комическую окраску!), мужчина глядел в лицо женщины, гораздо ниже его ростом; протянув руку, почти повиснув на нем, она гладила пальчиком его глаза и щеки. И хотя он вместо форменного пальто был одет в нагольный, полюбившийся ему в Борщне полушубок, Алеша сразу узнал Курилова, как признал и пестрый беретик Лизы. Бывшего беспризорника, наученного жизнью всему, потрясла именно непередаваемая, ему показалось — стыдная, интимность этой сцены, похожей на расставанье. Его первым побуждением было бежать, сломя голову (—и, конечно, Курилов оглянулся бы на шум и закричал бы: Алеша, Алеша, куда ты?), но Пересыпкин поборол ребяческое чувство и, не имея времени для отступленья, притаился тут же за деревом, в рыхлом и топком снегу. Он хотел дать им время уйти... Держась за руки, Курилов с Лизой прошли мимо; они уже миновали дерево, когда Лиза заметила следы и настороженно показала их Курилову. Тот шагнул с дороги прямо в лес, и в ту же минуту Алеша выступил из своего укрытия. Теперь они молча стояли друг против друга, и никогда еще Алеша не видел у Курилова такого холодного и недоброго лица.

— Что ты здесь делаешь, Алексей? — строго спросил Курилов.

И хотя юношу могли заподозреть, что он нарочно примчался из Черемшанска

подсматривать за своим вторым отцом, Алеша молчал, ломал ветку, губы его дрожали. Алексей Никитич брезгливо отвернулся и пошел догонять Лизу... В тот же день, не обменявшись с ним и словом, Пересыпкин уехал назад, в Черемшанск.

... Соблюдая тайну, они и прежде скрывали от посторонних свою дружбу; теперь за общим столом они вели себя, как чужие. В то время, по счастью, в борщнинском доме одновременно происходил шашечный турнир и репетиции хорового кружка. (И всегда в начале вечера какой-то основательный мужчина из ревизоров тяги, с плечами атлета и зеркально выбритой головой, пел один и тот же романс; он делал это во всю свою физическую мощь, расставив ноги, чеканя слова и так громко, точно читал нараспев дисциплинарный устав или воображал себя радиостанцией.) Курилов заметно избегал Лизы, уходил на прогулки один, и по вечерам Лиза чаще оставалась дома послушать упражнения певцов. И всякий раз к ней подсаживался Шамин, зачистивший в Борщню со времени приезда Лизы.

— Слушайте, слушайте, говорит радиопередатчик эРВэ два... — шутивно начинал он, кивая на изготовившегося ревизора.

... однажды Лиза сказала ему, что согласна ехать в Черемшанск на работу.

— Итак, слово? — спросил Шамин. — Имеете в виду, что это вовсе не хождение в народ. Взамен своей работы вы кое-что получите и от нас.

— Слово! — и протянула руку.

Она спросила, где ей придется работать; оказалось, ее кандидатуру намечали в улган-урманское депо.

— Что это значит, У л г а н - У р м а н ?

— Кажется, мертвый лес..

Она повторила, кусая губы:

— Ага, мертвый лес, мертвый лес...

— От вас зависит изменить его название, товарищ, как мы сами изменили однажды дремучее слово Россия. — Ему приходилось почти кричать: радиостанция работала на какой-то особо оглушительной волне. — Что у вас с Куриловым? Похоже, вы поссорились с

ним. Стариқ отправился гулять один. У вас такое милое и... и, я бы сказал, приятное лицо, что трудно заподозреть...

Она перебила его —:

— О, пустяки. Он утверждал, что вы непременно станете ухаживать за мной, а я говорила, что вы прежде всего — отличный и умный товарищ.

Он покряхтел, поерошил озабоченно свой бобрник, потом рассмеялся и поднялся уходить —:

— Ну, спасибо за вправку мозгов. Пойду жарить в шашки с радиостанцией!

Алексей Никитич, действительно, бродил теперь в одиночку. Вся история с Лизой вдруг показалась ему преступной. Встреча с Пересыпкиным напомнила ему о том, что почти выпало из памяти. И это не было напоминаям о Катеринке (—как будто в его возрасте не только прилична, но и обязательна верность мертвой!); он вспомнил о своей болезни. Ничто не изменилось со дня приезда; профессор из Барселоны точил на него свой ножик, солдат стучал веслом к нему в дверь... Тогда он сворачивал с полузанесенной тропки в парк и долго, проваливаясь по колено, брел по целине. Там начинался овраг, точно метлами, заросший молодым осинником. Сюда не достигали порывы ветра. Курилов оглядывался; никого не было. Он снимал рукавички и, пригнув к себе сук в пушистой меховой рубашке, принимался ломать его. Хвоя царапала лицо и руки, древесина скручивалась в жгут и не рвалась. Он переждал минуту, слушая, как кричит верховой ветер, и опять оглядывался. Было глухо, ничто не подсказывало даже о близости жилья. И снова с преувеличенными усилиями принимался за сук, и опять в передышке слушал себя: не расшевелил ли болезнь, здесь ли она еще. Но болезни не было, не было... и если бы не посвистыванье ветра, напоминавшее давний прутик в лизиной руке, такая же тишина стояла в природе, что и в теле. Потом острый клинышек месяца прорезался в дымящейся высоте. Новые набегали сугробы, рассыпаясь вокруг зеленоватым серебром.

Домой он возвращался поздно... И,

будь лето, он наломал бы охапку каких-нибудь желтых овражных цветов и, войдя к Лизе, бросил бы к изголовью спящей этот пахучий выдающийся сноп. Но была зима, и сад его стоял мерзлый... Он забредал в незапертую безлюдную оранжерею и с зажженной спичкой обходил стеллажи; черные тени, попрыгивая, бежали по растениям, похожим на салат и крапиву. С пустыми руками он поднимался в дом, и половицы ворчали под ним, как самая старость. Свой полушубок он закидывал через полуоткрытую дверь, чтоб не будить отрока Гаврилу, и, в нерешительности постояв минуту перед комнатой Лизы, отправлялся в читальню: слишком мало, в конечном итоге, знал он пока о своем Океане, и оттого правда в его построениях была вкрутую перемешана с ошибками.

... но однажды эта дверь к женщине осталась полуоткрытой; жизнь в Борщине была простая. Он увидел Лизу. Что-то случилось там. Полуодетая, стоя на коленях, она одной рукой торопливо шарил в чемодане, кинутым на полу. На ее левой, откинутой в сторону, руке он заметил кровь. Зажмурясь, он спросил баском, не нужна ли его помощь. Оказалось, Лиза сильно порезала палец и просила Курилова натуго перевязать кровоточащую ранку. Он вошел, она протянула ему руку...

— Я не гляжу... не гляжу! — бормотал Алексей Никитич, и самый ночной воздух лизиной комнаты, полный расплывчатых женских запахов, мутил ему голову.

Она стряхнула кровь с руки, чтобы виднее была рана, и тотчас же новая капелька выросла на порезе и созрела, и упала на пол. Она гипнотизировала обоих, эта незваная смородинка крови, и через какую-то маленькую жалость сблизила их... Он взял ее на руки и понес, и она не сопротивлялась, и только откидывала руку в сторону, чтобы не измарать его кровью, замороженно глядя на капельки снега в его седых усах.

... было преждевременно его ликование. Случилось, точно обрушилось небо. Глубокие морщины вдруг просек-

ли куриловское лицо. Его голова упала, и усы, как железные, вонзились в ее лоб. Лизе показалось, что ее любовник умирает. В ужасе она отпихнула его ладонью в лицо. Шатаясь, Алексей Никитич ринулся из комнаты... так вот когда постучал к нему солдат! Кровь из ее перерезанного пальца так и осталась на его щеке. Все это было страшно. Зажав рукою рот, готовая кричать, Лиза смотрела, как он, точно ослепленный, боролся с дверью и не мог ее одолеть... Потом, полуодетая, она выскочила на балкончик. (Не стоило труда открыть дверь, заклеенную на зиму полосками бумаги.) По колену в снегу, она припала к куриловскому окну. За стеклом мимо нее метнулась большая неразборчивая тень, и это было все, что она увидела.

Если бы не отраженное сияние месяца на стекле, она разглядела бы, как он шарил наверху печки коробку с пузырьком и шприцем, спрятанным туда от любознательности уборщиц; как вывернулся из-под него стул, и он, всем телом чиркнув по стене, теряя равновесие, рухнул на кровать; как раздирал на себе рубаху, обнажая руку; как вошла в несчастное тело тонкая благодетельная игла... Мокрый холод заставил Лизу вернуться. Дрожая от стыда и зноба, она с поджатыми ногами сидела на смятой кровати и вслушивалась. Напоминающе, может быть, караульные, повсвистывали сверчки. Где-то разбилось стекло. Через десять минут, уже одетую, жалость снова толкнула ее к Курилову... Светил месяц. Простыни и одеяло сбились с кровати на пол. Бесформенно, как заколотый, Алексей Никитич лежал ничком на полосатом матрасе; ноги свисали на пол. В комнате было свежо. Лиза подняла полусубок и бережно накрыла Курилова. Она не посмела его разбудить, а он не спал.

Он годнялся, едва она ушла, и сидел, оглушенный, мешковато привалясь к стене. Блаженная онемелость разлилась по телу. Минуту спустя он открыл глаза и с резкостью, как на судебной фотографии, различил осколки раздавленного шприца на полу. Еще не разбираясь в побуждениях, он машинально шарил

трубку. Он позвал по имени своего маленького пленника (— ему не пришло в голову, что мальчика Гаврилу, если бы он был здесь, должна была разбудить его суматоха). Ничто не откликнулось ему. Зямкин заместитель исчез: инстинкт оказался сильнее куриловской ласки и страха перед метелью. Перевернутый чемодан валялся в углу. Видимо, этот человеческий зверок шарил там что-то, потребное для большого путешествия. Алексей Никитич искал глазами трубку; она всегда лежала где-нибудь на виду, но, значит, хозяйственному Гавриле понадобилась и трубка. («Зачем уж тебе трубка!» — как бы говорил Курилову солдат Харон из повхвисневской книжки).

Самый вид чемодана надоумил Курилова на бегство. По четным дням, около полуночи, из Борщни уходила почтовая подвода. Надо было торопиться, но только через полчаса он нашел в себе мужества одеться и собрать останки разгромленных богатств. У него хватило воли нагнуться и подобрать с полу иглу, чтоб не оставалось материала для догадок. На это ушло две длинных минуты. Чемодан оказался ему не под силу, он бросил его на пороге. Хотелось неслышно миновать лизину дверь. Мгновенный ручеек пота проступил по лбу, едва сообразил, что она могла дожидаться его в коридоре.

И она действительно стояла в коридоре—

— Вам плохо?..

— Уйдите, Лиза... — и махнул рукой.

В их положении разумнее и великодушнее было бы считать, что ничего и не случилось. С беглой и виноватой лаской он погладил ее рукав, когда она сделала попытку взять его под локоть. Она настаивала, и он подчинился: без ее помощи ему было бы трудно добраться до конного двора. Они двинулись по цельному снегу, и это была первая тропинка, проложенная после той метели от дома. Вьюга совсем утихла. Великолепная ясность наступила в природе; можно было пересчитать снежинки.

— Вот видите, как было бы весело со мною бедной моей жене, — скрипел

Курилов, руша коленями сугробы. И еще, чтобы переменить тему: — большой снег был... машинистам, часовым, бездомным — зарез!

Двое в старых овчинных куртках, поставив фонари на снег, снаряжали подводу. Запряженная лошадь понуро глядела на полузанесенную ветлу. Пустая керосиновая бочка лежала на дне розвальней.

— Ну, потеснитесь, сударыня... — сказал Курилов, прилаживаясь сбоку, и Лиза видела, каких усилий стоила ему шутка. — Не сердитесь на меня, товарищ!

— Мне жалко вас, как себя... — шепнула она.

Он объяснил ребятам, что должен медленно ехать на станцию. Его узнали, подкинули сена, накрыли дерюжкой, чтоб не мерзнул, и он замолк сразу. Никто, кроме Лизы, не провожал его. Розвальни тронулись, чертя крылом по целине. Проваливаясь в снег, Лиза побежала следом.

— ... я приеду. Мы еще увидимся...

Обещание прозвучало, как прощенье, в котором он не нуждался. Лиза осталась позади; лицо ее измельчилось и пропало. Дальше, чем она, провожали Курилова призрачной процессией борщевинские березы. Будущее стало ближе, чем то, чему радовался еще вчера. Все позванивало что-то, не то в брюхе у лошади, не то в бочке, которой передавались все, самые мелкие, толчки. Когда Алексей Никитич выглянул, березы уже отстали; должно быть, воротились в Борщину.

— Угости покурить, товарищ. Была у меня о-отличная трубка, но...

Возница протягивал ему из пестрых лоскутков сшитый кисет. Курилов доставал себе братскую половину щепотки, сохранявшейся в матерчатом уголке. Лежа на боку, он свертывал мужицкую цыгарку, просыпая в сено бесценную махорку. Он выгягивал ее всю, пока не начинало жечь пальцы, и никогда не бывал так вкусен этот сизый на морозе пресный дымок... Подступало забытьё; Зямка проходил об руку с Арсентьичем, и Фрося вдруг начинала биться на груди у сестры. («Что вы

тут, без меня, наделали с Алешкой!...») Потом будил толчок; сани черпали снегу, с'езжая на обочину дороги и стукаясь о спрятанный пенек. Четверть часа уходило на то, чтобы пропустить мимо себя громадные, бесшумные возы. Ехало сено. Оно тащилось медленно, как крестьянское время, и возницы в тулупах сидели высоко, под самыми звездами, молчаливые рождественские волхвы. Древними запахами сухих трав и конского навоза обдавало Алексея Никитича... и в следующий раз его будили уже девичьи смехи, такие трелистые при луне. Хари, разрисованные сажей, наклонялись над Куриловым; в тулупах наизнанку, искатанные в снегу, размахивая вениками, они ударяли в керосиновую бочку, как в бубен, кричали, не на свадьбу ли отправился с ней, свою круглой железной невестой. Здесь, в глуши, еще сохранялся обычай русских святок, и вот, искала себе компаньонов деревенская молодежь. Алексей Никитич приподымался, и, напуганное чернотой его глазниц, все пропадало в легкой лунной дымке ночи.

На станцию приехали рано. Рези прекратились, и неизвестно, длилось ли действие наркотика, или окончился самый припадок. Было жалко покидать теплое належанное сено, но предчувствие нового приступа мучило, как самая боль. Алексею Никитичу показали, как пройти в амбулаторию. Никто не сопровождал его на этот раз в блужданиях по сугробам. Сейчас здесь жили очень занятые люди; после вчерашней метели станция представлялась оазисом среди снежной пустыни; казалось, сюда сбился подвижной состав чуть ли не со всей дороги... Больных было мало. Курилов уселся на узкую скамейку и все поглядывал украдкой на свое собственное, в хорошей раме, изображение; тот, что на бумаге, выглядел посвежее и построже. От соседей по очереди Алексей Никитич узнал, что вьюга наделала много бед и что Мартинсон тем же вечером уезжает из Черемшанска. Это было хорошо, Курилов мог пристроиться к нему в моториссу...

Потом в двери объявился плотный, рекордно-рыжий доктор. Рыжеватина

просвечивала сквозь белый врачебный халат, который имел такой же вид, как если бы штабель кирпича обмотать слоем марли. Под халатом невозмутимо двигались добротные, медноватых оттенков сапоги. (И верилось почему-то, что в былое время лечил он крупных животных, но за выслугу лет его перевели на людей.) Он поглядел на Алексея Никитича, молча перевел глаза на портрет, сравнил еще раз, покашлял и, видимо, не признав, начал прием. Больные протискивались от него обратно с напуганными лицами, и Курилов решил, что этот мужчина лечит болезни посредством страха.

— ... давайте теперь вы! — октавно возгласил врач, когда очередь дошла до Курилова.

Повидимому, медицине безразличны чины и звания. Фамилия пациента не произвела впечатления на черемшанского доктора. Только из личной деликатности, делясь эпизодами повседневной борьбы с искателями больничных бюллетеней, стал он прикрывать рот ла-

донью, но однажды не уберется, и на Курилова пахнуло спиртным перегаром. Кажется, уединенность станционной жизни скрашивал он, мобилизуя местные средства... Какая-то отчаянная надежда на чудо заставила Алексея Никитича согласиться на осмотр; процедура длилась не дольше трех минут.

— Мовэ, — пробасил доктор, отправляясь мыть руки. — Шибко м о в э, — повторил он, и, как назло, из всего французского языка Алексей Никитич знал только это слово, означающее п л о х о. — Пьете много?

(Наверно, хотел посоветовать Курилову, чтоб уж не стеснял себя, при таких условиях, ни в чем! — решил его пациент.)

«А вы?» — собрался пошутить Алексей Никитич и не успел.

— Морфий... — прохрипел он с закушенными грибами, и склянки на столе — точно ветерок прошелся по ним — зазвенели тоненькими лекарственными голосками.

(Окончание следует)

Сказка

А. КОВАЛЕНКОВ

Ты оденешь рукавицы,
Дверь отворишь, выйдешь в сени,
Тонко скрипнут половицы,
Улетят с крыльца синицы
В оснеженные сирени...

Хлынет в ноздри воздух синий,
На ресницы ляжет иней,
Лыжи под гору скользнут...
Мост, как кошка, спину выгнет,
Щелкнет дятел, белка прыгнет,
Зайцы в ельнике мелькнут...

И она начнется, — сказка, —
Детских лет воспоминанье,
Гул в лесу, снежинок пляска,
Хвойных веток колыханье.

Вспыхнет солнечное пламя,
Обожжет морозом щеку,
Лось лиловыми глазами
На тебя посмотрит сбоку.

— Он стоит, живой сохатый,
С костяным широким рогом,
Тонконогий и горбатый,
В голубом снегу глубоком.

Пень в медведя превратится,
Выставит мохнатый лоб.
Разноцветная жар-птица
Сядет тихо на сугроб.

Ты узнаешь Берендея
По седым его усам,
Там, где сосны, розовея,
Тянут лапы к небесам.

Ты сама пройдешь поляной, —
Золотая, — напоказ
И снегурочкой румяной
Пропадешь из наших глаз.

Ты увидишь дом с бровями,
Крытый белыми песцами,
Красноглазую сову
И лисицу — наяву.

А когда звездой колючей
Глянет вечер из-за тучи
И зеленый из берлоги
Месяц выплывет тайком...
Потекут назад дороги,
Сладко кровь ударит в ноги,
И, встряхнувшись на пороге,
Ты войдешь в знакомый дом.

Снимешь шарф и рукавицы,
Сядешь, жаркая, за стол,
Сон дохнет в твои ресницы,
Тонко скрипнут половицы,
И тебе впервой приснится
День, который в лес ушел.



Созревание плодов

Роман

БОР. ПИЛЬНЯК

(Продолжение ¹)

Глава третья

Жизнь...
... **А** Арбеков приехал в Палех тридцать лет спустя после Талки, за сутки до дня начала совета на Талке, и пробыл в Палехе почти столько же, сколько продолжалась Талка, талкские дни. Сергей Иванович знал, что жизнь должна быть, как искусство, — и он приехал на родину прекрасного.

Эпиграф:

«... если бы машина-шахматы была б изобретена, шахматы-искусство исчезло бы».

Палех сейчас на самом деле известен миру как ключ искусств. Схема его дел парадоксальнейша своими противоречиями: село богомазов, кустарей-отходников, организованных XIX веком вплоть до Октября в «феодалную мануфактуру», работавшее на консервативнейшие слои русского общества, писавшее иконы и расписывавшее церкви, уже столетия пребывавшее в ремесле, — это село, казалось, должно было бы быть выкинуто Семнадцатым не только за ненужностью, но недоброй памятью. Вслед за Семнадцатым это село вспыхнуло прекрасным искусством. Казалось, Палех утверждал себя в наши дни доказательствами «от противного», от несуразницы.

В горно-рудной промышленности и в химико-аналитических лабораториях знают, что в тигле новых сплавов или в разложении элементов в качестве отбросов иной раз возникают совершенно неожиданные конгломераты, которых никто не ожидал и не подразумевал, но которые оказывались необходимыми, — так можно было бы думать о Палехе. Промысел села был выкинут за ненужностью, но люди села остались в жизни, мастерство осталось в их глазах и пальцах, их глаза и жизнь перестроились в тигле революции, — палешане ничего не делали, их рассвет и их искусство принесла им эпоха, — едва ли этот шахматный ход рассуждений был правилен для Палеха.

Палех был и есть русское село, живущее законами России. Палех, много терявший на своих веках, все же пронес от семнадцатого века до Семнадцатого года традицию Рублева, Чирина, Дионисия. Неистовый Голиков, который ходит в Палехе по улице Голикова с можжевеловым посошком, вместо Георгия-победоносца, жалящего дракона с белого коня, написал Семена Михайловича Буденного на красном коне в буденновском шлеме, жалящего гидру контрреволюции, — мастерство и традиции Андрея Рублева ожили, Буденный стал сказкой, вместе с Буденным сказкою стали наши дни, возникло искусство. Академический и академичнейший Баканов, который по вечерам сидит на скамеечке с внучкою около своего дома на улице Баканова,

¹ См. «Новый мир», кн. 10 с. г.

вместо богородицы с Иоанном написал двоих — его и ее — под золотым солнцем, среди «гребешков» икон пятнадцатого века, в окружении синих и розовых барашков и облаков, назвав работу «первым поцелуем». — мастерство и традиции Прокопия Чирина сделали поцелуй святым, возникло искусство. Заслуженный деятель искусства Котухин написал заседание сельсовета экспозициями тайной вечера... Все эти утверждения неверны для Палеха. Неверно, что Палех остался в рублевских иконописно-церковных традициях. Неверно, что Палех замкнут в сказке и в старине превращенной в сказку. Неверно, что Палех умрет со своим старшим поколением.

Рядом с мастерскими Палехского товарищества художников расположен Музей палехского искусства. Рядом с Музеем расположен Техникум палехской живописи. А вообще Палех — российское село, в котором обыкновенно живут художники и колхозники, причем иные колхозники мечтают стать и становятся художниками, равно как иные художники мечтают стать колхозниками. Жены у старшего поколения колхозников и художников — одинаковых качеств и одинакового положения, причем художники называют своих жен «урядниками» по целому ряду художественно-бытовых обстоятельств, спасаясь от коих, художники ставят по избам радиокричалки, чтобы жены не скучали. Село Палех, состоящее из улиц Баканова и Голикова, имеет свои просторечивые прозвания — «в горе» (улица Баканова), «слобода» (за рекою Палешкой, улица Голикова), Ильинская слобода (никем еще не названная), — и состоит село, ныне районный центр в честь художников, предпочтительно из обыкновеннейших российских изб, с «усадебками», огородами, сараями и гумнами. Село отличается от остальных российских сел только тем, что в каждой избе в Палехе стены завешаны картинами и портретами палехского мастерства. Как улицы имеют свои прозвания, так и художники в просторечии имеют прозвища. Голиков прозван Тараканом, а Иван Васильевич Маркичев — Иван Забелой.

Эпиграф:

«... Знать — это еще не уметь...»

Наутро Александра Михайловна, жена художника, бывшего художнического завхоза, Ивана Васильевича Вакурова (не того, который знаменит и заслужен), хозяйка Сергея Ивановича, сдавшая Сергею Ивановичу всю свою избу и переселившаяся в силу этих причин на чердак, сообщила:

— А в стаде-то что у нас деется, никогда такого не слыхивала, — бык коров сосет!

Наутро к Сергею Ивановичу пришли художники — друг Дмитрий Николаевич Буторин и друг Алексей Иванович Ватагин. Пошли в артель, то-есть в правление товарищества, к председателю правления и другу Александру Ивановичу Зубкову. Друг Дмитрий Николаевич Буторин, возлюбивший краску XVI века русской иконописи, страннейше напоминающий голландцев, написавший «у лукоморья дуб зеленый», избравший рядом с Пушкиным самого себя во образе кота ученого, с золотой цепью, в золотых очках, носил прозвание — Илья Федотович. Друг Алексей Иванович Ватагин, сохранивший и возлюбивший иконописный рисунок XII века, цвет XV века и орнаментацию XVII, хранитель палехского стиля до консерватизма, прозывался Ермолаем Охотником, а также — Велосипед. Друг Александр Иванович Зубков, председатель, основной критик и хранитель традиций товарищества, прозывался — Борона. Друзья уговаривались о рыбной ловле.

— Молчок, — сказал Александр Иванович.

— Ни мур-мур, — сказал Дмитрий Николаевич.

— Точка! — сказал Алексей Иванович.

До четырех художники работали. В четыре товарищи двинулись в Дягилево, в соседнюю деревню к художнику-философу и другу Николаю Михайловичу Зиновьеву, ушедшему к себе загодя, чтобы приготовить невод. По дороге до Дягилева встречались лошади явно голиковско-буторинско-дыдыкинского ри-

сунка, с такими ж головами и шеями, так же изогнутыми. Рыбу ловили на Люлехе, поросшем камышом и купавами. Люлех был не больше Талки. Заводилами оказались художник, друг Николай Михайлович Зиновьев, он же Кузьма Сидорович, да заготовщик друг Александр Васильевич Маркичев, брат знаменитого и заслуженного Ивана, он же — Александр Пистон. Люлех тек тихими лугами в перелесках к темному лесу. Сначала художники оберегали воды, а затем, в чем пришли, полезли в воду, таскали невод, вытаскивали тони и в каждой тоне вылавливали по щуренку, по два окунька, а то и ничего не вылавливали. Улова не было, но пыл художников не пропал, и мокрые художники над неводом, на зеленом берегу реки, поросшей купавами и камышами, были совершенно точными копиями тех тонконогих рыболовов, которые написаны насмешником, стихотворцем и палехским французом, другом Иваном Ивановичем Зубковым, в его истории о «Рыбаке и рыбке», а также многими другими мастерами. Художники тянули тоню к темному лесу. Солнце шло к закату, сделавшись и бакановскими, и зубковским, и вакуровским. И у темного леса рыбный лов был закончен. Были пойманы три щуренка, восемь окуньков, штук пятнадцать плотвиц. Под сосны темного леса принесены были — сковорода, льняное масло, хлеб, соленые огурцы — и водка, конечно. Началось питание по принципам христианских трех хлебов. Первое место командира занял заготовщик, друг Александр Васильевич Маркичев, Пистон. Он оказался человеком прекрасного юмора, артист порядка и качества народного артиста Ивана Михайловича Москвина. Он послал художников за сушняком, и он разжег костер, и он принялся чистить рыбу, и жарил рыбу самолично он, артистически, на льняном масле с крутою солью. Солнце село на землю, в лесу затих зеленый полумрак. Мокрые художники снимали штаны и рубашки, превратившись в голых святых, и сушили штаны и рубашки над костром. Рыба поспела. Солнце зашло за землю. Лес потемнел. Искры от костра уходили к бледным звездам. Лес

повторял ночь на безымянном озере. Друг Александр Васильевич налил первую чару. Певцами и запевалами оказались он да Алексей Иванович Ватагин, Ермолай. Они запели:

Чарочка моя серебряная, на золотом блюде поставленная, — кому чару пить, кому выпивати?..

Художники обнесли друг друга песней и водкой. Сосны и ели на светлом небе казались и опрокинутыми в небо, и корягами со дна берендеева моря. Лица и голые тела людей были зеленоваты. Чарочка была повторена, от реки потек туман, алкоголь дополнял неясные очертания темного леса. Друг Александр Васильевич, босой, без штанов, в чужом пальто, вышел на полянку около костра, он махнул веткою калины, как платком, он сделал крендель ногою. Он запел:

Из-за лесу — лесу темного
Туто шли-прошли два молодчика..

Художники подхватили:

Ай, люли, люли, два молодчика!..

Художники стали в круг, взяли друг друга за руки, художники пошли по кругу.

Два молодчика, два холостеньких,
Они вместе шли, поклонилися,
Ай, люли, люли, поклонилися!..

Они врозь пошли, разбранилися,
Об одной душе красной девице,
Ай, люли, люли, красной девице!..

Босой, без штанов, друг Александр Васильевич ходил посредине круга. Он начал прибаутошным кренделем, насмех помахивая калиною, — он заканчивал песню серьезно, идя по кругу хороводным ритмом, легко и красиво, забыв, что он и Пистон, и без штанов. Женщин не было в товариществе. Целомудреннейшим жестом, на самом деле почти по-женски, Александр Васильевич хлопнул в ладоши, затаптал.

Запели другую хороводную:

Как по чистым полям,
По зеленым лугам,
По зеленым лугам,

Я по ним ходил-гулял,
Я по ним ходил-гулял,
Тоску-скуку растерял,
Я рассеял грусть-тоску
По зеленым лугам!..
Уродилась моя тоска,
Точно травка зелена...

Лес стоял древностью. Костер бросал в небо искры, дымил хвоей, разгонял комаров, спутывал дым с туманом, уходил во мрак, в берендеевы закоулки сосен и елей, к волкам и лосям, попрятавшимся в этих лесах. Друг Александр Иванович Зубков, председатель, критик и чуть-чуть иронический человек, по прозвищу Борона, а также Литвинов, сидел на сваленной ели, покуривая махорку, посмеивался. Он запел, как можно громче, чтобы его услышали:

Среди лесов дремучих
Разбойнички идут,
В своих руках могучих
Товарища несут!..

Хор подхватил:

В своих руках могучих
Товарища несут!..
Носилки не простые,
Из ружьев сложены,
И поперек стальные
Мечи положены!..

«Разбойнички» выпили еще по чаре, обнеся друг друга песней и водкой, степенно и торжественно. Перебив песнь, художники ходили за хворостом, костер бросал пламя и искры до вершин, трещал, пахнул горячей хвоей. Пламя костра всегда таинственно. Художники стояли у костра. В костре сгорали мечи, разбойники и рыцари сотен сказок, написанных этими художниками. В июне заря с зарею сходитя. Наступала полночь. В полночь пел Дмитрий Николаевич Буторин, пел один, со слезами на глазах, под безмолвное внимание товарищей:

На заре туманной юности
Всей душой любил я девицу.
Был в глазах у ней небесный цвет,
На лице горел любви огонь.
Что пред ней ты, утро майское,
Ты, дуброва-мать зеленая!..
Степь, трава шелковая,
Заря, вечер, ночь-волшебница, —

Хороши вы, когда нет ее,
Когда с вами делишь грусть-тоску.
А при ней — вас хоть бы не было.
С ней зима — весна, ночь — ясный день.
Не забыть мне, как последний раз
Я сказал ей — прости, милая...

Было ясно, что Дмитрий Николаевич вкладывал в эту песнь все свое сердце, а быть может, и судьбу, — он был холост и есенински лиричен. Его слушали серьезно, примолкнув, притихнув. Костер отгорел, тлели лишь пеня, стальные в огонь. В десяти шагах от костра, за соснами и елями, проходила зеленая ночь. Туман подбирался холодком, пахнул лес сосновою смолою, прелью, грибами. Деревья стояли неподвижны и безмолвны. Перекликались в лесу ночные птицы, и ныли около беззвон комары.

Светало.

Все это, рыбная ловля, ночь у костра, хороводы, песни, — все это сотни раз написано и Буториным, и Зиновьевым, и Зубковым, и Бакановым, и Маркичевым, и Вакуровым, и Котухиным, и Чекуриным, — всеми, золотая вязь костров и восходов солнца, темень лесов, разбойников и рыцарей, золотой рыбки и золотого петушка, темень и золото тоски, точно травки зеленой, зари туманной юности, красной девицы, ай, люли, люли, красной девицы... Пьяных не было. Были счастливые люди.

Когда шли к Дягилеву и от Дягилева в Палех, Дмитрий Николаевич, он же Илья Федотович, сказал:

— А в стаде у нас, женщины говорят, бык коров сосет, — дела!

Возвращались в быт. Заговорили о женах.

— Опять «урядники» придираются будут.

Эпикурец, с бородою больше, чем у Льва Толстого, истинный любитель природы, рассказчик поэмы о «красотах сельской жизни», которому он передавал звукоподражаниями, член коммунистической партии, седой юноша, художник, пишущий поэмы о социальной несправедливости и историю ссылки Герцена по «Былому и думам», друг Александр Васильевич Чекурин, по прозвищу Топор, сказал:

— Вот и хорошо в этих случаях для женщин радио, — нету дома мужей, есть кого послушать и чему поучиться, — они тоже не отстают от времени.

У палехской околицы, прощаясь троекратным поцелуем дружбы, уговорились, чтобы жены, то-есть «урядники», не знали, где художники были.

— Молчок! — сказал таинственно Александр Иванович.

— Ни мур-мур! — так же таинственно ответил Дмитрий Николаевич.

— Точка! — подтвердил Алексей Иванович.

Наутро художники упорно работали до четырех по своим мастерским, до обеда с учениками, со «студентами», а после обеда, хранясь друг от друга, писали свои чудесности на лаке и под лаком, творили золота и краски указательными пальцами, разводили краски на курином желтке, полировали золото и серебро коровьим, а еще того лучше — собачьим или волчьим зубом, писали сквозь лупы кисточками более тонкими, чем комариный нос, — обдумывали свои композиции и клали их на лак.

Затем читали постановление Совнаркома РСФСР о перестроении художников из артели в товарищество и о субсидии пятидесяти тысяч рублей на пополнение музея и библиотеки. Затем было общее собрание.

Каждый праздник в Палехе превращался в песню и в чарочку серебряную, на золотом блюде поставленную. Пили и ели восьмидесятипроцентный ситный, молоко, вареные яйца, студень, соленые огурцы и капусту, картошку. Это никак не было злое пьянство. Так пьют от радости, от веселья, — так пили, должно быть, фламандцы.

В Палехе жил изумленный народ, художники, мастера, изумленные всем, что происходит в стране и с ними. Изумленными и праздничными ходили деды, которые по старости лет не принимали участия в общественной жизни, лишь критиковали, но, как восьмидесятидвухлетний отец Зиновьева, могли выпить рюмку водки и другую, покачать седую головой, поухмыляться, молвить: «ишь, ты, дела, благодать!...» Изумленными ходило старшее поколение мастеров, быв-

шие иконописцы, солдаты мировой войны, красноармейцы, спугнутые с векового своего промысла и сейчас — художники. Изумленными ходило второе поколение художников — Баженов, Каурцев, Турин, Солонин, Солобанов, Баранов, которые в двадцать втором году затруднялись решить, что лучше — искусство или валянье валенок? Не изумлена только молодежь.

На самом деле, лошади в этом селе похожи на голиковских коней. На самом деле, колхозники в этом селе становятся художниками, а некоторые художники, особенно их жены, мечтают о колхозе. На самом деле, женщины здесь и в праздник, и в будни ходят с брошками, написанными их мужьями и братьями, причем на брошках изображены олени и лани, песни и сказки. Самое общеупотребительное слово здесь — искусство. Дети с трехлетнего возраста играют здесь — в искусство, родившиеся уже с пальцами художников, от рождения умеющие держать кисточку.

Сто лет тому назад и тридцать лет тому назад одни из палешан приходили в искусство, другие уходили из него — в овчинники, в сапожники, в портные. Хлебопашество не прокармливало. Отец Аристарха Дыдыкина, художника, необыкновенно сочетавшего в своих лаках Врубеля, средневековых персов и Микель Анджело, был хлебопашцем и голодал; Аристарх Дыдыкин, с шести лет начав учебу, полуграмотный человек, двадцать лет работал иконописцем, до революции, до артели; дети Дыдыкина — трое сыновей — учитель, землемер, командир роты. Чекурин, малограмотный человек, сын иконника, грамоте обучавшийся у николаевского солдата, его сыновья — учитель, комиссар полка, инженер-технолог, врач. Буторин, малограмотный человек, холостяк и солист «зари туманной юности», — его две племянницы — учительницы в Палехе, живут вместе с ним и почтительно называют его дядюшкой.

Так у всех художников. Так во всем селе.

Патриарх Салапин, старейший житель Палеха, старый до древности, говорил Сергею Ивановичу:

— Спрашиваете вы, почему мы раньше иконы писали? — в виду нашей доходности...

Салапин знал, что иконописное мастерство у Палеха существовало и в XVII веке, и раньше, и больше ничего не знал об этом. Он лучше знал, что Палех принадлежал помещикам Бутурлину и Грязеву, помещики держали палешан на оброке, в иконописные дела их не мешалось. Бурмистрами у Бутурлина был род Сафоновых, феодальных владельцев Палеха, иконо-фабрикантов, обстроившихся в Палехе каменными домами и фабричными мастерскими-казармами палехской иконописной мануфактуры. Салапин не знал архивных записей. Господа и графы Бутурлины жили в Москве. В Палехе жили старосты и бурмистры — Сафоновы, Ноговицины, Вакуровы. Господа Бутурлины писали бурмистрам в деревню «указы»:

«... старосте нашему такому-то. По получении сего указу смотреть бы вам над крестьяны нашими накрепко и содержать в страхе... ежели меж крестьяны нашими какие случатся ссоры, разыскивать и виновным чинить наказания — бить батоги, не опусываясь к нам, и не допуская к нам напрасной доуки...»

Бурмистры пороли, арестовывали, сажали на цепь, штрафовали отбором имущества, сдавали в солдаты.

«...жители оного села упражняются более в иконном греческом письме, а написанные иконы в нарочитом множестве отправляют для продажи в разные города... В оном селе, кроме еженедельных торгов по средам, бывает годовая ярмарка сентября четырнадцатого дня...»

Палешане платили подати бурмистрам натуральной ловиностью, подушными и поземельными сборами, сборы с девок по достижении ими совершеннолетия и со вдов, за покупку на ярмарках лошадей. Бурмистр Сафонов по «реестру

оброку за первую геньварьскую половину 1847 года» заплатил 55 руб. 50 коп., да «с него же за дочь оброку принято 2 руб. 10 коп.». Революция 1917 года отобрала у Сафоновых шесть миллионов рублей. Этого Салапин не знал. Салапин помнил, как, лет за пять до реформы Александра Второго, господа Бутурлины поссорились с господами Грязевыми, бывшие до ссоры в дружбе и родстве, и, поссорившись, межевали не межеванные палехские свои владения упрощенными способами: солнечная сторона отходила Бутурлину, северная — Грязевым; крестьяне, расписанные между Бутурлиным и Грязевым, жили и направо, и налево; во един дух было проведено межевание, и во един дух все бутурлинские были вселены в избы направо, а грязевские — налево; иные крестьяне, высленные из лачуг, оказались в пятистенках, иные из пятистенок оказались в лачугах. Салапин знал, — Салапин по-своему определял слово «иностранец», и по его понятиям «иностранец» — это каждый, кто не родился и не живет в Палехе, — Салапин помнил, как приезжал в Палех в семидесятых годах «иностранец» генерал Филимонов набирать мастеров помимо Сафонова для реставрации Грановитой палаты, поручил этот набор мастеру Белоусову, и Белоусов с тех пор пошел в гору, став конкурентом Сафонова.

Сафонов был старшим и консервативнейшим, он придерживался «старого стиля», византийско-новгородско-суздальско-ярославского. Белоусов был расторопнее, помоложе, менее авторитетен и денежен, и он больше придерживался «фряжского стиля», европейских влияний, сходного рынка. И Сафонов, и Белоусов, деды, отцы и внуки, были малограмотны, в совершенстве зная свое ремесло, русскую икону, ее эпохи и стили, в этом деле являясь непреложными экспертами для Кондакова и Забелина. Деды, отцы и внуки, повторяя ивановских фабрикантов, ходили в поддевках, ели лироги и пили водку, красноносые, раз'езжали по всей России на заказы, но проживали в Палехе, в каменных домах с собаками у ворот и с откормленными любовницами. Один-единственный из

них, младший Сафонов, за взятку, будучи совершенно неграмотным, получил звание народного учителя, чтобы освободиться от воинской повинности. Построил в селе Красном церковно-приходскую школу и нанял вместо себя учителя, оставив за собою пост заведующего школой. Сафоновы состояли в чине «потомственных почетных граждан» и «поставщиков двора его величества», в силу чего на доме и на мастерских — для страха — наклеены были во множестве громадные золоченые двуглавые орлы. Октябрь Семнадцатого отобрал у Сафоновых шесть миллионов рублей, скопленных на богописании, причем неграмотные Сафоновы, оказывается, во капитализме были обучены отлично и держали свои миллионы не только в российских, но в лондонских, парижских и берлинских банках.

И все теперешние художники, старшее поколение, от шестидесятипятилетнего Баканова, прошли одну и ту же школу у Сафонова и Белоусова, этот изумленный народ, замечательный, кроме всего прочего, замечательным своим здоровьем. В девятилетнем возрасте накруг каждого из них привела мать к хозяину поклониться в ноги и — с кулечком пряников — отвела к приказчику.

Приказчик роздал пряники другим подросткам, и мальчик стал учеником. Летом с пяти часов утра до десяти вечера, а зимою с семи утра, но также до десяти, мальчик, прикрепленный к мастеру, учился. Первым уроком он должен был нарисовать «голичку», «ручку господню», затем эту же ручку, сложенную в щепоть, затем эту же ручку с плеткой (символ учения!). Учились разделять яйца и учились «творению» красок. Изучали книгу «бецатала». Обучившись рисованию карандашом и копированию, переходили к работе «поднож», к рисованию красками. Писание икон было стандартизовано и расчленено. Мастера разделялись на личников и доличников, на левказчиков и чеканчиков, то-есть одни мастера умели готовить доски для икон, другие писали «лики», третьи писали одеяния святых и их местонахождение — землю с обязательными лещадками (то-есть «кре-

мешками», то-есть с иконными горами), храмовые постройки, небо, облака и море, «палатное письмо» и «воздуха», четвертые — чеканчики — обрамляли икону в золото. И мальчик учился быть личником, доличником или чеканчиком. Мальчик скоро узнавал, что богоматерей — триста тридцать, «животворящий источник», «троеручица», «неопалимая купина», «нечаянная радость», «неувядаемый цвет», «помощница в родах», «размягчение злых сердец» (четыре богоматери-размягчительницы, четыре разных «лика»), — что без малого такое же количество спасов, вплоть до «спаса — мокрая борода», чудотворца. Мальчик скоро узнавал болью плетки, им же изображенной на третьем уроке богописания и всегда носимой приказчиком за пазухой, что каждую богоматер и каждого спаса надо — точнее, только копировать, ибо отхождение от святого стандарта считалось богохульством. Мальчик показывал свою работу мастеру, но по субботам все работы мальчиков просматривал приказчик, — происходил «показ», — и мальчик знал, если приказчик отложит в сторону его работу, не вернет ее сразу, после «показа» мальчик будет порот, — на всякий случай по субботам мальчик надевал вторые крашенные штаны и в штаны засовывал фартук, чтобы легче переносить порку. Мальчик знал, что в июне, вместо иконописания, приказчик пошлет его по ягоды для хозяина, по землянику с черникой, по гонобобель, по малину; что в сенокос он будет ворошить хозяйское сено; что, подросши, он будет пасти хозяйских гусей, бегать мастерам за водкой, убирать после мастеров мастерские. И так будет продолжаться шесть лет. Но за эти шесть лет мальчик пересмотрел тысячи рисунков, и византийских, и русских новгородских и ярославских, и фряжских, видел краски двенадцатого, четырнадцатого, шестнадцатого, восемнадцатого веков, видел композиции одного из необыкновеннейших человеческих искусств, пусть умершего, но прекрасного в своих первоисточках до сих пор, — мальчик научился их видеть и через них видеть вещи на земле; мальчик научился тво-

речь краски и познал законы красок двенадцатого, пятнадцатого, семнадцатого веков; мальчик познал рисунок и композицию этих же веков; мальчик узнал законы обратной перспективы, «секрета» иконописной прелести; мальчик обрел умение в древнейшем искусстве, в древности своей соприкасавшемся с истоками народного творчества. Но мальчик жил в коллективе и по закону действия, равного противодействию, на крепостной мануфактуре воспитал в себе коллективистические чувства; мальчик видел феодальную нищету и узнал, что только своим трудом он проживет свою жизнь. Но мальчик, узнав, что богородицей триста тридцать, еще до того, как он пошел в жизнь, научившись делать богов, увидел, как они делаются, услышал истории о поках и монахах, — мальчик уже не верил в православного бога.

А на конце шестого года обучения хозяин давал ученику заливкашенную доску; ученик, если он был доличником, расписывал эту доску святым или святыми, по его усмотрению; эту доску дописывали «ликажи» и чеканили другие мастера; эта икона называлась «выходною»; она шла в собственность ученика, она была экзаменом, — ею хозяин благословлял ученика в жизнь. И тогда хозяин «клат» ученику жалованье — десять или пятнадцать рублей в год, а иной раз «держал» его за блин или за пуха.

Ученик делался мастером и писал у Сафоновых или Белоусовых по зимам на иконофабриках иконы, — «ввиду нашей доходности», как определил патриарх Салапин, — а на лета уезжал «в отъезди» расписывать монастыри и соборы — сотни монастырей и соборов — в Москве, во Владимире, в Кимрах, в Муроме, в Костроме, в Самаре, в Сарове, в Бийске, в Томске, в Киево-Печерской лавре, в Троице-Сергиевской лавре, в Ипатьевском монастыре (в том, откуда на русский престол пришла романовская династия, закончившая свое существование в Свердловске, в подвале ипатьевского особняка), то-есть через монастыри и монастырский быт иконописцы создавали себе представление и

о жизни, и о России, заставлявшее не верить ни в чорта, ни в бога.

Это были ремесленники, кустари-отходники, ремеслом которых, как у скорняков кожа, была икона.

Это ремесло через безграмотных Сафоновых и грамотнейшего Кондакова проникало в Успенский собор в московском Кремле, в Грановитую палату, до трона Мономаха, до имперских и императорских столпов и реликвий.

Это ремесло учило Васнецова и Нестерова.

Но сами кустари, возвращаясь на побывку к себе домой, где матери и жены вели крестьянское хозяйство, иконописный промысел для коего был подспорьем, — мастера жили бытом русского кустаря-отходника, «ввиду доходности», никак не сопоставляя себя ни с Кондаковыми, ни с Васнецовыми, ни с Нестеровыми, за исключением немногих, которых «пленила игра красок», по определению Голикова. Мастера не подозревали о знании и умении, коими они обладали. Они никак не подозревали, что Васнецову, Нестерову и академику Харламову надо было у них учиться.

Мастера были во власти двуглавых золоченых орлов «гражданина двора его величества» и сафоново-белоусовских иконописных фабрик. Они могли уйти от Белоусова к Сафонову и обратно, и только. Они жили в «язычестве», то-есть в доносах и шпионстве приказчиков. Мастера были безымянны, они не подписывали своих работ, — за них подписывался «гражданин двора».

И кое-где в погребках или в лесу, или под сараем хранится замечательный палехский клад, который оказался бы прекрасным вкладом в Палехский музей, — девять пудов революционной подпольной литературы Пятого года, собственность тогдашнего, по времени совпадавшего с Талкой, палехского подпольного революционного кружка. В этом кружке принимали участие иконописцы — ныне заслуженные деятели искусств, друзья Александр Васильевич Котухин и Иван Васильевич Маркичев, ныне московский большевик и директор института силикатов, Александр Никитич Вицин, член ВЦИК 14-го созыва, палехский

большевик, член правления Товарищества, художник и друг Александр Васильевич Чекурин и его брат Алексей, братья Зубковы, председатель Александр и насмешник, поэт и француз Иван, Иван Колесов, большевик и художник, написавший в подарок Конгрессу защиты культуры «Гаврииаду», Салапин, Хохлов, Михаил Комаров, Свинцов, Корин (один из тех, кои создают себе славу художников в Москве) и другие, до тридцати человек.

Они собирались по лесам, чтобы учиться. В белоусовской мастерской они самообложили друг друга двумя процентами заработка и выписывали газеты, журналы и книги.

Александр Зубков и Александр Котухин в отъезде, под Самарой, в селе Мусорки, хранили под церковным куполом винтовки революционеров и принимали участие в том, как крестьяне, закрыв церковь, голого изгоняли из села священника.

Сафонов в Палехе изгнал из своих мастерских сорок человек рабочих, в окнах дома поставил железные решетки, а также с того времени ввел десятичасовой рабочий день. На «засидках», десятого октября, когда мастерские переходили на зимние работы, то-есть в мастерских зажигали по вечерам свет, — по традиции в этот вечер мастера собирались с хозяином Белоусовым поспрашивать и выпить, — на засидках мастера отказались пить с хозяином, предложив ему на праздничек восьмичасовой рабочий день, новые расценки, специальных уборщиков в мастерскую (вместо учеников, которые убирали за мастерами), — Белоусов кряхтел над приготовленными яствами и водкою, хотел дело свести на шутку, но кончил десятичасовым рабочим днем и уборщиком, и даже тем, что выписал для мастерской «Сельский вестник», «Живописное обозрение», «Ниву», «Родину» и «Родную речь».

В час освящения нового реставрированного иконостаса в палехской церкви, сделанного Белоусовым в пику Сафонову, — ровно в этот час на палехских заборах повисли карикатуры, написанные палешанами и предварительно заготовленные, со страшными рожами Бело-

усова, Сафонова и того самого губернатора Леонтьева, у которого были сердцебиения от Красной Талки. Друг Дмитрий Буторин, человек с зари туманной юности и фламандец, тогда подростком, голопятый бегал по селу с прокламациями. В ту ночь, когда пировали хозяева, губернатор, духовенство и пристава, в каравайковском подвале работал шапирограф. Салапин и Лапин печатали листовки к церковному торжеству. С этими листовками и бегал голопятый Буторин. Михаил Комаров в ту ночь с ведром краски караулил ночную темноту. На только-что освященном храме он написал громадными литерами: «Долой кровопийц-попов!», — на воротах белоусовского дома, где пиروвал губернатор, а заодно и под орлами Сафонова, он написал: «Долой эксплуататоров!», — на казенной винной лавке он написал: «Долой самодержавие!», — следы краски, капавшей с ведерка, на рассвете ж привели исправника в избу Комарова. Михаил был арестован, был бит полицией в тюрьме до кровохарканья, осужден был на три года и захворал туберкулезом, от коего и умер. В тюрьме он написал картину, — раненый в грудь человек поднимает обессиленную голову навстречу путнику, путник протягивает раненому флягу с водой, рядом с путником стоит покорный осел, а кругом — одинокая пустыня. Комаров умер от туберкулеза. Эта картина хранится и висит на почетном месте у друга Ивана Ивановича Зубкова.

До сих пор у изумленных художников идет спор о том, приезжал или не приезжал в Палех на подпольное партийное собрание Михаил Васильевич Фрунзе. Одни утверждают, что был. Другие — что должен был быть, но не доехал. Что же касается товарища Грачева, секретаря Совета рабочих депутатов Талки, — он приезжал в Палех.

И каждый раз, когда чарочка заходит за полночь и за хоровод, изумленные художники вспоминают о Пятом годе и упорно гадают о том, куда же на самом деле запрятан клад библиохранителем Николаем Лапиным, — как хорошо было б этот клад найти, перечитать, вспомнить юношеские годы бодрости и др-

жи сознания и сердца, которые были при первом чтении этого клада. И Александр Зубков тогда рассказывает, шопотом до сих пор, как он вез часть этого клада из Самары:

— ... В Рязани на станции был осмотр багажа. Когда очередь дошла до нас, то сын хозяина показал документы, в которых значилось, что мы едем с росписи храма и что багаж наш состоит из красок, золота и священных книг. Хозяйский сын и не подозревал, что он везет. Нас и обыскивать не стали. И всю литературу мы довели в порядке, а по приезду я сдал ее в нашу библиотеку... Вот как случилось!..

Богомаз и чеканщик Александр Никитич Вицин от Пятого года остался в партии, в подпольи и отсиживал по тюрьмам. Вороном он обходил Палех, ибо в палехском волостном правлении лежала «грамота» о немедленном аресте и препровождении куда следует беглого «каторжанина». В Семнадцатом году вместе с Фрунзе в Шуе Вицин организовывал Красную гвардию —

А за Пятым годом, за Палехом, в тысячах соборов и монастырей, мужских и женских, в лаврах, в Троице, в Киеве, в Никологорах, в Новодевичьем московском монастыре, — «ввиду доходности», — за росписями трехсот тридцати богоматерей и спасов, богов Саваофа и духа, апостолов, святых и святителей. Это само собою подразумевается, что иконописцы вместе с монахами знали религиозную кухню, чему удивляться не полагалось. Само собою разумеется, что пили иконописцы вместе с монахами, изошряясь в качествах настоек на черносмородиновом листе иль на черносмородиновой почке (что лучше?), и, напиваясь почечными настоями, говорили «по-душам» — о делах и о «бабах». Дела монахов — это богослужения, чудодейства, мощи. Был случай, пил богомаз водку с иеромонахом для разнообразия в священной пещере, за стол приладив раку с мощами, а, опившись, раку вскрывали и в ней, кроме прочего, нашли коробку из-под килек и пустые бутылки, явно оставленные предшественными пьяницами. А «бабы», — в домашнем про-

сторечии монахи не назывались Пафнутиями или Варахилами, но — жеребцами. Прежде, чем войти к монаху в келию, надо было сказать:—«молитвами святых отец наших, господе Иисусе христе наш, помилуй нас!»,—и если монах не ответит «аминь!» — войти к нему нельзя: либо опился, либо с «бабой». Монашеские женщины жили в соседних слободах. Купчихи и вдовы-мещанки приезжали в монастыри, чтобы насладиться богом и монашеской плотью. Иных совраждали «божием видением» и велением. Иных заманивали в келии с исповедей. Многих насильовали. В Палехе был мастер Шишкин, Иван Дмитриевич, отличный иконописец; он был нанят Троице-Сергиевской лаврой в лаврские иконописные мастерские, мастером-учителем; он поехал в лавру вместе со своей семьей; девятилетняя его дочь пошла однажды в монастырскую трапезную за хлебом и была изнасилована монахами. Занимались монахи играми, не переносимыми на бумагу, от опоя, от сытости, от безделья, рядились у себя в келиях в женские панталоны, изображая из себя «гризеток». Женщин-монахинь звали «божьими свинками». Женская судьба и в монастыре была тяжелой и обездоленной, чем мужская, — по тогдашним традициям. Если большинство монахов шло в монастырь по лености, по неудачничеству, по моральной дефективности, на даровые хлеба, — во всяком случае шли по своей воле, — то подавляющее большинство женщин было сослано в монастыри другими людьми, обетами отцов, выброшенностью из среды, жизненной неудачей и горем. Оказывается, по палехским впечатлениям, монахинь надо было, говоря по существу, насильовать. Иконописцы влюблялись в послушниц, послушницы влюблялись в иконописцев. Через старух послушницы присылали иконописцам туфельки для часов, салфеточки, махоршники — и записки. Через старух же иконописцы посылали послушницам стихи, изображения женских головок своего мастерства и — мольбы о свидании, — выйти погулять хотя бы на кладбище или в рошу, хотя бы на минуточку, чтобы глянуть единым глазком. И, если

монахиня вышла в рошу, ее следовало насиловать, — «в силу крайности того положения, что они давали обет богу быть христовыми невестами и никогда на словах не согласятся, а без слов бывают очень довольны». — Монахини пахли ладаном, — монахини выходили в рошу, — и на второй, на третий раз иконописческие носы устанавливали, что к ладанному запаху примешивался запах одеколона, — иконописцы понимали, что этот запах приносился для них. Иконописцы не понимали убожества человеческой юдоли!..

В Палехе жил иконописец Шишкин, Иван Дмитриевич, отличный мастер: он был нанят в троице-сергиевские лавровские иконописные мастерские; у него изнасиловали дочь; были свидетели; он судился с монахами и с лаврой, — и он же оказался перед всей иерархией судов виноватым и осужденным, изгнанным из лавры в позор и в нищету. Об этом иконописцы очень хорошо знали. В Киево-Печерской лавре, однако, имелась, оказывается, кроме пещер с мощами, доступных обозревателям, и кроме танцевальных пещер, так скажем, — пыточная пещера; в этой пещере пытали непослушных, в том числе и монахов, в том числе и женщин, в том числе и детей, и на дыбе, и подноготной, всеми средневековыми способами; иные в этой пещере жили по годам на цепях, на цепи и умирая; почва приднепровских гор, в которых нарыты пещеры, имеет свойство мумифицировать человеческие тела, но к этой пыточной пещере приставлены были и специалисты по выделке мумий; в этой пещере производились мумии тех мужчин и женщин, которые в этой же пещере были замучены; мумии шли на мощи. Об этом иконописцы знали хорошо!.. Их ремесло было прицерковным, примонастырским ремеслом.

Их ремесло, через безграмотных Сафоновых, грамотнейшего Кондакова и просвещеннейшего Забелина, проникало к столпам империи.

Их ремесло учило Васнецова и Нестерова.

Это иконописцев не касалось, они были безымянны. Иконописцы знали, что Сафонов, лавры, империя — одно и

то же, столпы, с которыми — не судись, как посудился Иван Дмитриевич Шишкин, от которых прячь клады, как спрятан клад Библиотеки, клад Пятого года, ровесник Талки.

Эпиграф:

«... И Капабланка, конечно, знает больше шахматных правил, чем молодой шахматист, — и для того, чтобы пользоваться ими, и для того, чтобы разрушить их...»

В Палехе пили в старину, пили жестоко и остервенело, как могли пивать только россияне и российские кустари. Но в Палехе пили больше, чем в Туле, потому что палешане были отравлены «игрою краски» и не веровали ни в бога, ни в чорта и ни в чех, по причинам понятным. Это было злое пьянство. В Палехе даже пословицу свою сложили: «делами займешься — пьянство упустишь».

Неистовый и изумленный Голжков писал в «Трибуне Палеха»:

«... Наши отцы, деды и прадеды всю жизнь писали иконы и производили живописную отделку храмов. Кисти и краски передавались от поколения к поколению. Иконописное дело для большинства из нас являлось, как выражаются, насущным куском хлеба. Работа по заказу хозяина ограничивала наши творческие порывы. За свою жизнь приходилось писать сотни раз одного и того же «Николая-чудотворца». Вложить в лик святого что-нибудь от себя, — это рассматривалось, как богохульство. Работа сводилась к трафарету, без всяких художественных затей. Правда, были из нас и такие, которых игра красок увлекала за пределы икон и церквей. Такие вдохновенные художники считались неудачниками. Злясь на свое бессилие и не получая ниоткуда поддержки, они ча-

сто успокаивали себя вином и спивались...»

Такого пьянства нет больше в Палехе.

За орлами «потомственного почетного гражданина и поставщика двора его величества» Сафонова, бывшего крепостного бурмистра у барина Бутурлина, за столпами империи — полубожественные полупролетарии — или спивались, пораженные игрою красок, или возделывали мечтишки обернуться по-сафоновски, разжиться, стать хозяйчиком, — так возникали, всплывали по-тогдашнему наверх Коровайковы, Парилковы, Солоутины. Но неграмотные Сафоновы, грамотно хранившие свои капиталы в Лионском кредите и в Лондон-сити-банке, умели этим, высунувшим голову, дать как следует по башке, чтобы они опять свалились в сети, а за сетями в водку.

И российская история пришла в Семнадцатый год.

Изумленный Голиков писал в «Трибуне Палеха»:

«... мы, художники-иконописцы, оказались в пиковом положении... Многие безнадежно махнули рукой на художественное ремесло и считали его похороненным навсегда. Но я не верил в это и часто думал так: «Неужели мы, со своими кисточками и красками, не можем быть полезными для трудовой власти?» — И вот, стал я присматриваться. Многие изменяют советская власть. Буржуев сажают в тюрьмы, конфискует их имущество, а художественные музеи не трогает. К тому же вижу, появляются новые картины и плакаты. Из этого я заключил, что искусство, значит, у коммунистов в почете. А где наше место в революции, я долго не мог его определить...»

Голиков расписывал декорации в Шуре и Кинешме. Баканов, Зубков, Зи-

повьев — пахали. Бутурин председательствовал в комитете бедноты и писал за картошку портреты по окрестным деревням. Чекурин плотничал и писал портреты. Ватагин служил весовщиком на Пермской железной дороге. Александр Зубков побывал в австрийском плену. Голиков побывал в Красных гвардии и армии. В императорской армии были все.

Никто не может точно упомянуть, в декабре ли двадцать второго года, или в январе двадцать третьего, изумленный Голиков в Москве, в поисках работы, увидел в кустарном музее федоскинские лаки, роспись на папье-маше, на коробочках.

«Уцепилась у меня мысль за эти коробочки. Думаю — вот бы нашим палешанам суметь такие штучки откалывать, все бы сыты были и вздыхать бы перестали! — Разыскали мы с товарищем заведующего музеем и стали говорить по поводу сырья для пробы. Но, когда он узнал, что мы бывшие богомазы, он и говорить с нами не стал!..»

У приятеля Голикова нашлась фотографическая ванночка из папье-маше. Голиков обрезал края этой ванночки и на дне ее золотами и серебром написал много различных птиц и зверей. Голиков понес это дно в Кустарный музей, в тот, что в Москве на Леонтьевском. Мастерство Голикова смотрело со дна фотографической ванны — мастерством, красотой и умением. Это дно ныне хранится в музее, как драгоценность. Это дно оказалось фундаментом Палехского товарищества художников, пять членов которого, и в том числе Голиков, носят звание заслуженных деятелей искусств Советского Союза. Это дно породило Палехский музей, где висят похвальные листы и свидетельства о золотых медалях со всего земного шара. Это дно породило тринадцатого марта тридцать пятого года десятилетний юбилей палехского искусства, когда на самом деле палешанами за десять лет от Семнадцатого года сделано для искусства больше,

чем за три столетия от семнадцатого века.

В дни палехского юбилея в Москве нельзя было достать билетов до Иванова и до Шуи. Вагоны поездов превращались в клубы искусств. На станциях Иваново и Шуя висели плакаты, приветствовавшие делегатов, на вокзалах ждали автомобили и автобусы, которые пошли по шоссе, сделанному специально для Палеха, — до Палеха, который к юбилею превращался в районный центр. В город-село приехало несколько сот делегатов, телеграф принес несколько сот телеграмм. Торжественное заседание открывал нарком Бубнов. Был голубой от солнца и снега день необыкновенного народного веселья, которое, начавшись морозным рассветом, длилось двое суток, когда двое суток под ряд люди не ложились спать. Кроме приехавших со станций, на праздник приехали на разваложках и пришли пешком соседние деревни и села. С утра над селом летали три самолета, которые сначала разбрасывали первый номер «Палехской трибуны», а затем поднимали в воздух знаменитых палешан. По селу гремели духовые оркестры. Когда самолеты садились на землю за слободой, в тот день переименованной в улицу Голикова, соседние овины проваливались под сотнями ног стара и мала. Карусели бесплатно катали детишек. Ларьки раздавали книжки и сладости. На площади под самолетами устраивались рысистые колхозные состязания, и народ поражался конями Майдаковской колхозной конфермы. Правительство РСФСР, поздравляя юбиляров, сообщало о субсидии в сто тысяч рублей на организацию техникума. Правительство области свидетельствовало, что, если месяц тому назад Палех превратился из районного села в районный центр, если до прошлой осени в Палех можно было обратиться только на первобытной телеге, — то через два года Палех будет прекрасным и подлинно социалистическим городом. Содержание празднеств и заседания транслировалось через Москву, через радио Коминтерна всему миру, передаваемое из палехского дома культуры. И был бал сразу в двух

домах, где чарочка смешивалась с заморскими винами и с джазом, впервые здесь звучавшим.

Двое суток в полном изумлении не спало село Палех!..

Целый день нарком Андрей Сергеевич Бубнов и член ЦК ВКП(б), секретарь ивановского обкома, Иван Петрович Носов, и член ВЦИК, председатель ивановского облисполкома, Сергей Петрович Аггеев ходили по домам художников, а художники угощали их студнем, грибами, чаем, пирогами и вареньями.

Целый день навсегда изумленный и неистовый Голиков в окружении жены и детей выступал с речью. Черные его, изумленные глаза бежали по потолкам и под столы, застревали в уступах, наполнялись наивностью и таинственностью, — дыхание мешало словам, словам помогали глаза и руки, — и он говорил, никого не слыша:

— Гениальный Пушкин, конечно, и гениальный Голиков.. Голиков, то-есть я, хотя меня прозывают Таракан, как рябинка в поле. Осенью рябинка красная, лист пожелтел и во всем лесу простор и тишина, как у гениального Пушкина... Конечно, гениальный тоже Некрасов... Голиков, то-есть я, берет букет полевых цветов, смотрит на него и рисует свои битвы, поэтому кони у Голикова бывают красные, как гвоздика, либо, как василек, — и получается букет жизни... А детей у Голикова семь душ, а во всем доме нет ни одной кровати, и я, то-есть Голиков, Таракан по прозвищу, как рябинка в поле!..

От юбилея в Палехе остался Музей палехских работ. Красным неистовством по музею мчатся голубые и красные голиковские кони. Правительство области дало Голикову девять кроватей и сему соответствующее количество одеял, простыней, полотенец, столов и стульев, — голиковская изба превратилась в лазарет небывалого вида. Правительство области перед юбилеем присылало в Палех за Голиковым автомобиль, чтобы отвезти Голикова в Иваново к портному, дабы был у Голикова настоящий пиджачный костюм; когда автомобиль приехал за Голиковым второй раз, что-

бы свозить на примерку, Голиков не поехал, заявив, что, мол, — «пушай на ком-нибудь примерю, а мне некогда, я делами занят!..» — Голикову все же сшили этот костюм, — он раздобыл к нему смазные сапоги. Всегда рядом с Голиковым ходит его жена. Всегда Голиков с детьми. Ни в одной своей речи он не забывает о них, о жене и детях, — отличный семьянин. Когда Голиков работает, он работает сутками. Когда Голиков получает из товарищественного гор-та сахар, он не рассыпает его по стаканам иль чашкам, не рассыпается по мелочам, но высыпает сахар в самовар и пьет чай всем родом. Семь раз Голикову товарищество покупало корову, и семь раз получалось одно и то же, а именно: когда корова надоедала Голикову и его жене, он резал корову, и целую неделю под ряд дымилась тогда голиковская труба, ибо Голиковы поедали мясо. Голиков так записал о себе:

«... гулянка, хоровод, пляска. Virtuозность во время пляски парня или девки. В отдаленности где-то гармошка. Запечатлеваю отголоски: какое настроение. Выгон скота — утром, вечером — игра пастуха в рожок. Базар. Рыбная ловля. Пьяная компания, сам в ней. От настроения слезы катятся. Детские игры. Бедность действительных бедняков, а не притворных. Зимние вечера, когда поет жена. В особенности много «троек». Люблю писать лихие тройки. Даже набрасываю рисунок, когда поет жена: вот мчится тройка удаляя вдоль по дороге столбовой. Много написано битв, потому что сам был участником боев, и, видя кавалерийские атаки и битвы, пожары городов, деревень, ужас беженцев, детей, стариков, — все писал».

Изумленный Голиков — изумителен, конечно. В музее, под стеклом витрин, собраны его «Слово о Полку Игореве», кони и битвы. Откуда у человека такая изумительная энергия красок и энергия

движения? — пусть от иконы семнадцатого века остались «лещадки» курганов, «воздуха» и «палатное письмо» плача Ярославны, — ведь это ж брат Матисса!.. — но как же тут же Голиков подсмотрел Микэль Анджело? — но тут и Рафаэль?.. — но как же, как же тут же копия из «Нивы», перекрашенная Голиковым до гениальности!? — обязателен ли здесь закон о плагиате? — сюжет — заимствован всегда или только такая традиция вежливости и просвещенности — уверения, что все это сделано по Пушкину, по Баяну иль по песне? — это — необыкновеннейший консерватизм, такой необыкновенный, который в силу самого себя, то-есть консерватизма, разрушает все каноны?.. — Нет, конечно, это — ни Рублев, ни Анджело, ни тем паче Рафаэль, и не Матисс никак. Это — Голиков, который сам по себе, которому закон написан им самим. Какие серьезные и деловые физиономии у голиковских коней!..

Эпиграф:

«... а актер, если он кричит петухом, приводит детишек в изумление, но, если детишки установят, что кричит петухом не актер, но самый настоящий петух у актера под столом, — детишки актера презирают, ибо актер обманул искусство...»

Но Голиков — не академик, никак, и не учитель. Если Голикова разложить на элементы, то «Нива» заслонит и Рублева, и Рафаэля. А в Палехском музее есть академик, а точнее, академист — Павел Львович Парилов; у Парилова ничего не осталось от русской иконы, у него нету даже «палатного письма»; он — «фряжец»; он пишет лермонтовского демона; и он — брат академиков Егорова и Моллера; он совершенно реален, так, как понимали реализм академисты; законы заимствований ему известны, он их обходит; законы элементов живописи им изучены; и Парилов — олеографичен, он напоминает — не Палех, но — Лукутина, кроме Моллера и Егорова.

В Палехском музее ощущение сквозняка веков и их неистовства, и умения, и восхищение талантами идут никак не только от Ивана Голикова. Заслужен-

ный Баканов, Зиновьев, Ватагин — энциклопедисты, хранители палехского «стиля» и традиций, Рублева, Фрязина, Ушакова и Чирина, знатоки законов русской иконописи от Византии; Баканов и Ватагин пишут «Демонстрацию»; Баканов пишет «Индустриализацию сельского хозяйства»; Ватагин пишет встречу челоукинцев во Владивостоке; а Зиновьев пишет «Историю земли» от космоса, от мамонта до наших дней социализма, и пишет Москву-порт; и по лакам этих энциклопедистов прошло иконописное умение от одиннадцатого века, от дней Андрея и Всеволода Боголюбских. Баканов «фряжскую» живопись сочетает с новгородцами. Заслуженный Вакуров сочетал в себе пятнадцатый иконописный новгородский век и Врубеля. Но Врубель же, и Микэль Анджело, и персы — у Аристарха Дыдыкина. То ли из Византии в Персию, то ли из Персии через Византию в Русию, — но персов очень много в Палехском музее, и заслуженный Котухин в Палехе вдруг реставрировал и оживил из мертвых средневековую персидскую миниатюру, шестнадцатый—семнадцатый века. А Хазов больший перс, чем заслуженный Котухин. А за Персией — Центральная Азия, Индия, Китай, века. Но в этом же музее заслуженный Маркичев — и Перуджино, и ранний Рафаэль, до Афин. И здесь же красновато-коричневый, суховатый, поджаренный фламандец Буторин. И здесь же живописнейший Иван Зубков, француз, Клодт Лоррэн, Фрагонар, — тон, пространство, воздух, — хоть сам Зубков ни Лоррэна, ни Фрагонара не видал и убежден, что нету лучше Рафаэля, которого он видел на фотографии!..

Нет, икона, производившаяся «гражданином поставщиком», разбита вдребезги, от нее осталось очень мало, — из нее родились лак и золото. Второе поколение, — Баженов, Каурцев, Турин, Солонин, Солобанов, Баранов, — они не только не похожи на икону, но они не похожи и на старшее поколение, — график Баженов, выдумщик и стилист Каурцев, живописцы Баранов и Турин, причем Турин — и Малявин, и почти современный француз.

Русские иконописцы от Византии, оказывается, пользовались приемом, который лет тридцать тому назад был преподан французскими наилейшими, как последнее слово живописных открытий, в России им пользовались бубново-валетцы, — законом обратной перспективы; в Палехском музее хранится работа — младшее поколение — Баранова, написанная от Пушкина: «Кавказ подо мною»; она написана на самом деле от Пушкина, — законами обратной перспективы, — то-есть художник на своих квадратных сантиметрах лака создал перспективу, когда действие развертывается и показано от Пушкина, когда зритель не Пушкина видит в перспективе на вершине горы и над облаками, но когда перспектива, и облака, и горы видны от Пушкина. Солонин-младший написал женитьбу Фигаро; колоннада — пятнадцатый век, Флоренция, капелла Пацци, мастер Брунолески; орнаментация колонн — Франция восемнадцатого века; фигуры музыкантов — Ватто; характеры, костюмы, головные уборы — французы и фламандцы восемнадцатого века, Ван-Дейк в частности; Солонин порылся в книгах!..

В музее хранится копия иконы семнадцатого века, написанная заслуженным Бакановым, — святые Борис и Глеб; в музее хранится подлинная икона восемнадцатого века, — акафист спасителю; в музее хранится работа заслуженного Котухина, — сказка о царе Салтане; Борис и Глеб побывали не только на двух иконах семнадцатого и восемнадцатого веков, но один из них оказался на персидском лаке Котухина в чине царя Додона.

Нет, икона «гражданина поставщика» разбита вдребезги революцией и палешанами, развеяна по ветру палехскими конями, не только голиковскими. У Сафонова работы безымянные «мастерские». На каждом лаке, хранящемся в музее, написанном артельными товарищами, работающими в коллективе, а не в капиталистическом предприятии, написаны золотом фамилии художников. И — обязательно написано, также золотом, — «П а л е х», потому что это именно коллективный Палех и тот Па-

лах, та коллективная, живописная школа, которую, — пусть здесь ночевали и Рублев, и Врубель, Моллер и Фрагонар, персы и Рафаэль, пусть для Голикова не писаны законы плагиата, — ни с чем в мире не сравнишь эту школу, созданную советским десятилетием на развалинах палехских столетий, тех безымянных, которым помещик Бутурлин указывал, держа их «в страхе», «чинить наказание — бить батоги», которые в Пятом году готовились к Семнадцатому.

Эпиграф:

«... если бы машина-шахматы...»

В Палехе живет изумленный народ, который на лаке, на квадратных сантиметрах лака пишет древними красками, и обязательно пишет золотом, и полирует коровьим, а того лучше собачьим или волчьим зубом, причем лак и золото оказались элементами «стиля» Палеха.

Тридцать лет тому назад около Палеха поселился художник, носящий звание академика императорской русской живописи, соратник Виктора Васнецова, Николай Николаевич Харламов. В пяти километрах от Палеха он построил себе мастерскую. Окончив санкт-петербургскую академию живописи, художник, сын священника, определил свою судьбу, как Васнецов, его товарищ, — храмовую фресковой живописью. Он расписывал церкви. По его эскизам делалась мозаика «Воскресенья на крови», церкви, построенной в Петербурге на месте казни Александра Второго. Он расписывал варшавский русский собор, за что получил звание академика живописи. Окончив академию, он умел писать и писал, и пишет до сих пор, портреты, — сейчас портреты руководителей Ивановской области, Аггеева, Носова. Человек с академическим живописным образованием, с большими поездками по миру, с хорошим знанием истории живописи в мире и у нас, интеллигент, — он тридцать лет жил около Палеха, он писал церковные фрески, расписывал церкви, то-есть делал то же, что делали палешане. Варшавский собор разрушен поляками, этот символ

русского императорского порабощения Польши, по совершенно закономерным причинам. Церковь «Воскресенья на крови» у теперешних русских вызывает естественное презрение. Харламову под семьдесят, — лучшие годы этого художника больших живописных знаний выброшены на свалку эпох. Он вернулся к тем самым портретам, которым его обучали в академии живописи пятьдесят лет тому назад, к «академическим» портретам также полунужной надобности и полунужного мастерства, хотя они на самом деле академически грамотны. Искусство революции забыло Харламова в пяти километрах от Палеха, человека, вернувшегося к тому, с чего он начал. Он очень одинок, Харламов. Его дом, ничем внутри не изменившийся за последние тридцать лет, гложет в парке. В громадной его мастерской стоят у стен громадные заготовки церковных фресок, Иисус, боготец, богомать. Харламов знает — тридцать лет тому назад он поселился около Палеха, чтобы учиться у Палеха, он, академик. Он учился у Палеха. Он знает, что все эти красноармейцы, рабочие, пастухи, колхозники, Додоны, Пушкин на миниатюрах палешан, появившиеся тогда, когда палешане вдребезги разбили икону и иконописные каноны, все они анатомически неграмотнейши, когда всадник вдвое выше лошади, а двери в палатах вдвое ниже коня, — и он, академик, знает, что он не смог научиться у палешан. Он не знает, как это так получилось, что палешане расцвели золотом искусства, — ведь с полной грамотностью писал он иконы, те самые, которые кинуты в презрение. Харламов на самом деле повторил сказку о рыбаке и рыбке, написанную Зубковым, оказавшись у разбитого корыта молодости, когда от тех же самых икон, к которым с грамотностью подходил Харламов, безграмотные палешане прошли в заслуженные Советского Союза. Баканов же, Голиков, Вакуров, Котухин и Маркичев, заслуженные, вышедшие в советское искусство из развалин иконописания и поразившие в первую очередь у меня, на самом деле малограмот-

ны. Эти заслуженные до революции были «личниками» и «дóличниками», — то-есть одни из них умели писать «лики» и не умели писать все прочее, а другие умели писать все прочее и не умели писать «ликов».

Несколько лет тому назад, когда палехская артель имела уже славу и литературу о себе, в Палех приехала дочь художника и художественного критика Лидия Александровна Мانتель. Ей было двадцать четыре года, она только-что окончила живописную школу Рерберга в Москве. Она попросилась в артельные ученицы. Ее приняли и определили учиться, как учатся сейчас в техникуме дети мастеров, — определили учиться «к мастеру», к лучшему — Ивану Михайловичу Баканову. У нее был договор с артелью, — она должна была два года учиться и не меньше двух лет затем отработать в артели. Она показала отличные способности, — не через два, а через год она была принята в члены товарищества равноправным мастером. Она приехала, чтобы подобрать Палех, как Харламов, она, дочь знатока искусств. Она не смогла стать товарищем в артели, не сумев сладиться с товарищественным бытом и традициями. Она должна была уйти из артели. И она — не ушла из Палеха. В Палехе жил и живет богатырь и столяр Константин Николаевич Солонин, шестидесяти-с-лишним-летний гигант и философ, полуграмотный книголюб, всегда босой, с расстегнутым воротом на волосатой груди, с непокрытою гривой седых волос, не признающий способа умываться из умывальника, и зимой и летом моющийся на речке Палешке, зимой — в проруби, обязательно непокрытый и босой. Он был женат. Лидия Александровна Мانتель полюбила его, он полюбил ее. Они сошлись. Он ушел от старой своей жены. В солнечное утро однажды палешане видели, как босой Солонин, а сзади него, перекинув башмаки на веревочке через плечо, также босая, Мانتель, — пошли пешком в Москву. Около года их не было в Палехе. Затем они вернулись и наняли пустующую избу. Солонин судился со старой своей женой, ему присудили корову.

Лидия Александровна родила девочку. И в Палехе сейчас она растит ребенка и пасет корову. Николай Николаевич Харламов полагает, что столяр Солонин загипнотизировал Лидию Александровну, дочь старого его друга и коллеги, художника Александра Мانتель. Лидия Александровна любит своего мужа восторженно и упоенно. Ей думается, что она счастлива. Но она была бы окончательно счастливой, если бы она вернулась в артель, куда ее не принимали вновь и, должно быть, не примут, ибо у артели есть свои традиции и своя гордость, однажды нарушенные Лидией Александровной. Лидия Александровна верит, что она будет писать, когда дочка сойдет с ее рук, — и будет писать так, как пишут палешане. Ей кажется сейчас, что палехское искусство ее научил в большей мере, чем Баканов, ее муж, столяр и палешанин Солонин, сделав ее палешанкой. Она не подобрала Палеха, Палех подобрал ее. Красивая женщина, молодая, интеллигентка, Лидия Александровна сейчас ничем не отличима от палешанок, ни одеждою, ни даже манерою говорить, так же держит на руках ребенка и так же пасет корову.

Палехские мастера очень любят писателя Николая Николаевича Зарудина. Зарудин влюблен в Палех. Зарудин — член бригады Союза писателей, обслуживающей Палех. Зарудин — всегдашний гость палехских юбилеев и торжеств. Был праздник одного из палехских урожаев — вручение циковских грамот заслуженным Баканову и Голикову. И была всеартельная чарочка великого пафоса, великих торжеств и полуночного часа. За мастерскими лежали морозы, в мастерской в тепле расплавились сердца, «творились», как золото. Художники собрались с женами, каждая жена пришла с брошкою на шею. Говорились речи, хмельные, как серебряная чара. И упоенно говорил Зарудин, влюбленный в Палех. Он говорил прекрасно. Его слова и мозг, обгоняя друг друга, пенились солнцем и были на высоте тех песен, которые пелись над пиром и чарой. На самом деле Зарудин был прекрасен в тот вечер, и прекрасны были

его речи, похожие на песнь. И вышла на круг палешанка, и она сказала Зарудину, восхищенно и громко, так, чтобы слышали все и одобрили, о том, что шесть лет уже она вдова и чтит память мужа-художника, прекрасного друга ее юности, — о том, что, как песнь и как память о муже, говорил Николай Николаевич Зарудин, разбередив ее сердце, — о том, что зовет она его, Николаюшко, от переполненного сердца к себе в избу. Она поклонилась Зарудину поясным поклоном. Николай Николаевич Зарудин покраснел, как маков цвет, слова отпали от него. Она ожидала. Она поклонилась еще раз Зарудину, и она сказала в поклоне, достойно, целомудренно и просто:

— Не можешь, Николаюшко? — ты скажи — не надо, я не обижусь. Я от сердца тебя позвала и не от-сердца мне не надо, Николаюшко.

И она запела на кругу, в счастье и в горе одновременно:

Как по морю, морю синему...

Ее слышали все, и все, мужские и женские голоса, подхватили:

Плыла лебедь, лебедь белая...

Прозвища палешанами даются друг другу не случайно. Друг Дмитрий Буторин, он же Доленов, — прозван Ильєю Федотовичем. Был в Палехе колодезных дел мастер Илья Федотович, который рыл для Палеха и округи колодцы. И никак не остался б в памяти у палешан, а тем паче не назвали б его именем прекрасного художника и прекрасного человека Буторина, если бы однажды Илья Федотович, уже под старость, вырыв последний свой колодезь, запив, не плевал бы в этот колодезь. И не то главное, что он проклинал свою судьбу, — Буторин ее никак не прокликает, — а то, что он плевал в колодезь, нарушив истину о том, что — не плюй в колодезь, пригодится водицы напиться. Поистине прекрасный художник и прекрасный человек зари туманной юности, лирик и всяческий бессребренник, Дмитрий Николаевич Буторин —

не бережет своей жизни, своих трудов и своего искусства: «Наплевать!» Он остался холост, когда мог бы прекрасно жениться, и может жениться до сих пор, на лучшей девушке села. Оставшись холостым, много работая, он растил не своих детей, а племянниц. Когда палешане волновались о сенокосе, хватит ли сена, и отбивали косы, чтобы итти на покос, Дмитрий Николаевич никак не волновался, на покос не готовился и задумывал во время покосного отпуска написать пушкинского Балду. По палехским традициям — не дело, не стать такому мастеру. По Буторину — «наплевать», — и именно поэтому — Илья Федотович. Труд свой надо беречь и ценить, жизнь свою надо делать и устраивать по мере сил, в упорном труде до старости. Другой холостяк и заслуженный в Палехе—Иван Васильевич Маркичев, о нем ничего не скажешь. Он сам в порядке, дом у него в порядке, перед домом в палисаднике цветут пионы, георгины и астры; в гости он пойдет, в гости к нему придут, все в порядке; он заслуженный, он работает; женские его дела в секрете; и прозвание ему молодецкое, удалое — Иван Забелой. Палешане умеют трудиться и чтить правильные дела, строящие жизнь.

Десять лет тому назад артель началась нищенски, — артельщики сложились двумя рублями членского взноса и десятью рублями паевых. Артельщики не умели делать ни папье-маше, ни лакировать. Вместо презрительного «богомазы» их стали называть не менее презрительно — «коробошники». Артельщикам было очень трудно и голодно. Они работали, учились, портили, учились, существовали со старублевым «капиталом». И был, и есть до сих пор член артели Александр Иванович Блохин, тихий человек, мечтатель, хороший мастер. На каждом общем собрании Александр Иванович Блохин выступает теперь с одной и той же речью:

— Простите меня, товарищи, — говорит он. — Я сознаю, я виноват перед всеми и прошу — простите!.. восстановите мне стаж!..

Когда начиналась артель, когда артельщики, упорно трудясь и учась, и ошибаясь, подголаживали, у Александра Ивановича пала лошадь, и он уехал в Москву на более легкие заработки. Он выбыл из артели, как неработающий. Он был принят вновь в артель, вернувшись в Палех, когда артель была уже сильна. Но он не был уже членом-учредителем. Он оказался мастером второго призыва. Материально стаж Блохину ничего не дает, — ему хочется восстановить стаж, чтобы восстановить свою артельную честь.

Харламов тридцать лет жил около Палеха. Голиков — никак не классик и никак не все для Палеха. В Палехском музее хранятся работы Павла Парилова, он совершенно реален, для него обязательны законы заимствований, элементы живописи им изучены, и Парилов очень часто олеографичен; и не только он, но многие другие, и даже Голиков, когда они отходят от золот на лаке, от «стиля», как говорят они, они сваливаются в олеографию и в лубок. Тогда председатель товарищества и критик Александр Иванович Зубков говорит:

— Немастеровато сделано.

Около Архитектурно-Фрескового — второго палехского — музея покоится могила. На могильном камне эпитафия:

«В темной могиле почил художников друг
и советник,
Как бы он обнял тебя, как бы гордился
тобой!..»

Это — могила писателя Ефима Вихрева. Первый, кто печатно заговорил о Палехе, был ивановский пролетарий, коммунист Ефим. Вся писательская работа Ефима связана с Палехом. Без писательских работ Ефима Палех не был бы тем, что он есть. Шуянин родом, ивановец по воспитанию, человек из рода суровых ткачей, пролетарий, рабфаковец, родившийся в 1901 году и член коммунистической партии с девятнадцатилетнего возраста, — через шуйских и ивановских ткачей он создал понятие пролетарского рыцаря, на самом деле став рыцарем Палеха. Ефим умер 2 января 1935 года. Он ездил из Москвы в

Палех организовывать юбилей, там захворал, по дороге из Палеха в Москву, в Шуе умер. Он похоронен в Палехе. В дневнике Ефима осталась запись:

«... За гранью Палеха — юность. Я готовился к Палеху двенадцать лет. Я искал его всю жизнь, хотя он находился совсем рядом — в тридцати верстах от города Шуи, где я рос и юношествовал. Чтобы найти его, мне потребовалось отмахать тысячи верст, пройти сквозь гул гражданских битв, виснуть на буферах, с винтовкой в руках появляться в квартирах буржуазии. Вместе с моей страной я мчался к будущему. Мне нужно было писать сотни плохих поэм. Я рвал их, мужая. Я негодовал и свирепствовал. И, пройдя сквозь все испытания юности, на грани ее, я нашел эту чудесную страну...»

Эпиграф:

«...и Капабланка, конечно, знает больше...»

Палешане умеют трудиться, умеют делать. В течение столетий палешане писали на досках, на проолифленных левкасах. Голиков принес в кустарный музей дно фотографической ванны, папье-маше, лак. Это было открытием, но от открытия до начала артели лежало еще очень много перепутий. Палешане не умели делать ни папье-маше, ни лака — лака в первую очередь, того самого лака, который родился где-то в древности в Китае или Индии, оттуда ушел в Персию и Японию, а в Россию к Лукутину пришел уже из Европы, в конце восемнадцатого века. Артель началась нищенски, двумя рублями членского и десятью рублями паевых. Через кустарный музей артельщики получали федоскинский полуфабрикат и этот полуфабрикат отсылали в Феодоскино же для полировки, — «коробошники».

И у артели возникла целая эпопея поисков умения и «секретов», когда артель сама начала делать папье-маше и лаки, эпопея, длившаяся до тридцать третьего года, почти десятилетие.

Первым поехал на поиски «секретов» в Феодоскино первый председатель арте-

ли, ныне заслуженный друг Александр Васильевич Котухин, последним ездил лакировщик и друг Михаил Иванович Блохин.

Первые секреты вывез Котухин; он видел, из чего делается папье-маше, он видел прессы, жомы и колодки; он под Палехом нашел «филесский грунт», как называется глина, которой шпаклюется папье-маше федоскинцами, добываемая под Москвой около Филей; Котухин привез с собою от федоскинцев в запасы лаков; изобретатель, столяр и друг Михаил Николаевич Бабанов изобрел для артели свой прессовальный станок; большою водкой вывел у федоскинцев Котухин номера картонов — двадцатый и сороковой, «финляндские»; громадным опытом ошибок артельщики сушили, недосушивали, пересушивали, коробили, сжигали, портили материалы, картоны, масло, лаки, — изучали пропитывание маслом папье-маше, склейку, просушку, обжаривание, шпаклевку, очистку, окраску — и лакировку. Самоучка и изобретатель, Михаил Николаевич Бабанов оказался гением, — он вскорости научился делать коробочки всех фасонов крепче, красивее и удобнее федоскинских.

Но лакировать — федоскинцы лакировали лучше.

И кончились запасы лаков, привезенных некогда Котухиным от федоскинцев.

Достали новый лак в Москве, полировали, — лак не сох иль пересыхал, коробился, растрескивался, блекнул, желтил, гасил краски, — и однажды на пятьдесят тысяч рублей — на пятьдесят тысяч! — артели вернули продукцию, потому что лак потек, прилипал к пальцам, замутнил роспись. В те времена Всесоюзпромсовет приставил к Палеху друга Ивана Ивановича Василевского, ныне помощника директора Палехского музея. На Палех надвигалась гроза, в никуда сбрасывавшая его искусство, — отсутствие лака и плохая лакировка. Иван Иванович Василевский и председатель Александр Иванович Зубков взялись за поиски лаков и за приготовление.

Оказалось, что «секреты» лаков заключены в способах его варки. Федоскинцы сказали, что «секретов» у них нет и что они дорабатывают старые запасы, мамонтовской рецептуры номер двадцать девять, тот же лак, что был и кончился в Палехе, а мамонтовские рецепты потеряны вместе с Мамонтовым в революции.

Иван Иванович нашел в Загорске некоего монаха Афоню, он же Алексей Георгиевич, кой будто бы варил лаки для Троице-Сергиевской лавры и знает «секреты». Афоня сказал, — да, знает, — и варил лаки сначала на подсолнечном масле, а потом на маковом. Раз двадцать ездил к Афоне Иван Иванович, — раз двадцать пробовали афонины лаки и портили вещи в Палехе. От Афони отказались с негодованием.

Художник Рыбников, реставратор Третьяковской галереи, посоветовал Ивану Ивановичу обратиться к науке — к Институту лаков и красок, познакомил с научным сотрудником института, с товарищем Урановым. Уранов взялся за дело всем сердцем. Уранов и Иван Иванович варили лаки в институте на копалах, то-есть на смолах тропических растений, на музейных экспонатах института, по рецептам, вычитанным у китайцев, то-есть варили по науке. Изварили музейные запасы конго, каури, манилла, серлиди — тропические смолы; копады то сваривались с маслом, то застывали «козлом», в зависимости от температур того и другого; сам Уранов учился на этом варении заново. Наконец, наварили пять килограммов лака. Поехали с лаками в Палех.

Не успели погреться с мороза, — отправились в мастерские пробовать лак. Отлакировали, только-только положили в сушилку — лак пророс, как инейные хлопья на стекле в морозы на окошках, — ничего не выходило. Стали изобретательствовать на месте. Изобретательствовали. Науке вопреки, подсыпали в лак кобальтового сикативу, — лак стал держаться, но лак окончательно темнил краски.

Ничего не выходило.

Вся артель сидела в лакировочной мастерской и мучилась в раздумьи. В

раздумья сидения однажды Александр Васильевич Котухин принес лаковую банку прежних запасов, еще мамонтовскую, привезенную от федоскинцев; на банке стоял номер лака — сорок, а не тридцать девять, то-есть федоскинцы обманывали, говоря, что они работают на тридцать девятом.

Уранов о лаке номер сорок ничего не знал. Со старой банкой и с несколькими каплями лака, застывшими на дне банки, Уранов и Иван Иванович помчались в Москву, в институт, производить химический анализ. Анализ толком ничего не дал, кроме того, что таинственный лак варен не на копале-манилл, а на копале-каури.

Начали варить на каури. Варил весь лаковый цех института. Уранов ночей не спал вместе с Иваном Ивановичем. Ничего не вышло.

Стали искать мамонтовских людей, нашли англичанина мистера Аннэта, который у Мамонтова плавил копалы. Аннэт рецепта не знал, но знал «секреты» варения. Полезли в архивы, перерыли архивы, нашли рецепт, — каури плюс кипящее льняное масло (но никак не олифа!) плюс дамара (то-есть минеральная смола!) плюс терпентиновое масло.

Варили. Сварили весь музей, — но варили без мистера Аннэта.

Опять поехали в Палех.

Лак перестал «грибнуть», давал ровную поверхность, но — тушил краски и не блестел.

Опять помчались в Москву — к мистеру Аннэту. Аннэт сказал, что варили неправильно, без «секрета», и взялся сам варить. Доставали лицензию на копал-каури и дамару. Иван Иванович ездил в Вологду за терпентином. Пришла посылка из-за границы, — дамару не прислали, — стали искать дамару по России и нашли — под Мстерами, на заброшенном лаковом заводе. Заключение договор с заводом лако-красок в Москве, завод потребовал меди для котла. Иван Иванович доставал медь, достал. Приступили к варению. Перед самым варением мистер Аннэт напугал. — сообщил, что лак надо будет выдерживать десять лет, что лак «со-

зревает» только после хорошего отдыха, — потом успокоил, что, мол, он знает еще один «секрет», как обойти это лаковое обстоятельство.

Есть лак!

Нету больше лаковых «секретов» ни у Мамонтова, ни у мистера Аннэта, ни у федоскинцев, ни вообще в СССР! — Палех раскопал все копалы и каури, и манилл, и конго, и дамару. Иван Иванович сделался химиком не хуже Уранова. Палех сделал лаковое открытие не менее значимое, чем его искусство.

А полировка — полировка у федоскинцев была лучше.

Лак и не тушил, и не грибил, а не было у палешан той алмазной поверхности, что у федоскинцев. А вообще лак грозой вставал уже и перед Федоскином, и перед Мстерами. Мстеряки и федоскинцы запросили лака у палешан. Палешане дали с расчетом, — хотели посмотреть, как этот лак заблестит у федоскинцев. Сравнили затем. — Наши помирают, а их кричат во всю, — как определил Михаил Иванович Блохин, палехский полировщик. Стало совершенно ясным — «секрет» не в лаке, а в полировке. Федоскинцы знали нечто, чего не знали палешане.

В то время — в тридцать втором году — в Москве была выставка русского лака, палешан, федоскинцев и мстеряков; и на выставке ж было организовано производственное совещание. Доклад о лаке делал Уранов, — федоскинцы слушали его со вниманием великим. Но на вопросы о способах полировки не молвили федоскинцы ни слова, покуривали и посмеивались себе в усы, — «секрета» не выдали.

И тогда к делам приступил Александр Иванович Зубков, председатель. Он вспомнил «заветы отцов». Он собрал правление, и правление направило полировщика Михаила Ивановича Блохина «в научную командировку», как сказано в протоколе, — в Федоскино с тем, чтобы Михаил Иванович прознал «секрет». Дадены были Михаилу Ивановичу триста шестьдесят рублей безотчетных и даден был наказ денег не жалеть,

перепойть все Феодскино, но «секрет» украть.

Михаил Иванович рассказывает о своей командировке:

— Приехал в Федоскино, пошел в правление к председателю, показал документы. Он мне сказал: «смотри производство», — отвел в мастерскую, познакомил с мастером Ильёю Ивановичем. Мастер смотрит на меня, как есть, волком. Как ушел председатель, он мне говорит: — «знаем палехских плутов, вы только к нам ездите да слизываете!» Я смотрю, как он работает, а он ничего не делает, на меня глядит. Я закурю, он у меня папироску возьмет. Я выйду, — он берется за дело. Я приду, — он на меня смотрит, поругивается, а то молчит и курит. Так целый день просидели. На другой день я пришел, говорю: — «давай на двух продукциях работать будем, — я свой лак привез, попробуем!», — а он мне: — «что мне пробовать, я сорок шесть лет пробовал!» — «А как выпить, пьете?» — спрашиваю. «Мы рабочий народ, — отвечает, — можем, только бы деньги были». — «Об деньгах я молчу, — я говорю, — где бы магазин найти?» Он говорит: — «магазин есть, да завмага посадили за растрату, не торгует магазин в силу переучета, — за три версты надо итти». — Я пошел, купил четыре литра, — закуска у меня была еще из Москвы. На обратном пути к трем литрам за горлышки привязал я веревочки и спустил их в речку, припрятал, а с четвертым иду к Ильё Ивановичу. — «Ну, как, пришел, достал?» — «Достал» — говорю. — «Ну, хорошо, сейчас поправимся, — стакан вынул, — будь за хозяина, наливай!» Налил я ему стакан. — «Будем здоровы», — говорит, выпил. Я ему еще стакан налил, опять выпил, помолчал, посмотрел в окошко, встал, надел фуражку, сказал: — «ну, до свидания!» — и ушел. Вот тебе и «секрет»!.. Пошел я к завхозу, взял со дна речки второй литр, пою завхоза целый вечер, к нему кумовья пришли, я говорю: — «Я еще за вином схожу», — меня спрашивают: — «А где ты достанешь?» — «У меня припасено». — Я третий литр со дна достал, пьем, заговорили о деле, — он мне го-

ворит: — «нет, сынок, мы годами учились, а ты в неделю все хочешь произойти, — не выйдет! есть секретец, да я тебе его не скажу!» —

Михаил Иванович за последним литром на реку пошел, темно, слышит, точно буйволы в воде хрипят и возятся: двое федоскинцев к воде ползали без штанов, один из них кум, что у завхоза был, — блохинскую водку в воде искали, подсмотрели, где он прячет, замучились в воде. С утра Михаил Иванович Блохин опять купил четыре литра, опять три из них потопил, пришел в мастерскую к Ильё Ивановичу, пили весь день, но дела не делали, опились окончательно. А секрета нет. Вечером — завхоз. На третий день Ильё Иванович совсем на работу не вышел, и завхоз пропал. Три дня завхоз и Ильё Иванович от Блохина бегали, — федоскинцы устрашились блохинской водки. А к концу недели — сдались, не выдержали, вновь опились, и опытный Ильё Иванович выдал «секрет», говорил:

— Вы, ведь, палехски, когда лак подсохнет, трете суконкой с пемзой, а от этого все-таки остаются царапины, а надо после того протирать трепелем. А кроме того, вы, ведь, палехски, пемзу салом стираете, а надо — не пемзу, а трепель — стирать деревянным маслом. Вот и весь секрет... Эх, вы, плуты!..

Наутро Михаил Иванович возвращался в Палех, из научной командировки. «Секрет» был найден: надо было дополировывать трепелем и надо было окончательно протирать не салом, а деревянным маслом. «Секрет» был найден и — тем самым — уничтожен.

Есть лучший в СССР лак и способы полировки, уничтожившие «секреты» и созданные палешанами, эпопеей, длившейся без малого десятилетие.

А лак —

лак родился где-то в Индии или в Китае, тысячелетия два тому назад, из ядовитых смол и трав столь крепких, что тысячелетия, а в Японии до середины прошлого века, из лака делали оружие, стрелы и панцыри; на этих лаках и под этим лаком китайцы писали свои картины, прожившие тысячелетия. Лак

клялся в Китае на дерево. В начале второго тысячелетия от рождества Христова лак с азиатского Востока пришел в Иран, в Персию, — и в Персии лак лег на папье-маше. В шестнадцатом веке папье-маше и лаки добрались до Европы, сначала в Англию и во Францию, затем, в начале осемнадцатого, — в Германию, в Брауншвейг. Из Брауншвейга в 1795 году купец Коробов привез лак и папье-маше под Москву в Федоскино. Зять купца Коробова, купец Лукутин, образовал лаковую мануфактуру, которая к Семнадцатому году превратилась в Федоскинскую артель. Лак бродил по миру веками, веками осваиваясь. Из Китая через Персию и Европу лак пришел в Палех, уничтожив в Палехе свои «секреты».

Нигде в мире, кроме Палеха, не употребляются на лаке иконописные, яичные краски, ни у федоскинцев, ни в Европе, ни в Персии, ни в Китае, ни в Японии, краски, единственные в мире на лаке, делающие единственный в мире палехский лак. Сами по себе эти краски не новы; древняя живопись пользовалась ими в совершенстве; они утрачены были для современной живописи; Палех их возрождает так, как никто в мире.

Лак — краска — золото. Как лак, так наново найдено палешанами золото. Древняя икона употребляла «инокопья на ассисте»; ассист — это клей, варенный на чесночном соку; ассистом писался орнамент; растиралось сухое золото; разминался мякиш черного хлеба; мякишем бралось тертое золото; золото прилипало к ассисту; ассист высыхал; так возникали золотые орнаменты. Начав инокопью на ассисте, палешане отказались от этого способа, ибо он был груб для миниатюры, где золото надо иной раз класть так, чтоб оно видно было только сквозь лупу. Они золото (и серебро) творят, как краску, на ассисте, на клею, — и они небывало возродили коровий, а того еще лучше собачий или волчий зуб.

Палех умел и умеет трудиться. Палеху приходилось очень много искать. Он очень много сделал, этот изумленный народ. Каждые пятнадцатое и тридцатое число собирается комиссия. За

столом в правленской комнате товарищества садятся старейшие, председательствует Зубков, секретарствует Буторин, очень торжественно. Из ящика Александр Иванович вынимает миниатюру за миниатюрой по очереди, артельную продукцию за две недели. Члены комиссии просматривают вещь, вздыхают и молчат.

— Ну, как же, товарищи, осудите? — спрашивает Зубков.

— Какие писать замечания? — спрашивает Буторин.

— Ножка у ей сделана, вы поглядите, — говорит Ватагин, вздыхает и клонит голову набок. — Если по стилю, можно отступить от анатомии, а стилюто маловато, да...

— Да, не реально, — говорит справедливейший Баканов, — реальности мало... и золотце небрежно положено... я за первый сорт.

Сортов, кроме индивидуальных расценок, шесть, — «а», «б», «в», первый, второй и третий; сорта расцениваются по сантиметрам, — сорт «а» — десять рублей сантиметр, третий — два рубля тридцать копеек.

— Не мастеровато, значит? — спрашивает Зубков. — Золотовато?

— Какие писать замечания? — спрашивает Буторин.

— Пиши — нету реальности стиля, торопится парень, — говорит Чекурин, — торопится, а мастер мастероватый.

— И про ножку вставь, да, — говорит Ватагин.

Они очень строги, старейшины, и протоколы, написанные Буториным, глядят следующее:

«... Корина О. М. 3-й сорт.

У коня копыта велики».

«... Белоусов Л. И. 2-й сорт.

Закрывать каретой руку с pistolетом».

«... Душин Ф. М. Возвратить на переделку, комиссия предлагает не халтурить».

«... Паликан В. М. 3-й сорт.

Исправить голову у сына царя. Комиссия предлагает не сдавать темпы».

«... Корованин Е. А. Первый план увеличить против

заднего. Рожь не хороша, переделай. Орнаменты на всех шакалках одинаковые, нужно разнообразнее».

«... Котухин В. В. «в». У кощера убавить ногу».

«... Баканов А. Г. 1-й сорт. Удлинить красную корову, у зеленой показать ноги».

«... Еремин В. Допущена ошибка — парень сидит в лодке, свесив ногу в воду».

«... Хохлов А. На лак попал сор. Можете писать вещи качественно лучше».

«... Лызников И. К. Тематику с убийством не пишите».

«... Малахов М. Возвратить в переделку — креслу пристроить ножку и правильно написать подлокотышку кресла».

«... Першин И. А. Женщина далеко отодвинута, почему жест об'ятия приобретает неестественный характер».

«... Хохлов Н. М. «в». Чувствуется улучшение в композиции и тщательности».

Эпиграф:

«... гулянка, хоровод, пляска. Виртуозность во время пляски парня или девки... Пьяная компания, сам в ней...».

Ив. Голков.

Шестого июля, в субботу, в Дягилеве была престольная владимирская. Седьмого в Красном был престольный креститель. Созрели уже земляника с черникой. Отцвели уже — рожь, пшеница, овес, лен. Цвели ромашки, васильки и клевер. Восхищенный народ готовился уже к сенокосу. А пятого приехали с Кавказа из Армении, куда ездили в гости к армянскому союзу писателей, старейшие и почтеннейшие, заслуженные друзья Котухин, Маркичев и Вакуров. Побывав на озере Севане (которое в скором времени исчезнет, превратившись в семь новых озер, оросив Закавказье), побывав в Эривани, на строительстве и в колхозах, заслуженные по две недели сидели в Эчмиадзине, в

эчмиадзинской библиотеке, роясь в рукописях одиннадцатого, двенадцатого и тринадцатого армянских веков. Они копировали концовки, заставки и иллюстрации этих рукописей. Они привезли замечательные вещи, поразительные, о которых никто не знал, не знали даже армянские художники, — замечательные рисунки, цвет и краску, необыкновеннейшие, смелейшие композиции. В пятницу 5-го заслуженные парились в банях. В субботу с трех часов товарищество двинулось в Дягилев, к друзьям философу Зиновьеву и любителю красот сельской жизни Чекурину.

И, если из ночи столетий до Семнадцатого года палешане сумели вынести к солнцу новые лак, краску и золото своих миниатюр, оттуда же изумленный народ принес новое веселье, консервативное так же, как голиковские стихи. Если каждый день за четырьмя часами была серебряная чара, то это была чара изумления, но не злой водки. Должно быть, так жили-пили фламандцы в свои лучшие дни. Так пьют грузины. У палешан не бывает пьяных и пьяных скандалов. Самое большее, палешане бьют — в «чихире». Палехская чара, дополненная песней и работой, из злой родки выродилась так же, как левкасы икон выродились в лак сказки.

К Чекурину и к Зиновьеву на праздник приехали с российских весей дети. Пили и пели. Ходили всем товариществом купаться на Люлек. На улице завился хоровод, — театральное действие, само собою подразумевается. В хороводе ходили актеры и актрисы, играя в песню и в жизнь, как песня. Начала хоровод молодежь, та, которая не удивлена, — военный сын Чекурина с ромбом на лацкане, дочь-учительница Зиновьева, учителя, инженеры дорожники и технологи, врачи, агрономы, дошкольницы, плановички и великое множество «студентов», в первую очередь — Палехского живописного техникума. Военный сын Чекурина «играл» в жениха. Этот уже не удивленный народ, девушки и юноши, нарядные и по молодости очень степенные, пели по-хороводному алые и лазоревые песни:

... Хожу я, гуляю вдоль по хороводу...
 Заинька беленький!..
 Ищу, выбираю богатого тестя...
 Заинька беленький!..
 Нашел я, выбрал богатого тестя...
 Заинька беленький!..
 ... Пойду погуляю вдоль по хороводу...
 Заинька беленький!..
 Ищу выбираю богатую тещу...
 Заинька беленький!..
 Нашел я, выбрал богатую тещу...

«Теща» и «зять», довольные и смущенные, вышли на круг, принятые улыбками, пошли по кругу павами, актеры. Затем на круг вышли, также вызванные песней и также довольные и смущенные, актеры, «шурин» и «свояченица», пошли павами, заиграли. Затем вышла и «невеста», заведующая палехскими яслями.

Нашел я, выбрал богатую невесту!..
 Невесту, заинька!..
 Будь ты мне невеста, а я тебе муж!..
 Буду, заинька!..

Затем началась расплата:

Я, пропивши пиво, свою тестя в рыло.
 Я, проевши пироги, свою тещу в кулаки.
 Я, из'ездивши коня, свою шурина с двора.
 Заинька беленький!..
 Молодой своячице — дорогой подарочек,
 Дорогой подарочек — шелковую плетку,
 Заинька беленький!..
 Весел я, весел, что один остался,
 Что один остался со всей младою милой.

Доктор Чекурин, жених, шел гордо и независимо, приплясывая, и рядом с ним шла невеста, заведующая палехскими яслями, и довольная, и степенная от смущения. Артисты играли во все свои таланты, не жалея сил и смеха. А наряды на девушках, а сам хоровод много раз были написаны и Бакановым, и Вагаиным, и Зиновьевым, и Чекуриным, и Голиковым. Пьяных не было. Хоровод вырос человек до двухсот, до мистерии, — киновари, баканы, лазури, золота, сиенские земли, охры. Ликовали тальянка, песнь и актерство. Сердце председателя Александра Ивановича не выдержало — он пошел по кругу вприсядку. И говорил речи, любитель поораторствовать.

— Товарищи, — говорил он изумленно, — что делается!.. — какие у нас

праздники, вы понимаете!? Во-первых, сегодня праздник конституции у нас, а также праздник кооперации...

— ... а в-третьих — владимирской! — иронически вставлял Буторин.

Зубков отмахивался и не слышал.

— Во-первых, конституция, товарищи, во-вторых, кооперация, а в-третьих, товарищи, вы смотрите, что делается, вы понимаете? на праздник в Дягилево...

— На владимирскую... — вставлял Буторин.

Зубков отмахивался, не слыша.

— ... в-третьих, товарищи, что делается, вы понимаете?! — на праздник в Дягилево приехали две легковых машины, и одна из них принадлежит нам, то-есть артели художников древней живописи. И это есть наш заслуженный пролетарский праздник... а в-четвертых...

— ... владимирская... — вставил Буторин.

— Митька, отстань к чорту!.. в-четвертых, и самое главное, товарищи, вы понимаете!? — приехали наши друзья, заслуженные деятели искусств Котухин и Маркичев из научной от'ездки с Кавказа!.. Вы понимаете, это всеобщее наше ликование, когда не то, что при Сафонове расписывать храмы богами, а для науки наши товарищи ездили в Армению и сидели в Оч... в Ечматзине над армянским искусством одиннадцатого века, где до них никто не сидел. И это, кроме конституции, наш главный праздник...

— ... и владимирская...

— Митька, отстань, к чорту с владимирским туманом!.. и я предлагаю, товарищи, всем спеть чарочку нашим заслуженным друзьям!..

Старшее поколение палешан — на редкость здоровые люди, шестидесятилетние выглядят сорокапятилетними. Котухин и Маркичев, два друга, богатыри, Адмирал и Иван Забелой, — тому свидетели. На праздник они пришли в соломенных шляпах, по-кавказски, еще не окончательно отошедшие от путешествия, долго пребывали в степности, а потом растворились в хороводе и молодежи, среди девушек и

юношей, сами молодые, как молодость, застряли в ночи, растворились в ночи и в молодости.

Седьмого работали до четырех, а в четыре во главе с Котухиным, Маркичевым и Буториным двинулись в Красное — в киновари, баканы, лазури, кобальты, в охры и в золота хороводного действия. Купались на Люлехе. Ходили в хороводе. Опять врачи, агрономы, инженеры и студенты — то-есть палехская молодежь — учиняли мистерию, пели:

Как по первой пороше
Шел Ваня хороший,
Не путем шел, не дорогой —
Чужим огородом!..

Восьмого числа изумленный народ работал и отдыхал по домам. Девятого числа, после работы, в четыре часа дня, двинулись — к большим соснам, в лес, — в то самое место, где тридцать лет тому назад собирался революционный подпольный кружок. И пошли туда те, кто остался жив от того кружка. Кроме водки, захватили с собою баранины. Кавказцы жарили на костре новое в Палехе блюдо — кавказский шашлык.

И найден был клад! — найдено было место, где зарыта библиотека подпольного палехского кружка: ее зарывал не библиохранитель Николай Лапин, но — Александр Васильевич Маркичев, Пистон по прозвищу, первый палехский и замечательный сатирический хороводный артист. Библиотека зарыта около дома Ивана Васильевича Маркичева, Ивана Забелого, против третьего окна в проулочке.

Поминали о кладе, скидывали воспоминаниями с плечей своих по тридцать лет каждый. Большие сосны, поистине, громадны, столетние, своими кронами высоко поднимающиеся над лесом. С поруби около них тянул ветерок и пахнул земляничкой. Солнце садилось за лес по принципам палехской живописи.

А молодежь, и пятого, и шестого, и седьмого июля, после хороводов несла по полям, по Люлеху и Палешке осколки песен, смешки, поцелуи, мистерии, ласку, — прятала их во мраке, расплескивая мрак весельем, и уносила их по

избам, когда поднималось бакановое солнце. Занятия в Палехском техникуме закончились, экзамены отошли. *В весну тридцать пятого года был первый выпуск* техникума, наряду с первым выпуском советских десятилеток, — первый выпуск палехских грамотных в правописании, в знании русской истории и политграмоты, художников. *И, если разительно различие той учебы, которую проходили Арбековы отец и сын, то различие учебы, пройденной Иваном Ивановичем Zubковым и его дочерью Тamarой, Иваном Ивановичем Голиковым и его сыном Юрием, художниками, — еще более, гораздо более разительно.* Отцвели ландыши и калина, цвели лесные белые фиалки, ромашка, мята, щавель, клевер. Над рожью по утрам вдруг поднимался дымок, летел над рожью без ветра, — это летела пыльца ржаных тычинок, опылялся, оплодотворялся хлеб. Цвели липы. На рассвете и в три часа дня играл рожок, собирая стадо. Палешка и Люлех звенели детскими и женскими голосами купавшихся, опускавших свои тела в тенистую зелень вод под соснами и ольхою, нависшими над Палешкой. Ночи напролет звенели песни, вздыхала гармоника, во мраке в полях, на задах под деревьями, у дома соцкультуры, расплескивались женские смешки. Творились ночные мистерии. И поднималось солнце. У каждой женщины в Палехе, в возрасте, предназначенном природою для рождения, обязательно на руках ребенок, а второй ребенок тянет мать за юбку. У каждого художника множество детей, и даже у холостого Буторина бегают дочка. С рождения дети в Палехе умеют держать кисточку, с рождения считая естественным состоянием человека состояние художника.

И поднималось солнце...
Изумленный Голиков записал:

«... не только нам и нашим детям, а хоть и женам давай в руки кисть. Да, жены наших детей будут тоже художниками. Они теперь уже учатся в нашем техникуме. Мы нашли свое место в революции. Жизнь наша становится красивой, как наши картины и

коробочки. Революция наш нудный, штампованный труд переключила на большое, свободное творчество. Нет теперь вдохновенных художников-пьяниц. Они стали лучшими мастерами, и им присваивают звание заслуженных деятелей искусства. За это благодарим советскую власть...»

И поднималось солнце...

Из столетий своей доистории, за Октябрем, Палех в наш суровый, боевой пролетарский век выглянул радостью, весельем, поэзией — *умньем* — сказкой. На самом деле, в трехстах километрах от Москвы, в тридцати километрах от железной дороги, — не один, не два, но несколько десятков, со ста двадцатью учениками, с громадными мастерскими, с государственным музеем, живут художники, объединенные в артель, в тот коллективный труд, который развивает индивидуальности, в то товарищество индивидуальностей, которое создает школу, причем труд в этой школе построен так же, как во времена Беллини и Рафаэля, когда у великих мастеров были великие ученики. Эта школа, порожденная революцией, возродившая не только русское искусство, но указавшая, что культура этих товарищей восприимчива к искусству всего мира, эта школа есть закономернейшее явление социалистической революции.

Наутро мастера идут на работу, в мастерские. У окон столы, за столами художники. У каждого стола прославленного четверо-пятеро учеников. Мастера сидят в нижних рубахах, с помощами наружу, иной раз полубосы, в комнатах пахнет махоркой. Творенье на яичном желтке краски — лазури, охры, хроны, умры, баканы красной и зеленой — разлиты по суповым деревянным ложкам, у которых отрезаны ручки. Кисти, сделанные из беличьего хвоста, самодельные. Около золот и серебра лежат коровьи и собачьи зубы. Там, где работа недоступна глазу, там употребляется лупа. Ученики следят за каждым движением учителя, за тем, как он кладет золотой блик на глаз, иль как пишет он плавью, — как он сворачивает собачью махорочную ножку, закуривает, прищуривает глаз и медленно всматри-

вается в свою композицию, как в раздумии он запекает: — «э-эх, во субботу-у...». — Мастер говорит иной раз ученикам, юношам и девушкам, заглядывая в их работы: — «ты гляди, что у тебя дается, — нога-то у кощера больше, чем он сам, а зеленая корова его меньше, — как ты свою композицию делаешь? — ты с какой перспективы работаешь, покажи... улучшай тщательность...» — Мастер берет газету, от которой оторваны углы для собачьих ножек, и расчерчивает на ней палехские законы, перспективы и анатомии. Ученики ложатся мастеру на плечи, чтобы удобнее видеть — «Ты гляди, видишь — вот это — да, композиция. Понял? — в композиции обязательно должно быть такое место, чтобы в глаза бросало, чтобы глазу разлететься, это — да... пиши дальше...» — Мастера задумывают свои композиции и зарисовывают их на бумаге, иной раз на газетном лоскутке, и оттуда переносят на лак, уже без карандашного рисунка, прописывая рисунок белилами, на которые впоследствии будут положены все палехские краски и все золота. Написанные вещи мастера ставят на самое яркое солнце, ибо палехские краски, вопреки вообще краскам, становятся на солнце ярче и полноценнее и меркнут во мраке. После солнца написанные вещи, еще до первой полировки и до золота, идут в высокие температуры сушильных печей. В комнатах тихо, пахнет махоркой, иной раз возникнет песнь вполголоса, в раздумьи. Люди трудятся. Так до четырех часов вечера.

Глава четвертая

Поднималось солнце. На заре играл пастух в трубу. «Урядники», то-есть жены художников, доили по дворам коров и гнали их к Архитектурно-Фресковому — второму — палехскому музею, то-есть к ликвидированной и превращенной в музей церкви. Пастух угонял коров, нетелей и овец на пастбище. Женщины, босоногие по росе, похолодавшие в заре, ложились на часик в постели к теплым мужьям, — и поднимались за час до мужей, чтобы принести воды, напоить мужа чаем, спечь ему лепешку.

Мужья уходили в мастерские. У жен оставались дети и дела, печка, обед, белье, двор, погреб, баня, куры, вздоры, кроме общественных дел — прополки коллективных полей, поливки коллективных огородов, коллективной навозницы.

Мужчины жили в изумлении и при искусстве, а жены, — один единственный Алексей Иванович Ватагин, при «чихире», наименее пьющий художник, скашивал набок голову и говаривал лирически: «вот моя Андревна, это — да, я ей скажу: Андревна, что-й-то выпить хочется, а она спрашивает, какой — простой или сладенькой?..» —

Жены считались «урядниками». Александра Михайловна, жена художника и хозяйка Сергея Ивановича, сдавшая всю свою избу и переселившаяся спать на чердак, сказала таинственно:

— А в стаде-то что у нас деится, никогда такого не слыхивала, — бык у коров молоко ворует!..

— А чего пастух смотрит?.. — откликнулся хозяин Иван Васильевич, по прозвищу Колбаскин. — Эти наши женщины пастухов нанимают не по делу, — сказал он в пространство, — пастух хорошо на трубе играет, значит, хороший пастух, а дела пастух не знает, кроме трубы..

— Это значит, пастух для нас играет в трубу?

— Обязательно для вашего удовольствия, для услаждения!..

— Ты сам встань в три часа, пойдешь, — усладись вместо меня.

— Это не моя повинность.

— Известно, не твоя! твоя — литрии считать да с ученицами лясы точить... Где ты вчера был, ну, где?

— Я с товарищами... в силу крайности... опять же заслуженные с отъезди приехали.

— А кто из вас Нюрке Кориной цветочки нарывал?

— Ну, ты уж скажешь. Это между прочим, разный сор под ногами рос...

— Известный сор у девок под ногами.

Мужское поколение палешан — на редкость здоровые люди, которых ничто не берет. И все они — поэты. А жены...

Александра Михайловна пребывала в делах и заботах, тихая и никем не слышимая. Она кормила людей и скотину. Она мыла полы в доме, подметала у дома и полола свой огород, две грядки клубники, две грядки помидор, две грядки чесноку и луку. Она по заре, до часа, когда проснется повелитель, ходила за ягодами и за грибами в лес. Она щупала кур, отваживала клушек и вместе с клушкой выводила цыплят. На рассвете и в три часа дня играл пастух на рожке, собирая стадо. В час дня и в восемь вечера пастух пригонял стадо. На Советской площади, на улицах Баканова и Голикова стадо поднимало пыль, мычали коровы, блеяли овцы, бестолковейшие от роду, — и Александра Михайловна вместе с остальными «урядниками» путешествовала по пыли, распутывая телячью и овечью глупость на дыдыкинские, бакановские, вакуровские собственности и дворы. Надо было доить корову. Надо было по холодку натаскать воды и полить гряды. Надо было приготовить ужин...

Когда в Палехе организовался колхоз, вся артель художников пошла в него. Затем артель вышла из колхоза, как промышленное, а не сельскохозяйственное предприятие. И Александра Михайловна говорила Сергею Ивановичу:

— В колхозе, чай, лучше, чем в артели. У них на уме все искусство да искусство, а мы знаем, что такое ихнее искусство. Каждый вечер в чихире ходят и у каждого по милой, откуда только они их берут!.. А мы — готовы им обедать да ужинать. Я не скажу про Баканова или Зубкова, про Котухина с Маркичевым, — они хорошо зарабатывают, им на все хватает. А мой или возьмите кого другого, — в колхозе мы больше бы заработали. И в колхозе поверка идет, там женщины больше мужиков зарабатывают, там видать, кто кому кормилец, а тут — искусство да искусство, а мы сиди дома, ожидай супруга и нашему делу никакой мерси. Они нас «урядниками» называют, а забыли, что мы с ними живем и жить должны... Нет, в колхозе лучше, я там

трудней больше его набрала бы. А что касается детей, и у колхозников дети в семилетках учатся, одинаково с нашими.

Сергей Петрович Аггеев сказал однажды:

— Мы райкомам и райсоветам автомобили дарим, — через год вся область будет в автомобильных дорогах.

От Палеха ведется автомобильная дорога к Пестякам и к Юже. Василий Васильевич Зимин, палехский «воевода», председатель палехского райисполкома, как Хансен в Арктику, прокладывает автомобильные пути в свои периферии, к колхозам и к колхозному льну. Колхозники выполняют трудодни коно-часами, возят песок и щебень, перевозят с места на место глины с дорожных траншей. Девушки работают лопатами, «стройно землю ворошат», и провожают товарища Зимина прибаутками, — авто-ед, мол!.. Все же ухабы на дорогах имеются. Однажды Сергей Иванович, замучившись от ухабов, уселся на траншею новой дороги, под соснами, около коно-часников, которые кормили по жару лошадей. Лошади с головы до хвоста и под животом были обвязаны рябиновыми, осиновыми и березовыми прутьями от слепней и походили на движущиеся шалаши. Колхозники жарили на костре картошку. Воздух пахнул сосновой смолой, растопленной в солнечной жаре.

— Иконник Белоусов, как в хозяйчика вышел после Грановитой палаты, отремонтировал Сафонову в пику иконостас и взял у попа письменный документ, что иконостас как-раз он ремонтировал, а не Сафонов, его конкурент. Своевременно померли и Сафонов, и Белоусов, и оказались в аду, оба вместе. Сафонов и спрашивает Белоусова: — «как же ты, мол, при документе на иконостас в аду оказался?» — А Белоусов отвечает: — «да архангел, сукин сын, который меня с земли провожал, читать может только по-латынски, по-русски не понимает, безграмотный по-русски оказался, не прочитал, дьявол, документа!»

— А то ехал через реку Лух на ботнике научный господин, спрашивает перевозчика: — «ты науку химию зна-

ешь?» — «Нет, — говорит перевозчик, — не знаю». Научный господин совсем головой замотал от сокрушения, а перевозчик застыдил от своей необразованности. И вдруг во время это от научных разговоров ботник возьми, да и перевернись. Первозчик спрашивает: — «а плавать ты, барин профессор, умеешь?» — «Нет» — отвечает научный барин. — «Ну, тогда мне придется спасти твою научную жизнь, чтобы ты не потонул».

Колхозники были людьми знакомыми, палехскими, два брата, Роман и Ефим Архиповичи. У Романа Архиповича с собою около костра лежали «Записки врача» Вересаева. Оба некогда были иконописцами. Один из них вместе с Буториным работал в палехском комитете бедноты, другой служил при Вицине в Шуе, в домзаке. Подошла к костру дочь Ефима Архиповича, комсомолка, спросила Сергея Ивановича:

— Вы Есенина живого видели? — он да Маяковский мне нравятся...

Оказалось, что самый любимый ее писатель — Диккенс.

Роман Архипович рассказывал:

— Годов сто тому назад при Николае Первом вводили эту самую картошку, а до этого лет за пятьдесят ее же вводили французы. Французы ее вводили так. В разных местах своей земли посеяли они картофельные поля и приставили к ним гренадеров и велели гренадерам — смотреть кругом сквозь пальцы. Прохожие крестьяне проходят мимо, спрашивают: — «что, мол, посеяно?», — а гренадеры отвечают: — «посеяна пища царского стола, заморского рода, под названием земляное яблоко, или картофеля». — Мужики стали воровать царскую пищу, чтобы попробовать, как цари питаются, — для себя посадили... У нас было несколько иначе. Николай Первый расослал картошку губернаторам, губернаторы исправникам, исправники урядникам, а урядники — мужику, — сей, сукин кот, без всякого рассуждения! Никто про нее толком ничего не знал, а понимали так, что, раз сам ампирактор в это дело ввязался, значит, добра не будет. Произошли так прозываемые картофельные бунты. Кар-

тошку чортовым семенем об'явили, ядом. Попы молебствия молили. В одном месте убили исправника. Людей из-за картошки убивали без счета. Мой дед рассказывал, — он за эту картошку ж... жертвовал!.. А теперь, спрошу я вас? — запрети мне картошку сажать, что я без картошки делать буду? — Роман Архипович помолчал. — Шубу с Сафонова, с гражданина поставщика его величества, я вот теперь на себе донашиваю... Сначала мы кулачков раскулачивали, и не заметили, как у нас у самих мозги раскорчевались, — я тебе об этом расскажу впоследствии, то-есть об раскорчеванных мозгах...

(Рассказ Романа Архиповича о раскорчеванных мозгах рассказан ниже.)

— Был у нас десятилетний юбилей коробошников. А то был наш колхозный праздник урожая. Дело простое — убрались в поле, справились со льном, позвали соседей попить, отпустили пятнадцать тысяч рублей на пир. И надо отметить про посуду. У Сафонова тоже пиры бывали, ну, и от самого его раскулачивания остались без надобности разные его блюда для рыбы и для гусей, супники сразу на два ведра супу, подносы, кастрюли. Они нам пригодились только в колхозе. Мы щук у гольской рыболовной артели купили — слышали про деревню Гоголи на Луке? — знаменитая деревня! — щук купили — больше, чем у Сафонова, ростом. Собрались к вечеру, всю ночь автомобили своими глазами лошадей пугали, гости отовсюду ехали. Майдаковская конеферма рысаков прислала на показ. Пировали во всем доме культуры, в бывших сафоновских мастерских, знаешь... Сто пятьдесят гостей было — председатели сельсоветов и колхозов, бригадиры, а затем наш колхоз полностью, от мала до велика, — гости шли, ехали, целую ночь гуляли. Ну, ты знаешь об этом — каждому человеку кажется, что его дела — самые важные, прямо сказать, исторические дела. Так же и обществу. Без этого нету смысла. Ну, и говорили — самые настоящие государственные речи, и писали письма с приветами — товарищу Носову и товарищу Аггееву. Мы за-

ставили на празднике отсчитаться перед нами всех соседей, — то-есть пожелали послушать, как идут дела у них в ихних колхозах, о ихних достижениях и неурядицах, чтобы все на чистой воде было. И мы отсчитывались. Получилось вроде чистки. Прямо — не люди, а герои государственного смысла. Оркестр балалаечников играл под рояль до трех часов утра. Всех председателей обнесли чарочкой. Выпили, конечно. Старухи, и те танцевали с нами. Пьяных не было. А с речами — заметь — больше женщины выступали, у них трудней больше, они власть забирают, у них воля на государственность проснулась...

— С декабря месяца по посевную был я по найму через колхоз на рытьи Большой Волги — канала... Там на канале я и Антона Иваныча повстречал... Ну, приехали по такому же делу, как сейчас на дороге, — возить землю, только не для дороги, а для будущего канала. Роем, возим. Но это не главная присказка. Работали там — ну, мы, колхозники, рабочие, красноармейцы, инженеры, а кроме этого — заключенные. И было у нас все разбито по бригадам, — комсомольские бригады, бригады сочувствующих, вроде меня. Были и бригады заключенных и гопа, то-есть шпаны. И было переходящее красное знамя, — значит, такое знамя, которое переходит к лучшей бригаде. Когда я приехал, знамя было у комсомольцев. И вдруг видим, на нашем участке прет и прет вперед ссыльная бригада. Я думаю — с чего бы это? — ведь против ихнего режиму канал роется, против них вся страна живет... И был у меня разговор с ихним бригадиром, я его спрашиваю: — «ты что же в сам-деле коммунистом стал? — так и прешь со своей бригадой, на что тебе красное знамя?» Он помолчал, покурив, говорит: — «нет, мы не коммуны, — обернись дело... да дело-то повернуться не может, не может повернуться дело, — и мы почему кроем? — потому хотим жить в строю, как все... хотим в рое жить и пользоваться советскими законами, а кроме труда нам податься некуда!..» Ты понял, Сергей Иванович, ай нет?..

Покурили. Роман и Ефим Архиповичи сели картошку, запрягли лошадей. Сергей Иванович вернулся к ухабам и к автомобилю. День шел в заполдни, жар спадал. Роман Архипович поминал о реке Лухе и деревне Гоголихе. Арбеков видел Гоголиху, но не был в ней, в этой знаменитой деревне. Лух течет по болотам, среди камышей, так зарастает камышами, так облеет трясинами, что до середины его добраться невозможно, — так течет, что в нем водятся двухкилограммовые караси. Жители прибрежных деревень не могут в Лухе даже купаться, ибо по тине нельзя дойти до воды. И посередине Луха, в том месте, где Лух сливается с Люлахом, расположился остров Гоголи, а на острове — колхоз Гоголиха. С марта месяца до конца ноября, а то и до середины декабря, в Гоголиху невозможно ни пройти, ни проехать, — и не каждый даже проплывет туда на ботнике, ибо надо уметь не заблудиться в тростниках и не утопиться в тине. Славна Гоголиха, кроме колхозного льна, рыболовной артелью и охотниками, убившими прошлой зимой, несмотря на строгости законов, семь лосей. И еще славна комарами и ягодами. А еще славна — страшными преданьями. В Гоголиху можно проехать только зимой на санях, когда вода и трясина промерзнут до глубин. Ездил к Гоголихе Сергей Иванович с Василием Васильевичем Зиминим, который обследовал льны и сельсоветы, были в гостях у председателя яковлевского сельсовета, у Киры Ивановны Бычковой, выведшей колхозы своего сельсовета весенним севом на красную доску, вдовы и матери троих детей, учащих так же, как дети художников. С Василием Васильевичем и с Кирью Ивановной происходили разговоры о колхозах, о колхозниках и единоличниках, и выяснилось — (по Палехскому району) — о единоличниках, что *единоличниками остались всего лишь те, кто вообще намерен бросить сельское хозяйство и деревню*, нашед себе новый труд в Иваново, в Москве, в Сталинске, в городах и на заводах; выяснилось, что нельзя равнять труда колхозника и единоличника, — колхоз-

ник работает и умней, и продуктивнее, и лучше...

Роман Архипович помянул о городе Угличе, — Вакуров, Котухин и Маркичев были на озере Севане. Озеро Севан будет спущено с гор, разольется по Армении новыми семью озерами, оросив арменские пустыни и кинув электроэнергию всей Закавказской федерации республик. А Углич...

Сергей Иванович в Палехе получил письмо — от реставратора Павла Павловича Калашникова, ехавшего от Москвы до Суздаля.

«Высокочитимый Сергей Иванович!..

Имею честь сообщить Вам, что складень Ваш, икона пресвятой богородицы, мною реставрирован и отнесен на Вашу квартиру. Икона, как я уже Вам говорил, ярославского письма и оказалась после расчистки относящейся к концу XVI века. Не знаю, задумались ли Вы, Сергей Иванович, над тем, что Вы живете неподалеку от места, где разыгралась как-раз в конце XVI века одна из таинственнейших страниц нашей истории. Я подразумеваю Углич и убийство в нем святого царевича Дмитрия. Не была ли наша икона написана в те величественные времена?.. Я вспоминаю об Угличе потому, что в газетах я прочитал о затоплении этого древнего города при постройке большой Волги. Прошу Вас, достопочтимый Сергей Иванович, прислать мне причитающиеся за реставрацию деньги, так как я возымел намерение безотлагательно съездить в Углич и поклониться величественной его старине».

Тысячелетняя Волга, песенная река, затопит город убийства, город темных русских страниц, где то ли убивали, то ли не убивали царевича Дмитрия, ибо то ли был, то ли не был царевичем

Дмитрием Григорий Отрепьев, — и пусть персенная Волга затопит эти русские пергаменты!..

Сергей Иванович жил в Палехе, чтобы отдохнуть, с друзьями-художниками, с женой и ребенком. Он просыпался вместе с сыном и солнцем. Он ходил и ездил в леса и в поля кругом. Кувшины для воды и кринки для молока он приспособил под венники цветов, запахи которых превращали избу в лесной шалаш и сладко тяжелили голову своими запахами. От Александры Михайловны он узнавал несложные события села ее понятий, — о том, что соседская корова потравила у вторых соседей огород, — о том, что Форсик — надворный пес — всю ночь скулил, надо быть, или за клубничкой лазил в огород, либо парочка забралась в сад, — о том, что приносили ягод, а к Салапину приехал на побывку внук. Сергей Иванович наблюдал за сыном, за тем, как возрастает человек, будущий гражданин бесклассового общества, — как у него нарезались и выросли два верхних зуба, — как он ест кисель, мажась им до бровей, — как приучивается он к горшочку, — как он говорил сначала «а!», «па» и сказал, наконец, «папа!», — как кошку он зовет «ких», и кур зовет «ких», и коров зовет «ких», и вдруг корову назвал «му», а через два дня произнес «ам», «ма» и сказал, наконец, «мама!», — как сначала он стоял, держа двумя руками и боясь пространства под собою, как стал держаться он одной рукою, — как вдруг он обе опустил руки, у стога с сеном, взяв в руки сухой лепесток, не заметил, что стоит на собственных своих ножках, заметил, поразился, испугался и возликовал, возликовал перед замечательным открытием, не меньшим для него, чем неизвестное ему открытие Америки, перед открытием того, что и он может стоять на своих собственных ногах!.. — как в зеленые сумерки вечеров над белой кроваткой пела мать на родном своем языке:

Ияв нана, вардо нана,
Ияв нана нао... —
Фиалочка бай, розочка бай,
Фиалочка баю-бай... —

как сын подпевал матери, усыпляя самого себя, очень тихо: «иев-а-а!..» Любовь — это ощущение жизни, как мир, и мира, как жизнь. Любовь пронизывает все, комнату, воздух, платье, цветы, стол, занавеску. Любовь — это больше, чем созерцанье Палехского музеея...

За Палехом, за Палешкой сосновый бор Заводы пахнул хвоей. За Заводами рос Кудашевский лес, он вырублен, на просеках буйно цвела, а потом созрела земляника, этот сладчайший плод и чуть горьковатый, как любовь. За улицей Голикова по дороге в Подolino, Оболенское тож, росла березовая роща и под березами росли фиалки, вечерами в березах бродили туманы, и роща пахла березовой горечью, сладкой, как поцелуй на рассвете, как ручонки восьмимесячного сына на шее отца. Дягилевский — Берендеевский лес пахнул можжевеловой горечью, в нем бродили лоси...

Художники заходили посидеть у крылечка, покурить, побеседовать, — обсудить начинанья назавтра после рабочего дня, и доказывали, что обязательно надо побывать на массовом гулянии в Кузнецихе, потому что там старинная водяная мельница, глубокий омут и гуляют там на плотине над омутом, и на плотине над омутом водят хороводы.

В среду бывал базар. Все село по делам и без дела ходило по базарной площади, в пять часов утра, мужчины и женщины, товарищество и колхозники, заслуженные и незаслуженные, кланялись, беседовали, расходились и встречались вновь, покупали и не покупали. Продавали: молоко, масло, сметану, яйца, ягоды, свинину, баранину, телятину. Художники предпочитали мясо покупать «на ногах», то-есть, сложившись, покупали бычка, свинью или овцу. Где-нибудь здесь же у базара пайщики резали, свешивали и делили закупленное, иной раз «обмывали ножки», те самые, которые пойдут в традиционный студень.

В субботу, перед баней, приходил друг Алексей Иванович Ватагин с бритвой и с машинкой для стрижки, со страшными ножницами, и подстригал, и

брил, как заправский парикмахер, посреди сада перед баней, посадив полуголого остригаемого на старый пенёк. Воскресенье всегда звенело песней. Палехский музей был рядом, через улицу...

Сон в благоуханьи цветов и в удушьи избы, когда окна закрыты от комаров, — кажется, что сон и сны тогда пропитаны запахами, — сон не ограничен, — и дневная явь настоящего, ре-

ального, бывшего вчера, бывшего десять лет тому назад, бывшего до твоего рождения (ведь никто не помнит того времени, когда он не был, и того момента, когда он начал быть), — в ночи и в запахах цветов явь смешивалась со сном, строя сонные композиции не менее сложные, чем композиции палехских мастеров, раскрашенные миром, пространством, числом и временем...

(Окончание следует)

Стихи об Аджарии

АЛЕКСАНДР ЧАЧИКОВ

Гарцуют тучи в башлыках
Над кровлею моей.
Осенний день свинцом пропах,
И горе у дверей.
Куда ни глянь — стучит беда,
И стон, как волчий вой,
И бродит желтая нужда
С открытой головой.
В те дни бежал один сипай,
Оставив в Чакве пост...
— А ну, скорей его поймай!..
Но так и не пришлось
Хозяевам за ним вослед
Погоню снарядить:
Он в горы убежал — Ахмед,
Покинувший ряды
Его величества солдат,
Что брошены сюда
Оттуда, где шрапнельный град
И мертвых поезда.
Он в горы полетел, сипай,
Свободы час познав...
Средь роц зеленых отдыхай,
Бригадная казна!
Ни пенса он не взял с собой,
И выбросил тесак;
Все повторял: — Клянусь судьбой,
В горах друзья, не враг! —
Лимоны бледные росли,
Бамбук был потрясен;
Аджария в тени маслин,
Как выжатый лимон.

Леса бесценные — самшит,
Нефть, горы янтаря,—
Пришелец вывести спешит
За черные моря.
И много сотен крепких ног
На вражьи шло посты, —
Но разметал тогда Чорох
Повстанцевы следы.
Вставал народ, да всякий раз
Он падал под дождем
Гранат и окриков: — Олмаз!
— Не смей! Всех разнесем!
Крепчал народа смуглый смерч,
Насильников круша.
Пришельцы заставляли смерть
Орудьями дышать.
И отходили бедняки
За Кеды, за Хулó.
Спускались вниз тогда стрелки,
Покрытые хулой...
Беглец измученный был прав.
Он им сказал: — Я ваш!
Его встречает зелень трав,
И теплое: — Яваш!
— Будь осторожен, друг! Ложись!
Укрыли, кто чем мог.
Он им свою поведал жизнь
Про сорок семь дорог —
Про сорок семь крутых годов,
Разлуку, нищету...
Вздохнул — и слово у него
Застыло на-лету...



Моя Аджария теперь
Под вымпелом зари;
В желанный сад раскрыла дверь
И с миром говорит.
Бегут большие корабли
За нефтью и рудой
Со всех концов седой земли
В край жизни молодой.
Субтропики ей шлют поклон,
Как лучшей из сестер...
Цветет новозеландский лен

Среди зеленых гор.
И ранним утром, ввечеру, —
Пройдись по всей стране, —
Наследницу веков, чадру,
Не повстречаешь, нет!..
Что было, отдано векам.
И сам Чорох — не тот:
Он медножилым проводам
Энергию несет.
Запел он, точно невзначай,
Встречая день побед.
— В те дни бежал один сипай,
По имени Ахмед!..



СЫН

Роман

ВЛ. ЛИДИН

(Окончание ¹)

XX

Войдите! — Он вошел в комнату. Убогое жилище, сохранившее пыльные плафоны, отбитые колонны с дорическими завитками, — бывшее казенное присутствие, переделанное ныне в квартиру. Абессаломов лежал в постели. Дьячковский платок с заячьими ушами прикрывал флюс.

— Кого я вижу... Лавровский! — сказал Абессаломов с широким радушием хозяина, но больше было испуга. Несвоевременное посещение. — Как видите, простужен... дьявольский флюс! — Гнилые корешки неопрятных зубов. Пахнет шалфеем. И галстучишко из вискозы, как потертый прирученный уж, перекинут через спинку кровати. — Продуло в Озерках... ездил с Передвижным драматическим... Куда бы вам сесть. Садитесь сюда... Придвиньте ящик, только осторожнее — гвозди! Как это вас осенило меня посетить?

Он натягивал одеяло на плечи, стыдась своего тощего тела. Дамский письменный столик с какими-то пустяковыми рамками, комод — брюхатое творение Апраксина рынка, продавленное ложе классического одиночки, разношленные ботиночки хлопотуна под ним, кастрюльки на грязном подоконнике, — и только неожиданно тройная полка сверкающих — в золоте и тугих пере-

плетах — книг. Лавровский задержался возле полочки с книгами.

— Собираю по истории театра, — пояснил Абессаломов стыдливо. — Страсть, знаете ли. Половина бюджета.

Флюс не позволил ему улыбнуться. Спертое дыхание опухоли.

— Я думал захватить вас с собой... провести вместе вечер, — сказал Лавровский.

Решимость, с которой шел он сюда, увяла.

— Помилуйте... рад бы душой. Но сами видите: флюс. Неказистое зрелище, к сожалению.

Неожиданное внимание его беспокоило.

— Впрочем, дело не в этом. — Лавровский так и не сел на предложенный ящик из-под печенья. — Вы были, Абессаломов, в курсе некоторых моих личных дел, — сказал он не сразу. Абессаломов кивнул головой, насколько позволяла тугая повязка. — Так вот, и личные мои дела, да и мой путь к искусству заставили меня усомниться в правильности некоторых моих выводов, — продолжил он неприязненно. Необходимость быть искренним с этим незначительным человеком его раздражала. Абессаломов сидел на постели и слушал. Лицо его, обезображенное флюсом, приобрело вдруг живейшее выражение внимания. Все стало очевидным: и причина прихода, и то, что именно он, Абессаломов, столь неотложно нужен

¹) См. «Новый мир», кн.кн. 8, 9 и 10 с. г.

ему. Не слишком постоянное действие оказывали, повидимому, эти записочки со вложенным билетом на концерт. Он даже выправил ухо из-под повязки, чтобы лучше слышать.

— У вас есть опыт, которого я не имею, — сказал Лавровский снова. — Опыт работы с новым слушателем. Скажу по совести: мне кажется, что я этого нового слушателя недооценил. Во всяком случае, у меня несколько раз было чувство, что я к нему еще не знаю дороги.

— Превосходное начало, Лавровский, — сказал Абессаломов одушевленно. — Я знал, что рано или поздно вы это непременно почувствуете. Это ведь для художника вопрос его жизни. Я многое из своего опыта мог бы вам рассказать! — Он выдернул из-под одеяла свою тощую руку в коротком лиловом рукаве майки. — Я, конечно, Лавровский, не стал ни знаменитостью, ни просто певцом... но я не чувствую от этого своего обеднения. Я богат замечательными впечатлениями, и эти впечатления дает мне моя работа. Это ведь богатство особого рода. — Было несоответствие между этой раздутой головой Скарагона и тощими волосатыми руками в рукавах гимнастической майки. — Все переставлено, Лавровский, и не слушатель сейчас идет к исполнителю, а исполнитель к слушателю. Вы поете, и вся страна слушает вас! Вы играете на сцене — и вся страна хотела бы увидеть вашу игру. Вы пишете книгу, и никакие тиражи не хватает, чтобы все желающие могли ее прочесть. Вот что произошло с искусством! У нас заявки на концерты и на выездные спектакли оспаривают заводы и рабочие клубы, а тут еще область... в области колхозы, колхозы тоже хотят спектакли и кинопередвижки, и концерты. Мы тут раз старых заслуженных направили с выездным спектаклем в колхоз. Заслуженные, знаете ли, из Александринки, к придворным спектаклям привыкали... А тут колхоз, которого премировали за лучшее проведение сева, потребовал театр, только не какую-нибудь «Синюю Блузу», а ленинградский настоящий театр. Мы и двинули туда наших акаде-

мических стариков. И что же? Все довольны, а больше всего актеры. Кто их когда-нибудь так принимал? Петербургские чиновники на премьерах? По пятницам — театр, по вторникам — винт. Вот благодарность художнику! — Он ткнул рукой в сторону тусклого, еще не размазанного окна. — Великий зритель. Благодарный зритель. На «Красном богатыре» дискуссия: одни за Чайковского, другие за Грига. Понравился, видите ли, Григ. Галошницы требовали повторенья «Пер Гюнта». Строго и выдержанно, и понятно. Сразу видно, что хотел сказать композитор. Песнь Сольвейг коллективным письмом в радиокomitee просили повторить по радио. И Чайковского поняли, чувствуют. На «Евгения Онегина» билеты за неделю распроданы. А Генделя пробовали — не трогает Генделя. Торжественно и с чужим настроением. А ведь никто не пояснял, что хоралы. Значит, музыкальный инстинкт. Оркестрики при фабзавучах — подростки, а вы послушайте, как играют... сорок репетиций под ряд, и никто не пропустил ни одной. Часть ребят уже на музыкальном рабфаке занимаются, часть в музыкальном техникуме. Да и консерватория тоже ни для кого не заказана. — Он шепелявил, потому что повязка подгибалась подбородок. Вязкий запах шалфея исходил от него. — Боже мой! — продолжил он, хватаясь за шар головы. — Читаю по истории театра... какие одинокие судьбы, непризнанные дарования. Придворные театры, шуты гороховые... во время величайшей войны — театрики миниатюр с похабным содержанием, мистика, Пшибышевский в сукнах... всё, знаете ли, для городской интеллигенции, для декадентов, для нытиков, для религиозных философов... А народ — огромный, темный, глухой, целая страна, сто двадцать миллионов. Для него читальни Общества трезвости, кабаки, карусели, лилипуты, женщина с богодой и усами и нарядные гуляния с разбитием морд... — Он сидел на постели, трагический и головастый, как марсианин. — В наше время богатства свалились в руки художника! Признание целой страны, благодарность

за каждую радость, которую дает искусство. А главное, понимание своего назначения. Вы в прошлый раз обиделись на меня, Лавровский. Пели хорошо, с умением, с тактом... но все-таки осталось между вами и залой пустое пространство. Именно потому, что вы не почувствовали еще этого слушателя. Это — тонкий разрыв, его почувствовать может только артист. Но если вы — мастер, вы к этой новой правде придете. Иначе завянет мастерство, мы это видели. Большие дарования не находили себя и сходили со сцены на глазах. Для правды в искусстве нужна прежде всего правда в самом себе. Не сумеете понять и принять новую жизнь со всеми ее недостатками, эта правда для вас никогда не откроется. Сумеете понять, жизнь перед вами во всех своих поступках оправдается, и даже личное дело разрастется до общего дела, потому что личное дело — часть общего дела, а следовательно, и здесь есть новые цели и истины.

— Ну, что же, перейдем тогда к личному, — сказал вдруг Лавровский. — Вы знаете, о чем я хочу вас спросить?

Абессаломов спустил ноги с постели. В физкультурном своем одеянии, зябнувший и тощий, он походил на пловца у воды. На худых ногах болтались надетые наспех туфли.

— Я слушаю вас, Лавровский, — ответил он неопределенно.

— С кем сейчас Ирина Опекушина? Абессаломов выждал. Вопросов больше не последовало.

— Насколько мне известно, ни с кем.

— По-моему, это не так.

— Она вам разве говорила другое? — полюбопытствовал Абессаломов.

И он уже с явным недружелюбием посмотрел на него.

— Я слышал, что вернулся Лащина, — сказал Лавровский.

— Да, он вернулся.

Опять покачиванье туфли на пальцах ноги. Тощий энтузиаст. Для разговоров о музыке у него нашлось больше темперамента.

— Вас не удивило мое вторжение, Абессаломов? Но я узнал сегодня про

некоторые обстоятельства... — Лавровский не нашел подходящего определения, — необычайного свойства. Впрочем, я думаю, что многое вы знаете не хуже меня. — И опять унылое покачивание туфли на кончиках пальцев. Послушайте, Абессаломов. Я совсем не хотел поднимать вас с постели. Ложитесь назад. Кроме того, если вы предпочитаете молчать...

— Я слушаю вас, Лавровский. Первая часть нашего разговора мне больше понравилась. Искусство, музыка. Ваши сомнения. Это путь к правде. А здесь вы хотите имена, которых я не знаю. Впрочем, могу высказать свое мнение. — На этот раз даже дьячковский платок не искажил выразительности его лица. — Я был бы очень доволен, если бы возвращение Лащина могло изменить одну судьбу... Этот человек тоже долго кружил, пока пришел к цели. Но цель свою он сейчас видит. Мы об этом квартетике, который он организовал на Урале, имеем сведения. Рабочие до сих пор вспоминают. Музыку им прочно привили, и сейчас там и музыкальные кружки, и тяга в техникумы... Знаете, как новая культура. Пшеница на Севере не росла, а теперь растет, привилась. А это означает, что меняется вся страна, и люди меняются в ней, и отношения между людьми. А вы, Константин Александрович, — он произнес это с нарочитой учтивостью, — все еще старыми отношениями хотите мерить. Не выйdet. То-есть выйdet, но совсем не так, как вам этого хочется. А обстоятельства необычайного свойства... что ж, мы сами обыкновенно бываем виновниками этих обстоятельств. — Он так же не договаривал, и было неизвестно, что он имеет в виду. Но он сейчас же продолжил, уже сентенциозно и доказательно, отмеряя некоторые поступки рукой: — Вы, Лавровский, совершили свой круг и думаете, что все остались на прежних местах. Но ведь другие так же совершили свой круг. Почему же вы удивляетесь, что точки не совпадают? Только старый эгоизм — непригодная мерка... сейчас другие меры времени и человека. Вы ведь это перед рабочей аудиторией сами почув-

ствовавали. Люди выросли, и понимание своих целей у них тоже изменилось. — Он даже перестал шепелявить, и тусклый флюс как-то еще больше подчеркивал, что человек кое о чем подумал и испытал в жизни, и почитал не одни только книжки по истории театра. — Мне думается, что как и к новому слушателю, так и к людям в обычной своей жизни надо подходить именно с этой поправкой. Тогда многие обстоятельства покажутся вам не необычными, а естественными. Вы сами с собой, наедине, пробовали говорить, Лавровский? — спросил он вдруг. — Мне кажется, что не очень-то долюбиваете вы этого собеседника. Собеседник требовательный и пристрастный. Его не проведешь одними настроениями. Разговор начистоту. Так вот, он ведь вам лучше ответит на все эти ваши вопросы. Может быть, в результате придется вам внести коррективы и в свои отношения к людям... потому что пустое пространство между человеком и обществом почувствуем, чем пустое пространство между артистом и публикой. Раз вы ко мне пришли, то позвольте и высказать, — добавил он грубовато. — С этим у вас, Лавровский, не всё в порядке. Эгоизм — священная привилегия человека прежнего общества. Мой, моя, ради меня, для меня. Люди и цели как совокупность усилий, направленных к моему благополучию. Наше время за это карает. Человек остается со своей личностью, но люди покидают его. Люди увидели уже нечто иное, кроме своих личных целей. За это бьются, отдают молодость, становятся ударниками, идут в партию. Идся, цель, будущее. — Он накинул на себя свое одеяло, как мантию, и заходил по комнате. Чувства требовали движения. — Поэтому я и богат, Лавровский, что общие цели стали для меня значительней личных. Это не печальные выводы неудачника. Я себя неудачником не считаю. Моя жизнь не пуста, а полна. Я нахожусь в общении со всей страной — пусть в малом деле, но деле, которое обогащает людей. Счастливая жизнь, когда подводишь итог не личной эгоистической добыче, а большим целям, и видишь, что в

цифровом итоге и ты тоже множитель.

Туфли шлепали, и он двигался взад и вперед по этому отгороженному уголку бывшего казенного присутствия. Дорические капитали колонн осеняли медлительность чиновничьей жизни, казенные папки с делами вместо живых людей, пыльные архивы человеческих неблагополучий. Сейчас здесь двигались и жили люди.

— А что касается Ирины, — сказал он вдруг, останавливаясь, — то живому человеку одних билетов в концерт недостаточно. Талант артиста неотделим от таланта человека. Талант артиста у вас есть, — следовательно, вы это поймете.

Он снова вернулся к постели и сел, закутавшись в одеяло. Зуб от движения стал ныть. Забинтованный шар головы начал раскачиваться из стороны в сторону. Боль, духота, волнение. Струя шалфея, которым он ополоснул рот. Затхлый старушечий запах. Но ни отращения, ни негодования Лавровский не почувствовал. Была какая-то великолепная бедность в этом жилище с ее немудреватými рамками, — может быть, удивленные объекты миновавших романтических увлечений — в этой полочке сверкающих книг, в больничной позе закутанного в одеяло Абессаломова. Он сидел сейчас перед ним уже не как вчерашний соученик, неудавшийся певец, незадачливый хорист второстепенного хора. Богатство опыта и твердое понимание целей. И еще — ощущение своей необходимой принадлежности миру, расцветающему за этим тусклым окном. Он опередил его в движении вместе с эпохой. Сын страны. Ничто не чуждо ему в ее грубой переделке, несовершенстве жизни, сложном и неустойчивом благоустройстве человека. Грубый булыжник, мешанские палисады, мусорные кучи, зависть и собственность приукрашают вчерашний пейзаж. Но тяжелые машины уже укатывают асфальт, жалкие палисадники становятся частью нового проспекта, и акации лавочников входят в общую систему озеленения. В гостинной петербургского адвоката было много музыки, цветов, книг и салонных бесед в ожидании очередного концерта.

Но грубый, тяжелый мир, обыкновенные человеческие несчастья, даже алгека, которая оказывала первую помощь пострадавшим, — все это было отделено капитальными стенами, хроникой происшествий, являясь принадлежностью классов, которые поставляют дворников, кучеров, хорошеньких горничных, бонн, релетиторов и учительниц музыки. Эта жизнь не имела доступов в дом. На ее пути в готической полутемной парадной стоял швейцар с бакенбардами, возвращенными на протяжении десятилетия, красномордые дворники — оберегатели привилегий домовладельцев, и городской на углу, сложное и могущественное сочетание кожи, сукна, портупей, нафабранных усов, кобуры, похожей на седло, пронзительного и нагоняющего ужас свистка и серебряной ленты кокарды, сияющей, как заглавие человека.

Где-то там, в конце длиннейшего коридора, в кухне и комнате для прислуги, говорили вполголоса о деревне, об описанной за неуплату налога корове, о неурожае, — но все это были какие-то отвлеченные, хрестоматийные понятия: урожай и неурожай, народ, недоимки, переселенцы. Деревня, это были — каникулы, верховая езда, малинник с душистой малиной, ужение рыбы, хорошоды по вечерам, игра в «горелки», хорошенькая девушка в сарафане, которую неумело схватывали за плечи мальчишеские руки; иногда деревенские пожары, набаты, пылающие избы — все это походило на ночной фейерверк, на жуткое и потустороннее зрелище. С детства было притуплено внимание к чужому несчастью, к бедности, к бесправности тех, кто жил за оградой их сада. О них говорили речи в государственной думе и на политических аграрных процессах, на которых блистательный адвокат выступал защитником восставших крестьян. Но восставшие были где-то в Черниговской южной губернии, опять-таки далеко, за оградой усадьбы, как бы в другой стране; по эту же сторону усадьбы все делалось для себя, для семьи, для детей. В желтом кабриолете, запряженном смирной мелкокорослой лошадкой, их возили кататься и купаться на речку; по бокам дороги лежали поля, на кото-

рых вызревал этот самый урожай — золотой дым ячменя и пшеницы, и встречные крестьяне снимали шапки и здоровались, — все мирно, устойчиво, немного празднично, как и полагалось в деревне. Главное было, чтобы дети были здоровы, хорошо учились, не имели переэкзаменовок, не передали фруктов, прибавляли в весе, пока взрослые уезжали на два месяца за границу — в Карлсбад, Киссинген и Висбаден — лечить нажитые с годами тучноватость, катары и болезни сердца. Из-за границы приходили пестрые и веселые открытки с изображениями гомерических толстяков, видами на окрестные горы и здания кургаузов. Были еще у семьи бедные родственники, какие-то овдовевшие сестры, неудачливые братья, осиротевшие племянники — обширное племя, которое напоминало о трудности жизни, о нужде, о сиротстве. Их принимали корректно, но холодно; они с преувеличенным умилением любовались детьми, которые уже знали, что умильность обозначает нужду и надежду на воспомоществование. Мир, обшитый благополучием, как прочная дорожная кибитка, из которой только смотреть на пейзажи да на глянцевиный прыгающий зад пристяжной... Он, Лавровский, отрицал принадлежность отца к буржуазии. Это были свободная профессия, либеральные устремления. Но профессия обслуживала именно эту буржуазию, и слава политического защитника обеспечивала удобные места юрисконсульта при банках, акционерных предприятиях и страховых обществах.

Он унаследовал выжидательное равнодушие к людям, повышенное внимание к своим собственным целям и жесткую уверенность, что удача — это привилегия сильных. Но вот сейчас, ощущая неоспоримость своих способностей, он чувствовал вместе с тем все преимущество этого тощего человека в одежде. Тот видел свои задачи и цели. Он был наследником той великой массы людей, которые жили за стенами их дома, которые боролись, страдали, вымирали, устраивали революцию и, наконец, по праву владели жизнью. Они знали всеобщую цель, заставлявшую забывать

о своей личной судьбе. Новая личность переплавлялась, чтобы мужественно войти в общий строй жизни. И здесь он, Лавровский, отстал. Он населил мир пристрастиями, чтобы они служили ему, и пристрастия вышли из повиновения. Они никуда не вели и ничего не обещали. Сколько он стоил со всем своим наследством культуры, воспитанием и предрасположением к искусству, если женщина сегодня отвергла его со всеми его бесспорными правами? И этот тощий человек в одеяле, который оказался и душевно одареннее, и неизмеримо богаче его!

— Что же, — сказал он, — если избранными оказываются все, то и художнику остается пересмотреть свой путь. А пересмотреть свое отношение к искусству — это значит пересмотреть и свое отношение к миру. Я не хочу коснеть, Абессаломов. Может быть, заполнится и эта пустота, которая меня пока отделяет.

— Все это зависит от вас. — Абессаломова начало знобить. — Во всяком случае, желаю успеха. Нам талантливые люди нужны. И какой для них открыт замечательный путь... Я тоже не обделен. — Он даже потрогал свое бедное горло. — Я очень много получаю от жизни, Лавровский. Даю вам слово.

Он протянул свою тощую руку. Рука была горяча. У него начинался жар. Маленькая комната с тусклым окном была раздвинута до размеров целого мира, в котором существовал и слазил жизнь, и спешил осуществлять многочисленные свои начинания этот энтузиаст.

— Вы сколько еще пробудете в Ленинграде?

— Не знаю. Вероятно, недолго. Может быть, даже сегодня уеду.

— Во всяком случае, счастливого пути. Я очень рад, что мы пойдем теперь вместе, Лавровский!

Страстным человеческим теплом было наполнено это бывшее казенное присутствие. Лавровский вышел из подъезда и остановился. Два пути лежали по обе его стороны. Один путь в одиночество заглушенного коврами номера гостиницы, другой — в мир, в шумное движение

людей, из которых каждый оказывался избранным. Он постоял у подъезда этого охрового дома и двинулся дальше. Гостиница, дорога обычного возвращения остались в стороне. Он должен был идти, чтобы притти, и он шел.

XXI

Давно остались позади гранитные набережные. Провинциальная Пряжка, зеленеватая от сточных вод, огибала психиатрическую больницу и судоремонтный завод. Впереди синела Нева. Не было ни гранита, ни людных мостов на этой Корабельной набережной. Они прошли песчаным берегом и сели на бревна. Надвигалась весна. Морской простор туго дышал этим ветром освобождения. Яхта под белым скошенным парусом почти лежала бортом на воде.

— Это хорошо, что мы здесь, — сказала Ирина. — Здесь проще обо всем говорить. Мы оба шли окольными путями, — добавила она минуту спустя, — и вот, когда, наконец, они снова сошлись, я побоялась сказать тебе правду... Конечно, не от Лискова ты должен был все это узнать! — Ее суженные глаза смотрели на бегущую воду. Как бы освобождая город и обнадеживая, как каждую весну, уносила Нева зимнее застойное бытие в море. — В нашем доме нас учили музыке... тогда казалось, что искусство состоит только в том, чтобы хорошо играть на рояле. Но искусство без правды — пустое искусство... мы теперь это поняли.

Он смотрел сейчас сбоку на ее наклоненное лицо. Музыка! Это значило — дощатый барак, бородатые вчерашние сезонники, которые стали сегодня кадрыми рабочими, молодежь в десятках музыкальных кружков — и Бетховен. Не тот комнатный, уединенный Бетховен, который неодобрительно встретил его, а Бетховен, распахнутый для всех этих людей, никогда прежде не слышавших музыки... Там, на другом берегу, были глубокие ворота одиннадцатой линии Васильевского острова с фамилиями загадочных обитателей на доске. Незаконное забинтованное дитя, дева в черной шали, позабытая песня

шарманки, великодушное убежище старого педагога, неистой Каролины Ивановны, учившей, как держать кисть руки.

— Ты стала мне теперь вдвое дороже, — сказал он вдруг. — Это не разъединяет, а только соединяет нас крепче. У Каролины Ивановны я понял, где главная дорога и где боковые... — Морской катер, выставив нос, пронесся, как снаряд. Его корма была в пене и кипении, и в этом тоже было движение весны. — Надо пройти через всю старую неправду, чтобы притти к новой правде, — добавил он и не выпустил ее руки. — Ты ведь тоже прошла через это.

Она все еще глядела мимо, на бегущую воду. Скрябин звучал в узкой отъединенной комнате, сопутствуя одиночеству. Сложный взволнованный мир полутонов и созвучий. Гармоническое косноязычие, которое слагалось в поэму экстаза... Музыка звучала за прикрытыми окнами. Никто не должен был услышать звучания этого одиночества. В детстве детей до трех лет не показывали посторонним. Няньки оберегали их от черного глаза. Итальянец — продавец статуэток и гипсовых слепков — с черными и неистовыми глазами, заставлял их врасплох, и они подлоями заслоняли детей. Ревниво и бескорыстно охраняла Каролина Ивановна свое сверкающее кафлями жилище. И вот человек вторгся в него, у него был не черный глаз, а знакомые серые и по-человечески обращенные сейчас к ней, Ирине, глаза... Грубошерстное, побелевшее на швах пальтишко. Оно висело на вешалке в ее комнате. Она возвращалась домой и касалась его колючего рукава. Мир был приближен в своей осязаемой человечности. Там, по ту сторону реки, стоял город. Трубы, рабочие поселки, гудки районов — Васильеостровского, Петроградского, Выборгского, — эти районы выходили на улицы, она знала их поступь, косынки работниц, удары оркестров и белые и голубые парады стерильно очищенных воздухом, солнцем, водой физкультурников. Может быть, отсюда, из этих пугавших ее своим движением топотом ног, утренними гудками районов, шла новая человечность.

Здесь не было ни незаконных детей, ни тишины петербургских квартир, ни одиночества музыкального уединения. Не одинокий Скрябин звучал в закрытых наглухо комнатах. Музыка шествовала, и окна домов распахивались ей навстречу. Она звучала по-боевому и влекла за собой эти шумные и живые толпы. Все были отцами, и все были детьми. Он пришел тоже оттуда, выходец из рабочей слободки и николаевских доков, которого революция сделала музыкантом.

— Я не могу принять от тебя этого, — сказала она и не вытерла ресниц. — Я не хочу ни великодушия, ни жалости.

Он наклоняется и видит мокрые веки. Сквозь дым лет, сквозь юность, сквозь музыку проступает своими начальными чертами лицо, которое знал он детским. Нет этих первых отметин времени. Нежные ключицы сберегают отроческую синеву. Мать передает ребенку черты его будущего выражения. Из первоначального пунктира вырастут линии, цветущий портрет человека. Первые робкие черты проступают, как будущие плавники или крылья, на которых он будет летать. Счастливая пора юности, когда делается новый человек. Он выходит на самую середину жизни, и на его щеках лежит молодость, как загар. Женщина несет на руках сына или ведет его за собой, потому что он принадлежит всей стране. Маленький семилетний скрипач поднимает красноватую скрипку. Он стоит у самого края эстрады и отбивает такты ногой в шерстяном чулке. Это — Моцарт.

Листы ржавого железа, бревна и шлак лежат на этой Корабельной набережной. Там, по ту сторону реки, синевато нагроможден город, который кажется построенным заново. Первая робкая весна озаряет дерево. Оно выпускает острые тугие ростки. Это широкое гнездо полно жадного младенчества, и скоро требовательно и шумно, как пчелиный рой, оно облепит каждую ветку.

— Это я нуждаюсь в твоём великодушии, — говорит он. — Все приходится складывать заново, и прежде все-

го — самого себя. Я опоздал, но ведь и для песни подбираешь слова, пока она сложится...

Он замедляет шаг и заглядывает ей в лицо. Счет лет — эти первые морщинки у глаз — делает его дороже, потому что это испытание времени. Корабельная набережная кончается. Опять Пряжка, сумрачные задворки судомеханического завода, Новая Голландия и набережная Красного флота. Они идут вдоль набережной, затем переходят мост. У каменных парпетов стоят рыболовы. Закидываемые лески свистят. По временам серебряная рыбешка извивается в воздухе. Женщина стоит в открытом окне второго этажа. Стекло поет под ее рукой. Девочки исчертили тротуар и перепрыгивают на одной ножке из квадрата в квадрат. Внезапно набережная озаряется сиянием, свет несетя по ней, женщина с подоткнутым подолом вспыхивает в окне, зачарованная девочка остается с открытым ртом, — на грузовике везут зеркало. Оно победоносно пронесется мимо и освещает нелюдимые глубины домов. Доска возле арки глубоких ворот берегает прозаическое перечисление жильцов этого дома на одиннадцатой линии. Темноватая лестница, по которой дважды в день поднимается с одышкой грузноватый и суровый педагог. Квартира Опекушина театрально распаивалась амфиладой восьми своих комнат. Карельская береза столовой сменяла мореный дуб кабинета, и далеко в перспективе, как жемчужная раковина, сияла белая гостиная с колоннами, эраровским роялем и цветами в плетеных жардиньерах. Это были парадные комнаты. Глубокий, как тоннель, коридор отделял служебные комнаты. С черного хода ходили продавцы фруктов, точильщики ножей и родственники прислуг. Там шла своя жизнь со своими скорбями родственными связями и темной историей крестьянских судеб. У прислуги не должно было быть детей. Дети оставались в деревне, им писались длинные и жалостливые письма, в город шли кормилицы выкармливать господских детей. Рослые и в цветных сарафанах, с боярскими кокошниками в поддельных жем-

чугах, они отбирались в рекомендательных конторах по степени здоровья, славянского облика и высокоудойности. Это было обильное и благодатное молоко. Позади, в деревьях, от поносов и дезинтерии вымирали их первенцы, незадачливые Васятки и Ваньки, которых незачем было беречь; другие из них пополнили обильное безродное поколение воспитательного дома. Матери сберегали фигуры. В модных журналах изображались тонкие осиные талии, чуждые грубому и расточительному материнству. Здесь были кулисы жизни барского дома. В гостиной пели романсы, играли на рояле, в столовой звенели ножи, в кабинете театральный портной примерял бархатные феерические костюмы, в которых должен был петь Опекушин. Мир, казавшийся в детстве обыденным. Он мстил через годы, через два десятилетия, которые отделяли его разрушение. Не было ни дома, ни славы, ни голоса у певца. Но она знала его пытливый и непрощающий взгляд, свою боязнь оскорбительного пренебрежения, замкнутость, привитую с детства, как показатель характера, — и вот за дверью е оттертой дощечкой — скрываемый — живет ее сын...

Она опирается о перила площадки. Их холодное прикосновение напоминает вдруг весеннюю ночь, наводнение, ветер, удары пушки, сладостную немоту от предошущения холодного паркета, по которому она должна была пробежать к нему.

— Ты вернулся... — говорит она и берет его обеими руками за лицо.

Время проходит. По лестнице с одышкой поднимается человек. Старомодная шляпка приукрашена перьями. Каролина Ивановна не доходит двух ступенек до площадки и вглядывается поверх пенсне. Потом она достает из сумки ключ, открывает дверь и молча пропускает ожидавших ее в свою квартиру.

XXII

Перелицованный серый костюмчик — дореволюционное приобретение в Гельсингфорсе — сменил на этот раз плащ морского покроя. Не было и вялого тор-

тишки в картонке. Пучочек полуувядших подснежников заменял обычное приношение. За всем этим освеженным весной обличем усмотрел бы, однако, опытный глаз невеселое раздумье человека. С непривычной медлительностью поднялся Лисков на третий этаж. Его впустили. Непримируемо и холодно сверкнули еще издавелека кафли кухни. Она стояла посреди нее — суровая старуха, с упертыми руками в бока. Пенсне висело на кончике седловатого носа. Обвисшие щеки отражали, казалось, медный блеск расставленных на полке кастрюль.

— Я ожидала вашего прихода. Садитесь, — повелела она. — Или лучше стойте. После всего, что случилось, наша беседа не может быть продолжительной. Вы понимаете это, надеюсь.

Он остался стоять. Он даже забыл вручить несвоевременный пучочек подснежников.

— Вы вторглись в чужое жилище. Вы совершили поступок, не достойный ни вашего возраста, ни вашего... — презрение мешало ей подыскать подходящее выражение, — ни вашего бывшего положения. Кто дал вам право на этот цинизм?

Черепашовый гребень, как гигантская сурдина, торчал в ее волосах.

— Постоянство, — ответил Лисков. — Постоянство. Вы можете отказать мне в других добродетелях. Но мне нельзя отказать в верности.

— Цель? Я спрашиваю: цель?

— Для этого все-таки необходимо уступление, — ответил он. — Если вы позволите сесть...

— Садитесь.

Он сел. Она стояла попрежнему перед ним — величественная и уничтожительная.

— Вы должны отнестись ко мне снисходительно, Каролина Ивановна, — сказал он погодя. — Я ничего не похитил в вашем жилище. То, что я в нем приобрел, не относится к материальным ценностям. Может быть, вы тоже бы сели....

Он поднялся и придвинул к ней кресло с высокой готической спинкой, похожее на седалище для инквизитора. Она

отвергла эту несвоевременную учтивость. Торжественная и негодующая, равнодушная к суетной словоохотливости человека, она продолжала размешивать ложкой в кастрюльке. Он выждал минуту.

— Я — моряк, — сказал он затем, — и привык видеть горизонты. Я хотел плавать и открывать земли, а не заниматься техническими переводами и составлением компилятивных пособий! — Это было аффектированное вступление. — Но я остался в стороне от жизни, на острове. — Он достал по привычке мундштук и стал ввинчивать папиросу. — Я не принадлежал к кругу правящих, — продолжил он минуту спустя. — Во мне течет не дворянская кровь, а обыкновенная тощая кровь разночинца. Мой отец был таким же корабельным инженером. Я не унаследовал ни майората, ни особых привилегий. Библиотека по кораблестроению — не помещичий дом и не родовая усадьба. И все-таки я из старого мира, приверженец разбитого класса. Этому классу я служил, его идеологию я воспринял, меня радовал его этикет, я носил белый китель, революция показалась мне крушением. Я не был ее врагом и противником, но я не верил в ее мораль. Она представлялась мне низменным ущемлением достоинств и прав человека. Человек отсутствует на этом фоне индустриального пейзажа. Можно создавать великолепные фабрики, выписывать заграничные машины, приглашать специалистов, но где человек, живой, теплый человек этой новой эпохи? Мы верили в личность, в величие личности. Но личность казалась нам замененной безликой массой людей, в которой мы не привыкли различать человеческих лиц. Масса — это утренняя переключка на поверке, это — тысяча человек, которые спят в тамаках, бегают на корму в галюн или на бак покурить, народные дома, читальни трезвости, рабочие слободки, мастеровщина, гулянье с гармоникой в воскресные дни... Какой новый закон нравственности открыла в них революция? Мы не стали активными врагами, Каролина Ивановна, потому что для активности нужны убежденность и не-

ненависть, а их у нас не было. Мы просто оказались на позиции обиженных и уязвленных людей. Ваше увлечение юными дарованиями казалось мне очередным проявлением дамской филантропии. Я пришел говорить на прямоту, вы должны меня выслушать.

Она продолжала размешивать в кастрюльке. Некая заинтересованность, однако, сделала ее лицо менее непримимым.

— Мы остались на острове в этом мире обновленных понятий. Мы жили на этом острове, как упраздняемые служители класса, который разбит. Мы ненавидели нашего вчерашнего хозяина, потому что для него мы были всегда холоями, кухаркиными детьми в козловых башмаках. Но мы не хотели признать и нового хозяина — класс, который казался нам лишенным культуры и безликим, как рота солдат. Это было сопротивление длительное и упорное. Мы радовались каждому проявлению грубости, цинизма и безнравственности, — это укрепляло нас в нашей позиции, что только старая культура и испытанная мораль движут общество. Но эти позиции нас заставили сдать. Испытанная мораль оказалась устаревшей, как моды девятисотых годов. Хорошо, если так, мы требуем от вас новой морали! Одного героического подвига ударника недостаточно. Для прогресса нужны новая этика и новые законы нравственности, ибо не одним количеством построенных заводов определяется переделка общества. — Он выждал, как бы отодвигая эти прошедшие годы. — А между тем время шло. Этот серый костюмчик на мне потерял свежий вид. Он куплен восемнадцать лет назад в Гельсингфорсе. Вы ушли от меня. Я остался один. Я озлобился вдвойне, потому что у меня была отнята даже личная жизнь. Ваше жилище стало для меня недоступным. Я мог оказаться согладатаем жизни, которую вы скрывали от других. «Может быть, это проявление новой морали, — говорил я себе. — Политические взгляды разлучили людей. Во всяком случае, в этом есть дух эпохи». Потом я узнал всё. Адюльтер, незаконный ребенок, воспитание у покровительницы,

как в доброе старое время отдавали на выкорм детей. Это мораль нового общества? Во имя этого я отринут, лишен права на посещение дома... ведь я все-таки продолжал вас любить... продолжал любить, несмотря ни на что, со старомодным упорством. — Он прищурился, как бы вызывая в себе всю последовательность этих воспоминаний. — Кто смеет эти старые навыки выдавать за новую этику? Почему тогда мои понятия о морали упразднены, а это продолжает жить и пользоваться вашим покровительством? И вот я задумал разрушить все это. Я привел человека на пепелище своих надежд. Я жаждал разрушения этого гнезда, которое вытеснило меня из вашего сердца. Не любви... на любовь я, Каролина Ивановна, не рассчитывал. Мне нужны были только приют и сочувствие к этому разрушенному миру, который являла собой моя душа. Я потерял даже право называть себя сыном своей страны, потому что я ей ни в чем не содействовал. Я не был ее врагом, но я равнодушно жил, равнодушно составлял свои пособия, равнодушно читал лекции по кораблестроению. Мне было все равно, строятся ли у нас эти корабли, или флот наш являет собой посмешище. Я ратовал в свое время за то, что Россия должна стать морской державой. А теперь я не верил даже, что наш флот может защитить Кронштадт. Но флот все-таки рос, мои ученики становились красивыми командирами и корабельными инженерами, многие из них командуют миноносцами, у них есть горизонты, цели страны стали для них личными целями. Растет и развивается новый человек, и все это течет мимо меня, точно я обломок скалы, который упал в море.

Она слушала его. Ложечка в ее руке все замедленнее совершала свое круговращение.

— Я почувствовал однажды, что позиция созерцания становится враждебной позицией. Мои надежды обманули меня. Люди ушли вперед, у них не было культуры, но они за одно десятилетие наверстали то, на что старому обществу был надобен век. Вы знаете, как огнесся ко всему человек, которого

я привел на свое пепелище? Я ждал ненависти и разрушения, но увидел высшую человечность. Это не частный случай и не романтическая история. Это всё явления одного и того же порядка. Я нашел живого, теплого человека нашего времени! — сказал он, вдруг взмахнув рукой с букетом подснежников. — Одного такого отношения к женщине достаточно, чтобы вложить философский смысл в энтузиазм ударной бригады. Ибо это есть новая мораль, а следовательно, и новое понимание своего назначения для общества. Это значит, что надо либо окончательно сдать свои позиции, либо выйти из жизни. Но я не хочу еще выходить из жизни. Я порываю с прошлым. Я иду в мир, обогащенный опытом, несмотря на свои пятьдесят пять лет. Я пережил пору разочарования и недоверия к новому обществу. Я хочу, хотя бы год или два, — сколько успею, — быть для него полезным. Парусная лодка — это одиноко и гордо. Но каждый человек хочет быть кораблем. Если я не могу быть флагманом, я буду буксиром. Я стану перевозить шаланды с песком, баржи с дровами, строительный мусор... позволяйте мне только хотя бы краешком жизни, ее последним остатком почувствовать свою причастность к обществу.

Он поднялся и стоял перед ней, голенастый и тощий, с букетом подснежников. Перелицованный серый костюмчик утратил свой щегольской вид. Несвежий платочек высовывал ушко из карманчика. Это было одиночество старости. Она разглядывала его сквозь пенсне, как явление из забытого мира, — эта суровая и ширококостая старуха.

— У вас грязный платок, — сказала она вдруг. — Я вела борьбу с вашими привычками щеголять несвежим бельем. Возьмите! — Она достала из-за пояса чистый платок и протянула его ему. — А этот киньте в бельевую корзину. Она стоит в ванной.

Он взял из ее рук платок, повернулся, как в строю, и вышел из комнаты. Минуту спустя он вернулся назад. Свежий платочек выпячивал метку «К», как эмблему. Лисков остановился посреди кухни, как бы ожидая дальнейших по-

велений. Внезапно рука его деревянным движением поднялась кверху.

— Цветы, — сказал он. — Я забыл вам отдать цветы.

— Поставьте их в воду. Вот кружка.

Он тем же деревянным движением взял кружку, нацедил из-под крана воды и поставил подснежники в воду.

— Все это не оправдывает, однако, ни в какой мере вашего поведения, — продолжала она внезапно. — Я тоже не изверг и не чудовище. Вы могли притти со мной поделиться. В конце концов, то обстоятельство, что мы разошлись, определяется главным образом несоответствием наших взглядов. Я предана советской власти, — сказала она торжественно. — Я предана ей между прочим за то, что она возвратила музыку народу. Музыка перестала быть привилегией избранных. Только то искусство, которое идет с народом и говорит его голосом, — настоящее большое искусство! Я уже не только учительница музыки, Алексей Алексеевич, — добавила она вразумительно. — На меня возложено воспитание музыкальных детей. Кто знает, может быть, из них выйдут новые Сарасате и Никиши! — Она взглянула на него сквозь пенсне просветленными глазами. — Мы работаем над совершенствованием человека, над самыми хрупкими его образцами. Вы могли бы довериться моему опыту и найти у меня нужный совет. — Она поставила кастрюльку на синеватую газовую корону огня. — Вы предпочли вашу жалкую позицию. Вы остались один. Если бы вы еще были врагом! Вы просто... соглядатай этой непонятной вам жизни.

Она оглядела его тощую фигуру с пузырями брюк на коленях, с уголком щегольского платочка из карманчика. Он любил ее, этот жалкий человек. Он приносил ей вялые тортишки, пресные ромовые бабы, букетики подснежников и фиалок без надежды на ее сочувствие. Ему нужно было вдохнуть запахи кухни, кофе, музыки. Они носились в этом жилище, которое было от него отторгнуто. Сейчас он стоит перед ней, проверив весь равнодушный опыт своего существования. Жизнь изменялась, он на-

блюдал в стороне. Это был не тот неторопливый прогресс, про который писали «Русские ведомости». И вот он стоит перед ней со списком пятидесяти пяти своих лет. Старая мораль походит на свод законов Российской империи. Пыльные пузатые тома. Ее продавали на вес, эту тусклую позолоту истории. Посрамленная Фемида давно сняла бесполезную повязку со своих глаз. Ее золотые весы забракованы палатой мер и весов. Новые законы движут шумную и чужую толпу. Они идут с песнями — женщины, мужчины и дети. Тех, кто еще не может идти, несут на руках. Песни проникают сквозь окна. Не все окна раскрыты навстречу им в этом городе. Люди стоят за закрытыми окнами. У них благонадежные паспорта и послужные списки с отметками многочисленных служб. В их роду были мичманы и гардемарины, гусары лейб-гвардии, помощники прокуроров и чиновники министерств. Они любили Петербург, особенно на Кронвержском, андреевский флаг на судах и шумное лето в Сестрорецке. Она протягивалась оттуда, из-за рубежа, эта нить к покинутым и уплотненным домам. Невинный перевод на Торгсин означал жалкую пятидолларовую поддержку тусклым мечтаниям. Он выслушивал иногда сдержанный задушевный разговор в комиссионном магазине, потому что сам он казался жертвой времени. Это был разговор на полутонах, как перебирание клавиш. Опытный слух мог распознать мотив. Они чувствовали в нем своего, эти осторожные поставщики сувениров. Они донашивали в Торгсин серебряные портсигары с монограммами, лошадиными головами, бутылками шампанского и дамскими ножками из эмали; семивершковые литые подставки с надписью «С нами бог» и «Сила солому рубит» и чаши для крутона в виде славянских братин. Герадика монаграмм и гербов, превращенных в лом, ибо грубый оценщик искал в этих признаках славы только чистый вес серебра. Он сам, Лисков, стоял на грани этого враждебного мира. Стоило ему сделать шаг, даже полшага, и они радушно приняли бы его, как своего. Он проверял сейчас все эти годы, стоя пе-

ред грозным своим собеседником. Его не торопили с уходом. Капли не сверкали вокруг с прежним холодным недружелюбием. Подснежники расцветали в воде. Его принижение не было отвергнуто. Кашка разваривалась в кастрюлке. Недавно это была ненавистная кашка. Она преграждала ему путь в этот дом. Теперь он вдыхал ее запах, как запах жизни. В Кронштадте, в казенной квартире отца, были собраны деревянные модели судов. Она была оснащена ими, квартира детства. Он видел моря, которые хотел переплыть. Сейчас он стоит перед бывшей женой, жалкий и неудачливый мореплаватель. Она оглядывает его серый костюмчик, выбритое по привычке лицо и красноватые веки. Не флагман и даже не буксир. А просто старая затонувшая шаланда. Ей некуда плыть, он знает это сам. Но ее можно разобрать на дрова, и старые бревна дадут напоследок тепло для человеческих жилищ. Годы развешиваются под это подрагиванье крышки на кастрюлке. Он увидел теплую и человеческую правду по ту сторону своей скудной дороги. И вот он все-таки пришел сюда, он стоит в этой сверкающей кухне, как на пороге жизни.

— Не стойте без дела, — сказала Каролина Ивановна сурово. — Мешайте кашу. Она пригорит.

Он ринулся вперед и схватил горячую кастрюлку. Необыкновенно пахла эта манная кашка. Кастрюлька обжигала пальцы. Он крепко держал ее в левой руке. Пузырь молока поднялся и лопнул. Правая рука округлым и привычным движением принялась размешивать кашу.

— И вообще вы очень опустились, Алексей Алексеевич, — продолжила Каролина Ивановна. — Вы неумеренно курите. Вы носите несвежее белье. Воображаю, в каком виде должны быть ваши носки. Покажите руку. У вас прокуренные пальцы. — Она разглядывала его сквозь пенсне. — Завтра вы пойдете со мною в концерт, — сказала она внезапно. — Если и на этот раз вы ничего не поймете...

— Я пойму, — ответил он. — Я пойму.

Он отставил кастрюльку на краешек плиты и выложил в глубокую тарелку кашу. Легкий пар стлался над кремовой ее молочной поверхностью. Каролина Ивановна наклонилась над ней и принюхалась. Кашка не пригорела. Все было в порядке.

— Несите ее за мной, — повелела она.

Она повернулась и направилась в соседнюю комнату. Он пошел позади.

XXIII

Утро вторгалось нарастающим шумом. Первый трамвай проходил внизу. Потом гудели заводы на Аптекарском острове. Опекушин слушал это пробуждение дня. Хлопала парадная дверь — сосед отправлялся на дальнюю службу. Почтальон засовывал газеты в дверную ручку. Приходила молочница. Он зажигал ночную лампочку возле постели и надевал туфли. Серое ленинградское утро, минуто спустя, широко наливалось промежуток между раздвинутыми шторами. Начинался день.

Опекушин приостановил в этот раз его грубое вторжение. Тяжелые шторы на окнах остались сдвинутыми. Две электрических свечи в канделябрах рояля зажглись, отражаясь в белой сверкающей его глубине. Ночь была продолжена в день. За тяжелыми шторами катилось жесткое и чуждое утро. Он был один. Неприбранная комната хранила следы его бессонницы. Смятая вечерняя газета, которую он читал перед сном, валялась возле постели. Постель была сбита и скомкана. Он истерзал его одышкой и бредом, это непокорное ложе для отдыха. Он не хотел даже зажечь спиртовку, чтобы освежить себя обычным бритьем. Здесь было сердце. Здесь, в левой стороне груди. Он чувствовал его, как посторонний предмет. Оно мучило его всю ночь вялой своей и ослабляющей тяжестью. Он преграждал к себе доступ жизни. Он отгораживался от нее тяжелыми шторами, не пропускавшими света. Но все же она вторгалась, она приползла, она была здесь — в самом сердце. Недружелюбно и холодно впустил Опекушин день назад к себе

Катю Васильеву. Опять подписка на заем или повестка с приглашением на заседание. Но он пришел для другого, этот веснушчатый вестник со своим набитым портфеликом. Он рассказал ему всё. Он сидел перед ним, как жадный искатель человеческой справедливости. Ему нужно было замкнуть круг людей, отторгнутых друг от друга взаимным непониманием. Опекушин выслушал ее до конца. Он нашел в себе слова язвительной жесткости. Ему был ненужен этот комсомольский согладатай, который хотел заглянуть в его мир. Мир был недоступен для чужого вторжения. Одинокая музыка дремала в сверкающих клавишах с их траурным чередованием полутонов. «Передайте тем, кто послал вас сюда, — сказал он, — что все это не изменяет моего отношения». Она называла имя дочери. Дочери у него не было. Раскрытые ноты недопетого накануне романса лежат на подставке рояля. Он сел за рояль, неприбранный и небритый, и взял первые такты.

Ни отзыва, ни слова, ни привета.

Горестное и одинокое вступление.

Пустынею меж нами мир лежит...
Ужель среди часов тоски и гнева
Прошедшее исчезнет без следа,
Как легкий звук забытого напева,
Как в мрак ночной упавшая звезда!

Он пел для себя, один, в продолженной им ночи. Что нужно было ей от него, этой комсомолке с дешевым галлитовым гребешком в волосах? На какое сочувствие она рассчитывала? Описанием каких высоких страстей она хотела растрогать его сердце? Ему были чужды причины, обстоятельства, чувства. Он методически совершил свой вечерний туалет. На столике возле постели он с'едал натошак. Он надел чистую ночную пижаму и лег. Свежий номер вечерней газеты ожидал неторопливого пробега по городским новостям. Он прочел всю газету, все объявления об обмене комнатами и о продажах мебели, отрезов коверкота, ружей и радиоприемников. Теперь он мог уснуть. На

оставалось сердце. Оно билось наедине, как бы в стороне от него. Оно любило дочь, несмотря ни на что. Девочка, девочка! Он подходил перед сном к ее детской постели. Нежный птичий запах волос. Она подставляла ему теплое горло, которое он любил целовать. Ее рука в рукаве широкой ночной рубашки обнимала его шею. У них были между собой маленькие тайны — тайны дочери и отца. Он прощал ей поступки и шалости. Он возил ее в театр. Она сидела в ложе, гордая и счастливая, потому что на сцене пел отец. Он вспоминал утренние репетиции, большой и полутемный зал театра, черновую работу оркестра, напевание неполным голосом, ибо голос было нужно беречь, — драгоценность, которой теперь уже не было. Все было в прошлом, в прошлом была дочка. Она напевала детским звенящим голоском каватину. Проворные руки с длинными пальцами унаследовали его музыкальность. Он дал им жизнь, и вот это росло, набухало первыми почками, как дерево в пору весны. Теперь она сама была матерью, и его не трогает ее судьба...

Они лежали вдвоем — он и сердце. Сердце тосковало. Он был безжалостен. Он же прощал ничего. Он не любил дочь. Он не вспоминал ее детства. Это была борьба между ними, и побеждало сердце. Оно населило бессонницей привычное и удобное ложе для отдыха. Он слышал ход ночи, возникновение утра, затем грубое громыхание дня. Мир выцвел, в нем не осталось для него ни одной краски радости. Прошлое — это слава, успех, Петербург, потайной ящик секретера, где лежат пачки писем и фотографий... Он нажимает пружинку и перебирает пожелтевшее прошлое. Этих женщин давно уже нет. Поблекшие и постаревшие, они продавали на Апраксинском рынке старые веера, поповский фарфор, брюссельские кружева и вышедшие из моды наряды. Шелковые платья еще сохраняли в складках подмышек нежные запахи тела и духов. Это был чувственный и иссякающий запах. Он помнил женскую горячую близость, военные оркестры на хорах, рождественские маскарады, черную полумаску с

кружевом и снег, и храп лошади, и секущую предутреннюю мглу... «Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты...» Еще один спетый романс. Они лежат на рояле, эти толстые переплетенные тетради, в которых собраны песни его жизни. Песни эти спеты. Но он живет, он дышит, он движется. Он хочет жить. Несколько месяцев назад с враждебностью он встретил Трегубова. Ему были ненужны поучения. Он шел своим уединенным путем. Его жизнь была богаче, чем все это тусклое сегодняшнее ее подобие. Но вот он провел эту ночь наедине со своими бессонницей, старостью, сердцем. Он построил для себя это хранилище воспоминаний. Они разложены в нем, как в ювелирной витрине, все эти блистательные сувениры славы. И он сам среди них, как тот искусственный соловей в табакерке, который стал вдруг хиреть, маленькие крылышки с настоящими перышками утратили свою веселую подвижность, и табакерка замолкла. Он хотел жить в стороне, не признавая ничего и ничему не отдавая пристрастия. Он не имел сына. Он потерял дочь. Но вот она нашла в этом лишенном человечности мире новое человеческое тепло. Какую правду вынашивал он в своем туском жилище? Кому нужны эти переплетенные тома спетых песен, часы его раздумий и одиночество? Новое поколение проходит за окном его комнаты. У него свои песни. Они заглушают испытанную звучность белого эраровского рояля. На нем не для кого играть, и песен этих некому слушать. Он, Опекушин, не хочет вульгарного конца одиночки, бывшего человека, развенчанного певца.

Бессонница развertyвала перед ним список воспоминаний. «Паду ли я, стрелой пронзенный, иль мимо пролетит она?» Он пел, придерживая левой рукой полу шубы, и русская снежная равнина простиралась за его спиной. Белый тюль задника воспроизводил тусклую зимнюю даль, оттенявшую эту предсмертную романтическую тоску. Он чувствовал холод широкого простора Мариинской сцены, как холод того снежного поля, на котором должна была завершиться незадачливая жизнь

мечтателя. Стрела попала в цель, он убит... «Убит... убит!» — и низкая прощительная музыка прощания. Сколько раз он пережил для себя это театральное чувство. Но опера кончалась, аплодисменты обрушивались, он выходил на авансцену и кланялся блистательному партеру и шумным студенческим верхам. Он любил эти ночи возвращения из театра, Петербург, дополнявший своим зимним пейзажем пережитые театральные впечатления, желтые фонари вдоль канала, скрип снега, ущербную луну и теплую большую квартиру с цветами, музыкой, книгами... На этот раз театральные чувства обрели свое жизненное правдоподобие. Снежная равнина дуэли становится как бы реальным и последним переходом. Ему надо заново перечесть весь список своей жизни, чтобы не узнать неизбежной судьбы упраздненного человека

В ночном столике возле постели корбочки и пузырьки. Он выдвигает ящик и перебирает рецепты. Год за годом обростал он этими желтыми и белыми ярлыками, подправлявшими носоглотку, желудок, сердце. Маленькие недомогания, которые учащались со временем. Он оберегал себя от простуд и волнений. Он отстаивал свою жизнь, которая оказывалась теперь бесполезной. Может быть, вскрыть три-четыре пакетика с порошком, разболтать это в стакане с водой — и величайшая легкость освобождения отодвинет все эти бессонницы. Он распечатал пакетик и высыпал порошок в воду. Еще пакетик. Вода становится мутной. Теперь только два-три глотка. «Девочка... дочь!» Слеза щекочет ресницу и стекает по небритой щеке. «Ты рожала одна, в стороне. Я не был твоим отцом. Я не носил тебя на руках. Я ничего не помню». Он садится на край постели и смотрит на мутный стакан. Но, может быть, не все еще кончено. Можно притти к тому же Трегубову и признать, что весь опыт его, Опекушина, жизни устарел и враждебен. О, эта плотская, кровная связь, которая есть у Трегубова с ней! Он делал ее сам, он ворочал глыбы, он тесал ее топором, он может полюбоваться теперь на это свое создание.

Там, позади, за окном с его сдвинутыми шторами, необычно и гулко нарастало утро. Военные оркестры обивали удары в майский холодок. Им отвечали целые хоры с женскими высокими головами. Притти к Трегубову — это значит признать высшую и человеческую справедливость всех этих сил, которые были до сих пор ему чужды. Он зажег спиртовку и с отвращением отодвинул от себя мутный стакан. Потом он разложил принадлежности для бритья. Надо было двинуться, жить. Надо было раздвинуть шторы и впустить праздничное майское утро как нового законного владельца. Он выбрился и долго повязывал галстук. Потом он достал свежие палевые перчатки. Это походило на уход навсегда. В тусклой комнате, где он ржавел без движения, оставались переплетенные клавиры и оперы, венки, пожелтевшие письма, портреты красавиц, которые стали старухами, его измятая постель и большой портрет дочери на мольберте. Боковой рефлектор освещал детское лицо в его задумчивой прелести. Он, Опекушин, торжествуя ждал ее покаяния. Ему нужно было, чтобы она вместе с ним признала всю безнравственность того строя жизни, который отнял ее у него. Но она не пришла. Его жилище оказалось ненужным. Он остался один, и детский портрет на мольберте воспроизводил минувшие черты. Сейчас он возвращался к ней для этого последнего примирения.

Он торопливо перелистал календарь и отыскал записанный адрес Трегубова. Оставалось взять шляпу, трость. Он подошел к роялю и опустил белое его поднятое крыло. Затем, впервые в праздничный день, он покинул неприбранную свою комнату.

XXIV

Неприглядный ленинградский денек означился низкими сероватыми облаками и перепадавшим дождичком. С восьми часов утра началось движение районов. От Полюстрово, с Васильевского острова, со Смоленского шли металлисты и химики, железнодорожники, студенты, войска. Пехотные и кавалерий-

ские части накапливались в боковых улицах, выходящих на площадь перед Зимним дворцом. Рыжеватый, как пожарище, сверкал он торжественным блеском своих широких окон. Трибуны перед ним еще пустовали. Облака сваливались. Появлялось небо. Оно было северной голубизны, нежное, майское небо Балтики. Артиллерийские части и танки, начавшие еще с ночи движение, выжидали в стороне. Новое пополнение призывников уже стояло на площади. Золотой Адмиралтейский шпиль стал наливаться огнем. С востока двигалось солнце. Площадь, смоченная дождем, просыхала. Сводные оркестры частей прошли походным шагом и заняли места. С серебряных фанфар спадал малиновый бархат. Привычно и одушевленно оглядывал Трегубов с трибун это звонкое и нарядное зрелище. Так сочеталось оно неизменно с весной, с первым загаром, который наспех набрасывало солнце на лица, с открытыми окнами, с молодостью, надеждами, жизнью. Он сам прошел этот путь — от призывника на провинциальной изукрашенной площади до командира. Он сам строил и формировал эти первые части с мелкорослыми худыми конями и старыми золотанными самолетами, уцелевшими от гражданской войны. Было это и его детище, которое готовилось теперь пройти через площадь очередным парадом частей.

Он знал эту ежегодную смену поколений, сырых молодцеватых парней, из которых выходили командиры, танкисты, военные инженеры и летчики. За построением призывников стояли сводные полки дивизий, пограничники, моряки, военные училища и рабочие боевые полки. Старые знамена с вылинявшим бархатом и потускневшими надписями вели счет минувшим дням и делам. Звонкий церемониал этой весенней боевой переключки. Иная площадь, над которой золотой круг часов блестел на башне. Последняя четверть отзванивала в вышине. Ворота распахивались. И рослый золотой конь выносил на площадь всадника. Далекий и нарастающий гул сопровождал звонкий стук подков по камням. Всадники пронеслись, все затихало. И там, позади, снова возникал

этот гул, обозначая путь их движения. Десять минут спустя первые слова обращения уже звучали из рупоров. Спозданием на долю секунды повторяли рупора боевое приветствие. Казалось, одинаковые голоса вели между собой переключку. Гулко и повторно вбивали позади зубчатой стены свои сто один удар — пушки. Передаваемая по отделениям команда звучала в тишине площади. И разом, шарканьем тысяч ног, сдвигались ряды. Серебряные фанфары выбрасывали первые звуки. Начинаясь парад.

Серое поле шлемов расцветивалось цветными верхами фуражек. Трегубов глядел на зеленый знакомый цвет. Были в нем — перелески, белорусские болота, осиннички, пограничные канавки со стылой зеленоватой водой, — всё, что он сам прошел, как дорогу молодости. Молодые неопытные парни пополняли каждый год пограничные войска. Два года спустя они уже руководили другими. Это была смена сил, порука поколений. Полк в стальных шлемах шел с ружьями наперевес. Сверху, с трибун, был виден жесткий графический рисунок его построения. Трегубов вспоминал мелкорослые части в многострадальных солдатских шинелях. Они проходили парадом по площади провинциального города. Серые папахи, старые солдатские картузы, зеленые обмотки, тачанки с изношенными пулеметами, солома обозов и переключка недостающих. Именные списки с траурной отметкой выбывших из строя от ран, погибших от тифа, пропавших без вести... Шли академики. На левой стороне их груди белели ордена и значки. Это был счет боевым делам прошлого. За академиками шли моряки. Синие форменки морской пехоты и белые кителя командиров. Казалось, развеваемый ветром движение, колыхался внизу морской флаг. Трегубов помнил бушлаты, славу матросских отрядов, синюю татуировку на сложенных штабелями телах... Речные флотилии, стремительные десанты на волжских крутых берегах и дорога на Каспий. Судовые журналы приспособленных наспех речных пароходов не сохранили ни списка геройств, ни счета

погибшим. Итог был здесь — в свежих синих форменках и кителях, в блеске парада, в синеватом Кронштадте, который сторожил этот город...

За войсковыми частями выходили на площадь рабочие полки. Кепки, сапоги, кожаные куртки, шершавые пальтишки и ружья. Это были такие же, те же, полки, с которыми он, Трегубов, уходил воевать. Ему было восемнадцать лет. Позади была жизнь окраины, лачуги рабочего поселка. Впереди было будущее. Он знал затхлый вкус земли, которая набивалась в рот, мерзлые окопы, бредовые тифозные ночи и первую рану в плече, заткнутую подкладкой из папачи. Иные знамена развевались теперь над этими боевыми полками. Позади, в переулках и боковых улицах, где накапливались демонстрации, несли диаграммы и цифры, модели новых машин, самолетов и тракторов. Герои ударных бригад и перевыполненных обязательств. Трегубов глядел на эти проходившие полки. Знакомое ощущение мужества, силы, весны. Музыка сопровождала движение. Площадь пустела. Из боковых проходов показывалась кавалерия. Масть в масть, неторопливо рысью, шли лошади. Они были подогнаны под один цвет, караковые жеребцы и кобылки. Их нежные пепельные морды были вытянуты вперед. И такие же серые, в замшевых яблоках, и рыжие — в один цвет — с сияющими золотыми боками, шли следом. Чесоточные кони далеких походов. Они самоотверженно жевали солому, гибли при переправах, и разбухшие конские туши отмечали движенье частей.

За кавалерией выносились тачанки. Они были, как песня о степях, о желтой пыли из-под колес, о белых хуторах, прикрытых тополями, о Запорожье и Доне... На высоких костистых конях тряслись ездовые. С грохотом надвигалась артиллерия. За артиллерией ползли танки. Трегубов помнил первый захваченный у неприятеля танк с угрожающей надписью «Мститель». Изукрашенный под осеннюю листву, он был доставлен на площадь уездного города. Он стоял на ней одинокий, как памятник, вестник первых, еще не закреплен-

ных побед. Из-за крыш окружающих зданий показывались самолеты. Их были сотни. Они шли боевым построением — легкие разведчики, быстродвижные истребители и бомбовозы. Одинокий заплатанный «Фарман», который служил и разведчиком, и ординарцем. Его посылали со срочными донесениями. Он тяжело отрывался от земли и тянул через боевые линии, единственный колченогий источник связи.

Дорога прошлого, вся его, Трегубова, жизнь развертывалась на этом параде. Старые знамена несли на себе боевые записи. Свежий ветер с реки шевелил сейчас их вылинявшие полотнища. Музыка играла боевое вступление. Широкая арка штаба Красной армии с шестью конями, несущими колесницу, — впереди. Правее адмиралтейский кораблик, вдруг вспыхнувший на высоте, зеленоватый дым сада Трудящихся, морская весна — в облаках, в ветре с моря... Привычно, с высоты трибун, оглядывал Трегубов знакомые очертания города. Это был город рабочих и город семиэтажных домов, которые туго сдавали прошлое. Он знал голод и опустошение, окопы у самых застав и гул артиллерии, которая шла его завоевывать. Гудки его рабочих районов поднимали восстание, гудели боевую тревогу и оплакивали павших. Годы прошли, и на месте недавних окраин выросли дома и заводы. Это были не прежние заставы с покосившейся провинциальной нищетой жития. Призаставные трактиры уже не выблеывали пьяных. Жесткий и скуластый писатель не нашел бы на этих окраинах своих незадачливых и опустошенных героев. На Каменном острове в уединенных особняках, еще хранивших имена балерин и министров, были устроены санатории для рабочих. Для них строили театры, плавательные станции, библиотеки и клубы. Люди хотели читать, посещать театры, играть в теннис, слушать музыку, выходить на парусных яхтах на взморье. Они уходили драться за эту будущую и непохожую жизнь, рабочие полки Мотовилихи, с которыми он прошел свою юность. Матросы и кочегары, металлисты Урала и сибирские бородатые мужики. Сыновья

шли на смену отцам. Ежегодно они выстраивались на площадях городов, чтобы принять присягу. Годы подбавляли седые волоски у висков, первые припухлости под глазами, зрелость осанки. Иногда он с горестью обнаруживал, что старая гимнастерка становилась тесна. Тогда, в свободный час, он гнал послушную машину за город, и ветер движения напоминал походный ветер молодости. Но это была личная жизнь, его личные чувства. Иные чувства владели им, когда смена сил говорила о законной преемственности.

Они были выстроены — незрелые молодые парнишки, которых нужно было сделать людьми. Будущие летчики и инженеры, изобретатели и командиры, музыканты и химики... Нет, черт возьми, можно было еще не чувствовать лет! Лета — это итог, а он только в самом начале, на самом счастливом и мужественном переходе жизни. Музыка играет вступление. Солнце обжигает лоб. Наутро он увидит себя обгоревшим, освеженным весной. Плечи еще уверенно расправлены и чувствуют плотную ткань новой гимнастерки. Пальцы ног пошевеливаются в ладном сапоге, и сапог блестит, он сам старательно начищал его утром. Он проводит указательным пальцем по подбородку и ощущает нежную гладкость выбритого лица. Можно приподнять слегка верхнюю губу и почувствовать крепкий стойкий запах одеколona. Семнадцать лет революции — это его возраст, ему тридцать пять лет. Годы перекроились в этой переключке времени, событий и поколений. Из уроков прошлого рождается движение к будущему. Оно звучит уже начальными голосами, это будущее. Рыжая лошадка под нарядным седлом выносит всадника с обнаженной шашкой. Трое всадников сопровождают его. Они проносятся мимо рядов, и гулкие перекаты приветствия сопровождают их, как обвалы. Четкий стук подков по камням, протяжные, удаляющиеся гулы — и опять нарастание, показывающее на их возвращение. Всадник снова выносится на площадь впереди всех. Он останавливает лошадь на скаку, и гул голосов покрывает боевое приветствие. Затем тишина.

Трегубов поворачивает голову вправо. Невысокий коренастый человек подходит к микрофону. Команда по отделениям. Все замолкает.

— Я, сын... — раздается из рупоров. — «Я, сын...» — как тяжелое эхо, повторяют ряды, — ...трудового народа... — «трудового народа...» — отвечают ряды, — принимаю на себя звание воина... — Они следуют за ним, эти обвалы голосов, за невысоким коренастым человеком, который приводит сейчас к присяге. Его большая голова непокрыта. Движение руки помогает ему придать выразительность словам. — Я обязуюсь по первому зову... выступить на защиту Союза... за дело социализма и братства народов не щадить своих сил, ни самой жизни...

Трегубов слушал. Семнадцать лет отделяли его от той поры, когда с рабочим отрядом он ушел в революцию. Не было ни этих новеньких ладных гимнастеров, ни оружия, ни безоговорочного сочувствия к делам и надеждам. Надо было это все завоевывать. И вот это завоевано, и сыновья, как законные преемники, глядят на отцов, на него, ибо через несколько лет он может уже годиться в отцы... Ответные гулы затихли, присяга была принята. Блещающие трубы оркестров. Ряды сдвоились, и молодые бойцы начали церемониальное свое прохождение. Музыка сопровождала их вступление в жизнь. Упрямый скуластый парнишка играл на ложках и пел на степной голой станции. Может быть, годы спустя под музыку, что он сочинит, пройдут ряды новых двадцатилетних. Порука поколений и сил, для которых стоило узнать затхлый вкус земли, рану в плече, заткнутую подкладкой папахи, тифозные ночи и походы юности. Переключка этих лет стирала прожитые годы, и вот чертовски жадно, до ярости и счастливого холода на сердце хочется ему, Трегубову, жить. Можно грызть это утро, как спелое прохладное яблоко, прижимать бинокль к глазам, аплодировать морякам и чувствовать свое живое участие во всем этом празднике, музыке, прохождении парада и настоенной на мае приморской весне.

XXV

Необычного вида человек появился в этот день на отдаленной улице Ленинграда. Широкая итальянская шляпа с большими полями была старомодно продавлена. Черный шнурок свисал с ее поля. Длинноносые богинки потрескались от времени, но хороший лак еще сохранял свой блеск. Отличное парижское пальто с нарочитой небрежностью было застегнуто на одну пуговицу. Палевые перчатки дополняли несвоевременное щегольство человека. Он шел, не торопясь, постукивая палкой с круглым набалдашником из слоновой кости. Казалось, с приглядкой и даже критическим равнодушием оглядывал он прочищенные стекла домов, выставленные в окнах булочных и кооперативов портреты вождей, гирлянды из хвон, первомайские лозунги и нехитрую иллюминацию жактов. Его полное выбритое лицо сохраняло черты бывшего благородства и даже красоты, если бы не явная апоплексичность шеи в открытом низком воротнике с широким артистическим галстуком.

Он шел неспеша, как бы для прогулки, постукивая тростью, и принаряженный по случаю праздника. Может быть, если бы нашелся у человека этого соглядатай, он бы отметил, что не столь безразличной и лишенной цели была его прогулка. Он бы отметил, что, выйдя из дома на Монетной, человек не сразу отправился в городское странствие, а зашел в аптеку. Здесь долго и даже грустно рассматривал он в витрине прилавка выставленные препараты, хирургические скальпели, оставшиеся от сезона отруби «Обновин-маг» для чистки фетровых бот, порошок для истребления тараканов, гигиенические бинты и ванилин. Быть может, аптека привлекла его тем, что множество испытанных средств для того, чтобы ускорить ход сердца, или для того, чтобы остановить его совсем, хранилось в каменных банках и стеклянных флаконах. Он постоял у витрины, осмотрел ассортимент аптекарских и гигиенических средств и купил явно ненужный ему семикопеечный пакетик ваты. Потом он вышел из

аптеки и совершил путь, чрезмерный для его возраста и одышки.

Он пересек всю улицу Красных Зорь, Марсово поле, затем Невский. Здесь он свернул на канал Грибоедова. К полудню его можно было увидеть на площади перед бывшим Мариинским театром. Он неспеша перешел эту площадь, постоял у памятника Глинки, затем подошел к самому театру и долго и сосредоточенно читал афиши под железной сеткой. Был этот человек, вероятно, некогда причастен к артистической среде, и сейчас с внимательной грустью читал он фамилии певцов, певиц, балерин, давно сменившие некогда знакомые имена. Только найдя, может быть, фамилии одной-двух старух, которых он знал еще в молодости, он горько и недоуменно усмехнулся. Отойдя от афиш, он обошел затем консерваторию. Многошумно и нестройно работало обычно эта здание музыки. Сольфеджио и вокализы, высокие голоса певиц, молодые баритоны, низкие басовитые виолончели и по-птичьи незадумчивые флейты звучали из его раскрытых окон. Но сейчас ни один вокализ не нарушил его праздничного молчания. И человек пошел дальше. На мосту через Мойку он достал из кармана записную книжку и отыскал, повидимому, нужный ему адрес. Судя по тому, что он задирает на углах улиц голову и прочитывал названия, праздничная его прогулка имела свою цель. Дважды он приподнимал шляпу и спрашивал у смущенных его церемонной учтивостью прохожих, как пройти ему на нужную улицу. Путь был изрядный, и человек начал уставать.

На мосту через Малую Невку он прислонился к перилам, снял шляпу и долго вытирал большим шелковым платком лоб. Затем он снова продолжил прогулку. Наконец, она возникла, эта дальняя улица, застроенная новыми домами. Казалось, нарочито были втиснуты в эту отдаленную глушь новые корпуса домов, чтобы преобразить окраинную славу улицы. Широкий асфальтовый проспект был протянут между этими домами. Зеленые газоны свежо политы. И даже трамвай, проходя по этой новой асфальтовой улице, казался наряднее и

веселее. Здесь человек замедлил свой шаг. Некая нерешительность изменила его начальное намерение. Он остановился на углу, долго доставал из серебряного портсигара папиросу и закурил с явной медлительностью, чтобы протянуть время. Затем он двинулся дальше. Палка его перестала с размашистой небрежностью тыкать в мостовую. Он медлил и останавливался у под'ездов, разыскивая нужный номер квартиры. Скучающий квартирант стоял без дела во дворе дома. Поколебавшись, человек подошел к нему, с той же церемонностью приподнял шляпу и спросил, не знает ли тот, в каком под'езде живет товарищ Трегубов. Новые эти дома тянулись по обе стороны улицы. Трегубов жил в девятом под'езде третьего корпуса. Несвоевременность человека, палевые перчатки, некая сумрачная решимость, с какой он спрашивал номер под'езда, изобличали в нем склонность к причудам. И квартирант не без любопытства стал глядеть ему вслед.

Человек перешел улицу и подошел к девятому под'езду. Здесь, казалось, он изменил начальному своему решению. Он постоял у дверей парадного, но не вошел, а прошел мимо. Минуту спустя он вернулся назад. Теперь без видимой цели, только чтобы скрыть неловкость этого бесполезного хождения, он снова достал портсигар, постучал папироской о крышку, но не закурил. Постояв и как бы прислушиваясь к тому, что происхо-

дит в под'езде, он с силой вдруг отшвырнул незакуренную папиросу и решительным, несвойственным его тучности шагом пошел от под'езда прочь. Так он и ушел, не оглянувшись.

Полчаса спустя квартирант снова увидел человека. На этот раз уже усталой походкой он возвращался назад. Его лицо было багрово. Он снял шляпу и вытер пот. У нужного под'езда он снова остановился. На этот раз он даже поднялся на ступеньку входа и заглянул внутрь парадного. Может быть, неприятное дело или необходимость попросить взаймы останавливали его в этом последнем движении. Он так и не вошел и снова спустился на тротуар. Теперь скучающий квартирант уже с любопытством наблюдал за дальнейшими действиями человека. Тот медленно пошел прочь от под'езда, сделал два десятка шагов и остановился. Это было последнее колебание. Постояв и потыкав палкой асфальт, он вдруг повернулся и решительным шагом пошел по направлению к под'езду. Длинный трамвайный поезд из трех вагонов со скрежетом выполз из-за поворота и загородил его. Когда трамвай прошел, человека уже не было. Квартирант, наблюдавший за ним, так и не увидел, зашел ли он в этот под'езд, или прошел мимо и скрылся за углом.

1933—1935.

Одинцово.

ЧУВСТВО ЛОКТЯ

НИК. МОСКВИН

1

Взрывом неисправного кислородного баллона были убиты в заводской лаборатории инженер Василий Ромашевич и ассистент-конструктор Софья Лужайникова.

Секретарь райкома, вернувшись с места катастрофы, вызвал к себе инструктора Винокурова.

— Ну, Митя, — сказал секретарь, — к Ромашевичам пошел Павлов, а ты, на мой взгляд, сходи к Лужайникову. Ты его, говорят, лично знаешь и с женой его, наверно, был знаком... Тебе это удобно...

Винокуров посмотрел на свои колени.

— У меня сегодня, Авдей Степанович, на «Автогене» кружок. Как же пропустить? Только-что начали укреплять партучебу и вдруг...

— Пропустишь! Пошлем Осокина. Заменит. А вот у Лужайникова он тебя не заменит.

— В восемь часов, — поднял от колен взгляд Винокуров, — мне на «Красном луче» надо быть. Утром еще, помнишь, разговор шел...

Авдей Степанович порывисто задвинул ящик письменного стола и звонко хлопнул по нему ладонью.

— Где тебе еще сегодня надо быть, — спросил он, — говори уж сразу. «Автоген», «Красный Луч», «Промприбор», да? «Сбытсоюз», да?

Винокуров встал с кресла и снова сел.

— Да ты не ругайся, — быстро заговорил он, — я сам понимаю, что Лужайникову... Что надо, обязательно надо.

И хочу это... Но мне как-то не пришлось... Не умею я этого. Ну, приду к нему, ну сяду... А что говорить? Приди я к Григорию вчера, я бы тебя не спрашивал. А теперь...

Секретарь посмотрел на мускулистую шею Винокурова, которая при поворотах головы давала упрямые, крепкие жгуты, и не к чему вспомнил, что Дмитрий занимается французской борьбой... «Однако, о чем, действительно, говорить с Лужайниковым?» — Он разглядывал черные, косо поставленные брови инструктора, его короткий нос и ничего не мог придумать.

— Не знаю, — признался он, — да и никто, по-моему, заранее не знает. Тут, Дмитрий, на месте, чутьем надо понять... Скрасить первое одиночество. Чтоб рядом человек... Ведь они все же пять лет были женаты! Да он, говорят, и любил ее...

2

Пока ехал в трамвае, были люди, бегущая пестрядь домов — неловкое трамвайное забытье: рука виснет на ремне, щека — к руке. Но, когда вылез из вагона и пошел пешком, вспомнилось сегодняшнее событие в лаборатории... Только сейчас вот, при выходе от секретаря, он встретил члена бюро — Павлова. Едет к Ромашевичам. «Ромашевич! Ч-чорт! Ромашевич. Ведь это же что за человек был!..»

Однако, приближался дом Лужайникова. Винокуров видел: он поднимается на второй этаж, входит в квартиру, здоровается с Григорием... Дальше все бы-

ло неясно. Не будет же он сидеть и вздыхать? Что-нибудь нейтральное. О рыбной ловле. Или нет, рассказать о последних матчах борьбы в «Динамо»? Нет, не в «Динамо», а вспомним детство! Наверно, он мальчишкой тоже увлекался борцами...

... Боже мой, какие уроды были! Помнишь, у Вахтурова шея начиналась от краев плеч. Его никто не брал на «тур де тет». Приходилось ли тебе видеть Ломбарди — «чемпиона Неаполя»? Это был комод на двух ножках. О «заднем поясе» с ним и не думали. Ну, может быть, еще «тур де анш». Утомившись, он сам валился в «партер», и тут толстяк отдыхал... А Медведкин! К вам он не приезжал? Мясник Медведкин имел такие обширные телеса, что боролся не в трико, а в юбке. Понимаешь, Григорий, в черной юбке! Мы, мальчишки, бегали к нему в лавку смотреть, как он мясо рубит. Потом к нам приезжала столичная знаменитость — великан Святогор. Он ходил по Заречью и, говорят, у одноэтажных хибарок закрывал ладонью дымоход на крышах. С дымом и с руготней, чихая, вылетали хозяева из дверей. А то передавали, что он снимал со второго этажа горшки с геранью. Хороши же у нас домики были! Вот ты живешь тоже во втором этаже, — так надо Святогора на Святогора поставить, чтобы до тебя дотянуться...

Уже! Вот он, второй этаж! Еще шагал великан по детству, еще плыла парусина давнего цирка, но дом уже прилизился, и надо было войти в дом. «Может быть, Григорию все это не интересно будет... не интересно с ей ча с... Так что же? Взять его, повести в театр, в планетарий? Просто — пару пива и поговорить. О чем? Счастливый день в жизни... Я вспомню о своем, а он пусть о своем. Ну, хотя бы, как первый раз влюбился. Нет, нет! А вдруг он первый раз да — в нее! Получил орден. Об ордене? Или так напрямик: мы понимаем... легче, когда горе общее...»

Меж тем ноги поднимались по ступенькам, и оставалось одно, только одно, авдей-степановичевское: «Тут, Дмитрий, на месте чутьем надо понять».

Открыла дверь Винокурову заплаканная женщина — соседка по квартире.

— Григория Антоновича нет дома, — сказала она и тотчас отвернулась, закрыв лицо рукавом, — Софье Сергеевне... — пробормотала она, — чертежи по почте прислали... Они не знали, что ее... что ее...

И она убежала в свою комнату.

Винокуров постоял в коридоре, слушая нагретую тишину дома: где-то наверху брали воду из крана. Он прошел вперед и толкнул дверь.

Тотчас послышался шорох. Дмитрий увидел книгу, раскрыто лежащую на полу. Ветер, пробегая из форточки в открытую дверь, листает страницы. Винокуров закрыл дверь. Постель, видимо, утром еще была чисто и аккуратно застлана, но кто-то, не глядя, посылал на ней. На полу валялись окурки, бумажки, у буфета — разлита вода. Немытая посуда стояла на столе. Косо лежали на скатерти одна ложка, одна вилка, один ножик. Со спинки кресла свешивались шелковые чулки; был брошен на диван халатик — в серую и розовую полоску; чайная маленькая чашка стояла на мягком стуле. «Спешила» — подумал Дмитрий. Он осторожно взял чашку — она потянула за собой клеенку сидения: прилипла сахаром.

Дмитрий увидел эту комнату во времени. Вот утром они вместе пили чай. Чашка на стуле, чулки, халатик, — это она торопилась на работу. Среди дня Григорий узнал о случившемся, побежал в лабораторию, пришел домой, плюхнулся на постель... Мятая постель, окурки, вода, книга, посуда — уже без Софьи, уже остался один.

Винокуров снял пиджак. Под тонкой сорочкой ожили крутые бугры мускулов. Он прошел в кухню, взял с полки какую-то миску и на первом попавшемся примусе вскипятил воду. Вымыл посуду, убрал ее в буфет. Оправил постель, положил книгу на полку, халатик и чулки — в шкаф. Лужица воды на полу надоумила его покропить пол. Он набрал из-под крана в рот воды и громко, словно чихая, вырызнул ее. Взял щетку и начисто подмел комнату. Когда

мёл, жалел, что щетка так легка, — хорошо бы вместо нее штангу.

Он уже нес щетку в коридор, когда дверь отворилась и вошел Григорий Лужайников.

Новый синий костюм хорошо подходил к его русым волосам, но двухбортный пиджак, — заметил Винокуров, — был застегнут справа налево. В коротких узловатых пальцах Григорий держал галстук, не зная, куда его деть.

Он осматривал свою комнату, медленно удивляясь, перекладывая из руки в руку галстук. Шагнул к Винокурову.

— Спасибо, — с хрипотцой, блеснув глазами, сказал Лужайников и пожал Дмитрию руку. — Солнце такое, — по-медлив прибавил он, — что пора уж и

зимние рамы выставлять. Смотри, как ловко замазаны... Мне... — насупившись, он поднял свою короткопалую, нескладную ладонь, вокруг которой обвился галстук, — мне так не сделать... Вот, чорт, привязался!.. — сбросил он галстук на диван.

Винокуров, чтобы отвлечь, поспешил что-нибудь сказать.

— Ты где, Григорий, был?

— Где? — Лужайников, казалось, припоминал, — да я у Ромашевичей был... Пошел так... проведать. Трое детей осталось, жена... Надюшка еще ползает... Алешке змей склеил... Погоди, так ли я дранки налепил? Ведь как надо: две дранки по диагоналям, одна наверху? Да? Ну, я так и сделал... Алешка доволен был.

Гремит барабан

Роман

Ш. ГЕРГЕЛЬ

(Окончание ¹)

26

Во дворе потребительского общества муку выгрузили. Теперь приходилось дожидаться, пока заведующий и кладовщик не кончат возиться с квитанциями, привезенными Пустаем с мельницы и окрестных отделений, которым он завез муку. Пустай подождал немного. Кони, готовые тронуться, повернули морды к улице, но кладовщик все еще не выходил. «Целую ночь сидишь на телеге, а эта сволочь еще задерживает», — подумал Пустай, слез с козел и постучал в дверь склада. В нем никого не было. Он пошел в конторку. Там в белом, обсыпанном мукой, халате сидел Пали, разговаривая с солдатиком.

— Сколько же мне тут еще ждать то, — крикнул Пустай через дверь.

Пали обернул к нему свое худощавое красное лицо, но ничего не ответил. Солдатик вскопчил.

— Убирайся к дьяволу! — заорал он: — Когда позовут, тогда и приходи. Жди.

Пустай тяжелыми шагами вошел в комнату. Глаза его были широко раскрыты. Грудь раздувалась.

— Стой! — Янош Мештер топнул ногой. — Смирно!

Пустай медленно приближался. Он шел, как лунатик, с протянутой вперед рукой. Янош Мештер отпрянул назад.

Пустай наседавал на него. Тяжелые его лапы рухнули на голову военного молодца. Схватив его за уши, возчик начал их рвать и крутить. И вдруг покачнувшись назад от ужасного удара в подбородок. Янош Мештер словчился ударить Пустая головой. Из-под расшатанных зубов показалась кровь. Рыча от бешенства, он вдруг со страшной силой ударил военного в грудь. Тот рухнул наземь, как мешок. Пустай увидел искаженное ужасом лицо Пали.

— Ну что ж такое, — будь ты проклят! Могу я, наконец, уехать?

— Убил его...

Пустай взглянул на Мештера. Тот открывал помутившиеся глаза.

— Мне домой пора.

— Заведующего нет еще, не понимаешь простых слов.

— К шуту заведующего! Не буду я его ждать, — возчик направился к дверям.

— Эй, ты! — крикнул ему вслед Пали: — слушай-ка...

Обернувшись, Пустай увидел, что военный, с трудом поднявшись на ноги, смахивает гиль со своей одежды. Кладовщик встал и, уведя возчиков в склад, спросил его:

— Ты встретил нынче ночью кого-нибудь в городе?

— Еще бы! — прозвучал сердитый ответ, — вокруг мельницы кишели шпырки.

— Шпырки? А ты почему знаешь? За кем им следить?

¹) См. «Новый мир», кн. кн. 8, 9 и 10 с. г.

— За мной.

— Зачем это?

— Это ты их ко мне подослал, — сказал Пустай.

— Я?

— Ты. Дядя Кираль тебя ведь вздул, а не меня!

— Старая свинья! Слушай, не уходи.

Пустай бросился к лошадям и выехал на улицу.

Жандарм со штыком на вигговке конвоировал корову. Габор Шаш вел ее на поводе. Так шествовали они по безлюдной улице. Лишь кое-где виднелись прохожие.

— Чья это корова? — крикнул с телеги Пустай Габору Шашу.

— Филова.

— А чем же божья скотинка провинилась?

— Запкни глотку! — прикрикнул на него жандарм.

Пустай ехал вслед за необычным шествием. По сторонам, справа и слева, стояли мужики. За спинами их выглядывали женщины. Шествие свернуло на нижнюю улицу. Пустай дремал в телеге. Иногда в затуманенном сознании его мелькало предчувствие яростной ругани Имре Пензеша-Варги. Но пусть он нынче ведет себя поосторожней, нынче ему, пожалуй, тоже попадет, как тому мерзавцу. В самом деле, может же он опоздать разок... Не собака и не деревянный он. Небось, господа могут спать со своими да и с чужими женами, когда им вздумается. Посмей он только нынче придраться, — уж это ему даром не пройдет. Пустай огляделся воспаленными, заспанными глазами. Шествие остановилось около конной мельницы. Штирийцы чуть не наехали на «петушинный хвост». Натянув вожжи, Пустай ждал, что будет дальше. Медленно, переваливаясь с боку на бок, ходила по кругу одолженная Шандором Бенце корова, вращая тяжелые жернова. Жандарм, став на пороге, велел отвязать бенцеву корову. Старый мельник недвижно сидел в полумраке у ковша над жерновами. По стенам, как всегда, стояли люди. Жандарм заорал. Чей-то голос крикнул ему из полутьмы, что мельник глух.

— Отвяжите ее.

— И не подумаю, — ответил человек, выступая из темноты. Это был Габор Салмаш, он расправил густые усы. — Против себя я не пойду.

«Петушинный хвост» крепко сжал ремень винтовки. Он вспомнил предостережение своего начальника, жандармского унтер-офицера. Сегодня надо быть вежливым с жителями. Эти сволочи сразу что-то учуяли. Жандарм послал на мельницу общинного служителя Габора Шаша, а сам остался при корове, но повода в руки не взял.

— Тебе чего тут надо? — крикнул он Пустаю.

Парень не ответил. Из мельницы Шаш выводил описанную корову. За нею толпились люди.

— Ты что ж, в погонщики нанялся? Не стыдно тебе? Пес господский! — Помольщики стояли стеной, осыпая ругательствами общинного служителя. — Мошенник! Скоро снимем с тебя жир.

— Прочь отсюда! — крикнул жандарм, снимая с плеч винтовку.

— Стреляй! — крикнул Салмаш, не моргнув глазом. Он даже сделал шаг вперед.

— Марш! — заревел на него жандарм, поглядывая на возившегося с веревкой общинного служителя.

— Марш! Завтра вы у нас помаршируете, — Салмаш угрожающе передразнил жандарма.

Коровы тронулись в путь. За ними двигалась телега Пустая, за телегой — народ с мельницы. Так прошествовали они по нижней улице. Из-под ворот выбежали дети. Матери пытались догнать их, но ребята не поддавались. Толпа умножалась, разрасталась все больше и больше. Она становилась шумнее, крикливее. Пустай беспрерывно оглядывался назад. Хорошо бы поскорей отсюда смыться, как бы какой беды не случилось... Глянь-ка, Габор Салмаш взобрался к нему на телегу и, обратив лицо к толпе, начал говорить, размахивая руками.

— Это прямо наглость. У людей изо рта последний кусок хлеба вырывают. Что ж людям есть-то? У меня осталось десять кило пшеницы. Работы нет, хлеба нет, только распродажи одни и оста-

лись. А теперь и смолотить запрещают. Господа, разбойники, бегияры...

Жандарм озирался по сторонам. Он не знал, что делать, и в душе проклинал своего начальника. Вежливость! С этими никак иначе, только прикладами можно обходиться.

— Идите скорей! — крикнул он Шашу.

— Смотрите, боится! — повторялось из уст в уста.

Вокруг коров вертелась стайка детей. Поблескивая штыками, с базарной площади шли два «петушиных хвоста». Общинный служитель гнал перед собой уже трех коров. Одна из них жалобно мычала, высовывая длинный язык. Теперь шествие двигалось под прикрытием трех штыков.

Раздалась громкая барабанная дробь. Это касалось землекопов. Каждый, кто записался на работу, должен завтра, в семь часов утра, явиться в замок. А кто не явится, того вычеркнут из списка. Через несколько минут барабан зазвучал на другом конце главной улицы. Когда общинный служитель добрался до другого конца села, там уже каждый знал човость. Игнац Рошташ с удовольствием заметил, что, значит, работа все-таки будет. Видно, управляющий взял дело в свои руки.

— Ну, когда большой господин начал возиться с такими пустяками, так быть худу, — объявил слепой Матэ Кираль.

Люди призадумались. Как же это? Сам управляющий... Завтра, в семь утра. А в десять начнутся торги. Каждый успеет вернуться назад. Можно будет выкупить свои вещи. Управляющий, конечно, не будет поступать во вред государству, мешать покупателям участвовать в распродаже.

Отсюда, из нижней части села, уже вывезли все описанное имущество. С раннего утра телега Трочани, наподобие повозки странствующего торговца-еврея, ездил из дома в дом и забирала пуховики, стулья, стенные часы, шкафы. Общинный служитель, старая сволочь, только вскидывал свои рыбы глаза на умоляющих, хныкающих женщин и, держа в руках длинный список, читал вслух: «Вы, Янош Чутораш, вы,

Игнац Рошташ. Ну, начинаем...» И он уже хватал опечатанное добро. Женщины обступали его с мольбой, мужчины только сжимали кулаки, но общинный служитель был неумолим и, не моргнув глазом, ядовито кидал им в лицо короткую чиновничью отговорку:

— Во время дежурства я не «корреспондирую»...

Потом и жандармы, и служители исчезли. Люди толпились отдельными кучками. Кучки сливались друг с другом, и шумная, жестикулирующая руками масса, выливалась на площадь. Толпа расположилась вокруг базарных весов. Батраки ждали чего-то, совещаясь. Распахивали свои тулупы и короткие куртки, сдвигали на затылок меховые шапки. Так они разговаривали. Многие считали, что теперь один лишь антихрист сможет помочь. Ведь господа теперь настолько сильны, что справиться с ними можно разве только переворотом. Примерно, революцией... Другие говорили, что это не верно: господа так слабы, что они надеются этими насилиями убедить народ в своей силе. Но завтрашний день все решит. Крестьяне просто не допустят, чтобы отсюда увели хотя бы одну корову. Пуховики — пожалуйста... Чорт побери всех этих хозяев. Им наплевать на рабочий люд. Нет, это не совсем так. Нужно действовать сообща. В двадцатом гду надо бы так действовать, но тогда крестьяне-хозяева с ружьями и топорами угощали бедноту.

— Чтобы я поверил мужику, который землю имеет! Да пусть мои глаза лопнут! — хрипло проревел Салмаш.

— Ну, ну, у мужиков тоже распродают с торгов, — объяснял Лиханий.

— Только корову! — орал Салмаш.

— Ему корова дороже, чем тебе твои

стенные часы.

— Чепуха! — кричал Салмаш: — А ты, видно, тоже господским глашатаем стал?

Игнац Рошташ стал поодаль и думал о завтрашнем утре. Улыбка не сходила с его лица. Завтра утром управляющий выдаст аванс под понедельничную работу. Может быть, пять пэнге каждому. Сотне человек по пяти пэнге. Пресвятый боже, целых пятьсот пэнге сразу прите-

кут в село! Да нет, этот палач, наверное, выгет из аванса выданный раньше задаток, пэнге с половиной, которые уже уплыли. Рошташ опять придвинулся к толпе. Уши его жадно ловили громкие слова, голодные глаза всматривались в искаженные лица. Так старался он отогнать от себя страшный призрак.

Но вот он увидел нечто удивительное. Не ощупью, держась за дома, не стучая палочкой по стенам, не с согнутой спиной, а легкой походкой, выставив вперед на солнце широкие плечи, выходил на базарную площадь слепой Матэ Кираль. Он только-что побрился. Парикмахер соскреб его двухнедельную колючую бороду. Денег за это он не взял. Он сделал это в честь нынешнего дня, который должен приблизить человечество к революции. Парикмахер спросил его:

— Разве не так, дядюшка Кираль?

— А разве так? — слепой подставил под бритву свой подбородок.

— Нет, правда, революцию я принимаю очень близко к сердцу. Я имел свое предприятие. Ведь вы это помните, дядя Кираль? Революция вернет мне мою довоенную жизнь. Так или нет?

— Я тогда издам приказ, чтобы каждый человек в селе два раза в неделю ходил бриться.

Парикмахер, подув изо всей силы дяде Киралю одеколоном в лицо, помахал даже салфеткой.

Старик заковылял в угол за своей палкой. На лавке лежал небольшой пакет. Кираль крепко сжал руками пакет и палку.

— Вот что, господа... — начал он, обращаясь к посетителям цирюльни, но тотчас прикусил язык, проглотив свою гордую радость. Дернув себя за завитые усы, он повернулся и пошел прочь.

Оживленный, праздничный шагал он к базарной площади. Нынче ему надо выполнить одно задание. Такое, что в других местах только зрячим поручают. Утром внук сказал ему сдавленным от радости голосом:

-- Листовки пришли...

— Ладно. Я их нынче раздавать буду.

— Нет. Это все же нельзя. По разным причинам... Отчасти потому, что

жандарм легко тебя выследит, а кроме того, враги могут сказать, что коммунисты спрятались за слепого.

— Ну, они позабудут, что я слепой. Первый же «петушинный хвост», который попадет на глаза, получит такую оплеуху... — Слепой старик умолял внука, выпрашивал, как ребенок. Теперь он свистел, напевал. Сапоги его сверкали. Ему очень хотелось бы еще сейчас, пока он проходил по селу, завязать с кем-нибудь драку. Но он сообразил, что это было бы преждевременно.

Люди на площади бросились ему навстречу. Старик остановился перед ними, прямой, как свеча, стукнул палкой по голенищу и произнес, запинаясь:

— Зрячие. Слушайте. Я кое-что принес. Один человек остановил меня на дороге. Он сказал, что приехал из города. Завтра будут торги, и власти очистят ваши кладовки, ваши хлевы, ваши комнаты. Вот тут советы, как вам возместить свои потери. Вот что он мне сказал и передал мне вот это. — Рука старика немного дрожала, когда он развертывал обертку пакета. — Берите и читайте вслух.

Он поклонил пальцы и отделил верхний листок. Игнац Рошташ подхватил первый. За ним дядя Лиханий. Но старику скоро надоело раздавать листки поодиночке. Он подбросил в воздух целую пачку. Вскинув ослепшие глаза, он, казалось, следил за трепетным, бессильным полетом шуршащих листов. Слепой слышал шум дерущихся, суетящихся, подскакивающих людей. Обрывки слов, ворчливое одобрение, твердые, одушевленные боевым духом фразы.

— Внимание! — крикнул он звенящим, почти пьяным голосом. И бросил вторую пачку листовок в воздух. Всем досталось. — Ведь это — единственный случай. Только сегодня. Может быть, завтра, в день распродажи, кто-нибудь тоже принесет что-нибудь в этом роде. Давайте, наконец, послушаем, что в них написано. Или этот горожанин меня обманул. Разве не дешевых шкафов предлагает он. Да, этак одурачить человека...

— Да тише вы! — в ярости прикрикнул на него Рошташ. Кто-то из толпы читал по складам печатный листок, в ко-

тором говорилось о подлости господ, о том, как обманывают землекопов, об обнищании крестьянства, о продажах имущества за недоимки, о безработице, о том, чтобы никто не платил налогов, не позволял разбазаривать свое добро, скотину, о том, чтобы каждый — бедняк, батрак, поденщик, мелкий собственник — боролся с насилием. Все они должны сообща начать борьбу, ибо только этим путем смогут они избавиться от господского грабежа, только так, соединенными силами, можно защитить народ от грядущей войны, на которую идут деньги, добытые грабительскими налогами и снижением заработной платы. Господа готовят эту войну против Советского Союза, где рабочие и крестьяне сами себя хозяева. Каждый сельский бедняк должен подняться против господ. Долой налоги! Прогнать вон из села судебного исполнителя! Долой систему Левенте, которая делает из наших детей тюремных сторожей и убийц рабочих! Долой власть правительства белого террора! Да здравствует союз трудящихся города и деревни! Да здравствует коммунистическая партия Венгрии! Долой предательскую социал-демократию! Долой предателей-двурушников Йойартов! Долой вооружения! Да здравствует единственное, истинное отечество трудящихся всех стран — Советский Союз!

— Слышишь, — шептал растроганный Матэ Кираль, — слышишь?

Но никто его не слушал.

Тревоги ултели с огромной базарной площади. Никто не был против того, что говорили листовки, но каждый толковал их по-своему. Нет, здесь не то имеется в виду... Нет, а вот что... И они тыкали пальцами в листовку. Из выходящих на базарную площадь улиц быстрыми шагами шли мужчины, с бумажками в руках. Кто-то раздавал их у церкви. Какой-то незнакомец из чужой деревни.

— Это прислал господин пастор, — говорил он, пробегая по переулку за церковь, — его преподобие...

Другие находили такие листки под воротами. Как будто безоблачное, голубое, сияющее небо ниспослало эти листки.

И нигде не было видно ни одного жандарма. Они ушли в соседнюю деревню за коровами.

У церковной стены стояла жена Иштвана Мештера. Она смотрела вверх, на колокольню. И там ни одного жандарма. В таком случае, корову можно...

— К сельскому начальнику! Коровы там! — закричала она.

Юбка ее развевалась. С диким ревом кинулась вслед за ней толпа. Ребята визжали, поднимали с земли булыжники и кидали их далеко прочь. Парикмахер, выскочив на порог заведения, выкрикивал непонятные слова, размахивая открытой бритвой. Шум, рев перешли в глухой гул. Людской поток кипел, клочкотал. Из ворот общинного правления вышли на улицу два «петушиных хвоста», за ними, вооруженные винтовками со штыками, шли витязи Лани Часар с солдатиком. Они выстроились шеренгой, взяв ружья наизготовку.

— Внимание, пли! — прогремела команда.

Ворота, двери, дворы всасывали в себя распавшийся, растекшийся отдельные ручкиками, поток.

Улица мгновенно опустела. словно медленные молнии, вздрагивали на главной улице прямые штыки жандармов. Витязи отошли за ворота общинного правления. Позже на взмыленной лошади проскакал управляющий. Он спрыгнул с коня перед канцелярией сельского начальника и толкнул ногой дверь. Трочани с высоко поднятой головой трусили по главной улице к общинному правлению.

Главная улица долго оставалась безлюдной. Потом люди опять понемножку начали показываться перед воротами. Они оглядывались, высматривали один друга. Взглядами подбадривали друг друга. Они переговаривались ничего не значащими словами. Женщины, сидя на корточках, чистили у своих домов картошку и порой украдкой вставляли свое слово в разговоры мужчин. И вдруг из уст в уста понеслась молва: «Жандармы провели Ференца Йойарта... и Фило тоже. Чепуха! Они шли сами. Да нет же, они шли под конвоем».

Совсем недавно и секретаря ихнего они тоже так провели по селу, чтобы народ это видел. Однако, за околицей господин секретарь влез в господский экипаж.

Оба общинных служителя вошли в дом Имре Пензеша-Варги. Вместе с ними был и солдатик Янош Мештер. Он был в мундире. Покосившись на скопившихся поодаль людей, они вошли в ворота. Прошли в хлев. Пустай спал и очнулся только после сильной встряски и многих пинков. Служители схватили его за руки.

— Что вам от него нужно? — вступился, прибежав в хлев, старый батрак. — Ведь он не грабитель, не убийца. Всю ночь парень не спал.

— Он хуже этого, — сказал Габор Шаш. — Коммунист, вот он кто.

Батрак пытался оторвать от Пустая руку Габора Шаша. Но это ему не удалось. Янош Мештер оттолкнул его. Оба служителя связали ремнем кисти парня и вывели его наружу. Пустай шел, изумленный и покорный. Люди глазели им вслед. Оба общинных служителя, не говоря ни слова, косились на народ, ускоряя шаги.

Солдатик вбежал в канцелярию общинного правления. Пустай тупо, безразлично глазел на привязанных в глубине двора коров. Солдатик вышел. Служители провели арестованного в канцелярию. За столом сидел сельский начальник. Управляющий ходил взад и вперед. Шрам на его лице дергался. Он бросил взгляд на парня.

— Имена хочу знать, — хрипло приказал он.

— Какие имена?

Управляющий четыре раза подряд ударил парня в лицо. Пустай качнулся вправо, влево.

— Имена, — шептал, совсем склонившись над ним, Денеш Бицо, — не то подохнешь!

Пустай взглянул в перекошенное лицо управляющего и ничего не ответил.

Боза, Фрюлеша, Коллэ и Хэдькэ. Жители деревень, выйдя за ворота, глазели на шествие. Жандармы ночью приходили в указанные дома и выводили порученный их попечениям скот на середину деревни. Собаки лаяли, лошади били копытами землю и ржали. Охваченный паникой петух взлетел на высокий забор и затрепыхал крыльями. Люди сжимали кулаки. Женщины вытирали глаза передниками. Животные лениво, равнодушно месили грязь.

Впереди и сзади шествия шагали два человека в обычной крестьянской одежде. Передний держал в руке стальную цепь. Эта цепочка тянулась через все стадо, и конец ее находился в руке заднего штатского. Оба мужика, прикрытые лохмотьями, ругались, шлепая по грязи. Жандармы делали вид, что ничего не замечают.

Коровы тащились по большой дороге.

Слышно было, как, пробиваясь сквозь ночную тишь, едали трепетал колокольный звон. И там, в другой деревне, из дома в дом ходили жандармы. Но там неведомые руки ударили среди ночной тишины в набат. На тревожный звон выбегали вооруженные дубинами мужчины. Не было видно ни зги. Мужики с криками бросались в бой, как стая волков. Но вдруг ночь прорезало вспышкой пламени. Раздался оглушительный треск. Над соломенными крышами окутанной ночным мраком деревни засвистали пули. И снова наступила тишина.

Отдельные группы почти одновременно прибыли в Керестур по ведущим к нему дорогам. Люди и животные были утомлены и хотели спать. Погонщики, державшие цепи, отдувались, прячась за спины жандармов, словно запуганные дети.

Впрочем, ничего особенного не случилось. Керестур оцепенел в мертвой тишине. Перед трактирами — никого. Жандармы и погонщики чуть не бегом торопились попасть в общинное правление.

Гробовая тишина холодной предвечерней ночи. Мягкий ветер не доносил ни вздоха. На широкой главной улице, на площади, на низовьи мертвой венгер-

Коров привели на большую дорогу из лежащих вокруг Керестура деревень:

ской деревни мерные стуки жандармских сапог огдаются гулким эхом. У церкви, наслаждаясь приятной прохладой, стоял его преподобие. Он совершал вечернюю прогулку. Сигара его рдела во мраке. Жандармы отдали честь, погонщики сняли шапки.

Коров загнали в хлев сельского начальника, многим из них пришлось за недостатком места провести прохладную ночь под открытым небом. Цепи с них сняли. Большая часть сопровождавших удалась. Во дворе и снаружи остался лишь патруль.

Тридцать коров лежали на соломе в хлеву и во дворе. Тарашили круглые, с красными жилками, широко раскрытые глаза. Самая младшая из них была «Лиза» — Иштвана Мештера. Она вдруг замычала протяжно и жалобно.

Когда днем того дня жандармы пришли за ней, оцепенелая тишина сдержанного ожидания словно прорвалась. Все обитатели дома выскочили во двор. Жена Иштвана Мештера легла поперек ворот. Она то целовала сапоги жандармов, то бесновалась, разражаясь проклятиями. Иштван Мештер держал кирку, она дрожала в его руке, и устоялся на конвой. В дверях кухни стоял солдатик и, тихо посвистывая, отвечал на приветствие жандармов.

Тридцать коров. Но каждая из них была единственной, балованной, окруженной заботами всего дома. Каждая из этих коров была идолом семьи Яноша Фило, или Иштвана Мештера, или других людей, живущих в крытых соломой домишках Хэдькэ, Боза, Фюлеша, Кюллэ. Были и такие, что жили вдвоем в одном хлеве. Например, у Шандора Бенце или Иштвана Гамбоша. А теперь они все попали сюда в просторный хлев сельского начальника. И это любимицы крестьян-средняков и бедняков. Но стой! А куда ж, например, девалась единственная корова Ференца Йойарга? Ведь бодрая, мслодая коровенка его еще осенью была приговорена к этой участи. А сейчас ее нет среди прочих.

Коровы засыпали, голодные, усталые. Временами они мычали во сне. Наверно, им снился родимый дом. Когда, бывало, после тяжелых голодных зимних

месяцев проникнет вдруг к ним в стойло через открытую дверь мягкий воздух, казалось, что сама весна, зелено сверкающая, дразняще-веселая, оповещает баюкающим жужжанием о своем приходе. Тогда по жилам животных струились освежающие, живительные соки, ароматные ветры несли им на своих крыльях запахи свежих трав.

Одна из пленниц замычала и испуге. Протяжным, гортанным мычаньем ответили ей остальные. Громыхали телеги, выезжая из-под нижних ворот. На телегах были навалены подушки, стулья, шкафы, тачки, швейные машины, стенные часы, мешки... бог знает, что еще. Одна повозка была битком набита маленькими боченками. В этих боченках хранились многолетнее вино и водка. Молотилки, бороны, решета были привязаны к телегам цепями. Выгрузка всего этого добра заняла много времени и произвела много шума. Но в конце-концов опять стало тихо.

Перед рассветом пробудилась жизнь. Жадно, пыхтя, глотали коровы посоленный, вкусный, смешанный с отрубями корм, ведрами пили воду.

С зари по дорогам шел бесперерывный поток телег и пешеходов и останавливался на краю села.

— Становись с телегой на базарной площади! — приказывали мужчины в коротких овчинных куртках. — Распродажа начнется в десять часов.

Многих распорядитель направил в окружающие площадь улицы. Пришедших пешком отсылали на рынок перед общинным зданием. Люди знали, в чем дело, и, не прекословя, исполняли все указания. Но иногда случались и неприятности. Ссзжались скупщики скота с толстыми серебряными цепочками на животах. Они не выражали охоты следовать указанием сторожевых постов.

Дозорные твердой рукой хватали за узды запряженную в тележку лошадь.

— Ты не покупать ли явился, а? Может, тоже собираешься торговаться?

— Не суй своего носа в чужие дела, — звучал дерзкий ответ, и барышник хлесгал лошадей по брюху.

Из-за заборов сбегались хмурые фигуры в высоких шатках. Грубые руки

стаскивали с козел остолбеневшего от страха барышника.

— Что? Не суй своего носа?.. — хрипели они. — Ну, погоди же ты, каналья!

Они стаскивали его с телеги, барышник ругался. Мужики тыкали его лицом прямо в грязь, в лужи оттаявшей дороги. И ласковым голосом издевались над чихающим, ревушим, умоляющим человеком:

— Ты уже завтракал? Нет? Ну, так наедайся досыта. Ешь, да поскорее, следующий ждет своей очереди.

Потом отпускали. Так они еще до рассвета успели стащить с телег около шести скупщиков скота. Эта шатия обычно рано слетается на место и обнюхивает село, как стервятники падаль. У них угвор — сбивать цены.

Деньги нынче — редкое добро.

Осенью, перед началом описи имущества, барышники стали об'езжать деревни одну за другой. Но сами не начинали покупку, ждали, пока им предложат корову. И тогда предложения являлись сразу со всех сторон.

— Да что с вами, батенька, кто же нынче покупает мясо? У кого теперь есть на мясо деньги? Шкура еще может пойти в дело. Ну, и кости тоже. А мясо ни одному чорту не нужно. — Так они уже в то время сбивали цены. Покупали только в том случае, если к ним уж очень приставали и отдавали совсем дешево. А зимой, прежде чем купить, говорили:

— Принесите сначала бумажку, что корова ваша не описана за недоимки.

Бумажек у бедняков, конечно, не было.

Пикеты стояли на ведущих к селу дорогах. Начальником одного из этих постов был Иштван Мештер. Волосатое лицо его блестело, маленькие глазки хитро искрились, особенно когда огромные лапы его сжимали горло барышника.

— Смотри, не задуши его, — пытался остановить Мештера один из его спутников-крестьян.

Выпустив свою жертву, Мештер все еще смотрел на нее с вожделением. На дороге, ведущей в Боз, дежурил Шан-

дор Бенце. Вместе с ним на-страже стояли Михаль Фило и двое крестьян. Здесь долго не кантелились.

— Ты скупщик скота? — коротко спрашивал Бенце, и барышник уже болтался в воздухе.

Бенце больше всего следил за крестьянскими телегами. Приедут ли они? Как тогда, в двадцатом году. Хэдьковцы приехали в боевом порядке; сорок упряжек прибыло из Боза. Бенце прошелся к пикету Иштвана Мештера. Да, тут тоже уже появились люди. На колюевской и фюлешской дороге орудовал Йожеф Рац. Он уже в полночь был на месте. Сейчас же после увода коров он приехал к Бенце и поставил своих лошадей в его конюшню.

— Ложиться будешь? — спросил его Бенце, указав на стоящую в углу конюшни кроватку.

Рац отрицательно покачал головой.

— Ты знаешь, — начал Бенце, — он ночует в комнате.

— Кто это?

— Горожанин, что вчера в Хэдьке был.

— Можно мне зайти к нему?

— Нет, он не хочет, чтобы об этом кто-нибудь знал.

— Но сейчас я все равно знаю об этом.

— Считаю, все равно что не знаешь.

— Но почему же, — недоумевал Рац, — почему об этом нельзя знать?

Бенце стоял у притолки. Рац подошел к нему.

— Они правы, — ворчливым шопотом начал Бенце. — Они правы, эти коммунисты. Но я-то не могу, братец, привыкнуть к ним.

Эти вечные прятки... Нет. Лучше сто раз погибнуть. Нужно врага обманывать, скрываться от него, стараться его перехитрить. Но мне-то это никак не удается. А он — умный парень. Он говорит дело. Я ночью привез его на своей телеге. Все, что он говорит, правда. Но... знаешь, эта правда поднимается против нас. Все, что они делают, они делают против нас. А то, что мы сейчас делаем, это работа пьяного дровосека: мы рубим сук под собою. Впрочем, дерево это снизу доверху трухлявое. Оно

сгнило и упадет без нашей помощи. Хотим мы этого, или не хотим, но мы скатимся в пропасть. Так лучше хотеть. Прежняя наша жизнь уже не вернется. Те времена, когда мы могли кое-что себе приобрести, прошли безвозвратно. Нас все забыли. И эти тоже. В девятнадцатом году. Но теперь они научились действовать по-другому. Они теперь говорят правду. Господа до смерти их травят, а все-таки они правы.

Низкий, ворчливый голос его оборвался

— Разве они не хотят верить, что мы с ними? — спросил Рац.

— Они... Да, они не могут поверить этому, — ответил Бенце и рассмеялся коротким, странным смешком.

— Они мне не могут поверить. Не вполне... — продолжал Бенце.

— Он так сказал! Собака...

— Он этого не говорил. Это я говорю. Они могут не поверить мне, потому что я никогда не смогу стать вполне ихним. В делах своих я никогда их не предаю, но в мыслях я бы им беспрестанно стал изменять. Я испорчен, я господским другом был.

Он глубоко вздохнул. Казалось, что сама ночь помогла ему так вздохнуть.

Бенце прошел вперед. В кухню падал свет из первой комнаты. Там сидели за столом занятые разговором Юлишка и этот парень из города. Бенце увидел, что рука парня стала гладить блестящие черные волосы девушки, а глаза Юлишки засверкали. Бенце отвернулся и, как будто гонимый кем-то, вышел.

На краю деревни его уже ждал Михаль Фило вместе с остальными. Стояли молча, прислонившись к дереву или стене. Ночь была тиха. Нигде ни шороха. Ни одного жандармского дозора. Это Пензеш-Варга хорошо затеял. На рассвете, когда первого барышника проучили, Бенце разыскал выставленные пикеты. Они все стояли на своих местах. Перед Йожефом Рацем он остановился, долго смотрел на клубящиеся вдали облака.

— Слушай-ка...

— Да?

— Я иду домой.

— Ладно, иди.

Бенце, сгорбившись, шел домой. В горнице горожанин спал на кровати одетым. Бенце глядел на него долгим, внимательным взглядом. Спящий зашевелился, открыл глаза, вскочил.

— Еще рано, — сказал ему Бенце.

— Доброе утро, батя. Спасибо за гостеприимство, — он заметил, что Бенце жестом отказывается от благодарности. — Мне пора. Не знаю, когда мы увидимся. Может быть, никогда, а может быть, очень скоро...

— Ты уходишь? — удивился Бенце.

— Нынче я весь день пробуду в селе.

— Так почему же ты со мной прощаешься?

— Мне не хочется вас подвести.

— Мне уже ничего не повредит, — горько улыбнулся Бенце.

— Нет, это не годится. — Парень подал ему руку. — Юлишка, ваш «сын», — молодец девушка.

Это обрадовало Бенце. Он жадно, обеими руками схватил руку уходящего парня.

В хлеве Бенце зажег фонарь, подвязал фартук и, взяв железные вилы, стал чистить помещение. Настла свежей соломы лошадям, вычистил и опустевшее стойло коровы. Уже совсем рассвело. В углу хлева, спрятанный под постелью, лежал револьвер солдата. Бенце осторожно стал его рассматривать. В нем еще оставались две пули. Он поднял дуло ко рту.

Он увидел туманное, покрытое печеной утро. В двери стояла Юлишка. Ветер вздувал юбку, рука ее судорожно вцепилась в притолку, лицо искажилось ужасом. Она испустила громкий крик.

Бенце встал и, шатаясь, подошел к дочери.

— Смотри, — сказал он устало, — предохранитель закрыт. Я не хотел...

Погладил волосы девушки. Зубы его стучали от жестокой лихорадки.

Солдатик с общинными служителями еще ночью привел Пустая в замок. Парня пихнули в одну из полуподвальных комнат дома. Тотчас же явились витьязи Лани и Часар с левентским ин-

структором. Они вошли в комнату. Молодой Мештер сопровождал их.

Лани снял с Пустая широкий ремень и дал ему тонкий. Парню связали кисти рук, подняли связанные руки вверх, над головой, и оттянули назад. Перед Пустаем, наступая ему на ноги, стал Часар. Справа стоял агроном-практикант, слева — Янош Мештер. Так стоял Пустай несколько мгновений. Практикант ударил его палкой по животу. Парень громко вскрикнул.

— Господин управляющий желает знать, кто тебе на прошлой неделе дал листовки, от кого ты их теперь получил и кому передал их. Выкладывай имена, живое.

Пустай не ответил.

Снова засвистели палочные удары по его натянутому до предела животу. Парень закусил губы, не издавал ни звука. Вдруг без слов ружнул наземь. Придя в себя, он почувствовал, что на него брызгают водой. Четверо палачей наклонились над ним. Оба витязя с серьезными лицами и молчаливым рвением, практикант — с любопытной улыбкой, солдатик — с перекошенным, дергающимся лицом.

— Ну, теперь ты знаешь, кто это был?

— Нет, — проговорил Пустай.

Они опять принялись его бить. Обесиленный, он заметил, что мучители его тоже тяжело дышат, а практикант отирает пот со лба. Ладно, посмотрим, кто раньше сдаст.

Мучители применили новый способ. Они просунули трость между пальцами Пустая и стали крутить и давить их. Он опять закричал.

— Ну, будешь ты говорить? — спросил инструктор. — Мы у тебя, мерзавец, все кишки выпустим.

Они вцепились ему в волосы. Швырнули его лицом об пол. Пустай заорал, как одержимый. Практикант заткнул ему рот шапкой.

— Грязная каналья! — бесновался инструктор. — Ты — кусаться! Ну погоди же!

Оба витязя со спокойной деловитостью стянули с Пустая штаны. Быстро, как наперегонки, посыпались на нагое

тело палочные удары. Парень лежал недвижно.

— Помер, — произнес Лани, выпрямившись.

Инструктор перевернул безжизненное тело Пустая.

— А не еврей ли он? — засмеялся солдатик. — Давайте-ка поглядим.

Оба витязя усмехнулись. В руке Лани блеснул карманный нож. Хрипя, он нагнулся над парнем. Янош Мештер стоял по-военному прямо. Часар раздвинул ноги Пустая.

— Стой! — крикнул практикант, отстраняя сжимавшую нож руку Лани.

— Ах ты, собачий сын! — рыча и скрежеща зубами, Лани бросился к практиканту, пытаясь пырнуть его ножом.

Инструктор ответил ему ударом кулака в подбородок. Витязь ружнул рядом с Пустаем.

— Сперва, — запыхался инструктор, — сперва пусть имена скажет, потом можете его оскопить. — Он взглянул на парня. Снова открывшиеся глаза Пустая, полные ужаса, блуждали из стороны в сторону. — Так ты очнулся. Ты, значит, видел? Да? Так понимаешь, в чем теперь дело? Теперь ты знаешь имена?

— Ничего я не знаю, — едва слышно прошептал Пустай.

Пытка продолжалась. Из глаз парня полились слезы.

— Ты не знаешь? — топал ногами инструктор. — Ты защищаешь евреев? Все коммунисты — евреи. А тот старый болван Кэрако? Он уже во всем сознался...

Пустай закрыл глаза, словно от вспышки яркого света. Он отчетливо произнес:

— Кэрако? Он солгал.

— Он тебе сам в лицо скажет.

«Неужели этот старый олух во всем сознался?..»

— И пусть сознается, — застонал он, — пусть себе сознается.

Его подняли. Он не мог стоять на ногах. Они схватили его подмышки и потащили вверх по лестнице, на двор... Ночь была темная. Парень взглянул на небо. Скоро займется заря... заря... за-

ря... В комнате, куда притащили парня, стоял, лицом к стене, Кэрако. Рядом с ним жандарм.

— Ты знаешь этого человека? — спросил инструктор Кэрако.

Кэрако обернулся. Лицо его было страшно изуродовано, в кровоподтеках.

— Знаю.

— Когда ты его видел в последний раз?

— В воскресенье вечером, — спокойно сказал старик, — он ходит к моей дочери.

— А до этого — нет?

— Нет.

— И позже не видел?

— И позже не видел.

Инструктор налетел на старика, вцепился ему в седые усы. — Ты здесь у меня содхнешь...

Пустая сволокли обратно в погреб и бросили головой об пол.

Может, и умереть придется... Ну, и пускай. У него нет ни отца, ни матери, никого на свете. Ну, и пусть. А ребенок, если он родится у Маргит? Беденькая...

— Воды, — прохрипел он в полусознании.

Ему поднесли стакан ко рту. Парень вытянул губы. Стакан отдернули.

— Сначала скажи, — настаивал инструктор.

— Я ничего не знаю.

Пустай без сил опустился на пол.

Вошел врач, пощупал пульс, покачал головой и ушел. Все удалились. Пустай лежал. Долго. Ему хотелось спать. Возможно, что он и заснул. Ну да, конечно, он немного поспал. Открылась дверь, вошел управляющий. В комнате было прибрано. За управляющим шел солдатик с подносом в руках. На подносе дымилось кофе, лежала булка. Развязав Пустая, солдатик вышел из комнаты.

— Вставай, — приказал Денеш Бицо, — садись за стол и ешь.

— Не хочу, — ответил Пустай, не поднимаясь. Но передумал и на животе подполз к креслу, выпил кофе, с'ел булку.

— Что? Хорошо? — рассмеялся управляющий.

В комнату вошел Имре Пензеш-Варга, прямой, важный. Дружески глядя на парня, он предложил ему сигару.

— Не хочу, — отказался Пустай.

— Ты разве не куришь? — удивился Бицо. — не хочешь ли выпить? Сливянки?

— Я — не пьяница.

Денеш Бицо радовался, видя, как злится кулак, как подергиваются его скулы. Он протянул через стол руку Пустая, как приятель приятелю.

— Ведь правда, сын мой, — начал он, — когда ты на прошлой неделе привез листовки, ты никаких денег за доставку не получил? Ведь нет?

— Я листовок не привозил. Одну муку только.

— Ты привез листовки Пали. Чистые листы. А кому-то другому ты отдал настоящие?

— Пали врет.

— А скажи-ка, Кэрако знает, где находится типография? Раздаточный пункт. Он вчера был в городе?

— Почему я знаю.

— Слушай, сын мой, я тебе правду скажу. Мне рассказывали, что ты к Кэрако ходишь. Кэрако тоже ни в чем не хотел признаваться. Но все-таки признался. И ты признаешься. Я знаю, что ты ка-днях привез листовки. Листовки двух соотов. Белые листы ты передал Пали. Теперь скажи мне только, кому ты отдал другие. Больше я от тебя ничего не хочу. Я даже не интересуюсь, привез ли ты что-нибудь вчера и от кого именно. Это не важно. — Выжидательно улыбаясь, он смотрел на парня. — Слушай, сын мой, если ты не будешь отвечать, то в тюрьму попадешь. И тогда потеряешь место. Твой хозяин уже не примет тебя обратно.

— Коммуниста, да на службу! К чорту их! — грубо захохотал Пензеш. — Ну, говори, живо!

— Не хочешь ли поступить ко мне в имение кучером? — сказал управляющий.

— Еще бы! Ведь я жениться собираюсь.

— На дочери Кэрако? Ну, вот видишь. Тогда я и старика выпущу. Можешь жениться. А возможно, что скоро

и детки появятся? Мне тебя прямо жалко, сын мой. Ведь ты протестант, мадьяр, ты сирота. Есть тут в селе где-нибудь в округе или в городе типография?

— Я не знаю, что такое типография.

— Ну, где листовки печатают. Мадарская такая. Не хочешь ли еще кофе? Тебе у меня будет хорошо. Ты и денег получишь, если захочешь.

— Лучше уж место, — запинаясь, произнес Пустай, — это лучше, места не истратишь.

— Ты, может, не веришь? — Он вынул пачку крупных кредиток. — Видишь, двести пэнге. Они — твои. Спрячь их, — он подвинул к парню деньги. — Где типография и кому ты отдал листовки?

— Мне денег не нужно.

— К чорту типографию. Можешь оставить деньги, если скажешь, кому бы отдал листовки. Назови только мне имя, и ты получишь у меня место. Кто тут в округе коммунисты?

— Я ни одного коммуниста не знаю.

— Я из тебя барина сделаю.

— Не похож я на него.

Управляющий вцепился в спинку стула.

— Пес проклятый! Будешь ты говорить или нет?..

Вертясь на стуле, Пустай старался сесть так, чтобы покрытый рубцами зад его как можно меньше болел. Он был утомлен, ему хотелось спать. В комнате никого не было. Пустай лежал на полу и смотрел на струящийся через окно утренний свет.

— Ты почему не говоришь? — услышал он голос Пензеша-Варги. — Ведь они тебя убьют. Ну, может, ты ответишь?

Пустай с трудом перевернулся на спину. Приподнявшись, он согнул ноги коленями вверх, чтобы только пятками упираться в пол.

— Если бы я и знал, то не сказал, — тихо, со стоном, пробормотал он. — Сначала тебя избьют до полусмерти, а потом хотят, чтобы...

— А кто тебя чем обидел? Тебя никто не трогал. Никто тебя и пальцем не тронул. Понимаешь. Я говорил с доктором. Он то же самое сказал.

— Доктор врет, — простонал парень.

— Заткни глотку! А то я в морду дам.

Пензеш-Варга некоторое время постоял в нерешительности и вышел наружу.

Во дворе замка, против окон управляющего, все еще стоял народ с кирками на плечах. Маленькая армия. Уж этот управляющий! Он-то знает, где раки зимуют. Нехорошо оставлять без присмотра такую кучу народа. Ведь что только могло случиться, приди они на нынешнюю распродажу со своими кирками. Подумав так, кулак громко хрюкнул от удовольствия. Он торопился. У сельского начальника сейчас уже готовятся, наверное, к предстоящему выступлению... А у Бенце, наверно, собрались, олухи ждут денег. Пускай подождут...

Перед домом сельского начальника стояли палатки с товарами. Народ глазел на окна общинного правления. Со всем, как давеча в замке. Пензеш велел жандарму отпереть ему ворота.

Коровы стояли во дворе, выстроившись рядами. Пензеш-Варга опешил.

— А где господа? — взвизгнул он, словно получил удар.

Господа сидели за завтраком. Судебный исполнитель приехал ночью. Он тайком прокрался в село. Утром крестьяне тщетно высматривали его на ведущих в село дорогах. Остановившись у сельского начальника, он встал спозаранку и вышел во двор посмотреть приведенный на распродажу скот. Ругаясь, вернулся он к хозяину дома.

— Чгоб у вас руки отсохли! Кто же это «подсолил» скотину?

Он гремел и метал молнии, говорил о неприятностях, о нарушении закона.

Сельский начальник сердито смотрел на него. Это он велел «подсолить» коров, — насыпать им соли в корм. Он уже неделю тому назад отдал приказ взвесить коров у владельцев, а теперь, когда коровы от соли и воды прибавили не меньше, чем по десяти кило, оч надеялся получить небольшой барыш. Ведь возможно, что не все сойдет так гладко, как он рассчитал. Правда, Пензеш-Варга хорошо подготовил почву: до сих пор

ни один скупщик скота не пришел внести залог. Коров не придется продавать с молотка по-одиночке. Их продадут целой партией. Они пойдут огулом, общим весом. Расценка будет по весу, с кило. Это выйдет триста кило по тридцати хеллеров. Девяносто пэнге... В общем, недурная сделка. А долги крестьянам будут зачитываться по данным взвешивания на прошлой неделе. И чего тут этот господин вопит? Будто он сам никогда ничего подобного не делал!

— Этот номер не пройдет, — нервно бубнил судебный исполнитель: — Мне нужно, по меньшей мере, десять коров. Значит, эти ваши шутки мне худо-плохо в тридцать пэнге обойдутся.

— Да что вы, — отмахивался сельский начальник, — из-за таких пустяков? Мы все это уладим промемж себя.

— Но это — неприятно. Я люблю только чистые сделки.

— Уж не опоздал ли я? — входя, спросил Пензеш вместо приветствия.

Поглядел на остатки сѐденного завтрака.

— Господа, как видно, уже поладили?

Он стал сердито говорить: пусть господин судебный исполнитель зарубит себе на носу, что сегодня он, Варга, претендует на тридцать коров. Да, господа и так всё забрали себе. Но на этот раз настал его черед. Пора уж и деревце хоть разок наесться досыта. Не вечно же одним горожанам только набивать себе брюхо.

— Говорят, теперь у нас — демократия? — Подождав несколько мгновений, он огляделся и воинственно стукнул ногой по разостланной на полу шкуре белого медведя. — Значит, мне нужны все тридцать. Пусть господа не воображают, что им удастся поставить мне в счет «подсоленных» коров. Это не пройдет. Я заплачу только ту сумму, которую зачислят за недоимщиками. Издержек по транспорту я тоже на себя не приму. Ни гроша я не заплачу. От меня господам не поживиться. Я до самого комитатского писаря дойду, — закончил он, успокаиваясь.

Под комитатским писарем он, в кулацком своем высокомерии, разумел обер-ишпана.

— Нет, — произнес сельский начальник, взглянув, наконец, на кулака, — я не позволю говорить со мной таким тоном.

Вот как! Пензеш-Варга был иного мнения. А кто же сделал сельского начальника человеком, барином? Кто, кроме Варги? Сельский начальник вспыхнул. Он вспомнил о деньгах, выданных им на предвыборную кампанию, большую часть которых кулак оставил себе.

Судебный исполнитель спокойно курил папиросу. Он сам достал себе из буфета ликер. Вот это хорошо и приятно, когда ссора... Когда двое дерутся, третий уносит добычу. Тридцать хеллеров за кило живого мяса. Десять коров весят пять тысяч кило. В городе, на бойне, он получит по сорока хеллеров. Одним словом, пятьсот пэнге. Это — недурно.

Шумный спор умолк. Сельский начальник уединился с кулаком в один из углов комнаты. Там они стали шопотом переговариваться и быстро помирились. Пензеш-Варга со всем согласился. Эта «подсолка», значит, была сделана на тот случай, если бы кто другой стал покупать коров. Одним словом, все в порядке. И залога можно будет не внести. Надо устроить так, чтобы погнать скот в город нынешней же ночью и получить деньги завтра же прямо с главной бойни. Обойдусь без Глюкклиха. Вперед вносить деньги не нужно, а это самое главное. Собственно, из-за этого и загорелся весь сыр-бор. Налив большой стакан ликера, сельский начальник подал его Пензешу. Кулак одним духом проглотил напиток, выпрямился и тяжелыми шагами вышел из комнаты.

— Вот что, — произнес сельский начальник, отдуваясь. — Я считаю, что теперь как-раз пора немножко навести порядок. Ведь нахальство этих вонючих мужиков прямо не знает границ.

— Для наведения порядка хорошо бы подпустить коммунизма... совсем чуть-чуть, — засмеялся судебный исполнитель.

— Что ж, я на это согласен.

— Помните только, что коммунисты сельских начальников не жалуют.

— Да и вас тоже, — усмехнулся сельский начальник, выпивая. — Но шутки в сторону. Ты знаешь, я люблю шутки и прочие пикировки, но вы в городе никакого представления не имеете, до чего эти мужики заважничали.

— Пошли-ка ты в окружной центр сведения о недоимках.

Судебный исполнитель дал хороший совет. К сожалению, его нельзя исполнить. Ведь кулаки тоже сидят без денег. Водятся деньжонки у тех из них, кто занимается разными сделками. Например, этот Варга... Так лучше оставить их в покое, пока не пройдут тяжелые времена и не поднимется цена на пшеницу. А тогда и их можно будет за шиворот схватить. Пока лучше всего послать судебного исполнителя к землекопам и малоземельным. К тем, что теперь, после торгов, останутся среди своих голых четырех стен. Плевать на их нытье!

29

Жена Кэрако рано утром отправилась в село. Перед сухими, плачущими без слез, глазами стояло, словно поддразнивая, страшное видение: из рта и ушей Кэрако лилась кровь. Ускорила шаги. Свернула с большой дороги. Пошла по садам. В саду Фило стояла небольшая кучка людей. Они укрылись в уголку, около ульев и разговаривали.

Сердце ее сильно билось. Люди заметили ее, но разговора не прервали. Михаль Фило даже приветливо пошел ей навстречу.

— Не меня ли вы ищите?

Но жена Кэрако глядела куда-то мимо него. Она узнала Андраша Кираль и еще одного деревенского парня. Третьего, белокурого веселого человека в синей рубашке, она не знала. Сказать ли ей? Ведь это позор, что мужа ее жандармы увели со связанными руками. Она стояла в трепете, губы ее дрожали.

— Вы, родная, меня, может, ищите? — спросил Кираль.

— Нет, мужа своего.

— Кэрако? — спросил незнакомец. Он поглядел перед собой, потом отвернулся:

Напряженно глядя на незнакомца, она рассказала, что ночью пришли два жандарма. Они связали Кэрако руки ремнями, не сказали ни слова, в чем ее муж провинился. Просто увели его с собой. Кэрако только грустно поглядел на нее да на детей и ушел, не вымолвив ни словечка. Где ей теперь искать его?

Фило в замешательстве шаркал ногой по земле. Он покраснел, его бросило в жар, расстегнул свою короткую меховую куртку, Андраш Кираль в волнении затягивался папиросой. Незнакомый парень задумчиво глядел перед собой.

— Спросите в жандармерии, — сказал Кираль.

А может, лучше пойти к сельскому начальнику, там ей, безусловно, укажут, куда обратиться?

Пробиваясь через толпу народа, она распахнула дверь общинного правления. Навстречу ей с шумом вышел жандарм.

— Назад! — приказал он.

Она отпрянула назад. Опять пришлось ей локтями и плечами проталкиваться в толпе. Переулки были пусты. Она бежала до самого дома Имре Пензеша-Варги. Не решаясь войти в хлев, она осталась стоять в дверях. Из полутьмы, рядом с лошадьми, выступила широкая приземистая фигура Имре Пензеша-Варги.

— Где Анти? — сдавленным голосом спросила жена Кэрако.

— На что он тебе? — Кулак подошел ближе и стал перед ней, усмехаясь.

— Где он?

— В хорошем месте, — захохотал Пензеш, — вместе с твоим мужем.

— Где он? Где он? Скажите же мне, наконец! — закричала она в отчаянии.

— Оба — в замке. Я с ними полчаса назад говорил.

— А что они сделали?

— Я... Уж я их дело улажу, — сказал кулак.

— Да? — женщина, задыхаясь, подошла ближе к нему.

— Да. Их дело... — он протянул руку и схватил женщину за грудь, — а также и твое...

Она закричала. Бешеная злоба, отвращение и отчаяние поднималось в ней.

против склонившегося над ней человека. Кулак пригнул ее к кровати.

— Пустите меня! — кричала она, но огромные ладони закрыли ей рот.

Она вскочила, схватила стоявшие в хлеву железные вилы. Имре Пензеш-Варга сжал ее руки и стал крутить их. Вилы упали на землю.

— Пусти меня, подлец бесстыжий! — Она вырвалась из сжимающих ее железных объятий и побежала. Она бежала садами, неся с собой свой стыд, свою боль, и ничего перед собой не видела, кроме печальных глаз Кэрако, круглого загорелого лица. Пустая и непрерывно льющейся, пенящейся крови. Вот кровь на лицах стала кипеть, пузыриться... И вместо крови появились красно-рыжие усы Имре Пензеша. Она все бежала, рыдая от безумной ярости. Теперь она уже видела раскрытые ворота замка. А за ними, у хлебных амбаров, толпу людей.

Зачем такое сборище? Ведь не из-за Кэрако же.

Перед двором замка расхаживал дядя Лиханий. Он заговаривал то с одним, то с другим, и отпускал во двор. Там люди располагались, обсуждали ночные события обменивались мнениями насчет тележного похода. Это невредно. Правда, в девятьсот двадцатом году такой поход выглядел несколько иначе. Тогда богатые мужики, сообщая с господами офицерами, охотились за бедняками. Но теперь свет переменялся. Многие считали, что распродажи тоже не состоятся. Никто не станет давать цены, а это значит, что продавать будут дешевле оценки. Каждый сможет купить свою собственную скотину или другое имущество. Людям и залога вносить не придется. А ведь до сих пор было правило, что для участия в торгах нужно сначала внести залог сельскому начальнику. Теперь этот залог отменили. Пожалуй, так можно описанную за двести пэнге корову выкупить за пять пэнге.

Этому много смеялись. Теперь и мужик научился делать дела. Он выкупит свою корову, но так, что покупателем будет, к примеру, не Янош Фило, а его жена. У Яноша Фило двести пэнге не-

доимок, а жена его купит корову за пять пэнге. Их зачтут за недоимку, и Фило чист. Корова будет давать молоко на имя жены Яноша Фило. Вот это здорово.

А поденщики, землекопы? Да им-то и двух пэнге хватило бы. За одеяло, за шкафчик. На такую смехотворную распродажу можно с двумя пэнге явиться, но где только их взять? Только и останется, что отдать людям обратно все их барахло. Не везти же его в город. Не строить же нарочно для этого склад. Нельзя также допустить, чтобы вещи на улице сгнили. Ведь от этого государство богаче не станет. Но всего лучше, если бы управляющий уплатил задаток.

Скажем, хоть по пяти пэнге. Этими деньгами каждый, у кого отобрали вещи, мог бы обратно выкупить свои вещи. Вот бы здорово было.

Они основательно обсуждали все эти возможности. Игнац Рошташ, горячась, бегал от одной группы к другой и рассказывал, что его шкаф, например, стоит двадцать пэнге. Даже старьевщик давал за него десять. Есть расчет выкупить его за два пэнге. У господ прямо совести нету: они у портного отняли швейную машину, уже это, действительно, подлость. Это даже законом запрещено. Но куда ж пойдешь жаловаться? Богу, что ли? Портной, правда, не записывался, но где есть работа для сотни человек, там найдется и для сто первого.

— Ты, что ж, землю наперстком возить будешь? — добродушно спрашивал его Габор Салмаш.

— Землекопом-то я был раньше тебя... — защищался портной. — А кем ты был в девятьсот десятом году? Пешком под стол ходил.

Было холодно. Все теснее сгрудились. Выстроились двойными шеренгами против квартиры управляющего. Кто-то вздумал проверить присутствующих. Явились все, даже те, кто во-время не записался. А где же Кэрако?

Дядя Лиханий ходил между рядами и все спрашивал:

— Вы не видали Кэрако?

Его никто не видел. Йоиарта тоже не было. Народ стал волноваться, надо бы пойти к управляющему делегацией.

Вызвались пойти дядя Лиханий, Андраш Кираль и Салмаш. Уговаривали старика Рошташа, он отказывался, но друзья его подталкивали, и он медленно поплелся за делегацией.

Перед лестницей под сводчатым входом они остановились. На верхней площадке лестницы витязь Лани и жандармы тащили совершенно разбитого Пустая.

Жена Кэрако бежала к дому управляющего. Распустившиеся волосы ее висели прядями.

— Анти! — вскрикнула она.

Дверь захлопнулась. Пустая втокнула в комнату. Свет ослепил его после полумрака погреба. Перед окном с изодранным лицом стояли Кэрако и Пали. Кэрако поднял на Пустая усталые, окровавленные глаза. Пустая пошатнулся и упал. Вдруг зазвенело стекло... Кэрако выскочил через запертое окно во двор. Жандарм распахнул его.

— Окошел? Ах, чтоб его... издох! — в бешенстве произнес он, возвращаясь, белый, как мел, в глубь комнаты.

Снизу раздался звонкий голос жены Кэрако.

— Люди, не допустите! Там, наверху, они убивают Пустая! Господа убивают бедных людей! Не позволяйте! То-варищи!

Огромная толпа во дворе пришла в движение. Раздался ужасный рев. Полетели камни. Сотни ног атаковали лестницу. Вооруженные кирками и лопатами люди ворвались в комнату. Пали, дрожа всем телом, прислонился к стене. Жандарм выскочил в другую дверь. С искаженным гримасой лицом в комнату первым влетел, вращая над головой кирку, Габор Салмаш.

— О, чорт!.. — застонал он и тяжело опустил свой страшный удар на Пали.

30

В торжественном окружении «петушиных хвостов» коровий караван вышел на базарную площадь... С противоположного угла к центру площади широким фронтом двигалась первая линия телег. Коровья процессия подошла к большим весам. Сзади громыхали запряженные

лошадьми телеги. За весами раскинулся целый табор. Коровы с жандармами расположились у весов. Гигантским широким кольцом сомкнулась теперь вокруг них цепь телег.

Сотни безмолвных крестьян напряженно следили за каждым движением господ. Последние заняли места около весов. Неожиданно, никем не замеченные, появились сельский начальник с судебным исполнителем. Их сопроводили оба общинных служителя, тащившие большую кожаную суму. За ними стояли Имре Пензеш-Варга и Трочани. Телеги словно застыли на месте. На несколько мгновений воцарилась полная тишина, и только пар, идущий от лошадей, да легкий табачный дымок, вьющийся из трубок к серому пасмурному небу, вносили некоторую жизнь в это угрюмое оцепенение.

У весов господа беспокойно прохаживались взад и вперед. Свисая вниз, торчала сигара во рту сельского начальника, а кожаная с меховым воротником куртка неудобно, как панцирь, стягивала его необъятный живот. Хитрые глаза его подозрительно скользили по лошадиным мордам и потемневшим лицам крестьян. Судебный исполнитель выпрямился. Посматривая на выросшую вокруг него жандармскую охрану, он затянутой в перчатку рукой перебирал бумаги. Паль Трочани уже бродил где-то поодаль. Пензеш-Варга ходил от одной телеги к другой. Пришли и другие кулаки и смешались с владельцами телег.

— И ты здесь, Рац? — крикнул Варга.

— Я за своей коровой приехал, — крестьянин словно выплюнул ответ и, смотря поверх Пензеша, не взял протянутой ему руки.

— И он явился за этим же самым! За коровой твоей явился, — рассмеялся кто-то из толпы.

Это говорил городской парень. Подмигивая, он добавил, что Варге хочется купить все, потому он и заставил разогнать барышников.

— Что? Я? — Пензеш-Варга покраснел и надулся. — А ты что за птица? Я вас нынче в первый раз вижу.

— Ты еще о нем узнаешь, — мрачно крикнул Рац с телеги, — узнаешь, не бойся!

Кулак проскользнул между телегами. Чужой белокурый парень исчез. Пензеш искал односельчан. Все те, что стояли здесь, были из окрестных деревень.

Кучка господ и жандармов все еще совещалась вокруг весов.

— Нет, так ничего не выйдет, — неторопливо проговорил сельский начальник. — послушайте, надо их перегруппировать.

Тележный табор ждал в волнении. Судебный исполнитель нервничал, чувствуя себя, словно на горячих углях. Только бы скорей, скорей управиться с этим делом! Он схватил сумку с описями, сгреб все бумаги и положил их на маленький столик. Над лошадьми и телегами возникал и плыл тихий беспокойный ропот. Задние вставали на цыпочки. Женщины поднимались на телегах. Все смотрели вперед, в сторону господ. Имре Пензеш-Верга проталкивался между лошадьми. Он искал Бенце и Мештера. Йойарта здесь нет, он дома сидит. Вчерашний арест нагнал на него страху. Фило тоже будет участвовать в торгах на свою корову, если только у него деньги есть... Керстурцы и хэдьковцы сидели на передних телегах и, не стесняясь, перебрасывались резкими, смелыми словами.

Беседой руководил хэдьковский крестьянин с пышными усами. Он был распорядителем всей базарной площади. Уста его редко произносили слово, но люди подчинялись ему. Фигура его появлялась то здесь, то там в туманном сумраке.

— Мы нынче вырвем у господ наш последний кусок хлеба, — крикнул он людям.

— Это он здорово сказал, — одобрительно шумели крестьяне.

— Мы живем в тесноте, да они не в обиде. — раздалось сзади них. Хэдьковец обернулся на этот веселый знакомый голос и увидел городского парня.

— Вы Бенце не видали? — крикнул хэдьковцу Пензеш.

— Видел. Он ждет, чтобы ты ему денег принес.

— Денег? Нешто у меня банк?

— Банк-то у богача-еврея, — вставил кто-то.

— У него, у него, конечно. Не у бедного же крестьянина банк, — попробовал отшутиться Пензеш.

— Богатый еврей с кулаками вместе дела обделывает, надувает бедняков — евреев да крестьян, — произнес кто-то сзади.

Пензеш-Варга возрился на говорившего. Это был опять тот же белокурый незнакомец... Кулак начал искать свободное место, откуда можно было бы обозреть всю толпу. И куда только делался Бенце? Ведь дело касается и его коровы тоже... Должен был притти, как уговаривались, в девять часов. Так-то так, но ведь уговор был, что Пензеш в девять часов принесет деньги...

Он очутился теперь за табором.

На площадь влетел экипаж из замка... Лошади, вытянувшись струной, словно плыли по воздуху. На козлах сидел не барский кучер, а дядя Лиханий с бичом в руках, на заднем сиденье лежал Пустай и... глянть-ка, глянть: Кэрако! И тут же, поддерживая и прижимая их к спинке экипажа, чтобы они не скатились во время быстрой езды, разместились Игнац Рошташ и жена Кэрако. Бесшумно экипаж завернул к тележному табору.

— Они людей убивают... — возбужденно обратился к людям дядя Лиханий. Остановив лошадей, он встал на козлах. — Вот глядите!

Все уставились на лежавшие в экипаже человеческие развалины. Жена Кэрако, стоя перед мужем на коленях, поддерживала бессильно свешивающееся, падающее тело. Старый Рошташ держал Пустая. В замке события разыгрались с быстротой вихря. Старик упал из окна тогда, как зрелое яблоко с дерева. Крестьяне, землекопы, стройными рядами стоявшие во дворе, бросились к нему. Размахивая кирками, люди окружили лежавшего в луже крови человека, а тот сдавленным, хрипящим голосом все повторял:

— Они убивают!.. убивают бедняка!..

Что только сделалось с Салмашем? Он первый сорвался с места и, махая киркой, будто тростинкой, помчался впе-

ред. Лиханий, Кираль и еще десять, двадцать других побежали за ним. И вот они уже несли на своих руках Пустая вниз. Вот уже привели запряженных в барский экипаж лошадей. Скорей к доктору... Вот они и очутились здесь.

— Лиханий, слушай, Лиханий, а что будет, ведь мы этот господский экипаж кровью замарали?..

Экипаж рывком тронулся с места и покатил со своим грузом к церкви.

Впереди, у весов, жандармский унтер-офицер влез на стол. Сельский начальник наклонился к судебному исполнителю. Штыки словно застыли. Имре Пензеш-Варга взобрался на одну из телег. Он окинул взглядом толпу. Наконец-то Бенце появился на площади. Рядом с ним, отдуваясь, шел Иштван Мештер.

Имре Пензеш-Варга гаркнул во весь голос:

— Люди! Торги начинаются! Не бойтесь! Я все беру на себя. У меня тоже нет денег. Ни у кого нет денег... — Площадь затихла. Голос богатого мужика разносился над ней. — Я все возьму на себя, и каждый сможет выкупить у меня свою корову. — Соскочив с телеги, он подбежал к Бенце. — Ты слышал?

Темное лицо Бенце было измято бессонницей.

— Торги начинаются! — сказал Пензеш.

На другом конце площади, мимо катящегося экипажа, бежали вооруженные топорами и лопатами люди. Запыхавшись, еле переводя дух, качали они головами в такт мерному бегу. Полы длинных тулупов развевались; пустые сумы описывали за их спинами широкие дуги. Так примчались они сюда, тяжело дыша.

— Вон судебного исполнителя!

— Долой правительство!

— Долой жандармов!

— Работы и хлеба!

В воздухе, словно знамя, разносился боевой клич. Неожиданно выскочил белокурый парень и понесся навстречу бегущим.

— Кто ты такой? — схватил его за куртку Пензеш-Варга. — Постой-ка!..

Кулак стоял, прислонившись к лошади Бенце. Лошадь внезапно сорвалась с места. Иштван Мештер втащил городского парня на телегу. Загромыхали колеса, и подводы медленно, сомкнутым боевым строем, поехали вперед.

— Ты что же, жандармом стал? Бейте его! — И на замешкавшегося, смертельно испуганного кулака, градом посыпались тяжелые удары. — На наших коров позарился? Ах ты, собачий сын!..

Жандармский унтер-офицер спрыгнул со стола. Прибежавшие из замка люди окружили сгрудившихся людей. Сельский начальник укрылся в будке сзади весов. Слова жандармского унтер-офицера терялись в гуле голосов, скрипе колес, лошадином ржании... Круг жандармов вытянулся прямой линией. Кольцо телег все сужалось.

— Стой! — загремел жандармский унтер-офицер, снова вскакивая на стол.

— Отдайте наших коров! — страшным голосом проревел Мештер, и тотчас же, вторя ему, из сотен глоток вырвались яростные, буйные, беспорядочные крики:

— Мы хотим работы, хотим хлеба, долой господ!.. Революция! Да здравствует революция! — зазвенел детский голос: — Где мой хозяин?.. — Одетый в красно-бело-зеленую ливрею найденыш, прибежавший сюда вместе с землекопачами из замка, перескакивал с одной телеги на другую, пока, наконец, не остался на повозке Бенце. С нее он перелез на лошадь и сел на нее верхом. Как безумный, выкрикивал мальчик в бушующий гвалт бессмысленные слова и тоже гнал лошадь вперед.

Кольцо сжималось. На площадке весов стоял судебный исполнитель. Сельский начальник с трудом вылез из тесной будки и, жестикулируя, побежал к жандармам. Жандармы взяли на прицел. Залп в воздух. Тишина.

— Остановись! — хрипло приказал унтер-офицер. — Будем стрелять!

И справа, и слева, и сзади, и спереди люди во-всю хлестали лошадей.

Залп.

Лошади начали падать. Все смешалось в кровавом водовороте — лошади,

люди, телеги. Трескотня стрельбы терялась в оглушительном грохоте бросившегося в атаку тележного табора. Лошади наезжали на жандармов с тылу, владельцы повозок орудовали вальками, палками. Кони вставали на дыбы, поднимали дышла, повозки... Винтовки со штыками словно растаяли. Растаяла и жандармская цепь. Почти касаясь друг друга мордами, останавливались ржущие взмыленные лошади. Под ногами у них взвивались жандармы. Шляпы их были втоптаны в грязь. Многие, пытаясь подняться на ноги, вместе с кровазой слюной выплевывали зубы. Другие лежали ничком, без движения. Некоторые, стиснутые между телегами, вставляли на ноги и молили о пощаде. Откуда-то появился поддерживаемый жалостливыми людьми Имре Пензеш-Варга. Он лежал под телегой весь в крови, лицо его было залаяно грязью.

Пуля оцарапала лицо Бенце, другая прошла под левой лопаткой. С трудом поднял он тяжелые веки.

— Крестьяне, братцы, рабочие! — заревел он, напрягая изо всей силы громовой голос: — У нас последний кусок хлеба вырывают... Господа нападают на нас с оружием в руках... С тем оружием, что они у нас отняли. С тем, что они когда-то сами вложили нам в руки, чтобы мы подняли его на бедняков, на рабочих, на неимущих крестьян. Но придет время, когда опять у нас будет оружие.

— Придет время, — загремело в ответ тысячекратное эхо.

— Придет время, когда и земля у нас будет.

— Будет у нас земля, — переменяя боль, Бенце снова заговорил, — и тогда уж у нас не будут отбирать корову, последнюю подушку, последние лохмотья, последний кусок.

Недалеке раздавались протяжные, переходящие в звериный рев, стоны жены Иштвана Мештера, стоящей над трупом своего мужа.

Зазвонил на колокольне набатный колокол. Затрубил рожок. Сигнал к атаке против бунтовщиков. Ворота пожарного сарая за церковью распахнулись... Отовсюду сбегалась левентская молодежь.

Из еврейской синагоги тоже выбегали один за другим закутанные в талесы сыновья еврейских торговцев, но возвращались и, до смерти перепуганные, возносили с громкими причитаниями и бесчисленными поклонами мольбу всемогущему...

В левентских шапочках, с винтовками на плечах выбежали ребята из пожарного сарая. Они построились шеренгой. Командовал ими ученик военной школы. — Отца твоего убили, — подбегая, шепнул ему Михаль Фило.

— Становись в ряды! — кричал ему Янош Мештер.

— Айда на базарную площадь, — орал Фило: — Господа народ убивают.

— Становись в ряды, собачий сын!

Один парень выскочил из рядов, за ним последовали еще четверо, потом пять, десять человек. Весь отряд рассеялся. Трочани-младший бежал без оглядки.

Кто-то ударил Яноша прикладом по спине.

Мимо церкви протарахтела телега. Йозеф Рац правил, погоняя лошадей. Сзади него сидела жена Иштвана Мештера. Она смотрела на дно телеги, где лежал, пугливо озиравшийся, судебный исполнитель.

— Ты нас быком покрыть хотел! — визжала она, впиваясь скрюченными пальцами в лицо исполнителя. За телегой громыхала длинная вереница подвод. Они неслись, где попало, по селу, по полевым дорогам, по лугам, по лужам, не разбирая. Судебный исполнитель поднял глаза к небу. Наступил страшный суд. Эти мужики не знают пощады. Крестьяне стянули с него одежду и обувь. Мелкнуло шелковое белье...

— Ты меня быком покрыть хотел, стервец! — и жена Мештера сорвала с него дорогое шелковое белье.

Они раздели его догола. Телега неслась во всю прыть, подсакаивая на выбоинах. Судебный исполнитель, голый, был сброшен, как щепка, на грязную дорогу.

— Беги в город к своим шлюхам!

— Не троньте меня, — человек, дрожа, упал на колени. Она хлестнула судебного исполнителя бичом

по плечу. Ремень оставил кровавый рубец.

Гольй человек бежал... Повозки ехали рядом с ним. Крестьяне неумолимо, неустанно хлестали изо всей силы бегущего человека... Стоя на телеге, жена Мештера ненасытно упивалась жужжанием ремней и судорожными корчами голого мужчины. Крестьяне оставили человека, повернули обратно. Человек слышал набатный колокол, несшийся из бунтующего села, слышал гудение телеграфных проводов. Скоро подойдет помощь из города.

В селе деловито стучал телеграфный аппарат. Перед аппаратом стоял почтмейстер и, запинаясь, все докладывал и докладывал. Главная улица, площадь вымерли. Из еврейской синагоги слышались громкие, обращенные к небу, псалмы верующих. Мычали привязанные к весам коровы.

31

Сгрудившись в одном углу комнаты, люди рассказывали друг другу о дневных событиях. Шандор Бенце лежал на кровати. Голова его свесилась с высоко взбитых подушек. От времени до времени посетители бросали на него взгляд и заговорщически говорили друг другу: «Не доживет до утра»...

Приходил доктор, перевязал тяжелые раны и предписал полный покой. Вспомнил о боге и сослался на крепкий организм Бенце. Выдержит. Вытирая полотенцем вымытые руки, он заметил, что сегодня ему здорово досталось. Еще до обеда к нему принесли двух человек из замка. Один из них, по имени Кэрако, батрак на хуторе у Пензеша-Варги, пострадал ужасно. Говорят, он выпрыгнул из окна второго этажа. Рыльце у него, вероятно, в пуху, иначе он на такое не решился бы. Другой, кажется, возчик Пензеша-Варги. Его тоже здорово обрабатывали. Собравшиеся в комнате люди задумчиво слушали рассказ врача. Он сообщил кое-что и о жандармах. Эти тоже получили свою долю. Двое из них вряд ли переживут завтрашний день, да и остальные, повидимому, останутся калеками. А вот еще случай. Пролом черепа. Этого в его практике еще не попада-

лось. Он имеет в виду Пали, который лежит в замке. И, наконец, солдатик. Этому не придется больше командовать взводом. Есть уже и покойник — Иштван Мештер.

Люди слушали с потемневшими лицами. Ференц Йойарт стоял у окна, засунув руки в карманы, и смотрел на беспечно болтающего доктора. Янош Фило сидел, облокотившись на стол, и глаза его не отрывались от белого лица Бенце. В ногах кровати притулилась жена раненого. Она тихо, пугливо, беспомощно плакала. Низко надвинув на состарившееся лицо платок, она отворачивалась от людских взглядов.

На стоящем перед кроватью стуле сидела Юлишка. Повернувшись спиной к людям, она не отрывала круглых черных глаз от отмеченного уже печатью смерти лица Бенце... После ружейного залпа она побежала искать отца на базарную площадь. Она пришла как-раз к тому моменту, когда поднимали труп Иштвана Мештера, а Шандору Бенце помогали влезть на телегу. Юлишка левой рукой обняла гнущуюся спину отца, в правой держала вожжи.

Она погнала лошадей. Дома она разделала и уложила отца. Пришли соседи, и первым из них — Ференц Йойарт. Он долго стоял у кровати, не говоря ни слова и глядя на затуманенное лицо лежащего в беспометстве раненого, на широко раскрытые глаза, которые уже никого и ничего в комнате не видели.

— Это я... — произнес Йойарт.

Но глаза, тускло блестевшие на неподвижном лице, словно застыли.

Соседей приходило все больше и больше. Комната скоро наполнилась народом. В непрерывающемся сдержанном гуле беседы проходил час за часом. Что теперь будет?.. Приедут военные, начальство из города и из окрестностей.

Говорили о коровах, покинутых всеми, привязанных на площади. Их никто не тронул. Так к чему же было это сражение? Все пошло прахом. Через час Габор Шош вышел на улицу и пересчитал описанных коров. Он погнал их к общинному правлению. Старший общинный служитель отвез туда же описанное барахло. Многих пуховиков, стульев, стен-

ных часов недоставало, — растащили. Они ловко подстроили. Порвали все документы. Теперь уж никто не знает, что у кого было описано.

Бойня... К чему она? Правда, господа по-свински поступают с бедняками, но зачем же толкать народ на такое дело. Что теперь будет? Разгром. В село набьются усмирители, приклады, острог... Каждого посадить могут, каждого, кто не нравится сельскому начальнику, кулаку, господам. Хоть бы проучили их, как следует, а то... Пензешу, правда, немножко попало. Да и судебному исполнителю тоже. Люди горячо расхваливали жену Мештера. Как она раздела его!

Юлишка обернулась на шопот, зажгла лампу.

— Даруй нам, господи, счастливый вечер! — тихо приветствовали люди загоревшийся свет. Но они не получили ответа.

— Нужно позвать его преподобие, — проговорила жена Бенце плачущим голосом.

Мать робко коснулась плеча дочери и повторила свою просьбу. Стоявшие вокруг люди насторожили уши и подошли ближе. Они впивались глазами в тяжело дышащую грудь умирающего, в опухшее от слез лицо женщины и закушенные губы девушки.

— Ю-ли, дитя мое! — плакалась мать. — К его преподобию...

Шандор Бенце поднял тяжелые веки. Взгляд у него был ясный, разумный.

— С ним, с попом, в одну могилу!? — Глаза его снова закрылись.

Вдруг оглушительный топот конских копыт разбил тишину вечера. Кое-кто выбежал на улицу.

С реющими петушиными перьями на головах вступали в село конные жандармы. Рядом с ними, запыхавшись, высунув язык, бежали предатели, доносители.

Кто-то с силой толкнул дверь. Две винтовки с примкнутыми штыками просунулись.

— Здесь Шандор Бенце? — спросил один резким тоном.

— Да, — ответила девушка, вставая со стула.

— Ну, так за мной! — И «петушинный хвост» подошел к Йойарту.

— Да вот он, — отклоняя от себя приглашение, показал он на кровать.

— Почему он лежит? — Жандарм остановился в замешательстве.

— Его убили, — произнесла девушка.

— Кто?

— Вы! — ответила Юлишка, выпрямляясь.

Когда шаги «петушиных хвостов» затихли, Йойарт собрался уходить. Откуда-то доносилось пение. Гудя и грохоча, подкатывал грузовик с солдатами в шлемах. Чьи-то громкие выкрики смешались с пением солдат.

— Земли! Работы! Хлеба!.. Долой правительство!

Высокая фигура Йойарта опустилась на стул. Он крепко вцепился руками в столешницу. Яншо Фило, словно прихиваясь, поднял огромный нос. Теперь шум раздался под окном. Задрезжали стекла. Умирающий заметался по кровати.

На пороге в длинном до щиколоток кожаном пальто, в сапогах и с хлыстом в руке стоял Матэ Дула. Йойарт вскочил.

Сняв шапку, Матэ Дула прижал правую руку к бедру и немного постоял так навтыжку. Потом подошел к кровати.

— Что с ним такое? — спросил он тихо.

— Его убили, — тяжело вздыхая и нервно отмахиваясь от гостя, проговорила девушка.

— Убили? Кто его убил? — смущенно спрашивал высокий господин.

— Вы! — ответила девушка.

Губы умирающего дрогнули, бессильно задвигались лежащие на перине руки.

— Юли, Ю-ли-шка, Юль-ча... — с трудом, чуть слышно сказал он.

Дочь села на стул и горько зарыдала.

— Не верят, не верят, только если по-ве... — Голос прервался, из груди звуки вырвались наружу. — Вождь... он верит, тот... городской... Кэрэ-кэш...

Люди обстудили кровать. Раненый открыл глаза. Красивое, круглое лицо

его разглядилось. Из глаз, вначале потемневших от ужаса, исчезла угрюмость.

Он смотрел на каждого в отдельности, долго, внимательно, прощаясь. Потом взгляд его остановился на лице дочери, мягкий, бессильный взгляд. Лицо пожелтело.

— Сейчас кончится, — произнес Йойарт.

Что-то стукнуло по столу. Фило, бросившись на стул, прерывисто рыдал.

Матэ Дула по дороге к замку встретил врача, который рассказал, что бутылка глинтвейна поставила судебного исполнителя на ноги. Матэ Дула угрюмо ехал вперед.

32

Обе группы допрашивались порознь. Отдельно крестьяне. Отдельно землекопы. Шомполы и приклады, хлысты и воловьи бичи одинаково рвали одежду и кожу крестьян и землекопов. Выбивали зубы, ломали ребра. Пролитая кровь одних и других была одинаково красной. Истязуемые и истязатели одинаково пахли потом. Из обоих застенков раздавались крики, стоны, вопли. Патрули на улицах иногда останавливались на минутку, прислушиваясь, крепче сжимали ремни винтовок и шли дальше.

Мучители получили новое подкрепление. Пьяный, с багровым лицом, пришел управляющий, с женой и руководителем окружного «Союза витязей». Пустаем они уже не интересовались. Истерзанному Кэрако они тоже не уделили ни взгляда. Широкое лицо Габор Салмаша было похоже на кровавый кусок мяса. Седые усы Игнаца Рошташа были смочены его собственной кровью. Управляющий, вместе со своими спутниками, спотыкаясь, искал дорогу между корчившимися на полу людьми.

Дядя Лиханий, слепой Кираль, десять землекопов—все были тут.

Никто не знал, куда скрылся Андраш Кираль. Слепой ничего не отвечал. Выпуклая грудь его выпятилась вперед, и из глотки вырвался нечленораздельный рев.

— Погоди ты, свинья, сейчас твой черед будет, — «успокоил» его один из жандармов.

Старик не ответил. Несчастному Лиханию, должно быть, пришлось плохо. Он стонал совсем тихо. Слепой прислушивался к Габору Салмашу. Этот скупой на слова человек рычал теперь, как бешеный, загнанный в угол зверь.

Их много спрашивали о Петраше и о происхождении листовок. Особенно интересовались белокурый незнакомец.

— Белокурый? — сердито переспросил слепой Матэ Кираль. — Да откуда же мне знать его.

Тяжелая оплеуха оборвала его слова.

Имре Пензеш-Варга, хохоча и лыхтя, толкался среди истязателей-жандармов. Белая повязка чалмой возвышалась у него на голове. Он чувствовал себя, как петух на навозной куче. Иногда он даже по-солдатски щелкал каблуками. Оказалось, что многие видели белокурого парня на телегах окрестных крестьян. Имре Пензеш-Варга не сомневался, что не кто иной, как именно этот парень, взбудоражил все умы. Пусть выдадут этого преступника, тогда можно будет скостить два-три года тюремного заключения. Так заявлял Варга еще в замке, куда арестованных доставили сразу после обеда, — до того, как их передали потом в жандармерию. Пензеш-Варга последовал за ними. Он собственноручно бил людей и все вновь и вновь спрашивал о белокуром парне. Пензеш подошел к Йожефу Рацу.

— Я его на твоей телеге видел, — произнес он.

— Дай мне только вернуться домой и я из тебя кишки выпущу, — и Рач выплюнул кровавую слюну в ноги Пензешу.

— До тех пор еще много воды утечет из Дуная, — самодовольно, тоном победителя возразил Пензеш.

Жандармы ушли из комнаты, только Пензеш и оба витязя остались. Закованная в кандалы, лежала на полу жена Иштвана Мештера. Она поднимала скованные руки к голове и щупала кровавые проплешины в волосах. Между нею и Рачем сидел найденыш. Он в ужасе глядел на мучителей и мучимых, зали-

вался слезами, поднимался на ноги, чтобы снова рухнуть на пол. Жена Иштвана Мештера погладила его закованной в кандалы рукой. Он успокоился и свернулся клубочком на коленях женщины.

Около них прикурнул Михаль Фило. Он был близок к обмороку. На обращенные к нему вопросы он не отвечал. Промолчал даже на вопрос об его имени. Когда спрашивали о местопребывании белокурого парня, он весь сосредотачивался. Ни крестьяне, ни трое других арестованных членов Левенте ничего не ответили.

Нынче вечером... Там, за насыпью — лес. Туда они все придут. Там соберутся все оставшиеся товарищи. Андраш Кираль будет обязательно, если он еще жив, а также тот хэдьковец с большими усами. Может, и Петраш придет туда, и белокурый городской парень. Он, наверное, начнет свою речь так: «Товарищи...»

Как звон колокола в утреннем сумраке, слышалось ему это обращение.

Вновь вошли в комнату управляющий, жена его и жандармский офицер.

— Встать!

Никто не шевельнулся.

— Ну, пропойте-ка «Интернационал» — приказал офицер, но никто не двинулся. Денеш Бицо сказал мягко:

— Какие же вы коммунисты? Свою песню не знаете! Что ж это за агитатора к вам послали, если он даже об этом не позаботился.

Одним прыжком очутился он перед Рацем. Лицо его перекопилось.

— Но вы еще выучите его, правда, ведь, Раци?

Жена управляющего нагнулась к найденышу.

Его ливрея национальных цветов была запачкана кровью. Губы женщины дрогнули. Она смотрела на испуганного ребенка. Потом с отвращением отошла.

Высокие посетители снова удалились. Пензеш и витязи ушли с ними вместе. Только жандармы ходили взад и вперед по наружному коридору.

Во дворе участка запыхтели автомобили. Один из «петушиных хвостов» читал по списку вслух имена, жандармы

тащили связанных людей на грузовики. На один из них взобрался Пензеш. На втором, рядом с шофером, уселся витязь Лани. Связанные люди лежали на грузовике, словно мешки. Сверху их прикрыли брезентом. Автомобили под конвоем, громыхая, тронулись в путь. После двухчасовой езды остановились. Ночь была холодная и беззвездная. Послышались пронзительные свистки. Они передавались дальше, очевидно, служа сигналом, и им отвечали другие свистки. Вдоль большой дороги, как кровавые точки, вспыхнули огоньки.

Какие-то всадники окружили грузовики. Внезапно во тьме запылали факелы.

Всадники были одеты в офицерскую форму. Среди них находился и управляющий, с револьвером в кобуре и свинцовой палкой в руке. Этой ночью господа собирались праздновать старый обычай. Больше десяти лет прошло с тех пор, как они бесновались в городах, деревнях и хуторах Венгрии. Но когда им хотелось отдохнуть и позабавиться, они приходили на поляну. Выдавленные глаза, вырезанные половые органы, обвитые вокруг древесных стволов человеческие кишки неделями, месяцами украшали эту поляну.

Денеш Бицо командовал отрядом. Был тут и судебный исполнитель. Примчавшийся в село жандармский эскадрон подобрал его на дороге. Единственным мрачным гостем здесь был в прошлом главный начальник всех отрядов — Матэ Дулаи-Дула. Он стоял поодаль и исподлобья глядел на крестьян. Многие из арестованных некогда на своих телегах принимали участие в набегах офицерских бандитов.

Жандармский офицер выбежал вперед и нервно произнес:

— Не делайте глупостей!

Денеш Бицо захохотал и назвал несколько имен. Это были имена его бывших тележных спутников. Потом произнес он имена слепого Матэ Киралья и жены Иштвана Мештера. Что касается Михалья Фило, то он должен был благодарить практиканта, что тоже попал в число «избранных». Денеш Бицо потребовал выдачи этих арестантов.

— Не делайте глупостей! — снова раздался крикливый голос капитана.

Два ряда всадников стояли друг против друга в трепещущем пламени факелов.

Жандармы и грузовики тронулись. Сзади них, на почтительном расстоянии, следовали офицеры. Жандармский капитан отстал.

— Что это еще за глупости? В городе у нас вы сможете делать все, что хотите, а здесь стоит ли... — сказал он.

— Скатертью дорога! — засмеялся Бицо.

— Вот сна, демократия-то! — свистнул судебный исполнитель. — Жаль, а то я охотно бы взял себе на подержание жену Мештера.

— Приезжайте к нам! — Капитан покачал вдогонку своему отряду.

Офицеры все еще совещались. Потом они погасили факелы, дали шпоры коням и с гогом помчались вслед за жандармами...

Лес долго стоял, окутанный тишиной. Уже светлеющие облака плыли над ним. Когда последний шорох утих, с края дороги встал высокий хэдьковский крестьянин и перебежал на другую сторону. Он торопился. Перебегал от одного дерева к другому, направляясь к поляне.

На поляне собрались Андраш Кираль, белокурый городской парень и по человеку из Фрюлеша, Нека и Боза. Долго стояли они с непокрытыми, поникшими головами. Потом белокурый горожанин начал:

— Товарищи, Шандор Бенце умер, умер Мештер... Первый пункт нашей повестки дня: организация районного комитета.

В родовом имени Толстых

А. И. ТОЛСТАЯ-ПОПОВА

(По личным воспоминаниям и неопубликованным материалам)

1. Охота в Никольском-Вяземском

Долго мечтала я поехать на охоту с гончими. Каждый день я кормила наших собак, но они не располагали к мыслям об охоте — скучные, слишком мирные, они никогда не брехали. Прогонишь гончую с места, она пойдет на другое, укоризненно поглядывая. Борзые тоже не брешут, зато непременно набедокурят что-нибудь. То они загрызут овцу в стаде, потому что овцы все разом кинутся от них, то из горячего супа на плите вытащат мясо, то укусят, то сметану слижут с махотки, открыв своей длинной мордочкой кружок. Гончие — тупые собаки, они не проказничают, и я понять не могла, какой от них толк.

Наконец, я дождалась счастливого дня.

Было раннее осеннее утро. Как только меня разбудили, я вскочила с постели и стала дрожать мелкой дрожью. Зубы стучали, мыло выскакивало из рук, вода была невыносимо мокрая, холодная и противная. Но, если я еду на охоту, надо превозмочь все неприятности. Отчаянно поливаюсь и плескаюсь. Как только я вымылась, дрожь прошла, зубы перестали стучать, зато руки озябли, пальцы одеревятели, и я никак не могла застегнуть пуговиц.

Самовар шумел на столе. Из него валил пар. Рядом стояла зажженная лам-

па, которая теперь уже не была нужна, потому что уже светало.

Есть и пить совсем не хотелось, но отец, проходя, строго сказал, чтобы я ела как следует, а то до вечера будем в поле.

Давлюсь, но ем.

Еще мученье. Почему-то мне непременно завязывают шапку платком. Дорогой я платок всё равно скину. Терпеть не могу девичьи принадлежности.

Выхожу на крыльцо. Стоит тележка. Вятки понуро опустили головы — ждут. Абрам верхом. У него за спиной рог, арапник висит на правой руке. Абрам, как влитой, двигается вместе с лошастью, когда она переминается с ноги на ногу. Гончие лежат попарно в смывках и делают вид, что дремлют, иногда только приоткрывая глаза и приподнимая веки. Отец садится верхом на маленького, низкорослого, очень волосатого киргизёнка, в руках — свора борзых. Громадный, густопсовый, чернопегий Ураган смотрит злобно, обнюхивая свою пару, Дона, и рычит. Отец прикрикивает на него и выезжает вперед от других собак и лошадей.

— Дору можно без своры оставить рыскать; она — сметливая, — сказал отец, — а Аляску возьми в тележку.

Я знаю, что Аляска — лучшая собака. Если бы кончик ее тонкого хвоста чуточку не загнулся вправо, она получила бы золотую медаль на выставке, а дали ей серебряную только из-за этого загнутого кончика. Она гладкошерстая,

тигровой окраски, вся упругая, мускулистая. Как-то Абрам ехал верхом, Аляска была с ним и в одиночку затравила матерую лисицу. Из нее мне сделали муфту с лисьей головой и хвостом. Помню, как старик-охотник решил пошутить над молодыми. Положил эту лисью муфту на бугре. Было яркое солнце. Снег блестел. Старик вернулся и говорит:

— Смотрите, ребята, лиса мышкует.

Те все всполошились. Кто с ружьем на розвальнях, кто верхом с собаками, кто от леса заезжает. Волнуются, спешат. А лиса среди поля лежит. Охотники под'езжают ближе, а лиса всё лежит, распушила трубу; собак выпустили, а лиса лежит. Как сейчас, вижу эту картину: стоим мы у окна, смотрим и помираем со смеху.

— Алясочка, Алясочка! — подкликаю я борзую, подхватываю ее под все четыре лапы и поднимаю в тележку. Она успела нюхнуть меня и оставить мокрые следы на моем лице.

— Трогай в Лядовой лес, там Сергей Львович хотел выставиться к нам с ружьем, — крикнул отец. — Дорогой посмотрим заодно и Гринёвский.

— Отрышь, Заливай, Заливай, Затейка! — покрикивает своим тенорком Абрам, посвистывая и разговаривая с собаками.

Гончие идут плотной стаей, опустив головы. Они жмутся одна к другой совсем близко у ног лошади Абрама, которая привычна к ним и никогда не заденет и не зашибет их.

Хвост лошади круто подвязан мастерской рукой. На репице торчит крепко связанная метелочка из кончика хвоста.

Листья еще не облетели, но раскрасились в самые удивительные цвета. Каждое дерево выбрало свой цвет и задорно выставляет листву. На траве лежит седая роса. Даже дорога влажная. Колеса и копыта поднимают верхний мокрый слой, а под ним видна мягкая пыль.

— Возьми-ка и Дорку в тележку, — об'езжая меня, говорит отец.

Я на-ходу спрыгиваю, хватаю Дору, пихаю ее в тележку, семена ногами между колес, и вскакиваю за ней.

С'езжаем в лощину. Туман расстелился по ней густым облаком. Тут дорога ровная, накатанная. Слева растут березки нашей посадки, а дальше Гринёвский старый лес.

Папа переговаривается с Абрамом и трогает рысью своего киргизёнка. Покачиваясь в седле, он уезжает. Собаки его, не натягивая своры, с рыси переходят на ленивый галоп.

Мы сдерживаем лошадей и шажком под'езжаем оврагом к лесу.

— Стойте здесь. Когда услышите зов в рог, тогда под'езжайте, — сказал Абрам и тронул лошадь в сторону. Вятки хотели было двинуться за ним, но я остановила их.

Шуршанье собачьих ног по траве и шаги лошади скоро замолкли. Хотелось выехать в горку, чтобы податься из сырого тумана, но я не смела и стояла на месте.

— Ух, добудь, ух, добудь, добудь его, добудь его! — где-то издали послышался переливающийся голос Абрама. — Затейка, добирай! Заливай! Заливай! Толкни его, ух, капай, капай!

Дора и Аляска неловко заворочались, хотели привстать и навострили уши. Я обняла своих собак за шеи и вместе с ними замерла, слушая.

Наступила полная тишина. Вдруг где-то далеко-далеко гавкнула одна гончая. Гавкнула и замолчала. Потом опять гавкнула, за ней другая, третья, голоса слились. Гончие жарко повели зверя. Лес весь наполнился звуками собачьего хора. Аляска напряглась, дрожала, скулила и чуть-чуть поводила мордочкой. Дора, видно, волновалась, прислушивалась и следила тоже за гоном.

Стая идет от нас, гудит, поёт, потом залилась в вопле и в стоне, очевидно, по зрячему. Звуки явно уходили от нас. Не было сил стоять на месте.

Неожиданно гон прервался, замер.

Не прошло и пяти минут, как я услышала рог, и рысью тронула лошадей по наезженной лесной дорожке.

Только я выехала из леса, вижу — в поле отец привязывает к седлу в торка зайца. Ураган лежит, высунув длинный тонкий язык, дышит тяжело, Дон облизуется. Абрам зовет в рог, на-

дувая щёки пузырем, краснея и напрягаясь, страшно выпучив глаза. Помахивая хвостами, одна за другой выходят на призывный рог гончие, виновато озираясь. Папа продел в кольца ошейников собак свору, взял длинный тонкий ремень в левую руку, вставил ногу в стремя, попрыгал на одной ноге, перекинул ее через спину лошади и подехал к дороге. За седлом, головой вниз, с открытыми мертвыми глазами, висел серый русак. Уши его беспомощно качались, передние лапки были вытянуты, а из груди капала кровь.

— Даже угонки не сделали, как к стоячему подоспели, — громко на ветру говорил отец. — Ураган пронес, а Дон сразу взял.

— В стаю! Под-зад! — взвизгнул Абрам. Стая сплотилась и понуро пошла, окружая лошадь.

Солнышко выкатилось в чистое небо и осветило далекие поля. Воздух прозрачный, чистый.

— Я проеду полями к Лядову, а вы заезжайте, скажите, чтобы Сергей Львович скорей выходил, — сказал папа и повернул лошадь по жнивью.

Дорога наша шла полями, потом протянулся овраг. Его каждый год всё больше и больше размывало весенней водой. Плетни, деревья — всё сносило. Зловеще краснели глинистые отвесные скаты, и дна этого могучего оврага не было видно совсем.

Спустившись дорогой рядом с оврагом, объезжая боковые водомоины, мы стали подыматься в гору по Никольско-Вяземской слободе. Эта слобода кончалась церковью, которую построил мой прадед, Николай Ильич Толстой, отец Льва Николаевича. Дьячком там был старичок с белой бородой, Афанасий Успенский. Он пел чистым тонким тенором, которым восхищалась моя мать. Этот дьячок Афанасий крестил меня и хорошо помнил отца дедушки и его брата, Николая Николаевича.

А вот и домик, где живет сын дьячка — Александр Афанасьевич — мой большой друг. Я ревную его к дяде Сереже, к которому он от нас переехал служить, к его молодой жене и к его делам. У него отмороженные пальцы

култышками. Я люблю трогать эти кулышки и слушать его рассказы о поездках и об его жизни.

А вот и вяз у ворот в'езда к дяде Сереже на двор. Маленький домик, в котором он живет, перенесли в Никольское из Протасова, где я родилась. В Протасове балкон был отделан дощечками с вырезанными фигурками: человечек, петушок, лошадка, человечек, петушок, лошадка... Когда дом переносили, то отделку с балкона перевезли в Ясную Поляну. Она до сих пор украшает террасу яснополянского дома. Фигурки эти для меня нарисовал мой другой дедушка, художник Философов.

На балкон, обвитый диким виноградом, ведет высокая лесенка. Дядя Сережа, видно, только-что встал; свежесмытый, вышел, посмотрел на нас, на лошадей, на собак, в даль — на горизонт — и сказал:

— Поезжайте. Я сейчас иду. Ружье у меня готово. — И, плавно повернувшись от нас, он вошел в дом.

Мы сделали круг по двору, и глаза наши невольно устремились в ту же даль, куда только-что смотрел дядя Сережа. Видно было далеко кругом. Слева вилась река и пропадала под яблонным садом вправо. Я знала, что речка Чернь уходила к Лядову лесу, куда мы ехали, и огибала его. Бесконечные поля частями в жнивьях, частями в молоденьких зеленях, деревни с курящимися трубами, белеющие дороги и беспредельное небо с белыми маленькими стоячими облачками видны были со двора никольского дома.

Лядов лес стоял тихий и загадочный, раскинувшись по берегу Черни. За яблонным садом громадные, старые дубы, липы и березы местами приближались к воде, склоняясь над ней, а дальше, около реки, зеленела чистая, ровная поляна, уходящая вглубь, за Лядовой. Вся гора над склоном плотно заросла большими, корявыми деревьями.

Поднявшись на гору, за лес, мы на опушке, где были поля, увидели отца с собаками. В тороках у него было уже два русака.

Глядим на него, а он, чуть заметно двигая губами, что означало у него всегда удовольствие, спрашивает:

— Где же Сергей Львович?

В это время дядя Сережа мягкими большими шагами выходит к нам из яблонового сада. Он идет, склоняясь вперед, не спешит, но двигается быстро.

— Поеду к Каменному. Собак-то от туда запускать, — сказал Абрам и тронул лошадь. За ним поплелась стая гончих.

— Ты становись в том отвершке. Лошадей надо привязать в опушке, а собак возьми на ремень. Да становись так, чтобы ты не очень была приметна, — начал распределять места отец. — Сережа, а ты куда станешь?

— Какой любопытный! Куда надо, туда стану, — с насмешкой ответил дядя Сережа.

Отец отторочил русаков, положил их под сиденье в тележке, взял на ремень Аляску с Дорой, залежавшихся, с понуканьем и без всякой охоты выпрыгнувших из экипажа. Папа передал их мне.

— Смотри, в лоб зверю не выпускай, — вскользь заметил он. — Иди и жди.

Пока он привязывал вяток, отведя их в опушку, и развязал чресседельник, я пошла к кустам, чувствуя всю ответственность стоять на лазу с собаками.

Подойдя к отвершку, я огляделась, решила привязать один конец ремня к своему поясу, которым была подпоясана моя поддевочка. Таким образом, я тоже устроила себе свору, хотя короткую, и держала ремень за один конец. Собаки легли, но не надолго. Мимо нас вскоре проехал папа, и Дора с Аляской ринулись за ним. Я дернула за свою свору, шлепнула их и стала, облокотившись об упругие ореховые ветки, прячась в желтеющие листья куста. Он хорошо прикрывал меня.

— Смотри не сплошай, — крикнул ласково папа, оглядываясь на меня.

Прозрачный, светлый осенний день. Мелкие кустики в овражке, розоватые, желтоватые, осинки красные трепещут и поворачивают листы при малейшем дуновении ветерка; большие дубы зеле-

ны, еще совсем не тронуты осенью, липы желтеют, а березки из своей свежей зелени показали яркожелтые листики. Поле убранное, чистое, ровное, только на межах кое-где видна седая полынь. Паутинка подымет, полетит, потом зацепится и сядет, колыхаясь и ожидая, когда ветерок оторвет ее и она снова поплывет дальше, пока не заденет за бобыльник.

— Урло, урло, урло, толкни его! — Где-то далеко пронесся голос Абрама.

Сердце стукнуло. Началось.

Почти не прерываясь, разносясь эхом над рекой и заполняя лес, слышалось порсканье.

— Собаченьки, добери, добери! Тут, тут запал! Буди, буди его!

— Что-то будет? Абрам, голубчик, — шептала я и беспомощно поглядывала на собак. Они встали и навострили уши.

Одна гончая отозвалась.

— К нему, слушай, слушай, вались, ва-а-али-и-ись! — соскальзывая голосом то вверх, то вниз, разделявал лесные охотничьи мелодии Абрам.

Весь Каменный лес сразу наполнился звуками гона; голос Абрама замер в острову. Гончие свалились в стаю, — видно, натекли на горячий след и залились.

Я видела, как отец мастерил и подставлялся под гончих, по звуку их голосов соображая, где может выйти зверь.

Дядя Сережа взял ружье наперевес и продолжал стоять на лазу. Гон был совсем близко. Вот-вот вылезет из опушки желанный зверь. Но гон тут же стал заметно удаляться.

«Пошел ходить на кругах» — подумала я.

Гончие обошли остров, и, когда они снова приблизились к нам, я видела, как дядя Сережа подался вглубь леса.

Вдруг Аляска так сильно рванулась, что я чуть было не выпустила из рук ремня.

И вижу я, как мимо меня катит русак, а Ураган и Дон спеют за ним, но им до него далеко. Отец скачет. Русак идет в поле, и я в волнении рассчитываю, когда лучше спустить Дорку с

Аляской. Страшно выпустить и страшно опоздать.

Я кидая ремень, шепчу:

— А-ту-а, а-ту его.

Собаки вырываются вперед, а я падаю со всего размаха на живот, не удержавшись на ногах.

Папа соскакивает с киргизенка, сваливаясь в самую гущу собак, кричит «отрыжь», принимает зайца и снова садится верхом, не второчив русака.

Почти в тот же момент выстрел раскатился по всему лесу, и вскоре гон оборвался.

— На-ка, кинь в тележку зайца, да подбирай своих собак, — крикнул мне, проезжая в сторону выстрела, отец. — Должно, лисицу убил. Уж очень горячо гнали по красному.

Я подхватила за задние ноги русака, мягкого и еще теплого. Ушки его волочились по былинкам травы, а Дора и Аляска бежали за мной на высоком ходу, сбрюхивая свою добычу. С отворачиванием к мертвому телу я засунула третьего русака под сиденье тележки, оглядев трогательный кругленький пушок, подобрала своих борзых, которые нехотя пошли за мной снова в ореховый куст. А из Каменного пронесся сигнал в рог, посвистывание и порсканье Абрама, разносившееся по лесу и замиравшее далеко в полях.

— Урло, урло, урло, тут запал, тут запал! — слышался певучий тенор.

Отец выехал из леса и проехал в сторону. Я видела, что он посмотрел на меня, но, если он не сделал мне никакого знака, стало-быть, я стою верно.

— Ай, ай, — начали снова переговариваться гончие.

Только сольются голоса, только слышится ровный гон, вдруг опять скол, опять одна гончая подает голос, за ней другая, и опять сколятся. Снова перемолчка. Снова тишина. Снова гавкнула, повели.

Мои мысли пошли бродить. Я стала думать о том, как весело было летом, как у отца была вся спина у рубахи мокрая, все смеялись, шумели, и косяги пили по лафитничку, а потом ели тюрю. Тюрю вкусная, холодная. Вода набрана из проточного ключа. Лук натолчен в

чашке с солью, кусочки черного хлеба, пропитанные луковой водой с постным маслом, плавают в воде и почему-то тоже очень вкусные.

— Корми меня в весну, а в осень и сам сыт буду, — приговаривал папа, черпая тюрю деревянной ложкой и держа ее над куском хлеба, чтобы не капало.

«Сам сыт буду, и сам сыт буду, дусам сытбу, дусам сытбу, сутбу, судьбу, судьба... судьба... Моя судьба, конечно, несчастная. Отец не позволяет мне ездить верхом. Он боится, а мне поэтому приходится ходить пешком. Ужасно досадно. Ну, что же тут такого, что тётя Таня ехала верхом, читала письмо. Зачем верхом читать письмо? Лошадь испугалась, рванулась в сторону. Тётя Таня слетела с седла, нога ее осталась в стремени, и она тянулась вниз головой, стукаясь по пахотным комлыжкам в поле. Отец увидел испуганную лошадь, кинулся к ней и как-то остановил ее, несущуюся, и этим спас тётю Таню, а я из-за этого лишена возможности садиться на лошадь. Меня и пожалеть-то некому. Няня мальчишек любит, а меня не любит. Абрам один меня любит. Он «отчаянный жистин», Абрам. Его голоса не слышно совсем, зато гончие подают голоса часто, ровно и почему-то всё злобнее и злобнее».

«Должно, лисицу убил, горячо гнали по красному» — припомнились мне слова отца.

«И сейчас горячо ведут. Горячо и злобно, значит, по красному. Значит, лисица. Лисий след пахучий, оттого гончие и злобятся. Батюшки мои.. Гон-то уж близко... Батюшки родимые... На меня...»

Не успела я оглянуться, — выскакивает лисичка. Не отошла и двадцати шагов... и нырнула опять в опушку.

Мой отвершек углом уходил в поля далеко от леса.

Я уж думала, что всё пропало, но гончие тут же вывели лису немного дальше от меня. Озираясь, она поскакала через поле. Шерсть ее переливалась на солнце от скачков, которыми она шла. Тело ее извивалось. Выжидаю, не спускаю борзых, которые, натягивая ре-

мень, приподнимаются, вздыбляются на задних лапах, воззрившись на зверя, хрипя от душивших их ошейников и взвизгивая.

«Потерплю, не спущу, подожду. Батюшки родимые! Что-то будет?»

За резвой кумушкой из леса вываливаются одна за другой паратые гончие. Увидав лису, они сразу изменили звук гона и оглушительно, резко повели по зречему.

«Ну, пора» — и я бросаю ремень.

Собаки мои ринулись и вложились за лисицей.

В это время из леса вылетел Абрам. Без шапки, с растрепанными волосами, красный, не помня себя, он скакал за собаками, махая арапником и изредка ударяя по бокам лошади, которая неслась под ним, отдавая все свои силы.

А я пешком... Бегу, дыханье прерывается, сердце колет.

Лисица делает увёртку, — сразу кидается влево, труба ее заносится вправо, и собаки проскакивают. Аляска вложилась за ней, а лиса снова изменила направление и махнула трубой влево. Дора, чуть было отставшая, сплет наперерез и, догнав, идет голова в голову с лисицей. Дора недостаточно злобна, чтобы взять ее. Лисица успевает огрызнуться. Извиваясь всем телом, Аляска достает и кидается на шею лисицы, и обе они с ходу перекувыркиваются по земле. Мгновенная возня. Лиса вскакивает и снова несется вперед, но Аляска, озлобившись, достает ее тут же, снова сваливает лису с ног и уже вместе с Доркой впиваются в нее, подергиваясь телами и борясь с ней. Абрам с лошади на-скаку кидается на них.

Отдышавшись, я снова бегу, проклиная свою пешую судьбу.

Волкодав Ураган и поимистый Дон с разинутыми пастями на всех парах несутся, но уже поздно. Почти одновременно подбегаю я и подскакивает киргизенок отца. И вижу, как Абрам что есть духу бьет рукояткой арапника по лбу лисицы.

Пушистая лисичка вытянула лапки, головку, труба задергалась, ее тельце судорожно потянулось, и она замерла.

Собаки, облизуваясь, как будто виновато, отходят. Лошади, тяжело дыша, понуро стоят.

Пора домой. Гончие лежат в сторонке.

— Смотри, Громилы нет.

Абрам перевортывает из-за спины рог и, надуваясь, выпячивая глаза, трубит густо, басом. Изменяя движение губ и щёк, он последнюю ноту пускает тонкую-тонкую, пронзительную.

Мы трогаемся к лошадям. Абрам перекидывает лисицу через седло, и она болтается тоненькой головкой, труба ее с белым кончиком чуть вздрагивает от движения лошади.

Около тележки Абрам опять трубит, и из леса вскоре вываливается хитрый выжлец Громило. Он виляет ионом, а морда у него вся в крови.

— Глянь-ка, зайца, мерзавец, сожрал. Брюхо-то, поперек себя шире.

— Подлая собака. Что и говорить. Давно стал замечать, что он мастерит. Чуть что, всё норовит наперерез взять и самому заловить. Придется его дома оставлять.

— Надо его из стаи выкинуть, дармоеда, — сказал отец.

Пока подвязывали чресседельник, подпузник и повод, из леса вышел дядя Сережа, крикнул, чтобы мы выбрали его лисицу, бросил ее у дороги и пошел домой. Он быстро скрылся за деревьями. Дядя Сережа всегда делает строгий и неприятный вид, а мы все знаем, что он очень добрый, душевный и ласковый, но почему-то скрывает это.

Когда мы подехали к николюскому дому, он встретил нас вместе с моей матерью. Она осуждала охоту. Это было влияние дедушки. Но папа по своему обыкновению притащил на порог комнаты всю свою добычу и разложил двух лисиц и трех русаков в ряд; ведь так же это раньше делал дедушка.

— Измажешь кровью пол. Будет хвататься.

— Ничего, они стекли. Крови уж нет, — снова подымая русаков и лис и растирая пятна крови, ухмыляется отец.

Дядя Сережа поднял люк от подвала за кольцо и скрылся под пол столовой. Оттуда он достал квасу, травник и бутылку сливяной запеканки.

— Теперь хорошо пропустить по рюмочке.

Мама неодобрительно косится на вино.

Александр Афанасьевич сидит рядом со мной, видно, как он веселится и всех нас любит.

Поели, попили, и, когда за столом стало шумно, дядя Сережа со своего стула, неожиданно, не разгибаясь, пересел к фортепиано и заиграл «Кавалерийскую рысь» Рудольфи. Все вскочили из-за стола, подняли одну руку и побежали кругом маленькой комнаты, задевая и гремя стульями.

Обежав круга три, снова разом сели за стол. Так тоже делал дедушка.

— Маленьким спать! — сказал папа, хитро улыбаясь, глядя мне в глаза.

У меня сморщился и сёжился нос, но так как папа не отводил от меня своих ясных глаз, я поняла, что нужно слушаться и уходить.

Я лениво обошла всех кругом стола, прощаясь, а когда подошла к дяде Сереже, он пожал мне кверху кончик носа и сказал:

— Ап-пельсинчик. А зачем у тебя бант на голове?

И тут же сам ответил:

— Чтоб волосики в глазки не лезли, — представляя меня маленькую.

Так как бант у меня был не на голове, а в косе, мне отвечать ему было нечего.

Еле прикасаясь ко мне, дядя Сережа сделал вид, что поцеловал меня.

Когда я легла в постель, то спать не могла. Из соседней комнаты слышался говор, смех, и дядя Сережа заиграл Грига «Танец гномов», потом мама стала петь, а я лежала и слушала, иногда подпевая в тон знакомые мотивы.

«Мой лебедь тихий, спокойный вечно. Нам не радуешь сердца ты песней... И вот запел он, запел, умирая, и песнь та звучала... звучала». И я старалась глубоко вздохнуть и такими же бар-

хатными нотами, как у мама, кончить: «звуча-ала».

Но вот что-то новое запела мама. Я стала слушать, глаза мои широко открылись, сердце замерло, и я неудержимо горько заплакала; я так плакала, как будто что-то случилось, как будто мне открылся новый, неведомый мир.

— Хоть бы она повторила!

— Ты совсем не так берешь эту ноту, — говорит дядя Сережа, а я знаю, что и он наслаждается и радуется чудесному голосу моей матери. Он представляется, что ему не нравится. И те же звуки понеслись из столовой.

— «Бурный поток, чаща лесов, голые скалы — мой приют».

До чего хорошо, до чего отраднo!..

Вволю наревевшись, я лежала, вся мокрая от слез, полная звуков. Минутами я забывалась и снова просыпалась. Дядя Сережа нежными руками играл вальсы Шопена, потом мама опять пела романсы Чайковского, потом дяди сережины романсы, опять Чайковского... Мне становилось покойно, тепло на душе. Я услышала, что папа запел. Они пели дуэт: «Смело, братья, ветром полный парус мой», потом «Я помню отраднo счастливые дни», и мне стало весело. И как только я прослушала заливающийся высокий голос отца, так повернулась на бочок и заснула.

Утром я огляделась и не сразу поняла, что мы ночуем в Никольском. Я сейчас же оделась. У дома были старые, громадные пирамидальные тополя. Дорожка от дома уходила в рощицу и там терялась. В рощице раньше была баня. Под ногами листья шуршали, а под листьями был виден чистый белый песочек.

Тогда я не знала, что Никольское-Вяземское — место историческое и что оно хорошо не только потому, что мне там хорошо. Я не знала, что здесь бывал дедушкин отец, что здесь жил брат дедушки, Николай Николаевич Толстой, который рассказывал чудесные сказки, — он был удивительный, замечательный человек. Тургенев, друживший с ним и нередко коротавший с ним время, гово-

рил про него, что он был бы очень хорошим писателем, если бы у него были недостатки, свойственные писателям.

Я не могла также знать, что, когда дедушка женился, он приезжал и жил в Никольском с молоденькой в то время моей бабушкой, а у бабушки тогда был только один маленький сын — дядя Сережа; тётя Таня была нескольких месяцев, а моего отца не было тогда еще совсем. Они приезжали на лошадях с подставой, потому что железная дорога тогда не ходила.

Дедушка в те времена был занят писанием своего первого большого романа «Война и мир». Тогда он назывался «1805 год». Дедушка много охотился в то лето и именно тогда выезжал к известному охотнику соседних мест, Киреевскому, которого мы можем найти в «Войне и мире», — это дядюшка «чистое дело марш».

В Никольском-Вяземском в гостях бывал Афанасий Афанасьевич Фет. Одно его стихотворение я помню с малолетства:

Ты пела до зарн, в слезах изнемогая,
Что ты одна любовь и нет любви иной...

Теперь это стихотворение хорошо известно, как слова избитого романса, а посвящено оно было любимой свояченице Льва Николаевича, тётьке Тане Кузминской (Наташе Ростовой), пением которой Фет увлекся, слушая ее однажды в соседнем с Никольским-Вяземским имением Черемошня в большой компании с дедушкой во главе.

В то время у них была другая жизнь, другие разговоры и заботы, о которых мы можем судить только по оставшимся у нас в музеях их писаниям.

Не могла я знать тогда, что дядя Сережа был на том самом лазу, где стоял старый граф Ростов и где его так жестоко выругал Данило, когда они с шутком Настасьей Ивановной проморгали волка.

Не могла я знать, что Николай Ростов охотился именно в Лядовом лесу.

Не могла знать и того, что в «Книгах для чтения», рассказывая о подземных газах и описывая, как задохнулись

люди в колодеце, дедушка вспоминал всё о том же Никольском-Вяземском: в 1864 году он приехал туда как-раз в то время, когда произошел страшный случай с бабой и старостой: они, один за другим, спустились за бадьей в колодец, и там оба задохнулись.

Не знала я, что Никольское-Вяземское описал дедушка и в своей неоконченной повести «Труждающиеся и обремененные», не изменив даже названий деревень и мест, и что подкинутый ребенок в этом рассказе лежал в дерюжке на прелой соломе у той самой бани, которую я хорошо знала в Никольском лесу.

Какие люди там бывали и сходились! Они вошли в историю, и память о них наложила неизгладимую печать на самоё природу.

2. Дедушка и Никольское-Вяземское

Милое Никольское-Вяземское! Не даром дедушка назвал тебя Отрадным.

Когда, подросши, в первый раз я прочла «Войну и мир», я поняла, что имени Ростовых Отрадное и есть Никольское-Вяземское, а Лысые Горы Болконских — Ясная Поляна.

Сколько раз я ни перечитывала «Войну и мир», и для своего удовольствия, и работая над разночтениями по пяти изданиям романа, я представляла себе, что князь Андрей едет из Ясной Поляны в Никольское, что нежную фигурку Наташи, под'езжая к Ростовым, он видит в сени кустов и деревьев Никольского, что соловей поет в сирени между двумя деревьями — вязом и пирамидальным тополем, величаво возвышающимися около ворот и балкона.

Отрадное! Да, это — Отрадное Ростовых, и Отрадненский заказ — не что иное, как Каменный, а Лядовой или Лядовской лес (из «Войны и мира») до сей поры славится волками, которые переходят по своим лазам всё так же, как и в старые годы, из Лядового в Каменный и из Каменного леса в Митькин овраг, — так ведется искони веков.

Все эти места много раз об'езжал дедушка, когда он к охоте относился

страстно и ревностно. Он подбирал себе собак, заботился о них, горевал о них, выменивал их. Он писал своему приятелю Ивану Петровичу Борисову: «Сеттера у меня есть, но все разобраны, в том числе один — Фету. Чрезвычайно хороши. Из оставленных же себе двух лучших уступлю одного тому, кто мне даст на нынешнюю осень резвую борзую собаку. Не слышали ли где про борзую собаку, — подшарства за собаку: резвую ую, а не злобную». В другом письме, долго рассуждая, как ему быть, — покупать ли собак, — он приписывает: «А впрочем нет, пришлите черную сучку. Ежели куплю, то возвращу, а до того времени, может, придется потравить».

Вот чем был занят мой дедушка. Когда я стояла на лазу у овражка, уходящего далеко в поле, в том самом Никольском-Вяземском, где всё, все поля, леса, овраги и отвершки были известны дедушке, могла ли я себе представить, что он скакал, травил и однажды вывихнул и сломал себе руку, упав с лошади во время охоты близ Телятинок, и постоянно был занят подбором собак, сообщая своим родным: «Охота наша шла порядочно, — но до сих пор. Я затравил двух волков и одиннадцать лисиц. Борисов одного волка. В Никольском мы стоим два дня и ничего не взяли, завтра пойдем в Гринёвский и т. д.». Это письмо от 1 октября 1859 года... «Охота начинает приедаться, и Серёжа [брат деда] прав, что днёвки нужны для отдыха охотничьего чувства. Кроме охоты, всё это время ничего не делаю и тем доволен».

Дедушка ли это?

Да, это он. Он, испытавший в жизни так много и кончающий ее простеньким, мудрым, скромным стариком.

А тогда из Ясной Поляны, отъезжим полем, мимо Пирогова до Никольского, из Никольского — в Теплое село, где большой лес растянулся по оврагам, — оттуда в Ломцы, Новосильского уезда, верст за сорок от Никольского, он проходил полями многие десятки верст; бывал он и в Каширском, и Одоевском, и Карачевском уездах, и где еще не бывал он, уходя отъезжим полем, когда начинало осенять, и сидячая жизнь в Ясной Поляне становилась невозможной.

Ночёвки по санным сараям, в душных, перенаселенных курных избах, с глиняными полами, тараканами, со всеми принадлежностями тёмной, неграмотной, старой деревни, с бабами и малыши детьми.

Воображаю, какое было оживление в деревне, когда охота приходила на ночёвку. Собакам надо было варить овсянку в больших котлах, которые возились за охотой. Котлы подвешивались на козлах прямо на улице, раскаldывался котстер, и на нем, уже в темноте, приготавлилась еда для собак. Надо распределить на ночёвку лошадей, людей, собак, что-то пить, есть и спешить по первой звездочке в соседний остров вабить (подвывать) волков. Наутро надо знать, где логово волчьего выводка, чтобы к нему запустить стаю гончих.

Дедушка вабил волков, он знал это мастерство. Надо было приседать на корточки, чтобы звуки шли по острову, уходя эхом в рост зверя, иначе животное поймет, что отзыв идет не от волка. Руки чашечками приставлялись ко рту, и выпускались густые, грустные, призывные, протяжные звуки. Матёрые редко откликаются.

«Последнее счастливое поле было в Жилинской вершине, затравили двух лисиц, и одна ушла в Дедовской верх под Болгарами. Вчера мой охотник протравил из Алябьевского. Только нынче, что всего раза два во всю осень [через ять] было, не нашли красного зверя».

Со всей особой посадкой на лошади, удалой, полный жизненных сил, гикающий и улюлюкающий в полях, облазивший все лесочки, ловкий, молодой, спокойный, уверенный в себе и в своих собаках, он едет, горя не знает. Перед глазами бесконечные поля, леса, деревушки, небо, а в голове проходят планы, образы, мечты, каламбуры, шуточные обращения:

«Кавказ покорен. Имею счастье поздравить ваше императорское величество.

11/22 сентября. 3 часа пополудни.

Толстой.

Шесть лисиц, два волка и большое количество зайцев у ног вашего величе-

ства сняты и отправлены в Рахатлукум.
11/22 сентября. 4 часа пополудни.

Толстой.

Фет с 400 человек, двумя собаками и орудием заперся во флигель. Я буду осаждать его и выслал пикеты до Тар-маламы.

11/22 сентября. 4½ часа п.п.

Толстой.

Охота нынче придет в Никольское поздно ночью (из похода воротился воевода) и измученная. Для нее необходима дневка 12 числа, а остальные распоряжения передаю в руки ваших императорских величеств и себя повергаю к их стопам.

Не придете ли и вы в Никольское.
Толстой».

Веселое, открытое лицо у этого Толстого. Он пишет своему однокласснику охотнику Борису, который похож на императорское величество так же, как молодой Толстой похож на нашего «великого писателя и учителя».

Здесь на охоте он прост и весел. Это не гостиная князей Горчаковых, где всё чопорно, чванно, сухо, где лицо его не светится, а мрачно и некрасиво. Мне говорили, что в светской обстановке дедушка производил своей внешностью неприятное, отталкивающее впечатление на окружающих.

Для гостиных он сидел часами перед зеркалом, готовил свое лицо, мучился, что у него левый ус жиже правого, что он недостаточно красив, писал себе правила приличия, чтобы не теряться и производить впечатление: «Избирать положения трудные, стараться владеть всегда разговором, говорить громко, тихо и отчетливо, стараться самому начинать и самому кончать разговор... Не менять беспрестанно разговора с французского на русский.... На бале приглашать танцевать дам самых важных. — Ежели сконфузился, то не теряться, а продолжать».

Как ему гадко было в гостиных!

А тут, на охоте, он — часть природы, природы могучей, великой и мощной. Тут он со своим братом Никольской, с которым нечего говорить, потому что он и так всё про него прекрасно знает, потому что он чувствует его, а излишня

ненужны, недопустимы в их отношениях. В 1851 году дедушка пишет тетеньке Ергольской: «К стыду моему, сознаюсь, что только теперь я научился ценить, уважать и любить своего прекрасного брата так, как он этого заслуживает... Говорю без притворной скромности, что Николька во всех отношениях лучше нас всех».

Иван Сергеевич Тургенев говорит, какой восхитительный собеседник и рассказчик был Николай Николаевич, и отмечает смирение его перед жизнью; он рассказывает, что Николай Николаевич всегда жил в самой невозможной квартире, чуть не лачуге, и охотно делился всем с последним бедняком. В письме к Фету Тургенев ужасается болезни Николая Николаевича: «Неужели этот драгоценный, милый человек должен погибнуть? И как можно было запустить так болезнь! Неужели он не решился победить свою лень и поехать за границу полечиться? Бросьтесь ему в ноги, а потом гоните его в шею за границу».

Николай Николаевич умер за границей в присутствии дедушки.

За два дня до смерти он читал брату вслух свои записки. Какие это записки! Какое чутье, какая тонкость, какие описания природы! И ничего о себе. Высшее целомудрие и скромность.

После смерти Николая Николаевича, 20 сентября 1860 года, дедушка писал своему единственному брату, оставшемуся в живых: «Это был положительно человек для тебя и для меня, которого мы любили и уважали положительно больше всех на свете... Мне жалко тебя, что тебя известие это застанет на охоте, в рассеянности, и не прохватит так, как нас. Это здорбво».

Смерть эта — самого близкого человека и любимого брата — «прохватила» дедушку на всю жизнь, и потому Никольское-Вяземское имело для дедушки особое, драгоценное значение.

Фет описывает скудную обстановку комнат, железные ножи и убогую сервировку стола у Николая Николаевича в Никольском. Простота обстановки, которая оставалась там до начала нынешнего столетия, была заведена Николаем Николаевичем.

В Никольском был когда-то, давным-давно, отраденский дом, дом Горчаковых, в котором родился князь Василий из «Труждающихся и обремененных». Следы старого фундамента оставались в сиреневых кустах.

При мне стоял домик, перенесенный из Александровки (Протасово тож), без всяких удобств, деревянный, на высоком фундаменте, зимой довольно холодный и продуваемый ветрами, бусевавшими иногда с открытых полей.

Домик Николая Николаевича был еще скромнее и меньше. Это была большая, длинная изба в три десятиаршинных сруба с маленькими-маленькими окошечками.

Убогая обстановка брата была мила дедушке, и поэтому, мне сдается, дедушка старался ничего не изменять и жить в Никольском так, как жил его брат, которого он «уважал».

После смерти Николая Николаевича Никольское-Вяземское досталось дедушке. Теперь он здесь хозяин.

Раздумывая, как увеличить доходность хлебородного имени, он писал своему управляющему, Воробьеву:

«Петр Евстратьевич! Прошу тебя о следующем Предложить Никольскому мельнику вступить со мною в товарищество для постройки в Никольском винокуренного завода с шестью тысячами капитала. В случае его согласия предложить ему приехать ко мне для подробного обсуждения дела».

Винокуренного завода дедушка не построил, зато яблонный сад, о котором он тоже хлопотал, развёл.

Он писал: «Петр Евстратович! Очень благодарен тебе за присылку коров. — Потрудись прицениться к яблочным прививкам, трехлеткам. Я бы желал посадить в Никольском около тысячи штук нынешней весной. Я намерен приехать в воскресенье в Никольское и тогда передам нужные для того деньги... Но ежели бы ты мог приобрести саженцы и тотчас же начать сажать их, то это бы было очень приятно. Саженцы я полагаю сажать за домом и еще там, где ты найдешь удобным. — Рабо-

ту производить я полагаю поденным нарядом».

Теперь я не разберусь: яблони за домом были корявые, старые, а за дорогой, вниз к реке, был сравнительно молодой сад. Пожалуй, его-то и сажал дедушка; корявые же яблони были, вернее всего, очень давней посадки, чуть ли не горчаковской.

Скот разводился тоже с большим вниманием. Пересылки живности из Никольского в Ясную, повидимому, были нередки. «Очень благодарен тебе за присылку коров», а в начале 1865 года дедушка пишет другому, уже новому, управляющему: «Вы мне слегка пишете про скотину, а я ей очень интересуюсь. Даете ли вы соли и тёплое пойло; котились ли овцы, и содержите ли вы особенно отборных. — У меня недостало нынешний год корма для скота, и я в первую оттепель намерен переслать к вам штук пятнадцать скотин».

Дедушка искренно увлекался хозяйством и отдавал ему много внимания и сил.

Он писал из Никольского своему тестю, Берсу, в 1865 году: «Великая к тебе просьба, Андрей Евстафьевич. Есть в Москве некто барон Шёпинг. У этого барона есть удивительные японские свиньи, поросят от которых он продает по пятнадцати рублей. Я наднях видел у Шатилова пару таких свиней и чувствую, для меня не может быть счастья в жизни до тех пор, пока не буду иметь таких же».

Это он написал в то время, когда он переехал из Ясной Поляны летом с целым обозом вещей и прислуг, с ночёвками по постоялым дворам, со всей семьей в Никольское-Вяземское.

Бабушка, Софья Андреевна, со свойственной ей энергичной предприимчивостью, через два дня убрала и облагородила убогий домик Николая Николаевича. Повесила занавесочки, накрыла скатерти, устроила кухню, и повар начал готовить в белом колпаке. Жизнь потекла уютно и определенно.

Бабушка с нежностью вспоминала, как они жили тогда, бегали пешком в Александровский хутор и, возвращаясь, гили под окошечками чай.

Дедушка был окружен атмосферой «Войны и мира». Тётя Таня Берс жила с ними. У них с бабушкой был свой особый мир ленточек, женских грёз. Давно известно, что дедушка перетолок в ступке бабушку Софью Андреевну с тетенькой Татьяной Андреевной, и у него получилась Наташа Ростова. Наташа поет в Отрадном, а дедушке так хотелось, чтобы тетя Таня запела в Никольском после тяжелого окончания романа с братом дедушки, Сергеем Николаевичем.

Тогда же дедушка пишет своей воспитательнице Ергольской: «Сереза маленький очень поправился, хорошо бегает, кричит и понимает, но не говорит почти ничего. Маленькая Таня уж ходит, поддерживаясь за диван, и Соня думает ее отнять, приехав в Ясную..... Сереза теперь выучился целовать, сжимая губы».

Молодой отец, счастливый тем, что он окружен детьми, молодыми, беззаботными женщинами, радуется тому, чего он был лишен, потеряв мать, и о чем тосковал и мечтал всю свою юность.

Задолго до своей женитьбы дедушка писал, что есть только один могущественный способ достичь счастья: плести, как паук плетет свою паутину, плести сеть любви и ловить в эту сеть каждого человека на своем пути.

Он распускал свою паутину все шире и шире, плел сеть любви больше и больше, по всей России, по всему свету, и в 1891—1892 годах он не мог не продолжать плести эту сеть, помогая нужде и голоду в народе. Он поехал кормить голодающих, а верная его подруга, Софья Андреевна, сообразив, что нужно будет много денег, написала воззвание в газету, и такое искреннее, задушевное и трогательное, что со всех сторон посыпались пожертвования. Сеть столовых расплзлась на несколько губерний, на голоде работал не один десяток людей. Деньги у дедушки оставались и на следующий год, когда нужда уже не была так повальна и остра. Можно было еще поддерживать и помогать обнищавшим крестьянским семьям.

К тому времени дедушка уже перемучился, много передумал и ушел от прошлых своих идеалов «Войны и мира» и японских свиней. Он страдает от непонимания и жестокости людей, от безумия окружающей жизни. «Не понимаешь часто, зачем мне дано так ясно видеть их безумие, и они совершенно лишены возможности понять свое безумие и свои ошибки. И мы так стоим друг против друга, не понимая друг друга и удивляясь и осуждая друг друга. Только их легион, а я один. Им как будто весело, а мне как будто грустно».

О, кто из нас, знавших Толстого, не видал в нем этой грусти?

«Смирение и сознание того, что всё, что мне противно теперь, есть плод моих же ошибок, и потому прощение других и укоризна себе».

В Никольском-Вяземском проходят и отражаются все периоды духовного роста дедушки до последнего года его жизни.

Посещения дедушкой смежной с Никольским Гринёвки, когда мой отец был за границей, я не помню, но прекрасно помню волнение моего отца при приезде дедушки к нам в Гринёвку в 1898 году, когда он ехал организовывать помощь голодающим в нашей местности.

Шли разговоры, посылать ли на станцию коляску или пролётку, каких лошадей запрягать, чтобы покойнее и быстрее донести. Лошади же бывали такие, что невзначай чихнешь, а они подхватят и разнесут; зонтик открыт было тоже невероятной дерзостью, которую лошади не выносили, поэтому зонтов у нас не было совсем в доме.

А вот детей было много.

Надо поселить дедушку так, чтобы детская жизнь ему не мешала писать и думать. После обсуждения, выбрать ли гостиную или кабинет отца, — приготовили кабинет, а то гостиная рядом со спальней, а спальня рядом с детской. Кабинет же отделен от этих комнат коридором.

Отец боялся, как бы дедушка не подумал, что он его выписал зря, что голод не так уж велик. Вместе с тем папа видел всю беспомощность свою и частных лиц помочь окружающей нужде.

Надо было призвать общественность, а как же лучше это сделать, как не через своего отца — совесть народа.

Папа писал в «Петербургских ведомостях»: «Голодные семьи, по несколько дней не имеющие хлеба, попадают только в отдельных случаях, но несомненно одно, это — что крестьянское хозяйство в нашей местности подорвано в корне: с каждым годом положение его становится труднее, и малейший недород так сильно на нем отзываться, что отнимает у него не только часть его благосостояния, но и то, что дороже всякого благосостояния, — энергию, волю и надежду на лучшее будущее».

Отец приводил слова Льва Николаевича: «Голода нет, а есть хроническое недоедание, которое продолжается уже двадцать лет и всё усиливается. Голода нет, но есть положение гораздо худшее. Всё равно, как бы врач, у которого спросили, есть ли у больного тиф? — ответил бы: тифа нет, а есть быстро усиливающаяся чахотка».

«Такого больного вылечить нельзя. Заботливым уходом можно только облегчить его страдания, а в этом-то и есть нравственное обязательство каждого».

Помню, как возмущался и горячился отец, как горько и больно было ему жестокое отношение черносотенного чернского дворянства, которое в противовес Толстому работало со своей стороны через губернаторов, закрывая наши столовые. Духовенство тоже не зевало. Отец долго хлопотал перед тульским архиереем, чтобы перейти из прихода Богуслова в приход Никольского из-за священника, который доносил на нашу семью всякие небылицы. Без прихода в то время остаться было невозможно.

И вот пролётка тройкой уехала с Абрамом на козлах; он понимал ответственность, возложенную на него: «доставить старого графа».

Отец ни минуты не сидел на месте. Видно было, как ему было тяжело и томительно ждать приезда своего отца.

Вставал немаловажный вопрос, как кормить дедушку. Все знали, какой у него скверный желудок, как с ним нужно быть осторожным, выбирая ему пи-

щу, притом вегетарианскую. Бабушка всегда знает, что ему нужно подать именно сегодня. А как же быть, когда она уедет?

Прошло три часа. Отец верхом выехал навстречу, за сад, за молодую нашу посадку, в поле. Вскоре и я с братом вышла навстречу, но нам строго было заказано, чтобы ненароком не напугать лошадей.

Вскоре показалась тройка. Абрам внимательно и сосредоточенно вез дорогих гостей.

Пролётка вехала во двор. В ней сидел дедушка в своем беленьком всегда помятом полотняном картузике и в блузе, выглядывая и оглядывая всё, а рядом — бабушка в шляпке, отделанной белым газом, в светлом платье, шурящаяся и ничего не видящая перед собой.

Дедушка вошел в дом так, как будто нес что-то очень тяжелое.

Весь этот день рассказывали, обсуждали, решали, и я положительно не понимала, к чему это. Зачем столько говорить?

Приезд дедушки с бабушкой для нас, детей, был праздником, и обидно было, что они мало обращают на нас внимания, и даже бабушка приехала без обычных подарков. Значит, дело серьезное.

Бабушка, взволнованная, с трясущейся головой, грустная и озабоченная, скоро от нас уехала.

С утра дедушка большею частью сидел в кабинете и писал. Писал он какие-то статьи, части которых мама засаживала переписывать меня, девятилетнюю; сама она, иногда вместе с моим отцом, по вечерам и в каждую свободную минуту днем переписывала начисто для дедушки; меня же мать заставляла писать, чтобы оставить себе его новые сочинения, на что у нее не хватало времени.

У нас в Гринёвке, оказывается, дедушка обдумывал и писал «Хаджи Мурата», но тогда я ничего не понимала и не уясняла себе, как это важно и интересно.

Ровно в двенадцать часов мы обедали, дедушка каждый день уезжал по деревням. Я его почти не помню у нас в доме днем.

Иногда он уезжал вдвоем с моим отцом. Верховые лошади, голова в голову, идут крупным ровным шагом, видны суровая блуза деда и синяя рубаха отца, удаляющихся без дороги, по полям, по прямому направлению к цели.

Отец уезжал хлопотать к губернаторам в Тулу и Орел, тогда дед ездил один.

Приезжает он как-то позднее обыкновенного и говорит:

— Заблудился. Не понимаю, как это могло случиться...

А я подумала про себя: как ему не заблудиться? Я ведь не знала тогда, что дедушка жил в нашей местности и изъездил ее вдоль и поперек.

Раз произошел с дедушкой трогательный и трагический случай, который очень хорошо описал в своей книге мой отец.

Дедушка любил ездить по деревням верхом на охотничьем киргизе отца, и часто с ним увязывалась его борзая собака Дон, которая привыкла к лошади и всегда за ней ходила. Едет дедушка раз по полю и слышит, что недалеко от него крестьянские ребятишки кричат: «Заяц, заяц!»

— Смотрю, — рассказывал дедушка, вернувшись домой, — к лесу скачет русак. От меня далёко так, что затравить его немислимо. Захотелось мне посмотреть скачку Дона, я не вытерпел и показал ему русака. Тот заложился и, к моему ужасу, стал его догонять. Я взмолился: «Уйди, ради бога, уйди», смотрю, Дон его уже мотает на угонках. Что мне делать? К счастью, тут уже близко опушка. Русак ввалился в кусты и ушел. Но если бы он поймал его, я был бы в отчаянии.

Папа не хотел огорчать дедушку и не сказал ему, что Дон пришел домой только через час после его приезда, весь в крови, раздутый, как бочка. Очевидно, он поймал зайца в кустах и там же его с'ел.

Это единственный секрет, который отец сумел навсегда скрыть от дедушки.

Скрыть от дедушки что-нибудь было нелегко. Когда глаза встречались с его глазами, казалось, что он охватывает всё мое нутро и знает то, что я сама

еще не уясню в себе. Живя подолгу под одной с ним крышей, я при каждой встрече испытывала чувство неловкости и ответственности за все свои самые за- таённые мысли. Когда же дедушка об- яснял что-нибудь и распоряжался, то всё внимание сосредоточивалось на его словах, а о себе самой я переставала думать вовсе.

Дедушка никогда не учил нас и не советовал, он не хотел нарушать самостоятельной внутренней работы каждого из нас. Он только окольно, иногда шуткой, показывал путь, по которому следует направляться, но показывал так, что мы должны были сами понимать: имеющий уши — да слышит. И тут было дело совести и душевных переживаний — принять или не принять его слова, натиска же с его стороны никогда не бывало.

По распоряжению дедушки ездил и я с учительницей, которая почему-то боялась свиней и не умела справляться с лошадьё. Моя мать говорила:

— Ты едешь за кучера.

В деревню надо было приезжать в то время полуденного зноя, когда весь скот стоит во дворах. Мы переходили из избы в избу и записывали, сколько у каждого крестьянина лошадей, коров, свец, сколько едоков и сколько рабочих рук.

Дома делались разные лечебные эмульсии, развешивались порошки, готовились бинты. Мама целый день ходила от дома к амбару, отвешивая там муку и крупу на столовые. Ключи, которые раньше она никогда не брала в руки, теперь были на полной ее ответственности. В амбаре лежал хлеб наш и общественный — для голодающих. Каждый фунт был на учёте. Мама во всем должна была отчитываться перед дедушкой, который был очень строг и щепетилен в полученных им деньгах, а таким образом, и в продуктах.

Однажды утром пришел к нам крестьянин и стал объяснять, что ему сейчас нечем кормить скотину; он просил взаимы до новины пять пудов ржи. Мама пошла спросить дедушку, можно ли дать этому крестьянину муки. Дедушка подумал и сказал, что мы не имеем пра-

ва раздавать муку помимо столовых. Скрепя сердце, мама отказала. Крестьянин этот стал ходить за моей матерью и объяснять ей свое тяжелое и безвыходное положение. Продать лошадь — значит на долгие годы сделаться несамостоятельным. Мама отвешивала муку в разные столовые, а мужик сидел на канаве и смотрел на мать, не сводя глаз. Как только мама оставалась одна, он опять к ней подходил и уговаривал ее. Мама придумала выход. Она отвесила своей муке и отпустила этого крестьянина. Только она, счастливая, пошла домой, а навстречу ей дедушка. Улыбается и спрашивает:

— Ну что, не выдержала?

Оказывается, дедушка тоже поговорил с крестьянином и убедился, что помочь ему необходимо, так что поступок матери был оправдан.

Осенью крестьянин честно выполнил свое слово.

В Никольское-Вяземское дедушка ходил пешком. Ему уже были неприятны экипажи, лошади, а тут он созерцал природу, оставался с ней один, шел по знакомым местам, вспоминал давно ушедшие времена. Из Никольского они ездили с дядей Сережей к тете Варе, любимой дедушкиной племяннице, которая жила неподалеку. Там была сама простота во всей обстановке маленького деревянного домика вместе с его простой и добродушной хозяйкой.

Тетя Варя Нагорнова была кроткая, очень чуткая, тонкая женщина, совершенная бесребренница, очень отзывчивая ко всяким печалам и нуждам. Она была очень рассеянная, и у нас в семье про нее постоянно рассказывали разные анекдоты.

— Представь себе, Левочка, — восклицала она, — чешу в вагоне коленку и удивляюсь, что она не перестает чесаться. Оказывается, я чешу — чужую! А господин удивленно отодвигает свою коленку от меня.

— Ай, ай, ай, Варенька, и как же это ты? у господина? у чужого? ай, ай, ай!.. — приговаривал дедушка и так хорошо и искренно смеялся, что мы все заливались вместе с ним неудержимым смехом.

Когда тетя Варя приезжала к нам, она сейчас же входила в нашу занятую жизнь и тоже начинала болтать эмульсии, писать отчеты или переписывать дедушкины сочинения. Работы и занятий хватало на всех.

Иногда же, как комары на огонь, приезжали посмотреть на деда какие-нибудь богатые, важные, скучные соседи. К некоторым из них дедушка не выходил, с некоторыми же он случайно встречался, и получались споры и неприятные разговоры. Когда же они, наконец, уезжали, наступала общая неловкость, как будто мы были в чем-то виноваты, а для гостей было оскорбительно, что им пришлось выслушать то, в чем не было сомнения.

Одна музыка могла вернуть всем прежнее спокойное настроение.

— Анночка, спой, — обратился ко мне дедушка.

— Мы можем спеть дуэт, — обрадованным голосом сказала мать и села к фортепиано.

У меня сейчас же душа ушла в пятки, и я незаметно юркнула в палисадник, под окно, где благоухали цветы. Я спряталась в куст большого разросшегося пиона. И только оттуда, где меня не было видно, затинула: «Люблю я цветы полевые, люблю их от полной души-и-и...»

Голос мой сливался с звуками голоса матери и с фортепиано. К концу дуэта я уже увлеклась пением и забыла свой ложный стыд. Когда мы кончили, то дедушка, шутя, сказал:

— Вот как поют у нас чернские помещицы!

Я не поняла, что это относилось ко мне, босоной, отчаянной девчонке.

Две-три недели жизни дедушки у нас в семье, его скромное, незаметное руководство, его любовь ко всему живому и ко всем окружающим осветили нам нашу жизнь, наше отношение к людям и к человеческим нуждам.

Отошедши от всех мирских повседневных волнений, занятый мыслью о смерти и своими глубокими внутренними переживаниями, старичок-дедушка посетил в последний раз Никольское-

Вяземское за четыре месяца до своего ухода из Ясной Поляны.

Это было 28 июня 1910 года в день рождения дяди Сережи. На этот традиционный день и приехал к нему дедушка. Были гости.

Дедушке было тяжело, чуждо среди них. Утром он ходил гулять один по Лядовому лесу и заблудился.

Его потянуло на погост — навестить старичка, своего сверстника, дьячка Афанасия Успенского. Он вошел в его крошечную избушку, наклонив голову, чтобы не ушибиться о притолоку. На окошечках висели скромные занавесочки. Здесь повидался дедушка с человеком, который помнил, знал и чтит его любимого умершего брата, Николая Николаевича. Старик помнил и Николая Ильича, рассказывал также о дедушке деда, Илье Андреевиче Толстом.

Поговоривши со своим сверстником о своих дорогах, давно умерших близких, дедушка поклонился в последний раз Никольскому-Вяземскому и поехал в Ясную Поляну, ожидать своего конца.

— Старичок, а хорош, — сказал про него ямщик.

Только прозаические, пожелтевшие музейные листки за номерами с порыжевшими чернилами являются свидетельствами далекой от нас, своеобразной, минувшей жизни; только, если внимательно отнестись к этим листкам, воскресает образ дедушки с его страстным отношением к тому делу, которое он считал самым важным в переживаемый момент. И так до последнего дня жизни.

Старичок, а хорош.

19 октября 1935 г.

Москва.

За рубежом

1. ХАМАДАН.—США. 2. Международная хроника

1. С Ш А

Хамадан

Вашингтон

Мы мчимся через тоннель под Гудзоном. Это сооружение—действительное чудо американской строительной техники. Тоннель длиной 1,6 мили обслуживается всего лишь пятью-шестью служащими. На обоих концах его находятся посты для взимания платы за проезд. В тоннеле нельзя ехать со скоростью менее 30 миль в час (около 50 км), нельзя также во избежание создания автопробки и «возможных злоупотреблений» и останавливаться в нем.

В Америке вообще передвигаются очень быстро. Во время чикагской выставки «100 лет прогресса» (в 1934 г.) мэр Чикаго обратился через печать к населению с обращением, которое состояло из следующих энергичных выражений: «За последнее время всякие свиньи, идиоты, сброд позволяют себе роскошь ездить по городу в автомобилях со скоростью менее 60 км в час. Эти преступники, являясь величайшими эгоистами, дезорганизуют жизнь города, нарушая все существующие правила. Они думают, что мостовые созданы для прогулок. Отныне каждый уличенный в подобном преступлении будет подвергнут наказанию и денежному штрафу».

Едем по длинной, тянущейся несколько миль, воздушной эстакаде. Справа и слева разбросался грязный и черный город Нью-Джерси, закопченный сотнями фабричных труб. Мелькают маленькие,

слишком маленькие домишки, — это окраина Нью-Йорка, населенная бедной.

Нью-Йорк позади. Шевроле мягко несется со скоростью 45 миль в час по прекрасной, гладкой и прямой, залитой асфальтом, дороге. Большую скорость развивать нельзя: вся дорога запружена машинами. Сотни, тысячи автомобилей мчатся взад и вперед. В Нью-Йорке на 7 миллионов жителей насчитывается 2½ миллиона автомобилей! Каждый третий житель города имеет автомобиль. В Вашингтоне на 500 тысяч жителей — 300 тысяч автомобилей!

Автомобиль очень успешно конкурирует со всеми другими видами транспортной связи. Ни один уважающий себя (вернее, свой карман) средний американец не поедет поездом. Железнодорожный транспорт очень дорог. Путешествие из Нью-Йорка в Вашингтон на автомобиле (около 400 км) стоит более чем на половину дешевле, нежели путешествие по железной дороге. Днем, а часто и ночью, автомобили на этой дороге развивают скорость значительно большую, чем поезда.

Мы мчимся мимо множества бензиновых станций. Никаких автоочередей у колонок нет, точно так же, как их не было и на улицах Нью-Йорка. Все автоматизировано, все делается чрезвычайно быстро.

Не снижая скорости, проезжаем Трентон — обычный американский провинциальный город. В нем нет никаких

небоскребов, редко встречаются большие дома. Улицы мало оживлены, нет людей, но автомобилей полно.

Первую остановку для заправки бензином делаем между Трентоном и Филадельфией. Останавливаемся возле станции-ресторана компании «Серая собака». Через пять минут подходит гигантский автобус, называемый в Америке «бас». Он ходит между Нью-Йорком, Филадельфией, Балтиморой и Вашингтоном.

Автобусное движение развито в стране так же широко, как и автомобильное. Не имеющий автомобиля американец предпочитает «бас» поезду. На свободной дороге «бас» развивает скорость до 120 км. На нем можно объездить всю страну от города до города. Путешествие на автобусе почти вдвое дешевле поездки на поезде. Особенно усиленно развивается сейчас автомобильное и автобусное сообщение на дальних линиях, например, Нью-Йорк — Сан-Франциско.

Недавно из Сан-Франциско был пущен в Нью-Йорк только-что сконструированный поезд, построенный по принципу наибольшей обтекаемости. Он покрыл огромное расстояние между двумя океанами — в 57 часов! (На автомобиле потребовалось бы не менее десяти дней.) Беседовавший со мной на эту тему видный американский специалист, один из строителей нью-йоркского метрополитена, заявил, что удар по автосообщению этим поездом нанесен, конечно, очень ощутительный, но не следует забывать, — добавил специалист, — что американцы сейчас чрезвычайно экономны в своих расходах. Разница даже в несколько долларов в пользу автомобиля является ныне решающей, несмотря на огромную экономию времени. У нас сейчас, — закончил он, — очень много времени и очень мало долларов.

Это не значит, конечно, что новый поезд, как и другие поезда, мчится пустым. В Америке еще достаточно состоятельных людей, могущих позволить себе прокатиться со всеми удобствами в этом поезде. Но, в общем, железные дороги начинают уступать автомобилю, понижаясь и доходность их.

Быстро темнеет. Вдали вспыхивают огни большого города. Это Филадель-

фия, бывшая некогда столицей Соединенных штатов. Сейчас в Филадельфии около двух с половиной миллионов жителей, — огромный промышленный и торговый центр, имеющий большой океанский порт.

Автосообщение между городами развито на линии. На линии Вашингтон—Нью-Йорк часть пути носит № 1/13 и другая часть № 1. Примерно каждые полкилометра на дороге справа и слева стоят освещаемые электричеством металлические столбики со щитками, на которых изображены номера дорог и стрелки направлений. Примерно за 100—150 метров от перекрестка или от места, где дорога перестает быть прямой, появляются металлические щиты с указателями характера дороги. Эти щиты не освещены. Они сделаны из нержавеющей стали и поставлены так, что ночью свет автомобильных фонарей должен обязательно падать на них (конечно, при условии соблюдения правил движения). Заблудиться очень трудно, если знать все эти знаки и правила.

Мы долго плутали по улицам Филадельфии, прежде чем выбрались на правильную дорогу — № 1. Многие улицы, как в Филадельфии, так и в Балтиморе, усыпаны битым стеклом. Тут дело не только и не столько в мальчишеской шалости, сколько в интересах владельцев магазинов, продающих шины и камеры. Нанятые торговцами целые банды мальчишек рассыпают битое стекло на проезжих дорогах, — на порезанной шине или проткнутой камере далеко не уедешь...

На большой дороге после Балтимора начался встречный поток автомобилей из Вашингтона в Филадельфию. Фары встречных машин сильно слепили глаза, мы пошли малой скоростью — около 30 миль.

Ровно в час ночи шевроле ворвался в официальную столицу Соединенных Штатов Северной Америки — Вашингтон. Наш авто мчался по пустынным и скудно освещенным улицам города.



Белый дом, обнесенный садиком и огороженный двумя узкими сквериками,

оказался знаменитым «Белым домом», о котором американцы ежедневно читают в газетах. В этом доме живет ныне американский президент Франклин Делано Рузвельт.

Вашингтон — красивый и правильно расположенный город: улицы прямые, много зелени, нет небоскребов. После Нью-Йорка он кажется маленьким, безлюдным городом. На улицах тихо и спокойно, нет той грандиозной городской пульсации, которая оглушает и поражает в Нью-Йорке. Здесь сосредоточены все государственные учреждения, все министерства. Кто живет в Вашингтоне? Высшие, средние и мелкие чиновники. Немало здесь и представителей различных компаний, трестов, фирм, так называемых лобби.

Лобби — это агентура крупных капиталистических предприятий. Они защищают в Вашингтоне интересы своих владельцев, проталкивают с удивительной энергией бесчисленное множество законов, проектов, планов, разработанных в тиши трестовских кабинетов, получают здесь правительственные подряды, заказы и многое другое. Они с необычайной тонкостью могут положить под сукно любой проект или закон, нарушающий или задевающий интересы представляемых ими трестов и банков. Особое искусство проявляют они тогда, когда нужно получить правительственную субсидию. В это время лобби олицетворяют собой гениев бизнеса. Они мчатся на самолетах, экспрессах, авто, устраивают приемы, дружеские вечеринки для сенаторов, для членов конгресса, дарят букеты цветов женам крупных чиновников. Они «мажут» там, где надо, а надо это буквально во всех кабинетах. Лобби прекрасно знают, кто из их друзей любит китайский фарфор, кто собирает трубки, кто дорожит японские искусно вышитые хаори (халаты). Они знают даже, у какого чиновника сколько денег лежит на текущем счету в банке.

Лобби — это сильная порода людей в Америке. В Нью-Йорке один человек сказал мне про другого: «Он талантлив, как вашингтонский лобби». В Вашингтоне они могущественны и вездесущи. Ни один из этих проныр никогда не

пропустит какого-либо важного заседания в парламенте или Белом доме, или министерствах. У каждого лобби есть собственная агентура, регистрирующая все события и докладывающая об этом своему шефу, который в свою очередь шифром радирует новости своим хозяевам на Уолл-стрит в Нью-Йорк или в другие не менее важные центры страны. В правительственных учреждениях лобби знают в лицо все курьеры, портье, шоферы, шефы отделов и департаментов. Они все так щедрь, так предупредительны!

Рассказывают, что один член конгресса (никто не знает его фамилии, абсолютно никто!) имел «неосторожность» пожаловаться в присутствии одного из лобби на свой автомобиль. Он сказал: «Этот задрипанный форд (роскошный лимузин) вымотал у меня все кишки» (почти русское выражение.) Через два дня шофер этого уважаемого конгрессмена уже ездил на линкольне самого последнего выпуска. Два дня понадобилось энергичному лобби не для размышления, а для доставки машины «народному представителю», жившему в другом городе.

Лучшие апартаменты в дорогих вашингтонских отелях заняты лобби. Они живут в отелях постоянно, как в своих собственных квартирах. Злые языки говорят, что особенно большая дружба существует между лобби и журналистами. Чем влиятельнее газета, тем крепче узы этой дружбы...

Повсюду в Вашингтоне царствует мрамор. Дворцы, музеи, памятники, правительственные здания, частные особняки — все сделано из мрамора. Мрамор розовый, красноватый, серый, цвета песка.

Огромный вместительный лифт легко и быстро поднимает вас почти на высоту Эйфелевой башни. Это — монумент памяти генерала Джорджа Вашингтона, знаменитого американского государственного деятеля и президента. Внизу живописно разбросался правильными рядами улиц утопающий в зелени Вашингтон. Река Потомак плотно охватывает город. Панорама прекрасна. Далеко, далеко за рекой расстилается ровный,

словно подстриженный гигантскими ножами, лес.

Недалеко от монумента, отделенный от него прудом, обсаженным деревьями, твердо упиравшись в землю, стоит памятник другому известному американскому президенту — Абрагаму Линкольну. Памятник этот напоминает величественную гробницу из белого мрамора с колоннадами в ложноклассическом стиле. Огромный Линкольн, сидящий с задумчивым лицом в кресле, находится внутри храма, за колоннадой. По вечерам и всю ночь сидящий Линкольн озарен электрическим светом. Это красиво, потому что вокруг памятника густая темнота. Этот памятник начат был постройкой в 1914 году и закончен лишь в 1920 году — в эпоху президентства Гардинга. Он обошелся в три миллиона долларов.

Едем в Капитолий, где заседает парламент. По внешнему и частью внутреннему виду он похож на храм, — огромный и куполообразный. Он тоже мраморный. Десятки молодых и старых мужчин и женщин предлагают свои услуги в качестве гидов. Людям нечего есть, у людей много досуга — и они изучили все закоулки Капитолия. Они показывают вам его, и вы вознаграждаете их за это несколькими центами. Профессия мало увлекательная, но если вы безработный, то ничего не поделаешь...

Зал заседаний конгресса с потрескавшимся полом, с грубо и неудобно сделанными, почти школьными, партами для членов конгресса, оказался меньше, нежели я его себе представлял, исходя из «американских масштабов». Ничего, что бы могло оставить большое и серьезное впечатление. Заглядываем в комнаты многочисленных комиссий и подкомиссий. Они пусты.

Мне передавали журналисты обычное содержание большинства разговоров конгрессменов в кулуарах Капитолия.

— Послушайте, мистер: вчера была угроза, что акции ваших заводов упадут еще на 10—15 пунктов. Меня это очень волнует, ведь я держу ваших акций на 75 тысяч долларов...

— Вы не знаете эту новую компанию «Р»? Мне предложили по очень

удобной цене приобрести несколько тысяч акций.

— Я не знаю, что мне делать, — цена на мясо страшно упала.

— Как так упала? Наоборот, за последний месяц она поднялась на 30 процентов.

— Да, но мой избиратель и личный друг твердит, что он возмущен политической правительством, которое не может установить приемлемые для производителей цены на мясо. И вы ведь знаете, что я не могу игнорировать желания моих избирателей.

— Я говорил вам, не рискуйте деньгами на текстиле — сделано в двадцать раз больше, чем нужно. Так вот теперь все эти деньги заморожены. Впрочем, сегодня утром мне говорили, что уже готов проект решения о выдаче этой компании правительственной субсидии. Если наш проект не пройдет сегодня через комиссию, то известные вам лица поручат его проведение своей агентуре. Идите и сейчас же приглашайте председателя комиссии ко мне в отель. Мы основательно потолкуем.

Тут я перебил одного из журналистов и спросил: неужели никогда конгрессмены не говорят ни о государственных делах, ни о внешней и внутренней политике, ни об интересах представляемых ими штатов?

— А разве все эти бизнесы, о которых я вам рассказываю, это не та же политика? Они имеют в своем распоряжении всего только два года. За это время они должны либо обеспечить себе сытую старость, либо остаться с дырявым карманом. О политике они тоже говорят, особенно на официальных заседаниях. Как еще говорят-то! Они бьют себя в грудь, рвут волосы на голове. Они «страдают» вместе с народом, но всегда помнят, кто подлинный хозяин, и никогда не забывают себя.

— Ну, а как же такие вопросы, как регулирование экономической жизни, вопросы планирования, борьбы с безработицей?

— О, этим делам уделяется максимум внимания. Но планированием хотят заниматься сами хозяева, каждый в от-

дельности. О государственном регулировании, то-есть о вмешательстве в их дела, ни один из капиталистов не только думать, но и слышать не хочет.

— Какая перспектива вырисовывается в результате всех этих планов, деклараций, борьбы?

— Ничего не знаю. Лично я не вижу никакой перспективы. В стране, даже по официальным данным, более 12 миллионов безработных, из них 3—4 миллиона являются бездомными. Можете себе представить, какие чувства владеют этими людьми... А какие меры принимаются для того, чтобы облегчить положение этих миллионов людей? Никаких. Ничего даже не обещают. Известен только один случай, когда один из кандидатов в конгресс заявил собранию безработных: вы голосуйте за меня, а я уже о вас позабочусь.

Я вспомнил, чем занимаются конгрессмены.



В коридорах, во многих залах Капитолия роспись стен посвящена эпизодам из времен борьбы за независимость Соединенных Штатов. В круглом зале Капитолия расставлены десятки статуй выдающихся представителей различных штатов в конгрессе и в сенате. Они изображены в самых различных позах, с резко подчеркнутым величием и благородством. В невзрачном зале царит полумрак.

Рабочие передвигают эти статуи и чистят их наждачной бумагой. После «чистки» они вновь будут выставлены для всеобщего обозрения в залах конгресса. Их имена уже забыты всеми, стерлись в памяти тех, кто посылал их в конгресс «представлять» народ, и даже тех, представителями которых они были в действительности. В лучшем случае они служат украшением Капитолия. Несмотря на различные позы, статуи настолько похожи друг на друга, что невольно ищешь на оборотной стороне клеймо фабрики, поставившей серийное производство этих стандартных памятников.

Американцы и американки — экскурсанты — с удивлением рассматривают

эти статуи. Переглядываясь, они спрашивают друг друга: «Кто этот?» — и идут дальше, безучастные. Они не знают этих людей, представлявших некогда их отцов в конгрессе.



Утром был в Вашингтонском историческом и антропологическом музее. Наиболее интересен индейский отдел. Здесь собрано все, что может показать историю индейского народа. Из этого «все», конечно, надо исключить чрезвычайно интересный кусок истории, повествующий о том, как этот народ из хозяина страны превратился в раба пришельцев и как быстро вымирает он сейчас, окунутый с головой в омут «цивилизации».

Американцы с удивительной точностью передали древний семейный и производственный уклад жизни индейцев. Они прекрасно показали, как замечательно быстро шло культурное развитие народа, — прекрасные ткани, одежда, рисунки на тканях, производственные орудия. Заканчивается отдел показом первой встречи европейцев с индейцами. Картина этой встречи оставляет большое впечатление: группа индейцев принесла на берег ценнейшие плоды своих долгих и упорных трудов. Европейцы привезли ящики безделушек: цветные стеклянные бусы, зеркала и т. п. мелочь. Доверчиво и радушно смотрят индейцы в глаза неведомым пришельцам. Настороженно смотрят на индейцев выдавшие виды колонизаторы, готовые в любой момент одарить наивных индейцев солидной порцией свинца.

На этом музей кончает показ развития материальной и духовной жизни индейцев.



В Вашингтоне все крупные дома заняты правительственными или связанными с ними учреждениями. Архитектурный стиль зданий министерств строго деловой, даже несколько казарменный. Министерство иностранных дел помещается в одном доме с военным ми-

нистерством, точно символизируя этим тесное содружество дипломатии и пушек. Здание огромно и мрачно. Маленькие окна дают мало света, днем почти во всех комнатах горит электричество.

Все улицы и переулки города заставлены автомобилями: они стоят длинными мертвыми рядами, стоят неподвижно — дни, недели, месяцы. Дома держать — нет места. Гаражи очень дороги. Машины оставляют прямо на улице. Официально это запрещено, но власти прекрасно понимают, что девать автомобили некуда.

Автовладельцы, не имеющие собственного гаража, за плату сдают свою машину на специальные открытые площадки. Есть огромные великолепные здания — гаражи. Здесь не только хранят машины, но и ремонтируют, чистят, регулируют, заправляют бензином. Плата в таких гаражах значительно дороже.



Был крайне удивлен, когда узнал, что в этом полумиллионном городе, столице великой мировой державы, есть только один театр—это негритянский «Ховард-театр». Театр заменен здесь ревью в кинематографах. В городе есть один концертный зал, куда изредка приезжают певцы и музыканты.

...Ровно в 12 часов ночи началось представление в «Ховард-театре». Все артисты — негры и негритянки. Среди танцующих есть одна американка. Но это не театр, а эстрада. Танцы перемежались с комическими номерами, в заключение была показана кинохроника и фильм. Из всей программы надо отметить два номера.

На сцену вышли четыре щеголевато одетых молодых негра. Они танцевали чечотку легко, красиво и ритмично, сопровождая танец акробатикой.

Второй и главный номер «театра» — почти раздетая маленькая, худенькая и гибкая негритянка. Ее встретили шумными аплодисментами и восклицаниями. Публика уже знала ее, многие пришли сюда ради нее.

Негритянка начинает танец. Она плавно раскачивается на своих худых, но

упругих ногах. Затем ритм усиливается, танцовщица начинает вздрагивать, извиваться, приседать, почти падает на пол. У нее вздрагивают груди, руки, плечи.

Она отдается здесь на сцене, на глазах у публики. Затем она легко прыгает, останавливается, надувает живот, конвульсивно вздрагивает, сжимается и принимает обычный вид. Сценка эта должна, очевидно, показать, что в результате любви появилась беременность, а потом роды. Танец она закончила совсем похабно: повернулась к публике спиной, наполовину пригнулась и стала очень быстро вращать оголенным задом.

Несколько слов о публике. Негров в театре очень мало, больше американцев и американок: пожилые женщины и мужчины, молодые люди, парочки и одиночки. Публика не сводила с танцовщицы глаз, словно боялась, что пропустит особенно игривое движение задом, животом или ногами.

Этот эротический балаган является единственным театром в городе.



Состоялся концерт известного американского киноартиста певца Лауренса Тибетта. Тибетт почти единственный, кажется, «настоящий американец» с большим голосом. Концерт состоялся в единственном приспособленном для этого зале «Конститушн-холл», вмещающем около 4 тысяч человек. Зал был полон. Американцы страшно любят знаменитостей, а ведь Лауренс Тибетт является не только первоклассной звездой киноэкрана, но и американцем.

В зале собрался цвет вашингтонской буржуазии и интеллигенции (билеты довольно дорогие). В соседней ложе сидит огромная, толстая американка, увешанная браслетами, ожерельями. Она напоминает тех богатых американок, которых обычно в кинофильмах совращают с пути истинного молодые люди определенной категории.

Тибетт стоит на сцене с блокнотом, в котором записаны слова, и поет. Его программа чрезвычайно пестра. Он исполнял арии из «Аиды» и «Травиатты», пел песенку об уличном движении, не-

много посвистел. Ему рукоплескали. У него приличный баритон.

Начинается раз'езд. Два негра-швейцара стоят у выходов с мегафонами в руках и вызывают автомобили знати, медленно выплывающие из темноты к под'езду.



Смотрели фильм, повествующий о любви стекольщика к дочери очень богатого человека. Фильм сделан неплохо. Кончилось все очень счастливо, папаша благословил их «неравный» брак, несмотря на сопротивление богатого соперника, мамыши и пр. Ревю, показанное после фильма, было бездарно, безвкусно, отвратительно. Но зрители были в диком восторге. Они истерически хохотали, топали ногами.

Например: на сцену вышла женщина развинченной походкой. Конферансье объявляет, что она сейчас будет танцовать. Женщина лениво опускается и ложится на пол. Она говорит: «Зачем я буду танцовать, ведь все знают, как я танцую». Хохот.

Затем конферансье говорит, что она будет сейчас петь. Женщина лениво залезает на рояль и опять ложится. Опять хохот.



В 25 милях от города находится Монте-Вернона, имение Джорджа Вашингтона. Проезжаем городок Александрию, в котором некогда Вашингтон бывал почти ежедневно для отправления своих государственных дел.

У Монте-Вернона очень красивая, живописная местность. Имение занимает огромную площадь и расположено на высоком берегу реки Потомак. Гиды говорят, что вся обстановка в доме сохранена в том виде, в каком она существовала при жизни Вашингтона. Смотрим комнату Лафайетта, приехавшего в гости к Вашингтону. В одной комнате на низеньком круглом столике расставлен китайский чайный сервиз. Наиболее интересна, конечно, библиотека Вашингтона. Вашингтон, как видно, был человеком широкого образования. На его

книжных полках есть книги по истории, философии, сельскому хозяйству, сказание о Телемаке, романы Гиббонса. Множество различных энциклопедий, книг, описывающих страны и путешествия, всеобщая история, словари. По стенам комнат развешены гравюры Миллера, изображающие различные военные эпизоды из американской истории.

Спускаемся с горы, где находится дом, к могиле героя. Около склепа на щите написано: нельзя шуметь и говорить, надо уважать могилу «великого Вашингтона». Как видно, это предупреждение понадобилось повесить, чтобы научить посетителей с уважением относиться к памяти исторических людей.

Ничего характерного, исторически поучительного в имении Вашингтона нет. Единственная вещь напоминает старику — это древняя карета, в которой генерал ездил из Монте-Вернона в Александрию.



Памятник неизвестному солдату в Вашингтоне находится на огромном военном кладбище. И здесь тоже мрамор. Над всеми могилами установлены маленькие стандартные плитки. Памятник неизвестному солдату производит впечатление храма. В глубине — овальный без крыши зал, окруженный галереей с колоннами. В этом зале установлено несколько десятков низеньких мраморных скамеек. Возле зала находим комнату, где размещены подношения памяти неизвестного солдата, — венки, статуи, военные одежды, в том числе военный наряд какого-то воинственного индейского племени с перьями. Больше всего подношений сделала Франция. Китай подарил фигурку, изображающую знаменитую статую свободы, стоящую у входа в нью-йоркскую гавань. Статуэтка красива, но очень грязна, заржавлена, уже чернеет. Несколько моделей поднесено Обществом дочерей американской революции.

На открытом месте стоит толстая плита высотой в полтора метра, — это и есть могила неизвестного солдата. Мимо нее непрерывно ходит солдат с винтовкой на плече. На плите написано:

«Здесь покоится славный, благородный неизвестный солдат, чье имя известно только богу!»

Чикаго

Город спит, окутанный густым туманом. Дует резкий и холодный ветер с озера Мичиган. До рассвета еще далеко, остаюсь на вокзале автобусов компании «Серая собака».

Гигантский город медленно пробуждается. На улицах появляются прохожие, автомобили, преимущественно грузовые, развозящие продукты на дом.

Чикагская выставка, посвященная техническому прогрессу за последние 100 лет (1834 — 1934), закрылась всего несколько дней тому назад. Чикаго больше всего привлекал к себе этой, несомненно, интересной выставкой.

В день закрытия ее сотни тысяч чикагцев хлынули в павильоны и снесли, разгромили все, что здесь было построено и сделано. Были оставлены в неприкосновенности только те капитальные, фундаментальные сооружения, разрушить которые можно было лишь при помощи специальных машин. Да, здесь, на огромных территориях выставки, действительно, было мамаево побоище. Повсюду торчат столбы, доски, вывески, битые стекла, веревки, цветные бумажки.

Кто же эти погромщики? Видите ли, ответили мне, американцы страшно любят сувениры. И, конечно, они не могли пропустить такого прекрасного случая. В день закрытия экспонаты растаскивались сотнями. Когда в городе стало известно, что на выставке начался погром, то туда прибыло еще несколько тысяч человек пешком, на автомобилях, трамваях и автобусах. Погром продолжался очень долго. Власти и полиция спохватились, когда уже все было разгромлено.

Но не все удалось уничтожить. Продолжает, например, над городом висеть гигантский термометр высотой этажей в двадцать. Вечером ртуть загорается (внутри электролампы), и весь термометр прекрасно освещается. Остались также на выставке две огромные колонны, соединенные между собой

стальными тросами. Между этими колоннами на тросах летали вагонетки с людьми. Из крупных построек, частично сохранившихся на выставке, представляет интерес китайский квартал, химический дворец (внутри пусто, ничего не осталось), автодворец, павильон бойни (тоже пустой).

Сохранилось от выставки в количестве более чем достаточном каталогизированная и описательная литература. В миллионных тиражах изданы были богато исполненные проспекты, альбомы, путеводители, карты, описания и иллюстрации. Разворачиваем проспект, посвященный часам.

Это прямо удивительно, какие огромные, грубые, тяжелые часы носили наши предки сто лет тому назад. Постепенно перед нами проходит картина за картиной развития часового ремесла, чрезвычайно быстро превращающегося в грандиозную отрасль промышленности. Вы смотрите несколько внимательнее и разглядываете прекрасные, изящные, потрясающе маленькие нежные часики (сделано в 1934 году) и замечаете на циферблате микроскопическую надпись «Элжин». Это часовой король Соединенных Штатов. Его огромные часовые фабрики находятся здесь же, под Чикаго. Проспект издала на деньги фабриканта администрация выставки. Именно поэтому в проспекте и сказано, что самые лучшие в мире часы — «бьютифул воч» — производят только фабрики «Элжин».

В транспортном отделе, действительно, демонстрировались чудеса техники, изобретательства и человеческой смекалки. С удивлением рассматриваешь что-то странное, громоздкое, неповоротливое. Это «экипаж» 1834 г. — самый обычный, конечно, в те времена. Затем стройными рядами идут телеги, коляски и, наконец, какое-то очень сложное сооружение на колесах. Посреди этого сооружения большой паровой котел, спереди — горизонтально лежащий, похожий на крест, руль. Этот первый автомобиль, надо полагать, сводил с ума своих современников сложной блестящей и, конечно, совершенной технической конструкцией! Он двигался со ско-

ростью... 3 миль в час! Но человеку нужна была только основа, точка приложения своих творческих сил. Появляется автомобиль улучшенного типа. Он такой же грубый, громоздкий, неповоротливый, как и первый. Но он движется уже со скоростью 8 миль в час. Вероятно, любая лошадь на дорогах обставила его... Вот еще один экипаж, есть и сиденье для кучера, но у кучера в руках вместо вожжей — руль. Он некрасив, тупо обрублен, этот автомобильный прототип, но уже соперничает со скакунами... Начинается XX век. Появляются отцы сегодняшних автомобилей, они сделаны более искусно, они уже скоростны, но все еще ужасно громоздки.

Вытянувшись, как стрела, с расprostертой фигурой собаки, ангела, антилопы, тигра (меняется по желанию владельца) на радиаторе, стоит 140-сильный линкольн. Лимузины, гоночные автомобили, спортивные, маленькие и большие. Автомобили со скоростью 200 км в час с телефоном и радио, с небьющимися стеклами (пуля не пробивает), с сиденьем, превращающимся по мере надобности в постель, со специальным отоплением. Изящные, легкие, красивые автомобили.

Но и этого, оказывается, недостаточно. Буржуа, зашибивший деньги, желает располагать максимумом комфорта, ему даже нужна «культура». И вот стоит великолепное животное — автомобиль, у него в груди спрятано 165 сил, он мчится со скоростью 220 км в час. Окрашен этот механический красавец в нежно-голубой цвет. Серебряный лев, упершись задом в крышку радиатора, правой лапой чешет свою пышную гриву. Весь автомобиль расписан художественными сценами: охота, борьба зверей, синее море, томная красавица в яркой пижаме и что-то еще, несомненно, классическое...

На последней странице проспекта крупно набранное объявление: «Вам не надо утруждать себя, позвоните — и наши представители примчатся к вам, где бы вы ни находились, на машинах различных классов и продемонстрируют вам их качества».

Проспект издан шикарно. Реклама

оправдывает те огромные суммы, которые расходуются на нее ежегодно в Америке. Но за последние 3—4 года положение резко изменилось. Лучшие специалисты рекламного дела довольно грустно разводят руками: теперь публике очень трудно прошибить самым удачным рекламным снарядом.

Специалист рекламного дела в заключение говорит:

— Меня интересует очень, как там у вас. Вы ведь сами понимаете, что газетам нельзя верить. Пожалуйста, приходите на часок, соберутся приятели, побеседуем.

В Америке, когда узнают, что вы гражданин Советского Союза, обязательно и настойчиво зазывают на дружескую «чашку чая». Ну, а как же иначе — он ведь «оттуда», большевик, и посмотрите — бритый, вежливый, одет, как все! Он вовсе не похож на тех полуварваров, полужверей, описаниями которых заполнены многие страницы буржуазной американской прессы, в особенности издания газетного треста Хэрста. Новая советская страна, как яркая звезда, манит к себе взоры многих тысяч людей — инженеров, рабочих, фермеров, служащих, врачей, артистов, забитых нуждой, безработицей, голодом в этой огромной, богатейшей и технически наиболее передовой стране мира — «демократической» Америке.



Широко раскинулась территория прославленной на весь мир Чикагской скотобойни. Еще за километр до бойни слышен запах согнанных со всех концов страны сотен крупных и мелких животных. Огромные грязные загонны наполнены быками, коровами, баранами, свиньями, телятами. Обездчики верхом галопируют между загоннами, все время пощелкивая бичами.

На территории бойни расположились две фирмы: «Свифт» и «Армор». Идем к «Свифту», выбирать не приходится, так как и там, и здесь процесс превращения живых коров, быков, свиней и овец в консервы, колбасы, лекарственные напитки и порошки абсолютно одинаков.

Прежде всего попадаем в специальное бюро, ведающее ознакомлением посетителей с бойнями. Здесь собирают посетителей в кучу, приставляют гида, дарят каждому посетителю цепочку для ключей и пару карточек с изображением бесчисленного множества коровьих и свиных туш, мерзнущих в холодильниках бойни. Это все, конечно, бесплатно, на память о бойне.

Лифт доставляет нас на соответствующий этаж в отделение для свиней. Заботливость фирмы прямо трогательна. Среди посетителей могут оказаться нервные, впечатлительные люди, для которых зрелище короткой расправы с животными не по силам. Для таких людей устроены скамьи вдалеке от операционного зала, здесь они выжидают возвращения экскурсии.

В зал беспрепятственно к движущимся цепям, закрепленным на рельсах, сидящих в потолке, вталкиваются свиньи. Несколько рабочих быстрыми движениями хватают брыкающихся и дергающихся свиней за заднюю ногу, надевают на эту ногу цепи, и свинья моментально взвизгивает кверху. Барахтающаяся и визжащая, висящая головой вниз, она подплывает к человеку, стоящему на тумбе и ждущему ее появления с длинным, тонким ножом в руке. Свиной палач работает, как машина. Каждое его движение точно рассчитано. Он хватается за ногу свинью, поворачивает ее к себе грудью и спокойно протыкает ей ножом, зажатым в правой руке, горло. Цепь уносит агонизирующее животное дальше. Из прокола бурным потоком хлещет на пол горячая, парная кровь. Свинья вздрагивает и замирает в последней позе смерти.

В один час здесь убивается этими точно рассчитанными ударами правой человеческой руки в свиное горло 750 свиней. Этот крепкий парень делает свою работу совершенно спокойно, не размышляя, так как задержать конвейер — это огромный штраф или увольнение.

В конце зала свиная туша обезглавливается. В следующем отделении туша парится, с нее сходит щетина, и здесь же она обмывается кипятком. В другом от-

делении свиной туше разрезают живот и выгаскивают внутренности. Затем туша разрезается пополам, отрубается копыта. В специальном отделении от туши отделяют слои жира, сала, ноги, мясо. В соседнем зале происходит упаковка уже готовой продукции. Это огромный, прекрасно освещенный зал. В белых халатах сидят работницы по обеим сторонам конвейерного потока. Рябит от беспрепятственного мелькания рук работниц. Молча, сосредоточенно, безостановочно они хватают с конвейера лежащую на бумаге колбасу и молниеносно заворачивают ее. Никаких разговоров или переглядываний. Остановка грозит виновнице крупным вычетом из зарплаты, сводящим на-нет весь ее скудный заработок. В этом отделении работают только женщины, и все они молодые. Работа эта изнуряет, иссушает человека, разрушает всю его нервную систему.

Вся свинья целиком идет в дело. Используют даже кровь. Из костей приготавливаются лекарства, различные корма для животных и т. д. Мой спутник, улыбаясь, говорит, что есть проект использовать даже этот дикий беспрепятственный визг убиваемых свиней. Зря пропадает, мол, так много шума.

Убой коров и быков происходит в другом здании. Процесс убоя здесь несколько отличен от процесса убоя свиней. В огромном зале, во всю его длину, движется сплошное стойло — конвейер. В его узких и коротких, жмущих бока, зад и голову животного, загончиках мирно стоят быки. На конце конвейера стоит здоровенный детина с большим деревянным молотом на длинной палке в руках. Когда к нему приближается голова животного, он с полной силой ударяет его по темени. Оглушенное животное падает на пол, уродливо согнув ноги и вытянув голову. Но иногда одного удара бывает недостаточно, и тогда по черепу обезумевшего от ужаса и боли животного молоток бьет второй и третий раз.

К оглушенным и висящим вниз головой быкам подходят два человека. У палача в руках огромный, довольно широкий и острый, как бритва, нож. У помощника в руках металлический наморд-

ник на шесте. Помощник ловким движением надевает намордник на голову животного и с силой отворачивает ее в сторону, широко обнажая горло для того, чтобы было удобнее резать. Палач быстро наклоняется и ловким движением перерезает горло; кровь льется потоком. Животное моментально вздергивается цепями вверх, к потолку, на рельсы конвейера. Животное бьется, дрыгает ногами, кровь сильным фонтаном бьет далеко в сторону. Стеклающиеся, тупо уставленные в невидимую точку коровьи глаза печальны. В это время помощник надевает намордник уже на другую корову. На бойне в час убивают по 180 голов крупного рогатого скота¹⁾.

Уходим с бойни длинными коридорами просторных холодильников. Гид все время говорит о блестящей организации убойного дела у «Свифта». Он все время старается подчеркнуть, что лучшая в мире бойня, десятки раз премированная на всевозможных выставках, — это бойня «Свифта» в Чикаго. Он обращает наше внимание на какое-то странное уродливое сооружение, выставленное в длинном коридоре бойни, — на два толстых столба с огромным колесом сбоку и с толстой перекладной, обмотанной крепким, почти корабельным, канатом. Это, оказывается, гильотина для коров и быков. Гид смеется: вот как некультурно раньше казнили животных на бойнях!

Затем проходим через кафетерию (столовую), организованную Свифтом для рабочих. Большой чистый зал, длинные обеденные столы. Масса белоснежных бумажных салфеток лежит в специальных ящичках, обильно расставленных на столах.

— Здесь кормят только изделиями нашей фабрики, — говорит гид.

— Что же, рабочие получают питание тут дешевле, чем в другой столовой?

— Нет, наша фирма не занимается благотворительными делами. Цены здесь такие же, как и везде. Но рабочему не нужно уходить далеко от фабрики, он

может здесь же позавтракать или пообедать. Это выгодно прежде всего рабочему, он не тратит сил и энергии на ходьбу в далекую столовую.

Соблюдающий интересы хозяина гид «забывает» сказать, что это еще выгоднее хозяевам, сохраняющим рабочую энергию для еще более интенсивной эксплуатации.

Сейчас время ленча (завтрака). На дворах в различных углах появляются рабочие с бумажными пакетиками в руках. Эти чудaki завтракают не в прекрасной кафетерии, а здесь, во дворе, принесенными из дому бутербродами. Останавливаемся и смотрим, что ест рабочий на завтрак (около 1 часу дня): кусок хлеба, маленькая бутылочка молока, кофе или помидорного сока — то-мейто джюсс, один банан или одно яблоко. Все это стоило бы в кафетерии вдвое дороже.

На мосту через маленькую грязную речку с громким названием Чикаго-ривер стоят отдельные группы более чем скромно одетых людей. Это безработные. Здесь они проводят весь день. В любую минуту (какая иллюзия!) их могут вызвать в контору бойни и предложить работу. Мой спутник говорит: «Они заставляют себя забыть, что работы на бойне все более и более рационализируются, в операционных залах остается все меньше и меньше рабочих».

Стоит поздняя, холодная осень. Резкий морозный ветер дует с Чикаго-ривер, разнося по всему району тяжелый воздух боен. Безработные, больше половины которых без пальто, жмутся в своих курых пиджаках. Рядом с территорией бойни видны следы большого пожара 1934 г., уничтожившего сотни домов в рабочих кварталах и значительную часть бойни. Бойни «Свифта» и «Армора» отстроились заново. Но мелкие домишки до сих пор не восстановлены. В них ютилась рабочая беднота боен и соседних фабрик. Улицы носят до сих пор следы этого грандиозного пожара.

В Чикаго ярче, нежели в других городах Соединенных Штатов, бросаются в глаза последствия кризиса. Годами не открываются заводские и фабричные во-

¹⁾ Подобные мясокомбинаты, еще более технически совершенные, построены в Москве, Ленинграде, Семипалатинске и других городах.

рота. Окна и двери тщательно заколочены досками. Почти на всех домах бегают плакаты о сдаче помещений — с уже хорошо знакомой надписью: «to Let, For rent».

На некоторых улицах этих плакатов так много, что их не замечаешь. Десятки тысяч домов требуют немедленного ремонта, окраски, штукатурки. Но это совсем не выгодно, ведь никто не снимает эти дома уже пять-шесть лет. Некоторое исключение составляют несколько буржуазных улиц; Мичиган-авеню, Шеридан-стрит. Здесь чисто и опрятно. Но и здесь то и дело мелькают на домах плакатики: «For rent», «to Let» и т. д.

Мичиган-авеню с дорогами небоскребов вытянулась вдоль берега озера Мичиган. Здесь всегда свежий и чистый воздух, прекрасный вид на отливашую синевой голубую даль красивого озера. Рядом разбросался великолепный парк. Высокими стенами небоскребов озеро отделено от рабочих районов. Кварталы бедняков загнаны отсюда на далекие мили в вонючий и смрадный район премированных боен «Свифта» и «Армора», грязной Чикаго-ривер, заводских и фабричных труб.



... Передо мной, глубоко опустившись в кожаное кресло, сидит чикагский старожил — пожилой человек с круто посаженной головой, энергичным лицом. Его огромные руки рабочего непривычно ерзают вдоль стенок кресла. Когда он берет сигаретку, в глаза бросаются натруженные ладони, крепкие, словно из железа сделанные, пальцы рук. Он прожил в Чикаго, почти никуда не выезжая, около 40 лет. Почти 35 лет он проработал на мебельных фабриках Чикаго. Его специальность — отделка художественной мебели. Он высококвалифицированный рабочий с огромным производственным опытом.

Старик улыбается, делает глубокую затяжку, ударяет меня по колену и восклицает:

— Значит, вы оттуда, прямо из Москвы. Москва — Чикаго! Я еще в

жизни своей не видел ни одного человека оттуда, из Советской России. Очень приятно. Я очень много читаю о Советской России, слежу за вами, как за родными людьми. Если я скажу друзьям, что познакомился с человеком из Москвы и беседовал, они, ведь, дьяволы, не поверят. Скажут, что старика одурачили. Поэтому я устрою вам небольшой экзамен. Согласны? Что у вас в столице строится сейчас?

— Закончивается постройка метрополитена, и одновременно идет подготовка строительства Дворца Советов.

И я прошу его рассказать мне о Чикаго.

— Если хотите, я начну с метрополитена. У нас почти 15 лет идут разговоры о том, что дальше так жить нельзя, что нужно немедленно строить метрополитен. В городе более 4 миллионов населения. Движение на улицах безобразное, невозможно пройти. 15 лет говорят и пишут о метро, но пальцем о палец никто не ударил до сих пор. Каждая партия на выборах обещает построить подземку в Чикаго. Вообще строительства в городе нет никакого, а ведь в Чикаго несколько десятков тысяч строительных рабочих. У каждого семья, — разводит руками мистер Келли. — Строителям досталось хуже всего. Один мой друг не работает уже 5 лет, вы понимаете, рабочий, семейный человек, специалист своего дела, ищет работы и не может найти. А у него золотые руки. Ну и нам, мебельщикам, не весело. Особенно плохо таким мебельщикам, — продолжает тихим голосом старик, — которые работали в мастерских или на фабриках дорогой мебели. Поверите ли, в этом огромном городе закрылись все, до одной, мебельные фабрики. Я работал на фабрике изящной мебели. Ее покупала буржуазия, иногда театры нам заказывали мебель для фойе, для постановок. С 1930 года ни одного заказа. Нас выбросили на улицу, как мальчишек. А ведь каждому из нас по 40, 50 и больше лет. С тех пор я не имел постоянной работы. Разве можно считать постоянной работой то, что я занят 2—3 дня в месяц. Иногда, очень редко, один раз в го-

ду, какой-либо театр приглашает меня починить мебель или окрасить ее. Этой работы хватает мне всего на 5—6 дней. Несколько раз ходил в частные буржуазные дома — приглашали отремонтировать домашнюю мебель. Повезло немного, когда готовились к Чикагской выставке. Я работал на выставке 5 недель. Вообще, надо сказать, город несколько оживился, когда здесь была выставка. Я и не думаю, чтобы наше положение улучшилось. За последние годы изобретено столько машин, что они делают наш труд ненужным. Машина отняла у нас кусок хлеба. По существу, мы обречены на гибель.

Мистер Келли говорил уже повышенным и раздраженным голосом.

— Вы получаете пособие, мистер Келли?

— Нет, не получаю. Обо мне известно, что я изредка имею работу. Неважно, что я работаю 1—2 дня в месяц. Поэтому меня исключили из списков безработных, нуждающихся в пособии. Вот уже целый год, как я добиваюсь пересмотра этого решения. Но мне не пособие нужно. Я рабочий, мне нужна работа, а не подачки, как нищему. Все свои сбережения я уже давно проел. Живу благодаря помощи родственников. У меня есть взрослый сын, очень способный человек. Я мечтал о том, что сумею дать ему высшее, университетское образование. Но он занимался там всего два года. За невзнос платы его исключили. Целый год он занимался дома. Сумел подготовить себя к сдаче государственных экзаменов. Но эти экзамены опять требуют расходов. Ему пришлось бросить учебу и не думать о дипломе. К тому же он выбрал очень неудачную специальность — архитектурную.

— Что же он делает теперь?

— Теперь он работает в отеле, выполняет различные поручения, покупает билеты, заказывает автомобили, показывает город, иногда заменяет лифтера. Зарабатывает 8 долларов в неделю. Этой суммы не хватает даже для покрытия его собственных расходов. В городе несколько тысяч архитекторов не имеют никакой работы. Сейчас он по ночам, в свободные часы (он очень часто рабо-

тает и по ночам), изучает авиацию. Он говорит, что война неизбежна и что авиация будет играть главную роль в современной войне. Так вот, он опять что-то чертит, рассчитывает, надеясь подготовиться за университет, скопить деньги и сдать экзамен. Вообще, наша рабочая молодежь оказалась в самом страшном положении. Работы нет, и нет надежды на то, что она появится в ближайшем будущем. Учиться — нет денег. Я знаю много рабочих семей, дети которых поубегали из дому. Они бродят по стране в поисках заработка. Маленькие дети не ходят в школы, — не в чем ходить. Ребята 14—15 лет едва читают и совсем безграмотно пишут. Более взрослые уходят на улицу, организуют шайки, банды, которые не останавливаются даже перед грабедом и убийством. По поводу бандитизма в Чикаго вы, вероятно, уже слышали или читали в газетах. Это единственная профессия, которая не знает кризиса. Десятки тысяч людей заняты этим делом в Чикаго. Возьмите хотя бы такого типа, как Дилинжер, недавно убитого полицией. Случайно убитого, заметьте это, ведь он содержал всю городскую полицию. Пресса превратила этого бандита в какое-то божество. На этом воспитывалась молодежь. Как же, ведь он свой парень — чикагец. Прямо национальный герой, знаменитость, — вот это бизнес.

Наши кинотеатры показывают такие фильмы, где бандиты, грабежи, убийства и разврат являются наивысшими добродетелями современного общества. Я еще не видел ни одной фильма в Чикаго, которая ставила бы своей целью культурное воспитание молодежи. В последние годы стала характерной борьба между буржуазной и рабочей молодежью. Буржуазные сынки организуются в отряды, вылавливают рабочего парнишку и жестоко избивают его за то... что в ближайшем будущем он будет коммунистом, а значит, и «врагом общества». Ясно, что рабочая молодежь вынуждена была в целях самообороны организоваться. Не было еще случая, чтобы полиция приняла сторону рабочих ребят. Ни одного раза! Буржуазные

детки всегда ни в чем не повинны. Буржуазная молодежь — это кадры наших будущих фашистов.

Мистер Келли докуривает сигаретку до конца, до того момента, когда уже обжигаются пальцы и губы.

— Мистер Келли, скажите, пожалуйста: на что надеются рабочие, безработные, мелкая буржуазия? Видят ли они где-нибудь и в чем-нибудь выход из тупика?

— Наш народ живет сейчас только надеждами на будущее. Четыре года верили президенту мистеру Гуверу. Теперь верят новому президенту — Рузвельту. Гувера совсем забыли, а если и вспоминают, то только для того, чтобы как следует выругаться.

На прощание мистер Келли просит, чтобы я прислал ему из Москвы книгу, обязательно иллюстрированную, чтобы он мог увидеть собственными глазами, как изменилась жизнь в России, что там строится.

Люди из Гомстедта

Вот он, город стали, железа, угля — индустриальное сердце Америки, Питтсбург! Вот она, вотчина стальных и железных королей Америки. Здесь Карнеджи делал свои первые миллионы и миллиарды. Здесь сотни шахт, заводов и фабрик, построенных на костях и крови сотен тысяч рабочих. Огромные заводские трубы, доменные печи, электростанции, под'ездные железнодорожные пути, речные пути, угольные шахты охватывают, сжимают Питтсбург со всех сторон.

Этот город смело можно назвать мрачным городом. Черные грязные дома, залепленные сажей, загаженная заводской копотью, обильно расклеенная реклама. Узкие, как квартирные коридоры, улицы, старый, давно не крашенный трамвай. Новый трамвай власти не хотят строить — нет, мол, денег, да и не для кого строить: ведь в трамвае ездят только рабочие и мелкие служащие. На улицах мчатся по всем направлениям автомобили. Очень бледные лица всегда спешащих прохожих. Нищие и безработные, предлагающие спички,

собирающие недокуренные сигары и брошенные после прочтения газеты (это тоже «бизнес» для голодающего). Роскошные автомобили, великолепные, ломящиеся от избытка товаров витрины и рядом прислонившийся к окну, едва двигающийся от голода губами, безработный. Мрачный город!

Трамвай тихо идет в Гомстедт — рабочий район Питтсбурга. Здесь находится большинство фабрик и заводов города. Гомстедт — крупнейший пролетарский центр Америки.

35 лет тому назад в этом пригороде король стали Карнеджи устроил кровавую бойню впервые забастовавшим рабочим своих металлургических заводов. Он спровоцировал свинцовую расправу не только при помощи полиции, но и войск. В Гомстедте 35 лет тому назад были рабочие баррикады, развевалось яркое красное знамя.

Трамвай идет в Гомстедт через Форбис-стрит — улицу вилл, принадлежащих питтсбургской буржуазии. Роскошные особняки утопают в густой зелени. Дальше, вниз, на обоих берегах реки, заводы и рабочие кварталы. Трудно поверить, что в современной Америке, стране исключительного технического могущества, можно встретить такие жалкие человеческие жилища. Грязные, полуразрушенные деревянные дома теснятся друг возле друга, прилипли к высокому берегу. Они почти сидят один на другом. Ни одного дерева вокруг. И только заводы, заводы, трубы; дым бесконечными густыми клубами стелется над крышами этих домишек. Тяжелый, отравленный черный воздух. Тротуаров почти нет, земляная тропинка извивается узкой ленточкой мимо рабочих жилищ. А рядом великолепное асфальтовое шоссе для автомобилей. На расстоянии всего двух километров — прекрасные утопающие в зелени виллы питтсбургской буржуазной знати.

Сталелитейный завод Карнеджи... У ворот стоит несколько сот безработных, есть и женщины. Регулярно изо дня в день люди приходят сюда, надеясь получить работу. Иногда из заводской будки выходит высокий и полный чиновник и кричит: «Двух, только двух чернора-

бочих и только до конца недели! Работа разная!» Сотни людей бросаются к будке, дают друг друга, пытаются протолкаться к ней и получить номерок. Но это еще не все. Можно протолкаться к будке и не получить номерка, а значит, и работы. Фамилия отобранного рабочего сообщается по телефону в контору, где лежат личные карточки рабочих. В личной карточке отмечено, насколько рабочий «благонадежен». Сплошь и рядом чиновник из будки кричит рабочему:

— Не подошел!

И снова давка, и снова игра на счастье.

В этой толпе не видно ни одного человека в шляпе; три четверти собравшихся без галстуков и больше половины не брились уже несколько дней. Расстегнутые вороты рубах черны от грязи, да и сами рубахи, пиджаки, штаны потерты, рваные, с грязными пятнами. Худые, с мрачными, озлобленными лицами, с руками, засунутыми глубоко в карманы штанов, люди стоят, сидят и лежат прямо здесь же, на панели.



Мы вернулись в Питтсбург поздно вечером.

Пятая авеню сверкала своим электрическим великолепием. Роскошные наряды, платья, костюмы, обувь. Кино, кино, море огня. Отовсюду сплошным радиопотоком несутся звуки джесса, вечный фокстрот — «Кариока» — и совсем новый, только-что надуманный — «Кукарачча». На улице десятки радиорупоров, и каждый выпевает только свое, и все это смешивается в какой-то непонятный, дикий концерт.

Дорогие автомобили мягко разрезают воздух, бесшумно скользя по блестящей зеркальной мостовой авеню. Настороженно от угла до угла ходят полицейские. Они вооружены, они недвусмысленно помахивают, крепко сжимая руками, тяжелые плети. Они охраняют этот голубой пресвященный мир от мира голодных. Они готовы в любую минуту броситься, как хищные звери, на всякого, кто посмеет поднять, протестуя, руку, сжать кулак. Они будут истязать их

точно так же, как их коллега истязал сегодня негра-мальчишку возле роскошного кино на Форбис-стрит. Полицейский бил мальчишку плеткой по голове, скрутив ему руки назад, бил размеренно, словно усовершенствованный по последнему слову американской техники автомат.

Над этим огромным, закопченным дымом заводских труб городом встает гигантская тень гомстедтских баррикад. «Звери из Гомстедта», как называют здешних пролетариев фашистские газеты, придут на центральные улицы обязательно. Они придут для того, чтобы подвести окончательный баланс начатых здесь еще 35 лет назад событий.

Красный сквер в Нью-Йорке

После нескольких пересадок с одного поезда собвея¹⁾ на другой мы прибыли в Юнион-сквер, центральное место сборов и демонстраций нью-йоркских пролетариев. Почти все нью-йоркцы называют Юнион-сквер Красным сквером.

Юнион-сквер производит впечатление осажденной местности: в отличие от других районов города здесь повсюду стоят, прогуливаются внушительного вида полисмены. Их присутствие здесь, очевидно, совершенно необходимо. Они призваны защищать и устанавливать порядок, который именно здесь постоянно нарушается «красными агитаторами». Во время рабочих митингов и весьма частых дискуссий эти стражи тесным кольцом окружают собравшихся и замирают в позе строгих статуй, скрестив руки на груди. Они все высоки, широкоплечи, хорошо развиты физически. В полицию принимают не только политически благонадежных. Защитники интересов и покоя правящих классов должны быть прежде всего здоровыми, сильными. Мой спутник говорит, что полицейский должен уметь одним ударом кулака оглушить сопротивляющегося человека.

Нам посчастливилось. Мы попали в тот момент, когда весь Юнион-сквер пылал предвыборной борьбой. Говорит лидер недавно организованной «незави-

¹⁾ Так называют в Америке метрополитен.

симой национальной партии», Данилс. Данилс стоит на крыше автомобиля, он, еще молодой, подчеркнуто плохо одет (он ведь говорит с безработными). Сотни слов выскакивают из его рта в минуту.

Данилс говорит:

— Неужели вы до сих пор не можете понять, что самый главный враг американского народа — это коммунисты. Самый лучший пример, который может открыться вам глаза, — это Советская Россия, где уже 17 лет народ изнывает от коммунистической диктатуры, где люди дохнут, как собаки, на улицах от голода и болезней, где существует принудительный труд, где рабочие работают под непрерывным контролем Чека. Там, в России, все прибыли идут в карман коммунистов, а трудящиеся миллионами вымирают. Вы хотите такую жизнь, когда за каждое свободное слово вас будут казнить. Если хотите, то поднимите руку.

Мгновенно над толпой замелькали сотни рук! Из толпы орали Данилсу:

— Ты лучше скажи, кто тебе платит, по каким дням ты получаешь деньги, фашистский погромщик!?!

Но Данилса этим нельзя было ни напугать, ни смутить. Как и всякий опытный фашистский демагог, он вновь начал говорить:

— Если не хотите страдать, если хотите быть сытыми и свободными, иметь работу и чтобы ваши жены и дети были счастливы, боритесь с коммунизмом, вступайте в нашу партию, единственную честную и порядочную партию американского народа. Громите коммунистические центры. Вас обманули красные агитаторы, вы ослепли, прозрейте, пока не поздно, сила за нами!

И, действительно, сила за ним — кольцо полицейских все плотнее сжимало толпу. Они не дадут его в обиду.

Все время в воздух взлетают руки. Это значит, что слушатели хотят говорить. Данилс знает, что в Красном сквере он навряд ли найдет себе сторонников, и поэтому не обращает внимания на эти, подкрепляемые угрожающими криками, требования говорить с трибуны.

Данилс брезгливо сжимает губы и вдруг кричит:

— Я такой же рабочий, как вы, я хочу только хорошего для вас.

Но толпа бьшует, она продолжает хорм подавать ему реплики: врешь, не обманешь!

Мы идем дальше. Мой спутник рассказывает: Данилс собрал десяток шпаны, которой он платит по несколько долларов в день. Они должны вместе с полицейскими защитить его от попыток избития со стороны безработных. Поэтому он не боится приезжать сюда, в Красный сквер, и агитировать против коммунистов...

На скамьях сквера сидят сотни людей. Изредка они уходят, бродят по улицам, потом вновь возвращаются сюда. Здесь, на Юнион-сквере, проходит сейчас вся их жизнь. Без гроша в кармане, вечно голодные, плохо и грязно одетые, они ждут, когда сумеют пойти на фабрику, на завод, в контору. Все скамейки заняты, многие, постелив газеты, сидят на земле.

Один из безработных закуривает. К нему сейчас же подсаживаются еще два три человека, смотрят курильщику в рот и ждут, когда он оставит им полсигаретки.

Мы остановились возле скамьи, окруженной большой группой безработных. Здесь шел горячий спор. На скамье сидел молодой парень с крепкими мозолистыми руками в грязном пиджаке и рваных ботинках. Против него стоял маленький старичок и нервно жестикулировал руками. Молодой парень оказался коммунистом. Коммунист доказывал старику необходимость вступить в партию для того, чтобы принять участие в организованной борьбе с капиталом. В ответ старик срывающимся голосом выкрикивал:

— Что мне твоя партия. Она может платить мне жалованье, она может дать мне хлеб, работу? Нет! А вот капиталисты могут. Сейчас им плохо, но скоро придут хорошие дни. Тогда капиталисты дадут нам всем работу.

Я внимательно посмотрел на этого бесплатного «защитника» капиталистов. Длинный пиджак, явно с чужого плеча,

доходил ему почти до колен, воротничок был грязный, с большими ржавыми пятнами, облезлый галстук едва держался, ботинки были разные. И коммунист, и беспартийный — оба были безработными, и оба не знали, где будут ночевать и когда посчастливится им что-нибудь перекусить.

— А за кого ты будешь голосовать? — спросил парень старика.

— За мистера Лимана, — с уважением в голосе произнес старик. — Он честный человек, ненавидит фашистов и недавно заявил, что первым делом, если он будет избран губернатором штата Нью-Йорк, поможет безработным найти работу.

— И ты веришь ему, старик?

— Конечно, верю, ведь я 40 лет работал на фабрике. Ведь работу мне дали капиталисты.

— Сколько времени ты уже «бродишь»?

— Около года.

— Ну, и как? Получил работу?

— Если бы я получил работу, я не терял бы времени на пустые разговоры с дураком.

Все окружающие весело расхохотались.

— А скажи, старик, ты за Рузвельта голосовал?

— Да.

— Ведь он обещал еще два года назад ликвидировать безработицу, дать всем работу. Что же, забыл он, что ли? А ведь он демократ, и Лиман твой тоже демократ. Лиман тоже обещает целый рай. Только и труда, что отдать ему свой голос...

Один из слушателей дружелюбно хлопает старика по спине и говорит:

— Ты ослеп, старик, долго верил им. Хоть сдохни вот здесь, ни республиканец, ни демократ не подаст тебе и цента на чашку кофе!

Мы пошли дальше. Красный сквер остался далеко позади. Около универмага Вулворта, где продаются дешевые товары (стоимостью в 5 и 10 центов), к нам подошел прилично одетый человек средних лет, снял шляпу и что-то глухо пробормотал. Выяснилось, что он просит несколько центов на чашку кофе.

Этот пожилой человек, который по виду мог сойти за бизнесмена, умоляюще смотрел нам в глаза. Мы заметили, что воротничок его сделан из картона.

Ни один буржуа не подаст милостыни плохо одетому человеку. Самая большая угроза для безработного — потерять «приличный вид». На Пятой авеню вы можете увидеть людей в рубашках, сделанных из тонкой белоснежной писчей бумаги! Иногда кусочек белого картона, сделанный под манишку, покрывает только грудь, а жилетка и пиджак одеты прямо на голое тело...

Мы проходим по 12-й Восточной улице в сторону Пятой авеню. На углу, около почтового ящика, прямо на тротуаре, сидел негр. Он опустил голову и тихо стонал. Все равнодушно проходили мимо. Мой спутник наклонился, тронул негра за плечо и спросил, в чем дело. Негр рассказал нам свою грустную повесть.

Полгода был безработным, на руках большая семья — жена и четверо маленьких ребят. Месяц тому назад его наняли лифтером за 7 долларов в неделю. Но вот сегодня управляющий домом решил дать работу белому, который согласен работать за такую же точно плату. Он не знает, что будет дальше. У него маленькая комната, вся семья спит на полу, продать нечего, чтобы продержаться хотя бы неделю. И вот теперь он не знает, итти ли ему домой, где его ждут и думают, что он принесет денег, хлеба, картошку...

День в Гарлеме

Это большой город в гигантском Нью-Йорке. Большой черный остров в море белоцветных улиц и людей. Гарлем — это негритянское гетто, черный квартал Нью-Йорка. Здесь даже дома темносерые, черные — не от окраски, а от плесневеющей древности. Длинные узкие улицы заставлены большими, старыми, грязными, облезлыми домами. Даже полицейские, словно маяки, расставленные на уличных перекрестках, — негры. Неважно, что на углах стоят белокожие сыщики и полицейские инспектора, зорко следящие за своими черными коллегами. Важно другое — формы

и принципы американской демократии налицо!

На улицах не видно ни одного белокожего. Шоферы такси и автобусов — негры, пасторы в церквях — негры, учителя в школах — негры. Самодовольный и преуспевающий американский буржуа говорит: «Мы дали этим чернокожим все, что необходимо каждому народу, — свободу, права, даже территорию. Они у нас совершенно равноправны...»

Этот буржуа бывал в Париже, Лондоне и Риме, в Шанхае и Токио. Но он никогда не был в южных штатах своей страны, в «черном поясе», в штате Джорджия. Его нога ни разу не ступала по улицам Гарлема, находящегося в сорока минутах езды от его роскошной квартиры на Парк-авеню.

На Пятой авеню, 57-й улице, Парк-авеню, Риверсайд-драйве — в буржуазных кварталах Нью-Йорка — неумолимый кризис жестоко расправился с менее устойчивыми кругами буржуазии. Кризис произвел своеобразную «чистку» этих больших, широких, светлых улиц. Пустуют сотни домов.

Мы сидели с нью-йоркским старожилем на имперiale автобуса (на втором этаже).

— Смотрите скорее, — кричит мне старожил, — вот десятиэтажный дом. Видите, окна заколочены досками. Он совершенно пустой, владельцы не могут найти квартирантов.

Через минуту повторился опять такой же возглас. Мы проезжали мимо гигантского многоэтажного дома, в котором был занят только один нижний этаж — конторами, парикмахерской и ювелирным магазином. Самый большой в мире небоскреб, стодвухэтажный «Эмпайр стейтс бильдинг», заселен только на 20 процентов полезной площади.

Негры бывают богатые и бедные. Бедных, конечно, подавляющее большинство. Но так не только у негров. Точно такое же социальное соотношение и у англичан, и у немцев, и у американцев. Но надо признать, что негру «выбиться в люди», стать богатым, по многим социально-национальным условиям, господствующим в стране, неизмеримо

труднее. Ему нужно не только увеличить эксплуатацию своих сородичей, изошряться в жульничестве, мошенничестве и надувательстве, но и преодолеть жестокое и упорное сопротивление белокожих буржуа, оберегающих «чистоту нации» и в первую очередь, конечно, чистоту своих рядов.

Но будем конкретнее. Ни один считающий себя «настоящим американцем» буржуа, владеющий доходным домом в богатом квартале города, не сдаст квартиры негру, будь этот негр даже сверхбуржуем. Пусть пустуют дома, пусть подхлестывает кризис, но негру нельзя сдать квартиры, ибо «настоящие американцы» не станут жить в одном доме с негром, оставят квартиры и переедут в другой дом...

Нью-йоркцы любят говорить, что к неграм они относятся... терпимо. В Нью-Йорке негров не порют, не сажают в колодки, не заковывают в цепи, не сжигают на кострах, предварительно облив керосином, не вешают и не линчуют, как это практикуется в южных штатах, в штатах Джорджия и Алабама. В северных штатах страны, и в Нью-Йорке в частности, негров попросту презирают, относятся к ним с подчеркнутой, холодной пренебрежительностью, как к животным. Хотя животные, как и люди, в буржуазном обществе бывают разные

Например, собачка мисс Вандербильдт распоряжается годовым бюджетом в 760 долларов, иначе — 63½ доллара в месяц! Негр, Джордж Смир, рабочий бисквитной фабрики, работающий ежедневно ровно девять с половиной часов, получает 32 доллара в месяц, в два раза меньше собачки.

В Нью-Йорке — не как в южных штатах: в подземке, в автобусе, в трамвае нет отделений «для черных людей» и «для белых людей». Но рядом с негром не сядет ни один буржуа, ни один мещанин. Если же на скамью опускается негр, то «белый» с недовольной гримасой отодвигается в сторону.

Однажды в вагон метро вошел хорошо одетый негр и женщина с белоснежной кожей лица и рук. Стоило полюбоваться широко раскрытыми ртами и глазами «белых» пассажиров. Словно па-

рализованнные, они ни на секунду не сводили глаз с этой пары. Упитанные бизнесмены перестали заглядывать даже в газеты. Всю дорогу более получаса продолжалась эта мучительная моральная пытка. Негр и его спутница неподвижно сидели в углу вагона, молча разглядывая мелькающие за окном грязные стены тоннеля метро.

В южных штатах негра за появление с белой женщиной немедленно линчуют. В Соединенных Штатах всего несколько смешанных браков — негров с американками. И ни одного брака американца с негритянкой.

Пользующийся широким покровительством зоологический шовинизм аргументируется специально придуманной гнусной «теорией» о «специфическом происхождении запаха и курчавых волос у черных людей!» Все, что может опорочить достоинство человека, свести его к уровню животного, грязные анекдоты и отвратительные истории выдаются за «характерные черты» негритянского народа. Когда несколько десятков лет назад в Гарлем потянулись толпы людей, спасавшихся от каторги и самосуда, творимых в Джорджии, Алабаме и в других штатах страны, «цивилизованные» американские мещане завопили: «черная угроза» ползет в Нью-Йорк. Негров изолировали от всех других жителей города, селили только в одном районе — Гарлеме.

Один старик-негр сказал мне: «Ну, конечно, в Гарлеме несравненно лучше, чем где бы то ни было, хотя я бывал только в Джорджии. Два года я пробыл из Джорджии в Нью-Йорк. На пути в Гарлем меня несколько раз ловили плантаторы и заставляли обрабатывать сезоны сбора хлопка. Сидел в тюрьме за «нарушение контракта» с владельцем хлопковой каторги. Тяжело было добраться до Гарлема».

Уличная толпа в Гарлеме огромна, суетлива, но молчалива. Десятки лет презрения, преследований и изуверств наложили на этих людей отпечаток подавленности и отверженности. Сквозь черноту лиц пробивается матовая бледность, глубоко запавшие глаза, острые, стянутые кожей, скулы. Десятки, сотни

молодых и пожилых негров медленно бредут вдоль улиц, едва передвигая ноги. Это люди из категории тех, которым некуда торопиться. Их не ждет работа, ибо ее нет. Их не ждет домашний очаг, ибо его тоже нет.

Возле фруктовой лавки у мусорного ящика толпится группа негров. Подходим... Длинными, тонкими оголенными руками худенький подросток извлекает из щели ящика банановые шкурки и черные от гнили целые бананы. Подросток часто передает мокрые фрукты в жадно протянутые руки десятка голодных людей. Наконец, ящик очищен до дна. Подросток уходит к углу улицы, устраивается в нише и запикивает в рот шкурки.

Белый
ест
ананас спелый.
Черный —
гнильбу моченый.

Через две улицы большая толпа запрудила тротуар. На земле лежит длинный негр. Он лежит на боку, прижав правую щеку к земле. Лица не видно. Огромный негр-полицейский, расставив широко ноги, безучастно оглядывает лежащего. Грохочет мотоцикл. Американец — полицейский сержант — резкими толчками расталкивает толпу, подходит к полицейскому-негру и хрипло вскрикивает: «В чем дело, почему толпа на тротуаре, разогнать!»

Полицейский шопотом объясняет что-то сержанту.

— Глупости, — отвечает он, — пьяный!

Ногой, обутой в тяжелую коричневую крагу, сержант ударяет лежащего в спину. Глухой стон, негр переворачивается на спину. Узкое, пепельно-черное, изможденное лицо. Глаза закрыты. Нижняя губа отвисла. Страшное лицо голода.

Негр-полицейский поднимает сраженного голодом человека, грубо, словно деревянный предмет, бросает его в коляску мотоцикла. Сержант приказывает разогнать толпу, вспрыгивает на сиденье мотоцикла, дает газ, сразу переводит рычаг на третью скорость. Машина сры-

вається с места и через несколько секунд скрывается из виду. Резиновая палка полицейского гуляет по спинам и головам собравшихся. Молча, неохотно толпа расходится.

... Унылые звуки органа льются из широко распахнутых дверей церкви. В большом полутемном зале на скамьях сидят человек тридцать. Автоматический орган стоит возле амвона. Нажатием электрической кнопки служитель меняет очередные пластинки божественного песнопения. Из-за портьеры возле органа появляется священник — маленький, круглый, как пышка, негр. Священник в черном костюме, пиджак наглухо застегнут. Большое, лоснящееся, полное лицо. Голова на короткой шее вертится во все стороны. Священник оглядывает пустые и полупустые скамьи. Зал свободно вместил бы сотни четыре верующих. Медленно, словно нехотя, священник взбирается на ступень амвона. Служитель нажимает кнопку. Орган смолкает.

— Бесконечны благодеяния твои, о боже, — громко, заученно бормочет священник. — Как величественны кротость и терпение детей твоих, поселившихся на чужой, но гостеприимной земле...

Словесная белиберда усыпляет малочисленную аудиторию. Молодой парень, далеко вытянувши ноги, спит. Рядом с ним спит другой негр. Старуха-негритянка с глазами, наполненными слезами, напряженно, в упор смотрит и слушает бормотание слуги божьего. Она, очевидно, видит картины страданий негритянского народа, его безграничное терпение. Перед ее глазами проносятся равнины Джорджии, поля, покрытые белоснежным, созревшим хлопком, согнутые спины тысяч негров с волочащимися по земле огромными мешками, наполненными пучками хлопка; перед ее глазами проносится знойное солнце и надсмотрщица с винтовками и бичами в руках, огромные черные фургоны-клетки, молодые и старые негры в колодках на ногах и на шее...

Проповедь кончилась. Молодой негр вздрогнул и проснулся. Он огляделся по сторонам, устроился поудобнее, вновь вытянул ноги, прикрыл лицо кепкой и опять заснул...

После церковной затхлости на улице свежо и легко. Идем вдоль однообразных, старых, серых домов. Здесь, в Гарлеме, нет небоскребов. Шесть, семь, восемь, девять этажей — не выше. Глубоко в землю уходят эти дома. Под землей, на глубине двух-трех этажей, в подвалах, живут огромными семьями наиболее беднейшие слои негритянского Гарлема.

„Правосудие“ доллара

Густая, пропитанная туманом, вечерняя темнота наполняет улицы города. Решили идти пешком. Улицы пустынные и мало освещены. Выходим на Бродвей. Здесь свет слепит глаза, яркий и многокрасочный, он разлит повсюду — на тротуарах, мостовых, домах и на крышах домов. Цветные огоньки рекламного кино, ресторанов, кабаков и фирм ежесекундно вспыхивают и потухают. Невидимая рука выводит на фасаде двадцатиэтажного домика надпись неоновым светом: «Для того, чтобы быть бодрым и сильным, пейте «Кока-кола». Лучший напиток в мире, возвращающий энергию».

Тем же почерком, но пятью этажами ниже, красноватый неоновый карандаш пишет: «Лучшие в мире радиоприемники, фотоаппараты только в магазинах Кодака. Полная гарантия красоты, формы и качества». На высоте примерно десятого этажа поток электрических ламп выводит двухметровыми буквами: «Блаженство, лучшее, красивейшие танцовщицы, прекраснейшие специальные коктейли и ликеры, пять оркестров, императорски оборудованные кабины¹⁾. Спешите насладиться в «Вампире»!

Мы едем «наслаждаться» не в ресторан, а в ночной суд (найкорт), находящийся здесь же, на одном из углов Бродвея.

В Нью-Йорке несколько ночных судов, обслуживающих различные районы города. Американская конституция считает крайне необходимым предоставить всем арестованным возможность судиться немедленно. В ночной суд поступают дела всех американских граждан, задер-

¹⁾ Кабинеты.

жанных по обвинению в каких-либо преступлениях на территории города Нью-Йорка после трех часов дня. Обвинение обычно заготавливает полиция или сыщики, задержавшие преступника.



Зал, рассчитанный на 150—200 человек, набит доотказа. Коридоры, ведущие в судебный зал, оживлены. Отдельными группами стоят полицейские и сыщики (с бляхой на левом отвороте пиджака). С трудом проходим в зал. Корреспондентские билеты, которые любезно были предоставлены одной из нью-йоркских газет, дают нам возможность получить лучшие места, возле барьера.

«Судебное разбирательство» в полном разгаре. Обвиняемых не утверждают серьезные допросами — за них говорит либо сыщик, либо полицейский. Некоторых подсудимых судья не удостоил даже взгляда. Единственный момент, когда судья бросает косой взгляд на подсудимого, — момент произнесения последним клятвы. Эта некогда торжественная церемония свелась ныне к полуминутной процедуре. Подсудимого ставят на возвышение. Он поднимает правую руку с раскрытой ладонью вверх и повторяет за судебным клерком слова клятвы — что он не оскорбит ложью бога, президента, государство и что у него на уме только искреннее стремление раскаться перед судом.

Дверь, находящаяся справа от барьера, ведет в узкую, длинную комнату без окон. Тусклый свет единственной лампы освещает эту «арестантскую камеру». Она охраняется тремя полицейскими. В этой камере сейчас находится человек сорок. Ни скамей, ни стульев в ней нет. Все подсудимые стоят, некоторые сидят на корточках или прислонились спиной к стене. Сидит лишь один человек, только что приведенный в камеру. Сыщик услужливо принес ему стул. Он безукоризненно одет, — смокинг, сверкающая белизной рубашка. На лицо наброшен шелковый платок. Этому человеку не хочется быть узнанным.

Судят обычно в порядке «строгой очереди». Но нет правил без исключения.

«Стыдливого» арестанта выводят из камеры первым. Его не приводят к клятве. Ему подставляют стул, он молча садится и не произносит ни звука за все время (минут пятнадцать) суда. У него есть собственный адвокат, который одет так же хорошо, как и подсудимый. Не называя фамилии арестанта, адвокат произносит бурную, цветистую речь, продолжавшуюся не более трех минут.

С возвышения, на котором произносится клятва, сходит молодая, скромно одетая женщина. Она стоит, низко опустив голову, перед судейским столом. Сыщик скрипуче-хриплым голосом рассказывает судье ее преступление.

— Уже полгода, — монотонным голосом говорит он, — я наблюдаю ее жизнь. Почти через день она водит к себе посторонних мужчин, и каждый раз новых. Ее поведение весьма сильно влияет на нравственный уровень всех семейств, живущих в доме. Она постыдится перед законом отпираться в своем преступлении. У меня есть хороший свидетель, вполне уважаемый человек, хозяин квартиры, в которой она (грубый жест в сторону подсудимой) занимает комнату!

Свидетель — худой, почти высохший старик с раздражительным лицом — стоит у барьера. Обращаясь к подсудимой, судья спрашивает: правду ли говорит господин сыщик?

— Но я ведь уже два года не имею работы, — дрожащим голосом отвечает она.

— Меня интересует только один вопрос, — повышая голос, произносит судья, — прав ли господин сыщик? Не забывайте, что вы принесли клятву в том, что будете говорить только правду! Лгушие понесут суровое наказание.

— Да, он говорит правду, но ведь я так долго была безработной, мне ведь надо что-то есть?

— Итак, вы сознались публично в том, что два года занимались проституцией, нарушая все имеющиеся на этот счет законы!

— Не два года, а пять месяцев, — робко замечает подсудимая.

— Не прерывайте судью, — грубо обрывает ее судебный клерк.

— Итак, вы признались во всем! Сколько всего мужчин было у вас за эти два года?

Женщина молчит.

— Который раз вас приводят в суд? — продолжает спрашивать судья.

— Первый, — отвечает женщина.

Судья молчит, морщит лоб, трет рукой щеку, встает и объявляет приговор — пятьдесят долларов штрафа и тридцать дней в доме заключения для женщин. В случае неуплаты срок заключения удвоить.

Из камеры в зал сыщики вводят двух человек; один из них негр.

Пузатый коротышка — клерк суда — монотонным голосом читает обвинение, переданное ему огромным, великанского роста полицейским.

— Этот джентльмен, — рука в сторону белого, — и этот мистер, — рука в сторону черного, — стояли на Бродвее возле кинематографа «Рокси» и разглядывали рекламные кино-фотовыставки. Неожиданно вот этот мистер ударил этого джентльмена по лицу.

— Неправильно, наоборот, он меня ударил первый, — неожиданно громко воскликнул подсудимый негр.

— Молчать, не смей прерывать чтение обвинительного протокола! — грозно прикрикнул на него клерк и громко топнул ногой об пол. Судья сидит неподвижно, плотно прикрыв веки глаз. Его неестественно большие уши свисают с обеих сторон лица, словно две половинки ровно разрезанной груши, тщательно приклеенные к коже. Подсудимый «джентльмен» внимательно разглядывает сидящих в зале, он улыбается кому-то затерянному в рядах и машет рукой. Судья не делает ему никакого замечания. Клерк кончил читать полицейский протокол, из которого видно, что негр на предложение полицейского извиниться перед «джентльменом» оскорбил еще раз «джентльмена» словом и потребовал привода их обоих в суд.

Судья медленно открывает глаза, поворачивает голову к «джентльмену»:

— Вы подтверждаете правдивость содержания зачитанного протокола?

— Абсолютно. Это настоящая истина. Что я могу иметь общего с этой, извините меня, черной ско... — Судья быстро поднял руку и не дал «джентльмену» договорить оскорбительное слово, прекрасно понятое всем залом.

— А вы подтверждаете правдивость протокола? — обернулся судья в сторону негра.

— Почему я должен извиниться, если он меня ударил первый? — протестующе говорит негр.

Судья встает и, обращаясь не к подсудимым, а ко всему залу, к скамье, занятой репортерами, громко говорит:

— Я рекомендую вам извиниться.

Молчание. Кому предложено извиниться, неизвестно. Через минуту клерк подходит к негру и кричит возле его уха:

— Вы что, оглохли, господин судья предлагает вам извиниться.

Негр удивленно смотрит на клерка, затем на судью, поворачивается к залу и нервно-дрожащим голосом спрашивает:

— Почему я должен извиниться, это ошибка, не я ударил его, а он ударил меня.

Судья огорашивает негра «соломоновым решением» — либо он сейчас же принесет извинение этому джентльмену, либо судья вынужден будет присудить негра к заключению под стражу на одну неделю.

Негр выпрямляется, в его глазах блестит озлобленная решительность, и он громко кричит, так, что слышно даже в коридорах суда:

— Извиняться перед мерзавцем не желаю!

Опрошенный полисмен выводит негра из зала. «Джентльмен» расписывается в какой-то толстой книге, лежащей на столе у клерка, низко кланяется судье и выходит за барьер, поганно ухмыляясь. В зале кто-то к нему проталкивается, пожимает руки...

Судят сразу целую семью. Обвинение поддерживают полицейский и домовладелец.

Глава семейства (жена и двое детей) занимал квартиру в две комнаты. Уже полтора года он не имеет работы и уже полгода не платит квартирной платы.

Сегодня утром, когда к безработному пришел его приятель, тоже безработный (маленький, худенький, щупленький человек), в квартиру вошел домовладелец и потребовал немедленной уплаты задолженности по квартире. Безработный вывернул пустые карманы брюк и показал их хозяину. Тот, оскорбившись, потребовал сейчас же освободить квартиру. Безработный отказался. Хозяин вызвал полицейского и еще какого-то хулигана, вместе с которым начал выбрасывать пожитки безработного из комнат. Друзья-безработные оказали сопротивление. Будто бы в то время, когда гигант-полицейский бил худенького, щупленького безработного по голове, тот отвесил ему пощечину. Вещи выброшены на улицу, квартира закрыта на замок, вся семья приведена в суд.

— Вы что, эмигрант? — спрашивает судья безработного.

— Я настоящий американец, мои родители родились в Америке, — отвечает подсудимый.

— Странно, — гнусит судья. — Если вы настоящий американец, то почему же не платили за квартиру? — продолжает он.

— Если вы будете, — вскрикивает «настоящий американец», — полтора года безработным, вы тоже не станете платить за квартиру.

Клерк, исполняющий роль цербера при суде, требует от подсудимого прекратить «оскорбление» судьи!

— Вы учинили скандал в чужом доме, — продолжает судья, — настоящий американец никогда не сделает этого, он уважает чужую собственность. Готовы ли вы уплатить за квартиру?

— Я не работаю, у меня нет денег, — раздраженно отвечает подсудимый.

Судья обращается к другому обвиняемому, худенькому человеку:

— Вы участвовали в этом скандале?

— Нет. Меня вовлек в него полицейский, избивший меня.

Судья совещается с клерком и затем объявляет — дело о нанесении оскорбления действием представителю государственной власти при исполнении служебных обязанностей выделит и передать в суд высшей инстанции. Дело о сканда-

ле, учиненном в доме, об отказе от уплаты за квартиру прекратить, поскольку жилец... освободил (вещи выброшены из квартиры, семья изгнана на улицу) квартиру. Но за сопротивление властям осудить жильца на десять суток арестного дома с работами.

Семейный безработный громко, со злобой плюет на пол. В тишине зала слышно, как плевком шлепается на паркет. Клерк об'являет перерыв.

В течение примерно полутора часов этот «справедливый» суд успел облагодетельствовать четырех человек тюрьмой и трех, долженствующих сидеть в тюрьме, свободой. Утомленный судья и клерки уходят передохнуть и перекусить в отдельную комнату. Работы еще много. Арестантская камера полна.

Судебный зал, набитый публикой, получив возможность перекинуться словом, загудел, как потревоженный пчелиный улей. Ни одного свободного места. Заняты все проходы. В дверях, ведущих в коридор, стоит толпа, не нашедшая себе места в зале. В зале масса ребят в возрасте от 12 до 17 лет. В передних рядах сидят шикарно одетые мужчины и женщины. Они приходят сюда к восьми, девяти часам вечера и сидят до часу, двух ночи, до момента закрытия этого судилища. Они располагаются здесь, как в театре, с биноклями и лорнетами. Они жадно слушают, как проститутка рассказывает суду о своей «преступной» жизни. Они слышат рассказ об изнасиловании, о том, как сутенер зарезал изменившую или сбежавшую от него «подругу», надругавшись предварительно над ее телом. Они, эти богатые проститутки и сутенеры, любители острых, пряных ощущений, жадно набираются впечатлений. Детей, проникших в зал и сидящих здесь по шесть-семь часов под ряд, никто не замечает, их никто не гонит отсюда. Ведь это «страна демократической свободы»! Каждый делает то, что он хочет.

В зал входят мужчины и женщины в вечерних туалетах. У барьера появляется клерк, еще издали раскланивающийся с новыми гостями. За барьером, почти у судейского стола, для них приготовлены стулья. Они шумно рассаживаются,

смеются, женщины снимают жакеты, шубки, обнажая декорированные драгоценностями тела. Эта публика приезжает сюда в поисках развлечения, как в театр (мистер Д. говорит, что об их приезде клерки были предупреждены по телефону). Впрочем, в театр они никогда не ходят. В семимиллионном Нью-Йорке театры большей частью закрыты. Единственный значительный театр — «Метрополитан опера-хауз» — терпит все время убытки, существует на подачки. Ночной суд поэтому заменяет американскому буржуа театры всех жанров и направлений. Здесь, в суде, он видит настоящую реальную жизнь со всеми гнусностями, уродствами, издевательствами над бедной.

Перерыв кончился. Суд приступает к слушанию целой пачки дел об изнасиловании.

Парень 26 лет обвиняется в изнасиловании пятнадцатилетней девушки. Никаких определенных занятий обвиняемый не имеет. На вопрос судьи об источнике средств к существованию он, ухмыляясь, отвечает:

— Иногда перепадает кое-что, тем и живу.

Парень модно одет.

— Ваша профессия? — продолжает спрашивать судья.

— У меня нет профессии, я принципиально не желаю работать, пусть работают «зеленые»¹⁾.

Через некоторое время выясняется, что он «работает на Бродвее». Мистер Д. расшифровывает мне — парень занимается сутенерством, торговлей наркотиками, ловлей и надувательством «зеленых», посещающих Бродвей.

— Вы обвиняетесь в изнасиловании несовершеннолетней. Что вы можете сказать по этому поводу? — задает ему вопрос судья.

По поводу обвинения он заявляет, что девчонка уже три года гуляет со всей улицей. Все знают, что с ней жили многие ученики школы, в которой она училась. Из этой школы ее выгнали за совращение учеников.

— Вы обвиняетесь еще и в том, —

медленно цедит слова судья, — что после изнасилования вы привели с Бродвее еще трех мужчин, вступивших с нею в преступную связь и уплативших вам за это деньги.

— Это тоже недоразумение. Я уже говорил вам, что это не девушка, а проститутка. Я ее оставил на одну минуту, а когда вошел в сарай обратно, там уже было трое неизвестных мне мужчин, которых она, несомненно, успела привести с улицы. Она начала кричать, появился народ и полиция. Вот все дело, как оно было в действительности. Как видите, господин судья, меня оклеветали, и я приведен сюда по ошибке.

Судья переходит к допросу потерпевшей.

— У вас есть родители?

Девушка плачет и сквозь слезы выговаривает:

— Я ушла из дому.

— На какие средства вы существовали?

— У меня нет никаких средств, иногда мужчины давали мне деньги.

— Вы давно знакомы с обвиняемым?

— Нет. Он поймал меня на Бродвее неделю назад и сказал, что, если я не буду принадлежать ему, он меня зарежет. После этого он приводил ко мне каждый вечер трех-четыре мужчин и брал с них деньги. Вчера он купил мне эту жакетку. (На плечи девушки наброшена дешевенькая, но модная меховая шубка.)

— Почему вы кричали?

Минутная пауза. Затем потерпевшая тихо говорит, исподлобья кидая взгляды в сторону обещавшего ее зарезать сутенера.

— Я не могла больше вытерпеть. Они издевались надо мной.

Судья передает дело в суд высшей инстанции. К судейскому столу быстро подходит субъект в котелке и делает заявление:

— Я беру этого человека на поруки, определите сумму залога.

«Ночные суды» дают огромный за- работок бесчисленному аппарату поли-

¹⁾ Так называют в Америке эмигрантов.

ции, сыщикам, судебным чиновникам адвокатским конторам. Горе подсудимому, не имеющему толстого кармана. Вокруг «ночных судов» ютятся десятки специальных «юридических и залоговых контор». Человек с деньгами получает от такой конторы абсолютную гарантию положительного решения дела.

Многим подсудимым эти конторы подсовывают кабальные договоры на займы для внесения судебного залога из 20 процентов в месяц. Но не только этим заняты «юридические конторы». Они прилагают старания для того, чтобы лишить защитников — представителей рабочих организаций — возможности выступать в суде. Не было еще случая, чтобы эти конторы согласились внести судебный залог за коммуниста.

Мистер Д. рассказывает:

— Я несколько лет посещаю эти судебные заведения. Поверьте мне, все адвокаты прежде всего оценивают, сколько стоит подсудимый, только после этого его судят.



Мы возвращаемся из суда опять через Бродвей. Сейчас 2 часа ночи. Бродвей так же оживлен, как и в 10 часов вечера, когда мы шли в «ночной суд». Кипящий человеческий котел бурлит на этой «великой светлой дороге». Тысячи кино, ресторанов, кабаков и притонов гнездятся на этой улице.

Бродвей — самый значительный поставщик преступников в городе. Бродвей портит американскую молодежь, пропускающая ее через кино с невероятными фильмами, через притоны наркоманов. Здесь, на Бродвее, выращиваются знаменитые во всем мире американские бандиты типа Ал-Капоне, готовятся хулиганы, науськиваемые на рабочие демонстрации, нападающие на революционных бойцов.

Установлено, что в стране в течение только одного 1934 года произошло 12 тысяч серьезных уголовных преступлений, 100 тысяч вооруженных грабительских нападений, 70 тысяч удавшихся уличных грабежей и ограбление 50 тысяч домов. В 200 огромных тюрьмах

страны заключено около 300 тысяч «преступников». Ежегодно в стране гибнут жертвами бандитизма и улично-го движения более 80 тысяч человек.

Особняк на 22 стрит

Знаменитый в Нью-Йорке специальный детский суд помещается на 22 стрит, возле Лексингтон-авеню. Мы шли в этот суд мимо сквера с наглухо запертыми калитками. Внутри сквера играют дети, чинно гуляют няни и бонны. Он принадлежит богатым буржуазным семьям, проживающим в этом районе; его калитки специально закрываются на ключ для того, чтобы в него не проникли дети бедноты. У каждой такой буржуазной семьи имеется свой ключ от калитки. Ребятишки бедняков, чтобы отомстить за эту несправедливость, мочатся сквозь железные прутья забора прямо на ровно подстриженную траву, цветы и кустики сквера.

Детский суд Нью-Йорка помещается в прекрасном особняке, внутренняя отделка которого выдержана в строгом тюремно-церковном стиле. Темный вестибюль заканчивается широкой лестницей, которая приводит нас в мрачный судебный зал. В этом, окутанном полумраком, зале, на большом возвышении, сидит гладко выбритый и крепко упитанный судья, кончиками пальцев медленно перебирающий бумажки, лежащие ровной стопкой перед ним на столе. Рядом с ним сидит млеющая от скуки стенографистка, лениво перелистывающая иллюстрированный журнал, лежащий в выдвижном ящике ее маленького письменного столика. Прямо против судьи — пустые скамьи для публики. Справа, у стены, — скамья для клерков суда. На этой скамье сидят три женщины: две — очень толстых и одна — чрезвычайно тощая и длинная. Тонкие ноги тощей женщины выходят за столик, стоящий у скамьи. Все три женщины в солидных летах. Здесь же сидит клерк-сыщик, жирный дядя с редкими черными усиками и с большим желтым цветком в петлице.

Из специальной камеры в зал ввели обвиняемого. Мальчику на вид не более

девяти лет, он плохо одет и крайне худощав. Острое личико ребенка нервно и испуганно озирается по сторонам. Но этот детский испуганный вид не должен никого обмануть. Малыш — уже хорошо известный суду «преступник». Он дрался с мальчиками в школе. На него пожаловались, и, наконец, он попал в этот суд. Судья тщетно пытается сделать отечески-ласковое лицо, задавая малышу вопросы. Последний долго и упорно не отвечает. Наконец, малыша, очевидно, прорвало, и он визгливо кричит: «Мы хотели кушать!»

Судья от неожиданности приподнимается и нервным голосом спрашивает этого юного «преступника»:

— То-есть как же это кушать, и кто это мы?

— Мы — это все ребята. У нас нет завтраков, а у них — сколько хочешь.

Но у малыша-преступника, очевидно, уже исчезла отвага, и он вновь охвачен страхом, усугубляемым всей царящей здесь мрачной обстановкой: темный свет в зале, разговоры шопотом, пустые скамьи для публики (не пускают).

Судья нервно закусил губу. Он что-то быстро пишет и, вырывая из блокнота маленький листок, передает его сыщику. Сыщик подходит к малышу, хватая его за руку, очень грубо и, очевидно, больно, так как ребенок вскидывает вверх лицо с глазами, полными слез.

Сыщик ведет ребенка к какой-то двери. Следом с величественной важностью, вразвалку, точно гусь, шествует судья. На свидетельской скамье слышны громкие всхлипывания пожилой женщины, одетой очень чисто, но бедно. Это ее сына, которого она не в состоянии каждый день снабжать школьными завтраками, судят в этом роскошно построенном особняке.

Скамейка, на которой мы сидим, носит громкое название «скамьи прессы». К ней мелкими шажками подходит один из прыщеватых сыщиков, известный своим благожелательным отношением к «свободе печати», и рассказывает:

— Наш судья, мистер Х., — тонкий детский психолог, и то, что мальчик не

решается сказать при свидетелях в большом зале, он, несомненно, расскажет судьбе наедине, в тихом кабинете. Судья знает, что в зале сидят корреспонденты, и он, уверяю вас, ничего не имеет против того, чтобы в газетах было напечатано, что судья мистер Х. — большой детский психолог...

Появляется судья. Позади него, опустив головку низко на грудь, медленно идет мальчик. Сыщик отходит от нас, сидящих на «скамье прессы».

Судья объявляет приговор: малыш искренно раскаивается, и он, судья, прощает ему преступления, но на всякий случай в личное судебное дело девятилетнего мальчика будет записан привод в детский суд. Мать, нервно ерзающая на скамье, уводит своего мальчика, который попрежнему пугливо озирается по сторонам.

Перед судейским столом стоит высокая, красивая девочка. Ей не меньше пятнадцати лет, она — сирота и живет в сиротском доме. Состав преступления: убегает из дому, любит ходить в кино, видели с мужчинами. Девушка стоит перед судьей, опустив голову, и отвечает на его вопросы нехотя, едва слышно.

Представительница сиротского приюта просит судью осудить девушку на несколько месяцев пребывания в «специальном воспитательном доме».

Судья молчит. В зале тихо, клерки сидят неподвижно. После нескольких минут молчания судья спрашивает сыщика с желтым цветком в петлице, в каком районе девочка предпочитала бывать чаще всего.

— На Бродвее, — отвечает сыщик.

Опять минутное молчание. Затем приговор: перевести в воспитательный дом на неограниченный срок, пока не исправится. Мой слутник уже успел прочесть все «дело». Он рассказывает: девочка очень любила ходить в кино. В сиротском доме их заставляют работать очень часто не по силам. О каких-либо, даже самых обычных, детских развлечениях говорить не приходится. Есть всего несколько официальных игр, происходящих раз в неделю под руководством 9

наблюдением надзирателей. Очень часто дети убегают только на один вечер, выпрашивают на улицах у прохожих несколько центов и идут в кино, где сидят по многу сеансов, смотря один и тот же фильм.

В воспитательном доме (организован точно так же, как и женские тюрьмы) девочек заставляют работать (надо же вернуть деньги, ассигнуемые на содержание этих домов!), но что еще хуже: кадры уличных проституток, воровок, кокаинок пополняются воспитанницами детских закрытых воспитательных учреждений.

— Сообщения газет о почти ежедневных избиениях воспитанниц и тем более воспитанников специальных домов для детей, — рассказывает мне специалист по детскому вопросу, мистер Н., — очень быстро опровергаются самими же буржуазными газетами. Ведь иначе и быть не может. Буржуазные журналисты, расследующие эти сообщения, видят в воспитательном доме весьма трогательную картину. Юные преступники и преступницы за завтраком, за «легкой, не влияющей на здоровье работой», на молитве, когда они все, преклонив колени, возносят хвалу господу богу и президенту, денно и нощно пекущихся о их воспитании и судьбе. У каждого воспитанника подобного богоугодного заведения есть своя библия, подаренная администрацией. Другой, уродливой, стороны жизни многих десятков тысяч детей в воспитательных домах буржуазные жур-

налисты не только не видят, но и не хотят видеть.

— Только в одном Нью-Йорке, — говорит мистер Н., — насчитывается около одного миллиона детей, «остро недоедающих». Более четырехсот тысяч городских детей больны всякими желудочными болезнями, связанными с недоеданием. И, поверите ли, по самым скромным подсчетам, почти пятьсот тысяч ребят беспризорными бродят по прекрасно построенным дорогам страны. В газетах вы никогда не услышите об этом ни одного слова. Детские болезни, детская нужда, голод, преступность, — этим полны газеты, но не для того, чтобы организовать помощь, обратить внимание властей. Эти слова приводятся для того, чтобы еще раз подчеркнуть «преступные наклонности» детей бедноты!

Мы опять подошли к скверу, куда не пускают детей бедноты. Там было более оживленно, нежели утром. К забору прикили десятки детских фигурок. Мы стоим долго и молчаливо смотрим. На дорожке сада, на куче морского песка, сидят три нарядно одетых мальчика, краснощекие, здоровые, с разбросанными вокруг дорожками игрушками. Вцепившись в прутья забора, маленькие дети нью-йоркских пролетариев лихорадочными глазами смотрят на песок и всевозможные разноцветные игрушки. Пронизывающе дул холодный ветер. Многие пролетарские ребята, прикившие к забору, были босы.

(Окончание следует)

2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ХРОНИКА

1 ноября. Между тов. Калининым и президентом Турецкой республики Кемаль Ататюрком состоялся обмен приветственными телеграммами в связи с годовщиной провозглашения Турецкой республики.

* В Шанхае было произведено покушение на исполняющего обязанности министра иностранных дел нанкинского правительства Ван Цзин-вей. Ван Цзин-вей тяжело ранен. Покушение совершено по политическим мотивам в целях

борьбы с про-японской политикой нанкинского правительства, сторонником которой являлся Ван Цзин-вей.

2 ноября. По данным Лиги наций, к решению об эмбарго на вывоз оружия в Италию примкнули 50 стран, к решению о финансовых санкциях — 48 стран, а к общему эмбарго на ввоз и вывоз итальянских товаров — 48 стран.

3 ноября. Получено сообщение о задержании на дальневосточной границе вооруженной группы из шести корейцев-

диверсантов. Двое из них успели скрыться. Диверсанты проникли на территорию СССР, по поручению японских военных организаций, с заданием дезорганизовать железнодорожный транспорт.

* В Женеве, на заседании Большого комитета по координации, было постановлено, что экономические санкции против Италии вступят в силу 18 ноября. Выступивший на заседании комитета советский делегат т. Потемкин изложил принципиальное отношение СССР к санкциям и подчеркнул, что хотя принятые меры являются первым опытом, еще не свободным от недостатков, но тем не менее при условии единодушного, полного и лояльного их применения они могут дать некоторые положительные результаты.

* Итальянские войска в Абиссинии перешли в одновременное наступление как на северном, так и на южном фронте.

4 ноября. Опубликована разоблачительная статья французского журналиста Пертинакса, указывающая, что во время встречи директора Рейхсбанка Шахта с директорами Французского и Английского банков Шахт сделал заявление о намерениях Германии «раньше или позже, совместно с Польшей, поделить советскую Украину».

* В Париже начался процесс об известной афере Ставицкого. (Сам Ставицкий, как известно, погиб при весьма таинственных обстоятельствах около года назад.)

5 ноября. Опубликованы ноты, которыми обменялись мининдел Японии г. Хирота и полпред СССР в Токио т. Юренев в связи с происшедшим в первой половине октября рядом нарушений японо-манчжурскими вооруженными отрядами советских границ. В ноте т. Юренева указывается, что советское правительство полностью поддерживает протест, заявленный 14 октября от его имени т. Юреневым.

7 ноября. По случаю 18-й годовщины Великой пролетарской революции в СССР во всех европейских странах произошли многочисленные митинги трудящихся.

* Опубликовано официальное сообщение министерства финансов Китая относительно финансовой реформы, согласно которой серебро, обеспечивающее бумажные денежные знаки, объявлено национализированным. Монопольное право эмиссии бумажных денежных знаков передается трем банкам. Эта реформа, имеющая целью стабилизацию курса китайского доллара, при ее осуществлении дала бы крупные преимущества английским экспортерам и импортерам и представляет собой крупную политическую победу Англии в Китае. В связи с этим сообщение о реформе вызвало взрыв недовольства в Японии. Вся японская печать резко выступает против «английской экспансии в Китае».

8 ноября. Между СССР и Турцией подписан протокол о продлении на 10 лет действия заключенных сторонами договора о дружбе и нейтралитете (1925 г.) и морского соглашения (1931 г.).

9 ноября. В Шанхае убит японский моряк. Это убийство было использовано японскими властями для развертывания демагогической кампании, обвиняющей нанкинское правительство в кровопролитии антияпонским течениям. Впоследствии японское командование в Китае неоднократно использует этот инцидент как предлог для укрепления своих позиций в Китае, несмотря на то, что было установлено, что убийство не имело политического характера.

* Глава французского правительства Лаваль имел продолжительную беседу с послом Франции в Берлине Франсуа Понсе. По сообщениям французской печати, беседа касалась франко-германских переговоров и возможности достижения франко-германского соглашения.

10 ноября. Итальянскими войсками в Абиссинии занят город Макале, являвшийся ближайшей целью итальянского наступления на северном фронте.

11 ноября. В 9 часов утра по нью-йоркскому времени с аэродрома, расположенного в Южной Дакоте, поднялся американский стратостат «Эксплорер-2». Через 4 часа 50 мин. стратостат достиг высоты 22,250 метров, побив мировой рекорд подъема в стратосфере.

* В ожидании применения санкций в Италии принят ряд мер, устанавливающих государственную монополию и государственный контроль над торговлей и потреблением различных дефицитных продуктов.

* В связи с годовщиной перемирия 1918 г. в Париже состоялись грандиозные антивоенные и антифашистские демонстрации, организованные народным фронтом и союзом бывших участников войны.

12 ноября. В ряде городов Италии произошли хулиганские выступления, направленные против советских граждан (до этого времени имели место аналогичные выступления, направленные против англичан и граждан других стран, участвующих в санкциях). Полпред СССР в Италии заявил итальянскому правительству протест.

13 ноября. Итальянское правительство обратилось с протестом ко всем странам, участвующим в санкциях.

* В Каире и в некоторых других городах Египта произошли кровавые столкновения между сторонниками партии вафд (партия национальной буржуазии) и полицией. В вафдистской демонстрации в Каире участвовало около 40 тысяч человек. Вафдисты требуют отставки нынешнего египетского правительства и проведения антианглийской политики.

14 ноября. В Англии происходят выборы в парламент. Правительственный блок получил 425 мандатов (11,5 млн. голосов), а оппозиция — 181 мандат (10.100 тысяч голосов). Коммунисты получили 1 мандат (тов. Галахер). В прошлом составе парламента коммунисты не имели представителя. Лебористы собрали больше голосов, нежели в 1931 г., а консерваторы потеряли свыше миллиона голосов. Тем не менее консервативной партии обеспечено твердое большинство в парламенте.

18 ноября. В Экс-ан-Прованс во Франции начался процесс членов хорватской террористической организации «Усташи» — Раича, Крейля и Поспишила, — участников убийства в Марселе французского министра иностранных дел

Барту и югославского короля Александра.

* Вступили в действие санкции против Италии. С этого дня, кроме действовавшего уже ранее эмбарго на оружие, к Италии применяются следующие меры: отказ в кредитах, бойкот итальянских товаров и запрещение ввоза в Италию так называемых основных товаров, необходимых для ведения войны.

* Японское командование в Бэйпине предъявило ультиматум местным китайским властям, требуя, чтобы они объявили о своей «независимости» не позднее 21 ноября. Этот ультиматум имеет целью объявление «независимости» пяти северных китайских провинций, т.-е. фактически подчинение их Японии и создание из них второго марионеточного государства, наподобие Манчжуго.

21 ноября. В Берлине состоялась продолжительная беседа французского посла Франсуа Понсе с Гитлером. Опубликовано коммюнике, в котором указывается, что беседа «имела дружественный характер и дала возможность отметить добрую волю обоих правительств». Последующие комментарии этой беседы французской печатью показывают, что Гитлер ставил обязательным условием франко-германского сближения отказ Франции от сближения с СССР и предоставление Германии свободы действий на востоке.

22 ноября. Английским военным министром назначен Дефф Купер, лордом хранителем печати — Галифакс, министром колоний — Томас и министром по делам доминионов — Мальколм Макдональд.

* Опубликована ответная вербальная нота Народного комиссариата иностранных дел на итальянскую ноту протеста против применения санкций. В советской ноте указывается, что Советский Союз, не питая враждебности к итальянскому народу, присоединился к мероприятиям, коллективно установленным членами Лиги наций в целях укрепления коллективной организации безопасности. Опубликован также ответ Англии, Франции и ряда других держав на итальянскую ноту протеста.

23 ноября. Несмотря на то, что США не участвуют в санкциях против Италии, по указаниям и сообщению, исходящим из официальных вашингтонских кругов, американское правительство оказывает давление на американские нефтяные и судоходные компании с целью прекращения поставки нефти в Италию. Соответственных законодательных мер американское правительство, однако, не приняло.

24 ноября. В Париже открылась конференция борьбы против войны и фашизма. На конференции присутствуют видные левые политические деятели ряда стран, ученые, литераторы и т. д. Из СССР на конференцию прибыли гг. Стасова и Шверник.

* В Париж прибыла, по приглашению Парижского университета, делегация советских академиков для участия во «франко-советской научной неделе». Советская делегация была принята президентом республики, министром народного просвещения и т. д.

25 ноября. В Бразилии вспыхнуло восстание, возглавляемое народно-революционной партией. Во главе восстания стоит известный революционер Престос. Восставшие захватили некоторые города, укрепились в одном из кварталов Рио-де-Жанейро. После нескольких дней кровопролитных боев восстание было подавлено правительственными войсками.

27 ноября. На заседании внешнеполитической комиссии палаты депутатов был заслушан доклад Торреса о ратификации франко-советского пакта. Торрес сделал обзор развития франко-советских отношений и указал, что франко-советское сближение является основой поддержания мира. Всеми голосами против одного внешнеполитическая комиссия палаты депутатов вынесла резолюцию, рекомендующую ратификацию франко-советского пакта.

28 ноября. В газетах опубликовано интервью, данное Гитлером представителю американского телеграфного агентства «Юнайтед пресс». В интервью Гитлер сделал ряд резких антисоветских заявлений, указав, что Германия является оплотом Запада против большевизма, что на «большевистское насилие» Германия ответит насилием и террором и т. д. Комментируя это заявление, центральные советские газеты указывают на террористические и военно-империалистические намерения Германии по отношению к СССР и заявляют о твердой решимости народов Советского Союза дать сокрушительный отпор попыткам осуществления планов, о которых говорил Гитлер в своем интервью.

* Открылась сессия французской палаты депутатов. На сессии будет обсуждаться бюджет 1936 года и требования левых партий о роспуске фашистских лиг.

Наука и техника

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В. Е. ЛЬВОВ

1. Возвращение профессора Клода

Мы оставили — в декабрьской (1934 г.) книжке «Нового мира» — профессора Клода среди последних приготовлений к экспедиции...

Я напоминаю: Жорж Клод, член академии, один из сильнейших умов технической физики этих дней, автор многочисленных открытий, прославивших его имя далеко за пределами Франции, в 1927 году в первый раз излагает план, реализация которого перевернет рано или поздно энергетическую карту мира.

В океане как в полярном, так и в тропическом, — так говорит этот план, — всегда существует естественная разность температур, достигающая 20—30° Цельсия. На тропиках речь идет о разности между температурами нижнего, холодного, и верхнего, нагретого солнцем, слоев океанской воды. В Арктике — это разность между температурой океана под ледяной коркой и воздухом над льдом.

И вот, поднимая по трубам глубинную воду и заставляя более теплую воду (или нагретую ею другую жидкость) испаряться под колоколом воздушного насоса в сторону холодильника, можно заставить вращаться паровую турбину (и спаренный с нею вал динамо), создавая чистый полезный выход даровой электрической энергии около 3 киловатт-часов на каждую тонну переработанной воды...

Таких тонн — практически — неограниченное количество в тропической полосе океана. Не меньше их в Арктике. Тысячи и десятки тысяч даровых Днепростроев поджидают, следовательно, освоения их техникой, дремая без пользы в водах теплого и холодного океанов земли.

Разработка северно-полярного варианта идеи Клода, мы помним, началась и идет полным ходом в ряде лабораторных центров нашей страны (установка проф. И. Д. Менделеева в институте ВНИИМ в Ленинграде, проф. Власова в Москве и др.).

Что касается эксплуатации океана в тропиках, то несколько опытных турбогенераторов, специально построенных для этой цели Клодом, были испытаны в 1927—31 гг. на реке Маас в Бельгии и в бухте Матанзас на острове Куба, полностью подтвердив все расчеты ученого. Дальше следовало попытаться перейти уже к сооружению «океано-электрических станций» в промышленном масштабе. Эти попытки были также сделаны энергичным французом. На 1929 г. было запланировано многое. Клеши кризиса оборвали всё в самом начале...

Проходит пять лет, прежде чем 15 августа 1934 года одна из величайших идей, которую когда-либо знала история техники, вступает, наконец, в новый этап, чьи итоги мы и подводим в переживаемый момент.

Читатель вспоминает: весной 1934 г. Жорж Клод получает в свое распоряжение 10.000-тонный («безработный» по случаю кризиса) теплоход «Тунис», на борту которого предпринимается снаряжение первой в мире пловучей фабрики, работающей на даровой энергии, извлекаемой из океанских вод. Восемь генераторов тока общей мощностью в 2.200 киловатт устанавливаются на палубе, соединенные с восемью паровыми турбинами типа Клода, для питания которых 25-градусная теплая вода должна подаваться непрерывно в котел по трубе из трюма... Другая, служащая для откачки воды к холодильнику, 700-метровая труба — ответственнейшая часть установки — имеет быть спущенной ко дну в моменты остановки корабля в открытом море.

Для ее укрепления параллельно борту служат якорь и поплавок, связанные цепью и образующие ось, около которой монтируются семь 100-метровых (поперечником 3,5 м.) отрезков, составляющих 700-метровую трубу.

Вся операция монтажа (сборка и спуск) трубы не должна занимать более 15 минут времени. Мы увидим ниже, какие роковые поправки оказались внесенными практикой в этот расчет.

2.200 киловатт, извлекаемые непрерывно из океанских недр, используются, напоминая, так: 800 поглощаются работой всех подсобных (насосных и других) механизмов. 1.300, составляющие чистый полезный выход энергии, идут на питание самой пловучей фабрики, продукция которой — плитки льда, один из самых ходовых продуктов в жарких странах тропиков... Холодильные агрегаты «Туниса» рассчитаны на выпуск 2.000 тонн льда ежедневно.

Маршрут экспедиции: Дюнкерк — Рио-де-Жанейро (Бразилия). Базируясь на Рио и отходя от берега каждый раз не дальше чем на 100 километров, «Тунис», по плану Клода, должен был совершить несколько рейсов, закончив последний из них к январю 1935 г. Декабрь и начало января — самое жаркое и тихое время в Южном полушарии.

Зима в Европе — разгар бразильского лета. Надо было использовать это лето!

15 августа капитан дальнего плавания Грегуар Пошэ, в галунах, как и подобает торжественной минуте, уже распорядится отплытием. Сирена разрывает воздух. Профессор на командирском мостике салютует шляпой друзьям, родине: «Allons, courage!» Грохочет якорная цепь. Прощай, Франция! Берега плывут. «Тунис» в открытом море.



Полгода позади. Опаленные бразильским солнцем бока «Туниса» давно отдыхают в дюнкеркском доке. 8 марта 1935 г. академия в полном сборе. Пюпитры, хоры, ложи журналистов, места для публики — все полно. Жорж Клод невозмутимо, как всегда, раскладывает на кафедре свои бумаги.

— Академия знает уже, что не об успехе будет идти речь в этом докладе. Но академия знает также, что неудавшиеся опыты не всегда бывают наименее плодотворными и полезными из опытов...¹⁾

Неудача? Экспедиция потерпела неудачу! Да, неудача. Неудача организации, техники или идеи? Ни то, ни другое, ни третье. Четвертая сила вмешалась здесь, как вмешивалась она уже не раз, — эгоистическая, мертвящая сила.

Капитализм бросил на произвол судьбы своего великого ученого.

2. Трагедия в океане

Потрепанный штормом в Бискайе, «Тунис» чинится в доках Опорто. Эта стоянка непредвиденна, и она длится долго, дольше, чем то требуется по технической сути дела. Причина? Жорж Клод определяет ее здесь впервые lapidарными словами «détestable situation financière mondiale» (отвратительное финансовое положение в мире)... Да, вопросы финансирования великого проекта принадлежат к числу тех, о которых еще произнесет свое суждение история.

¹⁾ «Comptes rendus de l'Académie des Sciences». («Отчеты» Парижской академии наук.) 18 марта 1935.

Темны и неясны эти вопросы. Ясно одно: золотая струя, щедрыми фонтанами орошающая сейфы Крезю и Гочкиса, лишь самыми малыми каплями просачивается к предприятию, которому будет суждено изменить лицо планеты. Кому нужны сейчас и впрямь эти океанские киловатты, когда имеющиеся налицо электростанции не знают, куда девать свои!

И горький путь борьбы за каждый франк, путь странствований между банковым окошком и телеграфной лентой, туманная история гневных депеш, покровительственных меценатских улыбок, запоздалых чеков, бронзовых векселей и сумрачных бухгалтерских расчетов — эта история когда-нибудь да предастся гласности...

... Только 8 октября «Тунис» прибывает в Рио. Драгоценный месяц был потерян. Еще два месяца уходят бесплодно на ожидание чеков, на поиски кредита, на закупку и снаряжение шести шаланд, назначенных обслуживать пловучую фабрику льда в океане.

Два долгих месяца!

12 января 1935 года «Тунис» выходит, наконец, в море.

Разгар лета уже позади. Океан волнуется, сильнейшая зыбь несет на себе «Тунис», и первая же попытка остановиться в открытом море обнаруживает, что корабль качается на зыби, с размахом колебаний вверх и вниз — в тридцать метров!

Но это испытание проходит блестяще. С полным правом профессор Клод может констатировать в своем докладе, что «не волны сыграли роковую роль» в трагических событиях, разыгравшихся на протяжении января и февраля у берегов Бразилии. «Тунис» держался на зыби отлично. «Поплавок» (полый стальной шар весом в 130 тонн, опущенный в море рядом с бортом «Туниса») «высился еще лучше — как скала...»

«... Испытание на волнах материальная часть в целом выдержала успешно, так, как того нельзя было и предвидеть...»

Несколько иначе обстоит дело с качеством отдельных звеньев продук-

ции, поставленной Жоржу Клоду металлургическими заводами Франции.

Пятнадцатого января, в девять часов утра, при опускании якорного кессона (грузило, вроде полого ящика, весом в 16 тонн, предназначенное для того, чтобы снизу укреплять трубу) цепь обрывается, и кессон летит в воду!

Потерян кессон. Ну что ж, надо делать новый.

Доки и заводы Рио требуют денег, денег и денег, тягостные переговоры о кредите требуют времени, времени и времени... Время идет, и лишь 8 февраля флотилия «Туниса» — опять в открытом море.

Еще сильнее зыбь, еще круче взлетает, как на гигантских шагах, на высоту хорошего дома и низвергается обратно вниз теплоход, но якорь и кессон благополучно держатся теперь на привязи, и цепь прочна настолько, что не внушает опасений...

Первый шаг сделан. Надо идти дальше. Надо приступить к сборке и спуску самой трубы, — звено за звеном, семь стометровых цилиндров ко дну океана.

Работа движется. Утром 10 февраля уже под водой кессон и четыре отрезка трубы (из семи) общей длиной в 400 метров. Пятый готовится занять свое место, когда бурный всплеск и воронка воды, едва не опрокинув шаланду с рабочими, сигнализируют о катастрофе.

Кессон оборвался и снова потерян на океанском дне!

Причины становятся ясными в тот момент, когда лебедка извлекает на поверхность четыре аварийных отрезка. Не выдержала на сей раз тяжести кессона не цепь, а стенки нижнего куска трубы, самовольно утоньшенные поставщиком-заводом...

«*Coup terrible!*» — заносит в этот день в свой дневник Жорж Клод. Тяжелый удар. Тяжелый и трудно поправимый. Летний сезон позади. Все сроки пропущены. Нечего и думать о новом рейде из Рио. Нечего и думать уже потому, что для заказа нового — третьего по счету! — кессона в Бразилии требуются средства, которых нет. Каждый день содержание флотилии и 80 человек

экипажа обходится в 10.000 франков, а все ресурсы на исходе давно... Еще один выход? Попробовать опустить 700-метровый цилиндр без кессона? Не закрепленная нижним грузом труба окажется тогда игрушкой волн, и налетевший шквал, ударив ею о борт корабля, может создать угрозу потопления «Туниса»... Риск велик. Но не соблазн ли пойти на этот риск, осуществив, наконец, первый опыт промышленного использования энергии океана, и вернуться домой не с пустыми руками?!

Тяжелые колебания охватывают Клода. Эти колебания длятся недолго. После краткого совещания с капитаном Пошэ и его помощниками Дэмэ и Леружем один из наиболее драматических эпизодов в истории борьбы человека с природой разыгрывается 17 февраля 1935 г. у синих берегов Бразилии.

«... Чтобы устранить всякую возможность нового соблазна, я сам собственными руками подорвал динамитом на смерть мою превосходную установку (речь идет о семи фрагментах трубы и о сферическом поплавке. — В. Л.). В течение нескольких часов пришлось видеть, как ее обломки, подобно раненому живому существу, боролись с волнами, прежде чем окончательно выбиться из сил и пойти на дно...»¹⁾.

Это был конец. Конец одного — только одного — волнующего эпизода в пред истории и великой проблемы. Ибо ее история, история борьбы человечества за энергию океана, еще целиком впереди. Ныне рождающееся поколение будет свидетелем этой эпохи.

«... Заканчивая мой затянувшийся доклад, я должен констатировать, что — в противоположность тому, что можно было бы на первый взгляд подумать — факт неудачи плавания «Туниса» не может быть истолкован как доказательство невозможности практического использования тепловой энергии океана... Этот факт не может дискредитировать и тех технических методов, которые были мною применены в моей экспедиции. Вы

согласитесь и с тем, что я, по сути дела, не смог испытать мою судьбу до конца (je n'ai même pas pu tenter ma chance), испытать ее так, как это было бы необходимо для окончательного суждения о правильности моих расчетов...»¹⁾.

Академия согласилась со своим сочленом.

В выслушанной в торжественном безмолвии речи президент и старейший из «бессмертных» сказал:

— Мой дорогой собрат! Мы прослушали сейчас с волнением сообщение, которое вы нам сделали. Трудности, которые вы встретили на своем пути, не удивили нас... Когда дело идет о покорении стихийных сил природы, столь грандиозных, как те, с которыми вы вступили в бой, нужно быть готовым к препятствиям, преодолимым до конца лишь человеческой энергией, равной вашей. И я хотел бы, чтобы вы знали, что в той великолепной борьбе, которую вы вели и еще будете вести с этими враждебными силами, вы имеете на своей стороне горячие симпатии всех ваших коллег. Пусть же эти симпатии будут для вас той нравственной поддержкой, в которой в известные моменты так нуждаются ученые, не исключая и самых великих...

Дряхлый д'Арсонваль, отец европейской электрофизики, порывистыми движениями поднимается на кафедру.

— ... Если наш собрат не смог реализовать свой план, это в первую очередь из-за недостатка времени. Никогда еще пословица «Время — деньги» не оправдывалась в такой мере, как в данном случае... Всё это так, но, дорогой мой Клод, я хочу обратить к вам и мои упреки. Быстрый успех ваших предыдущих замечательных изобретений сделал вас немного нетерпеливым в отношении сроков реализации разрабатываемых вами идей. Но ведь именно сроки являются той областью, которая менее всего поддается контролю и предвидению со стороны человеческого ума... Позвольте же, в заключение, вашим друзьям, то-есть всей академии, возобновить сегодня вам наш единодушный вотум доверия...

¹⁾ «Comptes rendus». 18 марта 1935.

¹⁾ «Comptes rendus». 18 марта 1935.

Мы, ученые Советской страны, связанной узами сотрудничества с народом Франции, можем только поддержать этот восторг.

Мы можем констатировать вместе с тем, со своей стороны, что урок экспедиции «Туниса» является наглядным и предметным уроком современных технических перспектив капитализма. Да, единственный вид технической инициативы, за которую еще цепляется эгоистический строй, — это изобретения, направленные на усовершенствование дьявольской кухни войны...

Осуществляемые сейчас нашими ленинградскими и московскими лабораториями работы над севернопольярным вариантом идеи Клода являются, в таком случае, лучшим актом признательности со стороны строящегося социализма великому ученому изобретателю, чей труд и гений есть достояние всего человечества.

3. На фронте атома...

Беспритязательные наблюдатели констатируют единодушно: на штурмовых линиях атома — затишье. И впрямь, после события, всё значение которого уже известно читателю: после предсказанного и свершившегося, наконец, включения в атомный реестр частицы, меньшей, чем электрон, — «нейтрин»¹⁾, — после открытия «сверхтяжелого водорода» и «легкого гелия», после приготовления французами и итальянцами первых «искусственных радиев»²⁾, — зима 1934 и весна 1935 гг. не приносят, как будто, разительных новизн. Итальянский алхимик³⁾ все продолжает лепить да лепить новые искусственные радиоактивные элементы, доведя их число до 65! Его нагоняет и обгоняет уж советская физика. Ленинградцы — братья Курчатовы — в марте этого года готовят очередную подобный элемент — «радиобром», способом, не известным еще ни

в Париже, ни в Риме... Они приготавливают его, как всегда, ударом нейтрона по ядру другого атома. Удар этот не сопровождается, однако, теперь застреванием нейтронного снаряда внутри мишени: способ, принципиально наиболее простой из всех когда-либо применявшихся в искусственной радиоактивности!

Немалое волнение вызывает в апреле — мае сообщение Эрнеста Резерфорда и его учеников М. Л. Олифанта и А. Е. Кемптона, оглашенное на одном из заседаний Лондонской академии наук и переданное в тот же вечер во все страны мира.

Резерфорд, Олифант и Кемптон измерили заново массу основного кирпича атомно-ядерных построек — протона, применив способ, в 10 раз более точный, чем тот (так называемый масс-спектрографический), который применялся доныне.

Результат неожиданен! Цифру 1,0078 (полученную в 1926 г. и с этих пор вошедшую в учебники) нужно изменить на новую — 1,0081¹⁾.

Три сотых процента разницы! Только то? Но эти микродоли в масштабах атомов играют роль столь же существенную, как тонны и центнеры в нашем привычном макромире. Исправление цифры 1,0078 на 1,0081 означает, далее, генеральную ревизию атомных весов всех вообще химических элементов. Во все атомные ядра входят ведь протоны... С исправлением протонной массы меняется и масса атома любого вещества.

Сумятица у химиков! Весь реестр атомных весов, казалось, навсегда (с точностью до четвертого знака) отредактированный и типографически запечатленный в Менделеевской таблице, приходится перепечатывать заново...

Хлопоты, хлопоты. Но очередные досады эти, который уж раз доставляемые натуралистам смежных областей со стороны их беспокойного собрата — физики, — только преддверие событий и иных масштабов... Начинается новый спуск в глубины мира.

¹⁾ См. «Новый мир», кн. 5, 1934 г.

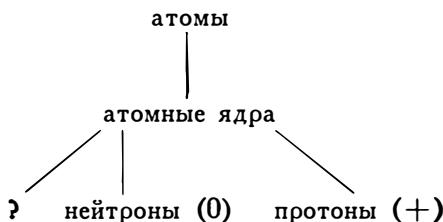
²⁾ См. «Новый мир», кн. 6, 1934 г.

³⁾ Энрико Ферми.

¹⁾ За единицу атомно-ядерных масс и весов принята $1/16$ массы и веса атомного ядра кислорода.

4. Нейтрон $\xrightarrow{\text{позитрон}}$?

Рассматривая схематическую пирамиду вещества в том его виде, в каком оно клубится сейчас перед взором физики, мы констатировали уже год назад¹⁾ наличие в этой пирамиде загадочного пробела или недостающего звена, пролагающего новый путь внутрь материи:



Две основные крупинки вещества лежат, как видим, в фундаменте этой пирамиды. Протон — заряженная положительно частица и нейтрон — крупинка, весящая почти столько же, что и протон, но вовсе лишенная электрического заряда.

Две тяжелые частицы, два первичных звена, два первоначальных качества вещества в мире...

Но где же третье, само собою напрашивающееся тут звено?

Наряду с положительным протоном и нейтральным нейтроном мы в праве ожидать и впрямь существования тяжелого (столь же тяжелого, как протон и нейтрон) отрицательно заряженного кирпича материи. Где он? Где его место внутри атома?

Она — еще невидимка, эта таинственная частица, получившая уже название «отрицательный протон», или, если угодно, «негатон», от слова «негативный» — отрицательный...²⁾

¹⁾ См. «Научное обозрение» в кн. 6 «Нового мира» за 1934 г.

²⁾ Мы сознательно отказываемся здесь от сходно звучащего, но мало привившегося термина: «негатрон», предложенного год назад К. Д. Андерсоном для обыкновенного отрицательного электрона.

Не получено еще ни одной фотографии, где надежно и достоверно отпечатлелся бы след полета одного негатона.

Но косвенные доказательства его существования уже налицо...



Протон и нейтрон, сказали мы, — два изначальных качества материи мира. Но нет и не может быть материальных качеств, не превратимых одно в другое.

Историческое значение 1934 г. в физике и заключается в свершившемся доказательстве реальности прямого превращения нейтрона в протон. Это превращение и вместе с ним обратная трансформация протона в нейтрон происходят, как мы увидим, естественно и самопроизвольно, но они могут быть вызваны и искусственно, как показал в том же году Энрико Ферми, встав этим открытием в ряд величайших пионеров атома, в ряд Резерфорда, Кюри, Планка, Бора.

Конкретно — как разыгрываются эти превращения?

Нейтрон и протон разнятся, прежде всего, электрическим зарядом. Заряд протона равен +1, заряд нейтрона — ноль. В процессе превращения протон, другими словами, должен потерять, а нейтрон приобрести положительный заряд. И так как общее количество электричества в природе неизменно, то рядом с вновь возникающим положительным зарядом в этом последнем случае должен возникнуть, для компенсации, и отрицательный заряд (чтоб «плюс на минус» в сумме дали ноль)...

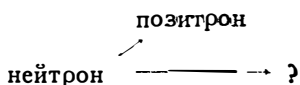
Для осуществления превращения протон — в итоге — должен извергнуть из своих недр положительно, нейтрон же — отрицательно заряженный клочок материи.

Именно так. Потоки сверхмалых (еще в тысячи раз легчайших по сравнению с протонами и нейтронами) комочков вещества — отрицательно заряженных электронов и положительных позитронов — и обнаруживаются всякий раз

в пространстве, когда (как, например, внутри атомных ядер радиоактивных веществ) происходит взаимное превращение протонов и нейтронов:



Но если так, тогда принципиально закономерной оказывается здесь еще одна возможность: еще одна — третья комбинация, третий процесс, лежащий в основе атома.



Что должно получиться тут? Что получится, говорю я, в результате испускания нейтроном уже не электрона (как в строке № 2), а позитрона? Так как последний имеет положительный заряд, то для его компенсации нейтрон превратится в частицу, наэлектризованную противоположным — отрицательным — знаком. Это и будет «негатон», недостающее звено в системе мира!



Реальность «недостающего звена» — обоснована. И если это верно, мы входим в края материи, куда не заглядывал еще никто...

Когда Менделеев и его наследники строили свою таблицу, охватывающую всё многообразие качественных форм материи, они предполагали, что каждой клетке таблицы соответствует один элемент, одно качество, один атом... Это и было бы, в действительности, так, если бы ядра атомов (скрывающие в себе индивидуальность вещества) были по-

строены из кирпичиков одного сорта. Клетке № 1 Менделеевской таблицы соответствовал бы тогда элемент с атомным ядром, состоящим из одного кирпичика. Клетке № 2 — из двух, клетке № 3 — из трех, и весь дальнейший переход от одного химического качества к другому зависел бы от количественного увеличения на единицу какого-то одного первичного субстрата мира.

Дело обернулось иначе. Дело вышло так, что ядра атомов вскоре расшифровались, как постройки, сложенные по меньшей мере из двух родов частиц: протонов и нейтронов.

Что получилось отсюда? Каждая клетка периодической таблицы определяется одним определенным свойством атомного ядра, а именно его положительным электрическим зарядом. Заряд этот создается благодаря присутствию в ядре протонов. Но, кроме протонов, там оказались, как мы знаем, в наличии еще нейтроны! Нейтронный добавок этот определяет массу ядра атома. И — в итоге — становятся возможными атомные ядра с одним и тем же положительным зарядом, но с разной массой.

Химически это говорит о том, что могут и должны существовать самостоятельные элементы, обладающие разным атомным весом, но одинаковым номером в Менделеевской системе. Еще иначе говоря, каждая клетка системы этой, оказывается, заселена в дополнение к прежде находившимся там новым элементами... Названия их также хорошо известно — изотопы.

Первые изотопические элементы обнаруживаются в 1920 году на опыте Френсисом В. Астоном¹⁾. Прорвав плотину прежней Менделеевской таблицы, число простых химических веществ с тех пор растет, достигнув к лету 1935 г. 247 штук (не включая сюда те, что созданы искусственно на столе лабораторией в Ленинграде, Париже, Риме, Кембридже)...

Решающего значения факт!

¹⁾ Речь идет о нерадиоактивных изотопах. Радиоактивные были найдены еще раньше Содди, Фаянсом и другими.

Участие в строении атомного ядра третьей, кроме протона и нейтрона, частицы — негатона — несет с собою, в таком случае, новое расширение химического горизонта мира. Расширение, по сравнению с которым открытие изотопов, может быть, отойдет далеко на второй план.

Дело обстоит именно так. Если ядра атомов складываются из трех родов частиц, с массами, близкими к 1 и с зарядами: +1 (протоны), 0 (нейтроны) и -1 (негатоны), тогда не только один и тот же заряд, но и одинаковая масса могут получиться в результате вполне различных сочетаний протонов, негатов и нейтронов внутри ядра.

Для примера, пусть ядро имеет массу 4 и заряд 2 (в природе этому случаю соответствует элемент «гелий 4»).

До открытия возможности существования негатона такое ядро могло быть связано только одному сочетанию:

2 протона + 2 нейтрона.

Открыт негатон — и вместе с ним вступает в строй вторая комбинация:

3 протона + 1 негатон¹⁾.

И вместе с комбинацией этой появляется новый элемент, хотя и химически похожий, конечно (если он существует), на «гелий 4», но все же как-то отличающийся от него по качественно иному строению ядра...

И если — в итоге всех итогов — в старом химическом «мире Менделеева» с его единственным критерием индивидуальности элементов — атомной массой M , — если в этом мире расчерченная на 92 клетки таблица вмещает лишь 92 разновидности материи;

¹⁾ Действительно: сумма масс и зарядов двух протонов и двух нейтронов дает тот же итог, что и соответствующая сумма трех протонов и одного негатона.

В первом случае:

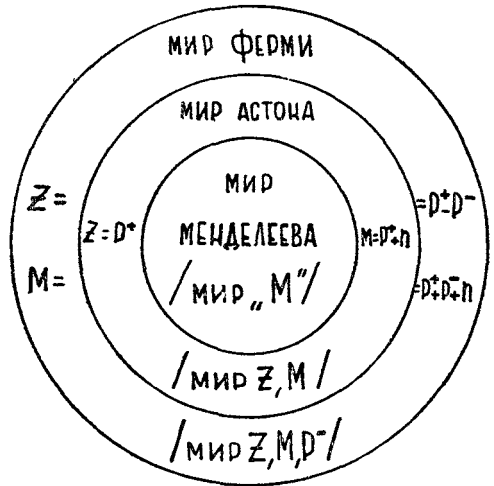
$$\begin{aligned} \text{масса} & 2 + 2 = 4 \\ \text{заряд} & + 2 + 0 = + 2 \end{aligned}$$

Во втором:

$$\begin{aligned} \text{масса} & 2 + 2 = 4 \\ \text{заряд} & + 3 + (-1) = + 2, \end{aligned}$$

что и требовалось доказать!

если в сменившем его более просторном (обозначаемом на нашей схеме вторым concentрическим кругом) «мире Астона» появляется второй критерий: заряд атомного ядра Z и вместе с ним десятки новых элементов — изотопов, — если все это так, тогда сейчас мы стоим в преддверии к новой, еще неизмеримо широчайшей арене



M — масса, Z — заряд атомного ядра; — число положительных, p — число отрицательных протонов (негатонов), n — число нейтронов внутри ядра.

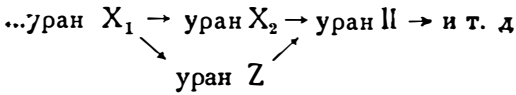
химии... Мы стоим в преддверии к «миру Ферми», миру, в котором рядом с ядерным зарядом Z и массой M обнаруживается третий по счету признак индивидуальности материи: примесь негатов к атомному ядру, требуя существования новых полчищ веществ, о существовании которых не подозревал никто.

Название для них готово — «изомеры»...¹⁾ И первые из них уже на лабораторном столе физики.

¹⁾ Нельзя признать это (предложенное Г. А. Гамовым) название вполне удачным. В химии изомеры назывались до сих пор сложные вещества, чьи молекулы составлены из набора одних и тех же атомов, расставленных лишь в разном пространственном порядке. Здесь же речь идет об атомных ядрах, построенных во всяком случае из разных комбинаций составных частей (нейтронов, протонов, негатов). Более правильно, хотя и менее благозвучно бы-

5. Загадка „урана Z“

Прослеживая родословную радиоактивных превращений тяжелейшей из до недавних пор известных субстанций — урана, — мы остановили внимание читателя¹⁾ на удивительнейшем отрезке этой родословной:



«Опыт показывает, — писали мы, — что элемент «уран X_1 » испускает только бета-лучи, то-есть электроны.. Но если все атомные ядра этого элемента теряют по электрону, то и в остатке от ядер «урана X_1 », казалось бы, должны получиться ядра одного сорта с одним и тем же зарядом (равным разности прежнего заряда и заряда электрона) и одной и той же массой (равной прежней массе минус масса электрона). Продуктом «урана X_1 » должен, другими словами, быть «один определенный элемент»...

Между тем фактически их возникает здесь два: «уран X_2 » и «уран Z»! Оба они, правда, имеют, как и следует, по одинаковому атомному весу и одинаковому порядковому номеру, — условие, казалось бы, вполне достаточное для того, чтобы считать их одним, а не двумя элементами... Однако, элементы эти явно разнятся друг от друга!.. «Уран X_2 » распадается с половинным периодом (время, требуемое для взрыва половины всех наличных ядер атомов) в 1,17 минуты, «уран Z» же имеет половинный период, равный 6,7 часа... Трижды непонятно, каким образом ядра с одною и тою же массой и одним и тем же зарядом могут обнаруживать разную степень устойчивости, т.-е. принадлежать разным элементам?! И еще менее того объяснимо: как допус-

ло бы назвать ядра эти (и соответствующие им элементы) «изотобарами», имея в виду, что они одновременно, «по совместительству», являются и изотопами (элементы с одинаковым ядерным зарядом), и изобарами (элементы с одинаковой ядерной массой).

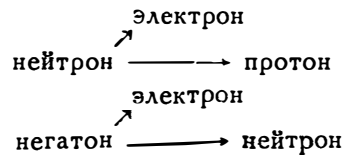
¹⁾ См. «Научное обозрение» в «Новом мире». кн. 12 за 1934 год.

тить, что один и тот же элемент («уран X_1 »), испустив частицу одного и того же сорта (электрон), превращается в два разных вещества («уран X_2 » и «уран Z») ... Мы помним еще аксиому арифметики, согласно которой, если отнять поровну от двух равных величин, в итоге должны получиться опять равные величины.. Следует признать, что физика останавливается здесь перед одной из самых многообещающих загадок... «Тайна «урана Z» свидетельствует о существовании каких-то совершенно новых и неизведанных глубин ядра атома, незнание которых препятствует пока дать на эту головоломку правильный ответ...»

В эти глубины и заглянул читатель в предыдущей главе!

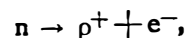
«Уран X_2 » и «уран Z», сказали мы, будучи двумя различными элементами, непостижимо имеют одинаковую ядерную массу (M) и одинаковый ядерный заряд (Z). Но только-что было сказано, что участие в составе атомных ядер третьей основной частицы — негатона — требует как-раз существования элементов — «изомеров» — с одинаковыми M и Z , но с разным строением ядра атома!

Остается вспомнить, далее, что радиоактивное испускание электронов может происходить по ходу двух совершенно разных превращений внутри-ядерных частиц, а именно:

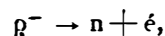


Решение задачи — готово.

Взрыв одной части атомных ядер исходного элемента «урана X_1 » сопровождается тут, очевидно, превращением № 1, т.-е.:

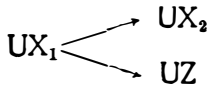


другая же часть ядер превращается по способу № 2:



(n — обозначает нейтрон, p^+ — протон, p^- — негатон, e^- — электрон).

И в результате в остатке получаются химические элементы двух сортов:



отличающиеся друг от друга тем, что в ядрах одного из них (получившегося, например, от превращения № 1) содержится на два нейтрона меньше, но зато на протон и на негатон больше, чем в ядрах второго элемента¹⁾.

Масса и заряд обоих сортов ядер (т.е. порядковый номер и атомный вес UX_2 и UZ) вместе с тем, практически, не меняются нимало, поскольку масса двух нейтронов равна (в первом приближении) массе протона плюс негатон, нулевой же заряд двух нейтронов опять-таки не отличается от суммы зарядов протона и негатона (плюс на минус дает ноль)...

Первые образцы элементов-изомеров найдены! Несколько, осуществленных в последние дни, опытов бьют в эту же узловую точку...

Леонгард Сосновский, поляк, работающий в Париже у Фредерика Жолио, бомбардируя висмут нейтронами, извещает, например, о получении им очередного искусственного радиоактивного элемента «радиовисмута» (порядковый номер 83, атомный вес 210), распадающегося наполовину в течение нескольких (от 5 до 12) часов. При взгляде в список химических элементов обнаруживается, однако, что рубрика, соответствующая номеру и весу 83 и 210, уже занята другим, давно известным элементом, одним из потомков радия: «радием Е». Период полураспада «радия Е» равен 5 дням, т.е. явно отличается от «радиовисмута». Опять перед нами два «изомера», два качественно разных элемента с одним и тем же атомным весом и номером, — факт неслыханный еще год назад...

¹⁾ Действительно: в процессе превращения № 1 из состава исходных ядер «урана X_1 » убывает один нейтрон (превращающийся в протон). В ядрах же, получившихся от превращения № 2, наоборот, прибывает по нейтрону (за счет исчезновения негатона). В итоге:

$$UX_2 - 2n = UZ - p + -p -$$

Френсис В. Астон, человек, поисками первых изотопов начавший в свое время новую эпоху в химии, обнаруживает в те же дни, среди разновидностей обыкновенного свинца, устойчивый элемент: «свинец 210», оказывающийся и з о м е р о м неустойчивого «радия D».

Дверь в таинственный «мир Ферми» приоткрыта. Третий концентрический круг познания начат. Но самая сокровенная, скрывающаяся в этом круге тайна — впереди.

6. „Минус-материя“ — реальность или миф?

Отметив в памяти, что заряд ядра в негатонной схеме атома уже не равен количеству протонов, но есть разность между числами протонов и негатонов:

$$Z = p^+ - p^-$$

отметив это, внимательный читатель уже готов задать вопрос: что, если число протонов внутри атомного ядра будет меньше числа негатонов? Разность между этими числами получится тогда отрицательная. Отрицательный заряд атомного ядра! Вещь невиданная в физике, привыкшей до сих пор иметь дело с положительными ядрами, вокруг которых вращаются отрицательные электроны... Но самое интересное — дальше. Отрицательно заряженный комок негатонов, нейтронов и протонов («антиядро») соберет, очевидно, вокруг себя свиту из положительных электронов (позитронов), и эти «антиатомы» (атомы наизворот) дадут начало новому чудовищному миру материи, причудливость которого укладывается в нашем воображении еще с трудом...

Достаточно сказать, что внутренность металлической проволоки в вышеуказанном «мире наизворот» должна кишеть не электронами, как в привычных для техники металах, но позитронами (так как именно из них состоит теперь, как сказано, оболочка атомов, и именно они, позитроны, повсеместно выступают теперь на первый план). Ток в металах должен, в связи с этим, начать течь в направлении обратном по сравне-

нию с направлением струи электронов в обычном токе. Все «катодные лампы» (и прочие вакуумные приборы, в которых используется поток мчащихся сквозь разреженное пространство частиц) должны быть заменены лампами «анодными»¹⁾. Полюсы динамомашии, батарей, аккумуляторов, в свою очередь, перепутываются навыворот!

Возможность существования подобной негатовно-позитронной «материи наизнанку» («минус-материи») была указана мною в июньской (1934 г.) книжке «Нового мира».

Остается, конечно, бесспорным тот факт, что окружающие нас на земной поверхности тела, и в том числе наше собственное тело, построены главным и преимущественным образом из протонов и электронов (позитроны же встречаются лишь как весьма редкие гости, а негатыны в свободном виде не найдены пока совсем...²⁾).

Гипотеза, объясняющая этот факт, может быть намечена в следующих очертах-ниях.

Гигантское холодное облако разреженной материи, находившееся некогда на месте Солнца, включало в себя первоначально равное количество тяжелых частиц обоих знаков. По достижения определенной (предсказываемой механикой) критической скорости вращения, пра-Солнце разорвалось, подобно слишком быстро заверченному жернову, на два куска, из которых в одном оказалось преобладание положительных, а в другом отрицательных протонов (негатовнов)...

Всемирно историческое стечение обстоятельств сложилось, далее так, что человечество оказывается живущим ныне на «положительном» осколке первич-

ной туманности, включающем в себя нынешнее Солнце и свиту его планет. Но если так, тогда где-то в мировом пространстве блуждает и поныне второй осколок, построенный из «материи навыворот»: из отрицательно заряженных атомных ядер («антиядер»), вокруг которых кружатся положительные электроны (позитроны)!

И если вся вселенная в целом состоит, в среднем, из равного числа отрицательных и положительных кордускул, а только-что рассказанный механизм типичен для всех вообще светил, тогда добрая половина звезд, сияющих над нашей головой на ночном небе, может быть, является островами той самой таинственной «минус-материи»¹⁾, перед которой склоняется сейчас в изумлении гений столетия.

П. А. М. Дирак, ведущий ум современной атомной физики, видоизменяет и развивает ту же гипотезу вширь и вглубь.

Он допускает, что не только отдельные звезды, но и более крупные единицы космоса, — федерации из миллиардов звезд — галактики, — могут быть сотканы из «минус-материи», т.е. главными действующими лицами в них являются негатыны и позитроны.

Среди миллионов галактик, нащупываемых телескопами в бескрайнем пространстве, окружающем Млечный путь, в равном количестве встречаются в таком случае миры, построенные из обоих видов материи: «плюс-» и «минус-

¹⁾ Поскольку вместо электронов, срывающихся с катода, мы имели бы здесь дело с позитронами, втекающими внутрь лампы с положительного полюса — а н о д а.

²⁾ В частности, негатыны составляют, повидимому, небольшую примесь лишь главным образом в составе наиболее тяжелых атомных ядер (поскольку признаки изомерии обнаружены, как мы видели, как-раз в последних клетках периодической таблицы — у элементов типа свинца, висмута, радия и урана).

¹⁾ Любопытно отметить, что астрофизика не имеет пока еще никаких возможностей конкретно отобрать среди наблюдаемых в мощные телескопы тысяч экстрагалактических туманностей (галактик) такие, которые состоят из «минус-материи», а не из материи обычной. Дело в том, что «антиатом» (т.е. предполагаемый атом с отрицательным ядром и положительными электронами) должен испускать световые волны той же самой длины, что и симметричный ему простой атом. Происходит это потому, что от перемены знака у заряда ядра (вместо плюса минус) и у заряда электрона (вместо минуса плюс) ничего не меняется в уравнениях, позволяющих высчитывать длины излучаемых атомом световых волн. Спектр «позитронной галактики» в результате, при исследовании его в спектроскопе, ничем не будет отличаться от спектра материи обычной.

галактики», как можно было бы их назвать.

Чрезвычайно неисчерпаемыми познавательными выводами идея!

Начнем с того, что в междузвездном пространстве нашего (составленного из обыкновенных атомов) Млечного пути блуждают, как известно, в беспорядке рои электронов, отлетающих от оболочки атомов с горячей поверхности звезд. Межзвездное пространство нашей галактики, говорю я, заполнено электронами. Наша галактика, взятая в целом, обладает, в итоге, определенным электрическим зарядом, и знак этого заряда есть отрицательный знак.

Возьмем теперь другую галактику, другую звездную систему, в которой материя встречается в форме «атомов навыворот», т.е. где атомная оболочка состоит из позитронов. В межзвездном пространстве такой галактики должен кишеть рой свободных позитронов, и вся эта галактика в целом окажется наэлектризованной положительно¹⁾. Что произойдет теперь, если по соседству («соседство» надо понимать здесь несколько условно, так как отдельные галактические острова в океане космоса отделены друг от друга расстояниями в миллиарды миллиардов километров!) окажутся «рядом» две галактики, из которых одна заряжена отрицательно, а другая положительно?

Эти две галактики должны будут образовать собой нечто вроде гигантского конденсатора известного электротехниками прибора, в котором на двух пластинах накоплены электрические заряды противоположных знаков. Все положительно заряженные частицы, находящиеся в электрическом поле между пластинами конденсатора, как также, известно,

¹⁾ Во избежание недоразумений следует подчеркнуть, что отрицательный объемный заряд соответствует звездному миру, состоящему из «плюс-материи». Положительный же заряд, наоборот, свойственен галактике, построенной из материи «минус». Суть дела, повторяю, в том, что в мире, где господствуют положительные атомные ядра, главным действующим лицом являются обращающиеся вокруг этих ядер отрицательные электроны и наоборот.

начинают двигаться в сторону отрицательного полюса (катода), а все отрицательные притягиваются к положительной пластине (аноду).

Но наша галактика, наш «остров» Млечного пути с его материей обычного (электроинно-протонного) типа должен, как только-что сказано, во всяком случае играть роль катода по отношению к насыщенной позитронами галактике соседней.

И в результате наша галактика будет притягивать к себе из окружающего мирового пространства только положительные частицы. Еще иначе говоря, соседняя галактика (если она состоит из «минус-материи») должна осыпать нас своими позитронами, в то время как мы будем бомбардировать ее нашими электронами... Расчет электрического поля, создаваемого в таком космическом конденсаторе, при учете чудовищной величины соответствующих расстояний и зарядов, показывает, что движущиеся между «анодом» и «катодом» частицы в конце своего пути должны разогнаться тут до скоростей, пропорциональных сотням миллиардов вольт.

Но наш земной шар — днем и ночью, не переставая, — и осыпается, в действительности, со всех сторон чудовищным дождем частиц, мчащихся со скоростями, соответствующими разгону в электрическом поле до 600 миллиардов вольт. Космические лучи! И знак заряда частиц, составляющих их основной поток, как показали известные измерения американских физиков¹⁾, — положительный знак.

Астрономы и физики, обитатели планеты в галактике, соседней с нами (если они существуют, эти физики!), в свою очередь должны давно уж констатировать отрицательный заряд регистрируемой в их краях космической радиации. Но, может быть, как и мы, они всё еще бьются над загадкой ее происхождения...

¹⁾ См. статью «Загадка космических лучей», кн. 5 «Нового мира» за 1933 год.

Брошенная гениальным англичанином безгранично смелая мысль, как прожектором, осветила эту загадку.

И та же мысль, может быть, перевернет новую страницу в общей науке о космосе.

До сих пор в качестве единственных сил взаимодействия между небесными телами учитывались, в самом деле, лишь силы гравитационные, силы тяготения. Теперь, в связи с возможностью существования «минус-материи» и «космических конденсаторов» рассмотренного выше типа, провидится электрификация астрономии, провидится первостепенная роль, играемая в жизни космоса электрическими полями чудовищного, не менее чем стомиллиардного, вольтажа.

Так, находка физикой позитрона и поиски негтона — кусочков вещества поперечником в одну десятитриллионную долю сантиметра — неожиданно обещает оказаться на плацдарме астрономии, плацдарме, охватывающем секстиллионы и септиллионы километров... Что за удивительная эта эпоха, в которую мы живем! С еще большим правом, чем молодой немецкий буржуа XVI столетия, можем мы сказать о времени своем: «Троны шатаются, умы волнуются, наука рвется в бой, — как славно жить, да, как славно жить в эти годы, мои друзья!..»

7. О камуфляже, о вечном двигателе и шутнике „материалисте“ из журнала „Сорена“

Камуфляж применяется в военном деле. Танки декорируются листьями деревьев, траншеи прячутся под навесами сучьев и ветвей, бойцы облачаются в белые балахоны, когда приходится двигаться на снегу. Мало ли в каких случаях применяется камуфляж! И на фронтах классовой борьбы в теоретическом естествознании, право же, не реже, чем на всамделишных боевых полях...

Возьмем, для примера, идею перпетуум-мобиле, т. е. сотворения энергии (а следовательно, и материи) «из ничего».

Попробуйте сегодня, в году 1935-м, выйти на площадь и всенародно заявить: верую в возможность сотворения энергии. Верую в существование вечного двигателя. Верую в перпетуум-мобиле. Верую и исповедую... Ленинградский физик М. П. Бронштейн попробовал¹⁾. И получился конфуз. М. П. Бронштейну возразили. Указали, что проповедуемая им (и его духовными отцами из некоторых сфер западноевропейской физики) идея — вредная, ложная, идеологически враждебная идея...

И вот тогда на сцену выступает камуфляж. На страницах № 1 (1935 г.) журнала «Социалистическая реконструкция и наука» вечный двигатель, как некий танк, вползает уже в полном облачении из листьев, сучьев и прочей декоративной машинерии...

Заняться еще раз²⁾ вопросом этим — задача тем более целесообразная, что мы имеем уже целую бронштейновскую литературу³⁾, неумоимо сеющую «разумные, добрые и вечные» мысли касательно возможности существования перпетуум-мобиле.



На целых полтора года, да, на целых полтора года проекты вечных двигателей были изгнаны, как известно, из естествознания, став достоянием маньяков и прожекторов, безобидных более или менее...

Но в этом повинной оказывается... буржуазия. Во всем виновата бука — буржуазия!

«... Perpetuum-mobile, — пишет в своем новейшем опусе М. П. Бронштейн, — золотой сон промышленного капитала... аналогия цветущего капиталистического предприятия, оставляющего после каж-

¹⁾ См. нашу рецензию: «Документ воинствующего идеализма» в кн. 4 «Нового мира» за 1935 г.

²⁾ См. нашу статью: «Перпетуум-мобиле — последнее слово буржуазной физики» в кн. 5 «Нового мира» за 1934 год.

³⁾ 1. «Основные начала космической физики». Сборник статей под редакцией М. П. Бронштейна. ОНТИ Украины. 1934.

2. М. П. Бронштейн. «Строение вещества». ОНТИ. 1935.

дого цикла всё больше и больше прибыли в кармане хозяина... Золотой сон не сбылся... И буржуазия разочаровалась в своей инфантильной мечте... Она обьявила все попытки построить вечные двигатели безнравственными и нелепыми... Закон сохранения энергии импонирует душе буржуа и своей эстетической стороной: он делает природу похожей... на аккуратную бухгалтерскую книгу, в которой баланс подведен с точностью до последней копейки... Такова философия буржуазии. Верна ли эта философия и как должны относиться к ней мы, материалисты...»¹⁾

Насчет «нас, материалистов» придется несколько погодить, но вот с буржуазией дело у М. П. Бронштейна получается явно не попад. Что за странная душа у этой буржуазии! Сам Фрейд спасовал бы тут. История говорит нам, в самом деле, что молодая буржуазия, дравшаяся ведь (не в пример нынешним своим худосочным последышам) когда-то на баррикадах против старого мира, что эта буржуазия, давшая науке Декарта, Спинозу, Гельвеция, Гольбаха, в течение столетий крушила бредни теологии и в их числе. вреднейшую из басен — басню о сотворимости энергии.

«... Этот вывод (о невозможности перпетуум-мобиле. — В. Л.), — пишет Энгельс, — стал неизбежен, лишь только начали рассматривать вселенную как связь и совокупность тел. А так как философия пришла к этому задолго до того, как эта идея укрепилась в естествознании, то понятно, почему философия сделала за целых двести лет до естествознания вывод о несотворимости и неразрушимости движения...»²⁾

Итак, в то самое время, когда философы и ученые молодой буржуазии утверждали и утвердили, наконец, в науке о природе закон сохранения энер-

гии, им «снились», по М. П. Бронштейну, «золотые сны» перпетуум-мобиле... А в тот период, когда одряхлевший рантье и впрямь занялся верчением столов и вызыванием духов, он вдруг уверовал в... закон сохранения.

И — что самое замечательное — в союзе с зловредными буржуазиями этими оказывается не кто иной, как Энгельс. Да, да, тот самый Фридрих Энгельс, который написал, что, «если мы желаем говорить о всеобщих законах природы, применимых ко всем телам», то нам остается... закон сохранения и превращения энергии... Ибо «позади него (превращения энергии) нет ничего познаваемого. Раз мы познали формы движения материи (для чего нам, правда, не хватает еще многого ввиду кратковременности существования естествознания), то мы познали и самое материю...»¹⁾

М. П. Бронштейн слывет за великого эрудита. Говорят, он читает даже халдейских мудрецов. Но зачем же, шутя-играя, ставит он дыбом марксистско-ленинскую историю естествознания... Или это тоже входит в программу бронштейновского «материализма»?

«... Каждый физический закон, — продолжает наш теоретик, — может оказаться неверным в новой (области)... Нет и не может быть такого физического закона, который был бы заранее гарантирован от.. возможности перестать быть верным при переходе к более широкой области явлений. Никакой физический закон не является догматическим и не может считаться а priori абсолютной и универсально-применимой истиной... Так учит материалистическая философия...»²⁾

Вот далась, прости господи, материалистическая философия! Что тут скажешь? Обьяснять ли нашему философу, что наряду с физическими законами, представляющими собою относительные истины, имеющие хождение лишь для определенных ограниченных областей природы, марксистско-ленин-

¹⁾ «Сорена». I. 1935. М. П. Бронштейн. «Сохраняется ли энергия». Стр. 7. (Подчеркнуто здесь и дальше мной. — В. Л.)

²⁾ Ф. Энгельс. «Диалектика природы». Изд. б-е. Партиздат. Стр. 131. (Подчеркнуто мной. — В. Л.)

¹⁾ Ф. Энгельс. «Диалектика природы». Стр. 14—18. (Подчеркнуто мною. — В. Л.)

²⁾ Там же. Стр. 8.

ская теория познания знает и такие естественно-научные положения, которые отражают законы всеобщего изменения и развития, верные на всех ступенях познания мира.

Являясь «не простыми формами явлений (подчеркнуто Лениным. — В. Л.), а коренными условиями... бытия»¹⁾, положения эти получены диалектическим материализмом путем критического обобщения всего научно-практического опыта человечества. Именно к ним Ленин относил, в первую очередь, положение о бытии реальных вещей в бесконечном трехмерном пространстве и во времени и, во-вторых, закон сохранения энергии...

«Характерно, — замечает Ленин (касаясь в «Материализме и эмпириокритицизме» писаний одного из оруженосцев богдановской школы — Суворова), — характерно, что открытие закона сохранения и превращения энергии Суворов называет «установлением основных положений энергетики». Слыхал ли наш «реалист», желающий быть марксистом, что... диалектический материалист Энгельс считал этот закон установленным основных положений материализма...»²⁾

Нет, вслед за историей наш герой изволит определенно шутить и с философией.

Остается еще физика.



Обращаясь к новейшему арсеналу физических истин, поведенных в связи с перпетуум-мобиле М. П. Бронштейном, читатель тщетно стал бы там искать особенно многочисленных ссылок на опыты с испусканием бета-частиц и на звезды как на источник творимой «из ничего» энергии³⁾.

¹⁾ Ленин. Избр. пр., т. VI, стр. 127. Соцгиз. 1931.

²⁾ Н. Ленин. Материализм и эмпириокритицизм. Изд. 2-е. Стр. 260. (Подчеркнуто мной. — В. Л.).

³⁾ См. об этом подробно в статье «Перпетуум-мобиле — последнее слово буржуазной физики», «Новый мир», кн. 5 за 1934 год.

С этих коньков (на которых совсем еще недавно пытались проехать современные искатели вечного движения в буржуазной физике) М. П. Бронштейн как будто бы слез совсем или, точнее, его вышибли из этого седла марксистская критика и самый ход событий в объективной физике атома.

В последней, только-что вышедшей, книге М. П. Бронштейна «Строение вещества», мы не читаем уже, по крайней мере, категорических утверждений вроде: «Таким образом, бета-распад радиоактивных ядер сопровождается нарушением закона сохранения энергии»¹⁾ или: «Гипотеза нейтрино является лишь иной формой гипотезы о несохранении энергии...»²⁾.

В вышеуказанном «Строении вещества» наш автор выражается мягче, деликатней:

«До сих пор еще не решено, какое из двух объяснений (предусматривающих сохранение или несохранение энергии. — В. Л.) справедливо. Этот вопрос является одним из интереснейших вопросов в сегодняшней физике».

В самом последнем же по времени разбираемом нами увраже от надежд на опыт с бета-частицами остаются уже одни черепки.

«... Опыт, — меланхолически констатирует М. П. Бронштейн, — пока не дает возможности решить вопрос о том, сохраняется ли энергия» (стр. 9). «Возможно, что несохранение энергии начинает играть роль лишь для лучей еще более жестких и частиц еще более быстрых, нежели испускаемые при бета-распаде...» (стр. 10).

Т.-е. круг спорных экспериментальных проблем, на которые ловчились опереться несохраненцы в атомной физике, всё более и более суживается. Железное кольцо фактов сжимается со всех сторон. Почва ускользает из-под ног несохраненцев. И та последняя нора, в которую пытаются они еще забиться, из этой вот норы нам и придется

¹⁾ «Основные начала космической физики». Сборник статей под редакцией М. П. Бронштейна. ОНТИ Украины. 1934. Стр. 164 и 209

²⁾ М. П. Бронштейн. «Строение вещества». ОНТИ. 1935. Стр. 205.

извлечь автора разбираемой статьи, — пусть извинит он нас, — в заключение этого обозрения...

«... То обстоятельство, — сообщает М. П. Бронштейн, — что все измерительные приборы обладают дискретной т.-е. атомной, структурой, приводит к невозможности сколь угодно точного измерения физических величин. Ведь для сколь угодно точного измерения требовались бы сколь угодно тонкие приборы, но таких приборов быть не может, так как есть какие-то (еще неизвестные нам) принципиальные причины, мешающие нам, например, разрезать электрон на части... Но так как то, что не может быть измерено, не может считаться и существующим (материалистическая философия не признает существования непознаваемых вещей), то, следовательно, в будущей теории... точные значения физических величин вообще не будут иметь смысла, т.-е. все эти физические величины (в том числе и энергия) окажутся лишь приближенными понятиями. А это показывает, что и закон сохранения энергии в лучшем случае сможет остаться лишь приближенно верным. Вот почему мы думаем, что существует принципиальная возможность в физике будущего построить вечный двигатель, использующий.. отклонения от закона сохранения энергии. И, быть может, техника будущего коммунистического человечества... будет основана как-раз на таком вечном двигателе»¹⁾.

Разберем эти соображения.

Исходный пункт размышлений М. П. Бронштейна берет начало из того, установленного физиком еще в 1924—26 гг. и отнюдь не представлявшего собою какой-либо неожиданности, факта, гласящего, что положение в пространстве и скорость мельчайшей материальной частицы — электрона — не могут быть совместно определены на опыте или вычислены математически иначе как с определенной ошибкой.

¹⁾ «Сорена». I. 1935. Стр. 10. (Подчеркнуто мною. — В. А.).

Факт этот, повторяю, должен быть квалифицирован как вполне закономерное явление.

Все вообще лабораторные физические измерения и целый ряд математических приемов вычислений, как знает каждый студент, производятся с определенной погрешностью, зависящей как от несовершенства вещественных приборов, так и от ограниченных возможностей математики.

Математический аппарат классической механики Ньютона, правда, позволяет с абсолютной точностью вычислять и предсказывать место, скорость, время, энергию и прочие характеристики подведомственных этой механике материальных объектов. Но эту точность следует рассматривать лишь как счастливую техническую особенность математического аппарата классической механики — особенность весьма приятную для исследователя, но отнюдь не обязательную во всех случаях.

Что же касается до той так называемой «волновой механики», которая пока что с успехом применяется для описания мира электронов и других мелких частиц материи, то эта механика, повторяю, технически не дает возможности абсолютно точно предвычислять место будущего нахождения отдельного электрона совместно с его скоростью... Измерение тех же величин на опыте, в свою очередь, ограничивается тем, что для контроля за поведением столь крошечной частицы, как электрон, требуются приборы как можно меньших размеров, массы, заряда и т. д. Чем грубее «пробные тела», которыми испытывается электрон, тем сильнее они действуют на него, затрудняя измерение.

Так, например, овещая электрон коротковолновым светом, мы должны считаться с тем, что частица света, налетев на электрон, собьет его с места, которое он занимает в этот момент в пространстве. Причем смещение это, как показал ленинградский физик Л. Д. Ландау (в сотрудничестве с швейцарцем Пейерльсом), не сможет быть, математическими способами волновой механики, учтено иначе,

как с ограниченной точностью¹⁾.

Аналогично, для измерения, например, исходящих от электрона электрических сил мы должны поднести к нему какой-то другой, гораздо меньший (чтобы действием его на электрон можно было бы пренебречь) заряд, и посмотреть, как заряд этот будет — притягиваться или отталкиваться от электрона. Но тут опять приходится констатировать, что зарядов, меньших электронного, атомная физика до сих пор еще не знает, и, кроме того, что математический аппарат этой физики не в силах с неограниченной точностью учитывать взаимные движения двух зарядов.

Так обстоит дело. Но единственный практический вывод, который диалектико-материалистическое естествознание делало, делает и будет делать отсюда, — это то, что все усилия физики сейчас и в дальнейшем должны быть обращены на поиски новых, всё меньших и меньших (по заряду, массе и т. д.) частиц материи, и — одновременно — на выяснение новых математических приемов, позволяющих все точнее учитывать взаимодействие между этими частицами и измеряющими их микроприборами.

Так стоит вопрос. Только так стоит вопрос. Ибо нет и не может быть никаких границ и пределов для дробления и для познания материи. Ибо величайшим агностическим вздором является утверждение Бронштейна, что имеются «какие-то неизвестные причины», мешающие существованию частиц, меньших по радиусу, чем электрон²⁾.

Материя неисчерпаема, материя беспредельна, каквширь, так и вглубь, «природа бесконечна, как бесконечна и

¹⁾ Даже при отказе от совместного определения скорости.

²⁾ В формулировке Бронштейна — для отвода глаз — говорится о невозможности разрезать на части электрон. Ясно, что речь может идти вовсе не о механическом дроблении электрона, но о несомненной реальности качественных единиц материи еще меньшего, чем электрон, объема.

мельчайшая частица ее (и электрон в том числе), но разум также бесконечно превращает «вещи в себе» в «вещи для нас...»¹⁾.

Так стоит вопрос в теории познания Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина, в гносеологии диалектического материализма. Но совсем иначе ставится вопрос в другой теории познания, в другой гносеологии, в той, которая протаскивается в физику М. П. Бронштейном и его единомышленниками вне и внутри советского рубежа.

Мы не умеем сейчас, — говорят эти теоретики, — изменять и вычислять атомные физические величины с неограниченной точностью. И мы отказываемся раз и навсегда добиваться в будущем такого вычисления. Отказываемся же мы этого добиваться потому, что сама природа, дескать, устроена так, что в ней отсутствуют точные и определенные значения каких бы то ни было физических величин...

«Точные значения физических величин, — как пишет в только-что процитированных строках М. П. Бронштейн, — вообще не будут иметь смысла».

«... Мы должны, — вторит ему в посвященной юбилею короля Георга V статье, озаглавленной «Новая эра в физике», присяжный «идеолог» из Имперского колледжа наук и ремесл Х. Динглас, — мы должны сами законы природы подогнать так, чтобы не поддающиеся точному измерению физические величины не вошли в эти законы (we must frame our laws of Nature so that they the unobservables quantities. В. Л. — cannot arise to be rejected...²⁾).

Но позвольте! Ведь сами-то физические величины и законы, ведь эти величины существуют совершенно независимо от того, производятся над ними какие-либо измерительные манипуляции или нет..

Ведь если б человек не существовал

¹⁾ Ленин. Избр. пр., т. VI, стр. 199. Соцэпгиз. 1931.

²⁾ «Nature». Royal Jubilee Number. 4 мая 1935. Dr. H. Dingsl. The New Age in Physics. Стр. 675, 678.

вовсе (а было время, когда он не существовал), если бы в один прекрасный день исчез М. П. Бронштейн со всеми своими инструментами на сей планете, ведь и после этого события находящиеся на земле электроны продолжали бы функционировать по законам, имеющимся в объективной реальности, а не высосанным мистером Х. Динглом из его агностического пальца!

Выглядящая на первый взгляд весьма «радикально» формула М. П. Бронштейна:

«... то, что не может быть измерено, не может считаться и существующим (материалистическая философия не признает существования принципиально непознаваемых вещей)», —

эта формула оказывается, таким образом, скрывающей в себе явную и шитую белыми нитками передержку. Да, действительно, «не может считаться существующим» то, что не может быть никогда измерено в присутствии измеряющего субъекта. Но то, что происходит в отсутствие этого субъекта или что по техническим причинам не может быть измерено временно, на данном этапе развития науки (и о полной и неограниченной измеримости чего свидетельствует неопровержимо теоретико-познавательный анализ), то существует в реальности... Существует вне зависимости от каких бы то ни было провизорных результатов измерений и вне зависимости от наличия самого измеряющего субъекта.

И, в частности, раз электрон на самом деле бытует вне нашего сознания, как некий малый объем трехмерного пространства, равно как и само это пространство — не миф, а объективная реальность, тогда где-то да должен в этом пространстве, совершенно точно и определенно, находиться электрон в момент, предшествующий началу наблюдения.

Не может же он находиться нигде только потому, что М. П. Бронштейн не умеет еще вычислять в точности электронные координаты!

Сам М. П. Бронштейн без излишней скромности придерживается именно такого мнения.

Т а к к а к, — пишет он, — (в результате тех или иных измерений) положение электрона остается неопределенным, то «поэтому... нужно заключить, что... электрон... на самом деле не имеет никаких координат в пространстве». (Подчеркнуто Бронштейном¹).

Сказать же это, значит, рассуждая последовательно, считать, что электрон существует лишь постольку, поскольку мы его измеряем и наблюдаем, и что, следовательно, электрон не существует вовсе вне измеряющего его субъекта.

Да, пусть-ка ответят уважаемые теоретики — существует ли электрон в те мгновения, когда никто на него не смотрит?

Мистер Х. Динглс из Имперского колледжа, обладающий похвальным качеством договаривать всё до конца, это и договаривает:

«Рассмотрим старый вопрос — существует ли вещь, когда никто ее не наблюдает? Первая часть нашего принципа²) дает немедленный ответ: нет».

Этими строчками подводится итог нехитрой философии природы, усиленно пропагандируемой сейчас рядом западноевропейских и внутрисоветских физиков-теоретиков и в том числе, как мы видели, м-ром Х. Динглом и М. П. Бронштейном. Название философии этой, распоряжающейся физиче-

¹) М. П. Бронштейн. «Строение вещества». ОНТИ. 1935. Стр. 178.

«Это звучит парадоксально, — добавляет наш теоретик, — ...но материалист (sic!) должен твердо помнить, что привычность каких-либо представлений еще не делает их абсолютно верными...» Да, поистине, привычка к беспрежнему прикрыванию самой махровой физической поповщины защитным цветом «материализма» и «коммунизма» еще не делает автора «Строения вещества» ни материалистом, ни коммунистом, ни чем-либо даже на йоту приближающимся к тому и другому...

²) Речь идет о «принципе», гласящем: «Критерий физической реальности есть наблюдаемость вещи физической приборами». Об истинной цене этого и подобного ему «принципов» смотри выше.

скими законами и величинами, как шахматными фигурками, расставляемыми наблюдателем по его мыслительным схемам, также известно: идеализм или, точнее, та его наиболее последовательная разновидность, которая называется субъективным идеализмом. Никакая дымовая завеса квазиматериалистической фразеологии (надо отдать должное м-ру Х. Дингласу — к этой защитной фразеологии он не прибегает), разумеется, тут никого не может обмануть...

Что же касается до роли, играемой вышеозначенной философией в плоскости непосредственно практических интересов советской физики, то вряд ли я ошибусь, указав на отнюдь не идеалистическую безобидность этой роли.

Не должно забывать, что философия м-ра Дингласа и М. П. Бронштейна, будучи повседневно используема как рабочий метод физической теории, тормозит и дезориентирует эту теорию, направляя ее по заведомо ложному пути. В частности, вместо дальнейшего развешивания волновой и квантовой механики по линии наибольшей ее объективизации¹⁾ (по такому именно стихийно-материалистическому пути шла, при всех своих частных отклонениях, теория относительности Эйнштейна в годы расцвета буржуазной физики), вместо всего этого, говорю я,

¹⁾ Под «объективизацией» я понимаю уточнение законов природы таким образом, чтобы формулировка их как можно меньше видоизменялась в зависимости от «точки зрения» отдельных наблюдателей, от выбора отдельных «тел отсчета». Этим самым отнюдь не зачеркивается, очевидно, роль наблюдателя и роль субъективного фактора в физике вообще. Ясно, что всякое познание (и в том числе познание физическими методами) неизбежно осуществляется путем взаимодействия субъекта и объекта. Но гносеологический гвоздь вопроса в том, что, являясь (вместе со своими инструментами) частью объективного мира и отражая его в своем сознании, познающий субъект имеет возможность (и в том заключается цель и метод естествознания) элиминировать свою частную «наблюдательную вышку» из формулировок законов природы, давая описание явлений для любой вышки, расположенной в любом уголке мира.

господин Динглас, М. П. Бронштейн и tutti quanti тянут физику к субъективистской колокольне одного «наблюдателя», заведомо суживая горизонт познания мира.

Бесплодное топтание наших горе-«материалистов» в течение пяти лет почти на одном и том же месте в потугах построить адекватную теорию, объединяющую учение о квантах с теорией относительности («релятивистскую квантовую механику»), дает наглядное подтверждение сказанному.

Но абстрактные вершины теоретико-физической мысли, как ясно каждому, связываются тысячами нитей и с физическим экспериментом, а тем самым и с техникой, базирующейся сейчас на физику, как на одно из центральных своих звеньев.

И вот, долгожданный «подарочек», которым готовятся осчастливить «технику будущего коммунистического общества» наши «материалисты», этот подарочек, как мы видели, уже припасен... Вечный двигатель!

Не будучи точно информированы о планах преемников тов. Орджоникидзе в «будущем коммунистическом обществе», мы рискуем всё же предположить, что идея создания такого «гиперперпетуум-мобиле» будет встречена ими без особого энтузиазма. Но одно, в чем мы не сомневаемся нисколько, это то, что — уже сейчас — потоки бредовых прожектов вечного движения, иссякшие было в последние годы в связи с ростом научно-технического образования в нашей стране, обрушатся снова и снова на несчастные брызги, дезорганизуя их работу и сея немалое смущение в рядах многомиллионной армии рабочих и колхозных изобретателей страны...

Так, уродливой гримасой «коммунистического перпетуум-мобиле» саморазоблачаются новейшие «изыскания» физической поповщины в наиболее, казалось бы, отвлеченных областях науки о мире.

В этом саморазоблачении — бесславный финал бронштейниады и полезный даваемый ею урок на будущее.

Литература и искусство

1. СТАРЧАКОВ — УХОД. 2. А. ЛЕБЕДЕВ, Е. МЕЛИКАДЗЕ, А. МИХАЙЛОВ, П. СЫСОВЕВ — Гоголевская дивья в роли теоретика иск. ссгва

1. УХОД

(К 25-летию со дня смерти Л. Н. Толстого)

А. Старчаков

I

Осенью 1886 года в Ясной Поляне в кругу крестьян была прочитана недавно написанная драма «Власть тьмы».

В один из вечеров, в нижнем этаже яснополянского дома, собралось человек сорок лапотников, пахарей, хорошо знакомых Льву Николаевичу. Читал А. Стахович, друг Льва Толстого, прекрасный чтец. А. Стахович не просто читал, — он играл и красавца Никиту, и охваченную пожаром любви Анисью, и богомольного Акима. Заключительная сцена, в которой Никита кается перед честным миром в совершенных преступлениях, была прочитана Львом Николаевичем.

Драматическая история о том, как красивый и ничтожный Никита, послушное орудие в руках своей корыстлюбивой матери, ценой искусно скрытых преступлений достиг богатства, а потом, вняв голосу совести, покается, была выслушана крестьянами молча. Один буфетчик, Михаил Фомич, шумно прерывал чтение громким хохотом.

Когда была прочитана заключительная восторженная реплика Акима («Бог простит, дитяtko родимое... Себя не пожалел, он тебя пожалеет, бог-то, бог-то!.. Он—во!..») и увели связанного Никиту, Лев Николаевич обратился к пожилому крестьянину, в прошлом люби-

мому ученику по яснополянской школе:

— Как понравилась пьеса?

Он ожидал если не оценки художественных достоинств «Власти тьмы», то во всяком случае живого отклика на религиозно-нравственную идею, выраженную в драме.

Любимый ученик ответил:

— Как тебе сказать, Лев Николаевич... Никита поначалу дело ловко повел... а потом — сплоховал.

Ответ любимого ученика смутил Льва Николаевича. На этом обсуждение драмы было закончено. Больше Толстой ни у кого ни о чем не спрашивал. Вечером он был не в духе и даже говорил А. Стаховичу:

— Буфетчик всему виной.. Для него вы генерал, он вас уважает, вы даете ему три рубля на чай. И вдруг вы же кричите, представляя пьяного. Как ему было не хотовать... Это он помешал крестьянам верно понять достоинство пьесы.

Прошло три месяца после встречи с яснополянскими крестьянами, и А. Стахович прочел «Власть тьмы» во дворце, Александру III. На чтении, кроме царя и его жены, Марии Федоровны, присутствовали великие князья и княгини, придворные, близкие царю. В письме к Софье Андреевне, жене Льва Толстого, А. Стахович так рассказывал о впечатлении, которое произвела пьеса на царя и его двор:

«После конца пятого действия все долго молчали, пока не раздался голос государя:

— Чудная вещь...

Эти два слова разверзли уста всем. Пошли толки о задушевном признании Никиты, о святой радости Акима... Восторженные возгласы — чудо, чудо — раздавались со всех сторон».

Но прав был любимый ученик Льва Николаевича: угодливо хохотавший во время чтения буфетчик не помешал ему дать верную оценку драме. Ее тенденциозная, художественно не убедительная развязка не могла тронуть крестьянскую аудиторию. Под конец Никита и в самом деле сделал не то, что в согласии со своей низменной и грубо чувственной натурой должен был сделать. Дав положительную оценку драме, яснополянские крестьяне осудили ее немотивированную тенденциозную развязку. Остро чувствуя правду жизни, они огорчили автора своей грубоватой, но меткой оценкой.

Это происходило не раз во время знакомства крестьян с религиозно-нравственными произведениями Льва Толстого. Как правило, они откликались не на то, что казалось автору самым важным. Их привлекала критика действительности, дидактика оставляла их равнодушными. Крестьянин П. Лепехин, толстовец, в своих интересных воспоминаниях рассказывает: «Толстым мы восхищались, как неустрашимым обличителем власти и духовенства. Его религиозным мировоззрением мало интересовались, вернее, обходили его молчанием». П. Лепехин приводит замечательную беседу крестьян о Льве Толстом:

«— И что же там у него написано?

— Там написано, что такое наши цари, откуда они появились и как завладели всем богатством. Ты думаешь, они от бога, они — из разбойников.

— Это там так и написано?

— Так и написано. Толстой их всех называет разбойниками, а Николая Второго — так прямо дураком.

— А еще что там сказано?

— А еще вот что сказано, как отобрать землю у помещиков.

— Ну как же?

— Он говорит: не противься злему, а прямо вырывай его со всем, с корнем.

Он взмахнул рукой и показал, как вырубает под самый корень деревья».

Трудно представить более выразительную сцену, чем та, которую передает П. Лепехин, благоговейно относившийся ко Льву Толстому, пришедший издали, чтобы повидать его, — одно время П. Лепехин жил у В. Г. Черткова в Телятинках. Учение о том, что не следует противиться злу, — центральная идея всей толстовской проповеди, — не дошла до сознания, она стала мертвым придатком к критике государства помещиков и капиталистов. Крестьяне, познакомившись с проповедью Толстого, так и не разобрались в том, что же есть непротivление злу, но зато отлично поняли, что зло надо вырывать с корнем.

Религиозная проповедь Льва Толстого среди крестьян имела некоторый успех только в тех случаях, когда почва была предварительно разрыхлена сектантством, — тогда сектантство вбирало в себя толстовство, поглощало его, как это было, например, с духоборами. Но обычно проповедь становилась достоянием религиозно настроенных одиночек, взыскующие души которых не удовлетворяла казенная церковь, послушная служанка государства.

Однажды, в годы первой революции, Лев Николаевич встретился к дому у В. Г. Черткова с крестьянской молодежью. Лев Николаевич развивал свое излюбленное положение о том, что горсть капиталистов и помещиков не в силах поработить многомиллионный народ, что народ сам виноват в своем порабощении... Царство божие внутри нас. Беседа с молодежью о политике была не более удачна, чем в свое время беседа со стариками о достоинствах «Власти тьмы». Выслушав Льва Николаевича, один из присутствовавших парней сказал:

— Это старая песня. Нам давно о том же говорят попы. Мы в нищенстве и невежестве погибли.

Но было бы ошибочным думать, что Лев Толстой шел к трудящимся с одной

лишь проповедью нового христианства. У него был свой практический проект всеобщего спясения. Этот проект заключался в приложении к русской действительности идей американского экономиста Генри Джорджа.

II

В январе 1865 года Карл Маркс в письме к Швейцеру, дав уничтожающую характеристику Прудона, писал, что Прудон, открывая уже открытое до него, делает это самостоятельно, и все, что он говорит, «это для него ново или кажется ему таким».

В том же 1865 году Лев Толстой по поводу работы Прудона «Что такое собственность» записал в свой дневник:

«La propriété — c'est le vol ¹⁾» — останется большей истиной, чем истина английской конституции, до тех пор, пока будет существовать род людской».

Прудон произвел на Льва Толстого огромное впечатление — здесь корни многих его теоретических положений. Лев Толстой познакомился с Прудоном во время своей поездки за границу, — он явился к Прудону с рекомендательным письмом Герцена.

Слова, сказанные когда-то Марксом по адресу Прудона, могут быть целиком отнесены к его великому русскому поклоннику. Критика Льва Толстого окружающей действительности не содержала в себе ничего нового, — на это указывал Ленин. Но Лев Толстой, повторяя других, был непоколебимо уверен не только в непреложности, но и в новизне своей мысли. Он говорил о подчиненной роли науки в классовом обществе, о колонизаторской природе русского самодержавия. Он записывал в свой дневник: «Прежде правительство с помощью одной церкви обманывало народ, чтобы властвовать над ним, теперь же правительство понемногу подготавливает для этого дела и науку, которая охотно и усердно берется за это дело». Повстречав во время прогулки приказчика,

аккуратного эстонца, он называет в своем дневнике самодержавие ордой, поработившей малые национальности, ордой, которая всеми силами пробует удержать покоренных. «Как ни отвратительно самое дело, еще более отвратительно оправдание его, величаемое патриотизмом» — говорит одна из записей. Он заносит мысль о насилии над трудящимися: «Всегда из покоренных находятся люди, не гнушающиеся участием в грабеже, и эти люди — «члены парламента, банкиры, профессора, архиереи, палачи и тюремщики».

И рядом с этими значительными мыслями, которые казались Льву Толстому новыми, ему лично принадлежащими, в его статьях, в дневниках, в его записных книжках мы находим детски-наивную попытку развенчать материалистическое мировоззрение, нанести сокрушительный удар научному социализму, его творцам, которые дали задолго до Толстого глубокую и неотразимую критику капиталистического общества, разоблачили его природу и указали трудящемуся и угнетенному человечеству единственный путь к своему освобождению. С трудами Карла Маркса Лев Толстой был, повидимому, знаком бегло и поверхностно. Но, как это часто бывало с ним, составив себе свое собственное представление о предмете, представление, не имевшее ничего общего с действительностью, он всю силу своего ума отдавал полемике с им самим созданным фантомом. Потому так часто были в жизни Льва Николаевича открытия, диаметрально противоположные оценки одного и того же явления, — он неожиданно открывал подлинный смысл явления, о котором у него составилось свое внеопытное, но категорическое суждение. Так, в конце 80-х годов он писал Страху по поводу Герцена, которому давал не раз несправедливые, убийственные характеристики.

«Все последнее время читал и читаю Герцена... Что за удивительный писатель!»

Судя по высказываниям Льва Толстого о научном социализме, Карлу Марксу не повезло, — он так и остался неоткрытым. Но, создав свое собствен-

¹⁾ Собственность есть воровство.

ное представление о марксизме, Лев Николаевич ревностно воевал с им самим сотворенным призраком. Например, в дневнике более раннего периода мы находим такую запись:

«С малым капиталом невыгодно никакое предприятие. Чем больше капитал, тем выгоднее, — меньше расходов. Но из этого никак не следует, чтобы по Марксу капитализм привел к социализму».

Быть может, с годами знакомство с учением Карла Маркса выросло? Наверяд ли. Чего, например, стоит следующее суждение:

«Социалистическое учение говорит, что для счастья людей им нужна не такая жизнь среди растений и животных с возможностью удовлетворения самому земледельческим трудом почти всем своим насущным потребностям, а жизнь в промышленных центрах с зараженным воздухом, но со все увеличивающимися потребностями, удовлетворение которых достижимо только через бессмысленный труд на фабриках. И запутавшиеся в соблазнах фабричной жизни рабочие верят этому и все силы употребляют на жалкую борьбу с капиталистами из-за часов работы и грошей прибавки».

Установив, что социализм «для счастья рабочих» рекомендует им жить в промышленных центрах с зараженным воздухом, Лев Толстой без труда поражал призрачного врага. Он давал простейшее разрешение вопроса, которое, как это ни странно, не приходило в голову «социалистическим пророкам». По его мысли, рабочим, оставившим землю и живущим фабричным трудом, нужны были «не союзы, товарищества, стачки, ребяческие прогулки с флагами первого мая, а только одно — изыскание средств освобождения от фабричного рабства и поселения на земле». (Л. Толстой. — К рабочему народу).

Каким образом, по мысли Льва Толстого, рабочий класс мог притти к этим целям? Он говорил, что сотни богачей не могут заставить миллионы рабочих покориться им. Народ «сам какими-то лживыми, хитрыми и искусными мерами приводится в то странное положение, при котором чувствует себя выну-

жденным совершить насилие сам над собой». (Письма Л. Толстого. Изд. «Окто», см. письмо к Г-ну).

Но социалисты вместо того, чтобы разрушить этот самый гипноз, гадают о далеком будущем. Горы книг «написаны и пишутся Марксами, Жоресами, Каутскими и другими теоретиками о том, как по открываемым ими историческим законам должно быть человеческое общество и как оно должно быть устроено. О том же, как устранить главную ближайшую основную причину зла — насилие, совершаемое рабочими самими над собой, — не только никто не говорит, но, напротив, все допускают необходимость того самого насилия, от которого и происходит порабощение рабочего народа».

Установив, что «Марксы и Жоресы» ни аза не поняли, в чем заключается сущность насилия над трудящимися, Лев Толстой указал несложный и простой путь к освобождению, — нужно перестать давать солдат властителям, перестать работать по найму на помещичьих полях и попутно заняться распространением среди людей такого религиозного сознания, при котором человек признал бы невозможным свершение над ближним какого бы то ни было насилия.

Лев Толстой, горячо полемизируя со своим фантастическим представлением о научном социализме, не только не был знаком с трудами Карла Маркса, но, как это бывало не раз, пытался философски обосновать свое незнание.

III

Одно время Лев Толстой брал уроки высшей математики у А. Новикова, учителя своих детей, проживавшего в Ясной Поляне с 1889 года по 1890-й. Лев Толстой был внимательным и послушным учеником. Но, дойдя до дифференцирования тригонометрических функций, Лев Толстой сказал:

— Нет, не надо мне этого... Ни к чему...

Уроки прекратились. Лев Николаевич не просто заявил, что ему наскучил предмет, что он утомляет его. Нет, дифференциальное исчисление было объявлено никчемным предметом еще до знаком-



Л. Н. Толстой и его домашний врач Маковицкий

ства с ним. Это, однако, не мешало Льву Толстому иронизировать по адресу злопучной математики.

— Это какой-то фокус: dx и ноль, и не ноль. Если dx ноль, то это не dx , а если это какой-то dx , тогда это не ноль. Простому, неисковерканному человеку понять ничего нельзя.

— Ваше возмущение, Лев Николаевич, напрасно, — возражал Новиков, — dx и не ноль, и не величина.

— А что же это такое?

— Это символ, символ того, что данная величина бесконечно приближается к нулю.

С изучением Карла Маркса у Льва Толстого случилось то же, что и с изучением дифференциального исчисления. Лев Толстой так и не познакомился с трудами Карла Маркса, но, яростно полемизируя с ним, он оправдывал свое незнание все той же ссылкой на человека, не исковерканного цивилизацией. Он говорил своему секретарю Н. Н. Гусеву:

— Если бы для того, чтобы знать истину, я должен был прочитать Маркса, Сен-Симона, Оуэна, то это была бы ужасная несправедливость, хуже той, какая есть сейчас, когда один владеет миллионами, а другой по метели ходит без сапог. Как же полуграмотный мужик? Значит, ему нет доступа к истине!

Но, узнав из одной английской книги о существовании Эдуарда Бернштейна, который тоже не соглашался с Марксом, Лев Толстой решил познакомиться с его книгой. Лев Толстой отлично знал немецкий язык, ему не составило бы особенного труда прочитать Бернштейна в подлиннике. Как же проходило знакомство Льва Толстого с трудом немецкого ревизиониста? Предоставим слово секретарю и единомышленнику Льва Толстого — Н. Гусеву:

«Вчера за обедом Лев Николаевич сказал, что встретил в английской книге о социализме упоминание о Бернштейне, и ему интересно было бы узнать, в чем состоит его критика теории Маркса. Сегодня утром я нашел в энциклопедическом словаре Брокгауза статью о Берн-

штейне и, раскрыв книгу на этой странице, положил ее Льву Николаевичу на стол. Когда я по возвращении Льва Николаевича с прогулки принес ему почту, я застал его за чтением этой статьи.

— Я все ищу, не сказал ли кто-нибудь о социализме того, что я говорил, — сказал Лев Николаевич. — Нет, даже не подходят к вопросу с этой стороны» (Н. Гусев. — «Два года с Л. Н. Толстым», стр. 145).

Однако, в дальнейшем к именам Маркса и Энгельса Лев Николаевич, уже не задумываясь, присоединял и Бернштейна, — в дневнике мы находим исполненные язвительности слова:

«Социалисты-реформаторы от Сен-Симона, Фурье, Оуэна до Маркса, Энгельса и Бернштейна...»

Эти строки будят в памяти злые слова Тургенева, сказанные им когда-то по адресу Льва Толстого:

— Он поражает читателя носком сапога Александра, смехом Сперанского, заставляя думать, что он все это и знает, коли даже до таких мелочей дошел... А он и знает, что только эти мелочи. Фокус — и больше ничего... Но публика на него-то и попалась.

Если с Бернштейном Лев Толстой знакомился по Брокгаузу, то труды Генри Джорджа «Прогресс и бедность» и «Социальные проблемы» он изучал с огромным прилежанием. Первая ссылка Льва Толстого на сочинения Генри Джорджа относится к 1885 году, — он упоминает о Генри Джордже в разговоре с писателем Г. Данилевским. Незадолго до этого Лев Толстой писал В. Черткову:

«Я был нездоров с неделю и был поглощен Джорджем, — его книгой «Прогресс и бедность», которая произвела на меня очень сильное впечатление».

В 1887 году в письме к крестьянину Бондареву Лев Николаевич уже выступает как страстный популяризатор учения Генри Джорджа. То было начало огромной работы, проделанной Львом Толстым по распространению взглядов американского экономиста. В его учении Лев Толстой видел средство от всех социальных бед. Вместе с самим Джорджем он полагал, что достаточно будет ввести высокий земельный налог, при-

ближающийся к земельной ренте, и тогда не будет бедняков, лишенных возможности пользоваться землей, не будет праздных богачей, владеющих землями и заставляющих работать на себя. Тогда крестьянин не пойдет в кабалу, исчезнут сборщики податей, и останется единый налог на землю, «которую украсть нельзя» и с которой собирать подати легче всего. Система Генри Джорджа привлекала Льва Толстого прежде всего обещанием гражданского мира, который воцарится на земле. Имущие «избавятся от греха пользования чужим трудом, и прекратится озлобление против неработающих людей» — писал Лев Толстой.

О том, какое впечатление произвела на Льва Толстого книга Генри Джорджа, можно заключить из того, что в конце 80-х годов, составив список книг, числом одиннадцать, которые произвели на него наиболее сильное впечатление, он включил в список и труд Генри Джорджа «Прогресс и бедность», приравняв эту книгу по своей значительности к Библии и Конфуцию.

Лев Толстой пропагандировал учение Генри Джорджа всеми доступными способами: в беседах и в своей переписке, в публицистических статьях и, наконец, в художественных произведениях.

В 1898 году был окончен роман «Воскресенье». Тогда Льву Николаевичу уже исполнилось семьдесят лет. Во многих отношениях этот роман был как бы итоговим. В нем нашли применение и те художественные приемы, которые были найдены Львом Толстым гораздо раньше, и вместе с тем были собраны воедино заветные мысли художника о государстве, о церкви, о земле, которые он и до того не раз выражал в своих произведениях. Роман «Воскресенье» был заключительным звеном того художественно-дидактического цикла, который в самом начале литературной деятельности был открыт повестью «Люцерн» — первым нравственно-политическим трактатом Льва Толстого. Даже фамилия героя Нехлюдов возвращает нас к раннему периоду творчества Льва Толстого.

Как мы знаем, в романе ряд страниц отдан пропаганде экономической системы Генри Джорджа. Более того, по первоначальному замыслу пропаганда идей Генри Джорджа должна была увенчать роман. Нехлюдов, беседуя с крестьянами, убеждает их, что решение вопроса о земле, а следовательно, и вопроса всей жизни — в учении Генри Джорджа.

«Нехлюдов прежде всего высказал свой взгляд на земельную собственность.

— Землю, по-моему, — сказал он, — нельзя ни продавать, ни покупать, потому что, если можно продавать ее, то те, у кого есть деньги, скупят ее всю, и тогда будут брать с тех, у кого нет земли, что хотят за право пользования землей.

... И вот есть один американец Джордж, так вот он как придумал, и я согласен с ним». («Воскресенье».)

Дальше идет популярное изложение теории Генри Джорджа. Нехлюдов говорит о том, что земля принадлежит всем и никому, и что все имеют равное право работать на ней. И тот, кто работает, уплачивает налог, идущий на общественные нужды, причем налог выражает приблизительную стоимость земли.

Проект Генри Джорджа нравится крестьянам. Они встречают его единодушным одобрением.

«— Это правильно, — сказал печник, двигая бровями, — у кого лучшая земля, тот больше и плати.

— И голова же был этот Жоржа, — заметил представительный старец с завитками.

— А плата должна быть такая, чтобы не дорого и не дешево. Если дорого, то не выплатят и убытки будут... А если дешево, все станут покупать друг у друга, будут торговать землей. Вот это самое я хотел сделать у вас.

— Ну, и голова, — повторил широкий старик с завитками, — Жоржа, а что выдумал».

Роман «Воскресенье» в своем первоначальном варианте уделял несравненно большее место распространению взглядов Генри Джорджа. По первоначально-

му замыслу, весь остаток своей жизни герой романа Нехлюдов должен был посвятить этому делу. Вступив в Сибири с сосланной Катюшей в законный брак, он все свои досуги должен был посвящать составлению докладной записки на имя государя о государственной реформе, заключающейся в национализации земли по плану Генри Джорджа.

Ощущение художественной правды не позволило Льву Толстому реализовать этот замысел, — устроив судьбу Катюши, Нехлюдов вернулся в Петербург. Обычно бывает так, что герои осуществляют в художественном произведении то, что было предметом мечты художника. Но на этот раз случилось обратное: Лев Толстой в действительности попытался сделать то, что так и не сделал в романе «Воскресенье» Нехлюдов. Лев Толстой принял на себя невыполненные намерения героя, — он обратился с письмами к Николаю Романову и Столыпину, заклиная их избавить Россию от всех социальных бед и потрясений, осуществив земельную реформу в согласии с учением Генри Джорджа.

IV.

В третьей государственной думе депутат от Витебской губернии Кропотков, выступая по поводу аграрного законодательства Столыпина, говорил:

— Наказывали мне избиратели: скажите в государственной думе, что жить так больше нельзя... С крестьянина идет 11 р. 50 к. с десятины, и если быть справедливыми и обложить этим налогом в равной мере всех, то земля окажется, действительно, у крестьян и не нужно будет принудительного отчуждения. Чтобы быть справедливыми, нужно обложить единственным налогом землю, и тогда она окажется у трудящихся масс, и тогда будет не завидно. Кто не хочет работать, тот не будет платить.

Повидимому, Кропотков был знаком с брошюрой Льва Толстого о Генри Джордже, Кропотков почти дословно повторял его выражения в защиту «един-

ственного налога». Комментируя выступление Кропоткова в своей статье «Аграрные прения в думе», В. И. Ленин писал:

«Сколько стремления к борьбе в этой наивной речи! Желая избежать «принудительного отчуждения», Кропотков на деле предлагает меру, которая равняется конфискации помещичьих земель и национализации всей земли! Что «единственный налог» этого сторонника учений Джорджа равносителен национализации всей земли, этого Кропотков не понимает, но что он передает действительные стремления миллионов, в этом не может быть и тени сомнения». (См. Ленин, т. XII, стр. 410, изд. третье).

Кропотков предлагал ввести для каждой десятины помещичьей земли разорительный налог, равный налогу с одной крестьянской десятины. Он отразил, как писал В. И. Ленин, стремления миллионов. Но вместе с тем В. И. Ленин подчеркивал собственнический, мелкобуржуазный характер этих стремлений. В своей статье «О нашей аграрной программе» (том VII, стр. 107, изд. третье) В. И. Ленин писал о той грани, которая лежит между обманчивой, якобы социалистической, внешностью таких мер и их действительным содержанием. Признавая законность и прогрессивность крестьянской войны из-за земли в полукрепостных странах и в колониях, В. И. Ленин вместе с тем разоблачал ее в последнем счете буржуазно-демократическое содержание. Он вносил особые оговорки, указывая на самостоятельную роль пролетарской демократии, на особые цели ее социал-демократии, как классовой партии, стремящейся к социалистической революции.

Ленин называл Генри Джорджа «буржуазным национализатором земли». В середине прошлого века, пораженный бешеной спекуляцией земли в Америке, непомерным возрастанием земельной ренты, Генри Джордж выступил в своей книге «Прогресс и бедность» с предложением единого высокого земельного налога с тем, чтобы все другие формы налогов и податей были упразднены. Генри Джордж отрицал наличие классовой

борьбы между трудом и капиталом. Он видел единственный антагонизм — между аграриями, с одной стороны, и промышленниками и рабочими — с другой. Не понимая природы прибавочной стоимости, он отрицал наличие эксплуатации труда. Для него капитал был всегда лишь «сгущенным трудом», подобно тому, как мед является сгущенной деятельностью пчел. Проект Генри Джорджа был восторженно встречен промышленниками, которые увидели в его системе орудие борьбы с крупным землевладением. В то же время проект Генри Джорджа нашел отклик среди мелкой буржуазии и крестьянства: Генри Джордж обещал легальный путь захвата помещичьих земель. Об экономическом содержании этой системы В. И. Ленин говорит в своей статье «Демократия и народничество в Китае». Анализируя земельную реформу, предпринятую Сун-Ят-Сеном, Ленин писал:

«В самом деле, к чему сводится «экономическая революция», о которой Сун-Ят-Сен говорит так пышно и темно в начале статьи? К передаче ренты государству, т.-е. к национализации земли посредством некоего единого налога в духе Генри Джорджа. Решительно ничего иного нет реального в «экономической революции», предлагаемой и проповедуемой Сун-Ят-сеном». (Ленин, т. XVI, стр. 29—30, изд. третье.)

«Возможна ли такая реформа в рамках капитализма? Не только возможна, но она представляет из себя наиболее чистый, максимально последовательный, идеально совершенный капитализм» — писал в своей статье В. И. Ленин. Он указывал, что система Генри Джорджа в обстановке капиталистического общества означает наибольшее устранение средневековых монополий, средневековых отношений из земледелия, наибольшую свободу торгового оборота земель и наибольшую легкость приспособления земледелия к рынку.

Исчерпывающую характеристику Генри Джорджа мы находим в известном письме Карла Маркса к Зорге от 30 июля 1881 года. Отметив, что Генри Джордж не понял сущности прибавочной стоимости, Карл Маркс писал:

«Все эти «социалисты», начиная с Колинза, имеют общим то, что, оставая неприкосновенным наемный труд, а следовательно, и капиталистическое производство, тем самым желают закрыть глаза либо себе, либо другим, когда утверждают, что с превращением земельной ренты в государственный налог все беды капиталистического государства должны сами собой исчезнуть. Все это не что иное, как скрытая под маской социализма попытка спасти господство капиталистов и, даже больше, — заново укрепить его на более широком, чем теперь, основании. Этот злостный умысел и вместе с этими глупость недвусмысленно проглядывают из декламаций Генри Джорджа. Ему это тем более непростительно, что от него можно было бы ждать постановки вопроса как-раз в обратном смысле, а именно: чем объяснить, что в Соединенных Штатах, где относительно, т.-е. в сравнении с цивилизованной Европой, приобретение земли было, и то лишь до известной степени, и теперь еще доступно для народных масс, капиталистическое хозяйство и связанное с ним порабощение рабочего класса развилось быстрее и в более циничной форме, чем в каком-либо ином государстве». (К. Маркс и Ф. Энгельс. Письма, стр. 336. Соцэкгиз.)

Таким образом, князь Нехлюдов из «Воскресенья», полный самых лучших намерений, охваченный одной лишь мыслью, как послужить родному крестьянству, сам того не сознавая, всячески укреплял господство угнетателей. Объективное содержание реформы, которую предлагал Генри Джордж, было неясно Льву Толстому. Но его пленил христианский проповеднический харак-

тер трудов американского экономиста. Генри Джордж давал своим статьям евангельские заголовки: «Не укради», «Да приидет царствие твое». Он тоже видел задачу общественных наук в том, чтобы утверждать нравственные законы, предписанные миру богом. В трудах Генри Джорджа Лев Толстой нашел разрешение всем исканиям — Генри Джордж обещал примирить сытых с голодными и навсегда покончить с тем древним хаосом, который непрестанно тревожил Льва Толстого в его яснополянском уединении.

V.

Иногда по ночам в кабинет Льва Николаевича долетали оглушительные выстрелы, — то жена писателя Софья Андреевна, обезумев от страха, палила из купленного в Туле пугача в форточку, в непроглядный мрак, в пустоту. Ночь была заселена зловещими призраками.

За чаем тульский вице-губернатор Лопухин рассказывал о налетах на помещичьи усадьбы. А перед самым сном принесли еще одну телеграмму от Гончарова. Какой-то таинственный Гончаров из Подольска, быть может, бомбист и налетчик, слал в Ясную Поляну одну телеграмму за другой:

«Ждите. Гончаров». «Ждите гостя. Гончаров».

Телеграммы таинственного Гончарова лишали Софью Андреевну душевного равновесия. Лев Николаевич спокойно говорил:

— Буду рад такому концу. Все же лучше, чем хрипеть и мучиться.

Но, пожалуй, страшнее Гончарова были свои же яснополянские крестьяне. В окна старой усадьбы, в самую душу неотступно, как совесть, воспаленными глазами смотрели огни нищих деревень.

Столкновения между обитателями Ясной Поляны и крестьянами случались и раньше. Как-то давно, проходя по деревне, Лев Николаевич был остановлен громким плачем. Кто-то рыдал у покосившейся набок избы.

— Умер кто? — спросил Лев Николаевич.

— Никак нет... Матрену старуху в тюрьму ведут.

— Матрену в тюрьму? За что?

— Да за вашу же капусту!

Лев Николаевич заявил уряднику, что он старуху прощает и просит ради Христа отпустить ее на волю. Урядник угрюмо отвечал, что одного прощения теперь будет мало, так как дело пошло уже в суд.

В годы первой революции и дня не проходило без происшествий. Ясную Поляну стерегли черкесы, об'ездчики. Встречая на прогулке Льва Николаевича, крестьяне жаловались:

— Черкес бьет!

Об'ездчики вели штрафных крестьян прямо в усадьбу, к тому самому дереву бедных, старому вязу у веранды, под которым Лев Николаевич обычно беседовал с людьми, имевшими до него нужду. Лакей во фраке и белых нитяных перчатках докладывал:

— Ваше сиятельство, черкес мужика привел.

В такие дни в дневнике возникали записи, полные бессилия и ужаса:

«Не переставая, стыдно за свою жизнь».

«Есть одно: непрерывающийся стыд перед народом».

«Да, хотелось бы в пустыню!»

Пойманный на порубке в дубовой роще Абакумов умолял Льва Николаевича избавить его от тюрьмы. Лев Николаевич говорил, что у него собственно-сти больше нет, что он отрекся от нее и как бы умер при жизни для мира. Ясная Поляна, ее земля и леса уже давно являются собственностью его жены, Софьи Андреевны. Лев Николаевич говорил Абакумову, что несчастен не тот, кому делают больно, а тот, кто хочет сделать больно другому, кто, сажая людей в тюрьму, губит свою бессмертную душу. Он и сам бы не прочь пострадать, отдать свое немощное тело на с'едение лохматым вшам в каком-нибудь зловонном остроге. Абакумов плохо понимал Льва Николаевича, для него он попрежнему был графом и собственником Ясной Поляны. И, кланяясь в ноги его сиятельству, Абакумов слезно умолял о пощаде. Окончательно растерявшись, блед-

ный от бессильного отчаяния, Лев Николаевич шептал:

— Бежать. Здесь нельзя жить больше. Без оглядки бежать.

Непорочно чистый снег по пути прогулок (Лев Николаевич часто ходил пешком на ближайшую железнодорожную станцию Козловку) по утрам был исчерчен матерными ругательствами. Тогда, призвав на помощь христианское смирение, Лев Николаевич в назидание ненавидящим тут же на снегу, рядом с бранными словами, чертил палкой слова из Евангелия, из послания Иоанна:

«Братья, будем любить друг друга».

Но какой-то пьяный мужик, повстречав его на прогулке, такой мирной и благостной, полной благочестивых размышлений, долго кричал ему вслед:

— Ваше сиятельство, дай вам бог скорей околеть, ваше сиятельство!

Дома за обедом кто-то жаловался, что не совсем свежа осетрина, пятое по счету блюдо. Жуя беззубым ртом рисовую котлетку, Лев Николаевич рассказывал, как на прогулке его обругал пьяный мужик, и, рассказав, горько прибавил:

— Мало ругают, много большего стоним.

На деревне люди от истощения вповалку болеют куриной слепотой. Половина изб опять стоит без крыш, солома пошла на корм скотине. Крестьяне работают с утра до вечера, питаются одним хлебом и луком, кормят своим трудом праздных господ. Магомет обслуживал себя сам, а здесь толпа слуг, пожилые семейные люди, заняты только тем, что разносят обильную пищу тунеядцам. Омерзителен этот обед, когда рядом живут голодные и раздетые, забитые трудом и нуждой рабы. Стыдно жить!

Он говорил с глубокой скорбью в голосе, мучительно оглядывая сидящих за столом небольшими серыми глазами, прижимая к груди сложенную в кулак левую руку. Кто-то лениво возражал (в который раз!): зачем говорить о том, чему нельзя помочь? Раздать и семена, и хлеб тем, кто просит? — но разве в этом спасение? Быть может, правы те, кто пытается одним ударом сразить страшный мир, в котором пожираение человека человеком является законом. Он

отвечал, что злу нельзя противиться злом, и угнетение не страшно царству божьему, нужно и самим опроститься, обнищать, обовшиветь и, потеряв себя, раствориться в чистом созерцании бога. Вся мудрость мира заключена в словах его умершего друга, тверского крестьянина Сютаева, который говорил:

— Все в тебе, все в любви.

Но, прочитав в газете о смертном приговоре, вынесенном военно-полевым судом бунтующим крестьянам, Лев Николаевич на минуту забывал, что все в любви, и, ужаленный в самое сердце, плача, кричал, охваченный тяжелым гневом:

— Сукин сын Столыпин, влюблен в виселицу!

VI

Трудно привести более яркий пример социального утопизма, чем письма Льва Толстого к Николаю II и к Столыпину, полные заклинаний прислушаться к учению Генри Джорджа. Лев Толстой писал Николаю II в январе 1901 года, — письмо осталось без ответа. Между Львом Толстым и Столыпиным завязалась переписка.

Лев Толстой рекомендовал Столыпину заняться изучением «Прогресса и бедности» как-раз в тот момент, когда министр-вешатель, разгромив патриархальную общину, был охвачен единственным стремлением—спасти в России земельную собственность, насаждая крепкого хозяина, отрубника. Лев Толстой проповедывал Столыпину учение Генри Джорджа, но вешатель, сладострастно потирая руки, радовался вестям, что идет резня между общинниками и хуторянами, что крестьянство расколото и опасность, грозившая дворянским гнездам, в какой-то мере ослаблена.

Лев Толстой хорошо знал отца Столыпина, генерала-от-инфантерии. Вместе с ним он дрался под Севастополем, вместе с ним ходил он в одну из ночных вылазок. Столыпин-отец, увлеченный Львом Николаевичем, написал даже очерк, в котором изобразил ночную вылазку, — очерк этот был напечатан в некрасовском «Современнике». Когда под влиянием своих встреч с народом

Лев Толстой задумал издавать журнал, близкий и понятный солдатам, он решил привлечь для этого начинания и Столыпина. Журнал не был разрешен Николаем I.

Таким образом, обращаясь к Петру Столыпину, в своих письмах Лев Толстой разговаривал с ним не только как с министром, но и как с сыном своего старого друга. Нужно заметить, что в первом своем письме к Столыпину Лев Николаевич еще не оставлял надежды на положительный результат переписки. Резкости по адресу Столыпина пришли после того, когда первое письмо к все-сильному министру осталось без ответа, когда разгром патриархальной общины, проводившийся на основании царского указа от 9 ноября 1906 года, ни на минуту не прекращался и петля, затянутая на горле революционной России, не была ослаблена, несмотря на горячую мольбу Льва Толстого. Указ от 9 ноября 1906 года, разрешавший крестьянину свободный выход из общины, предоставлявший в его полную собственность участок общинной земли, который он по указу мог свободно отчуждать, вызвал не меньшее возмущение Льва Толстого, чем волна смертных казней. Он обрушился и на министра, автора этого указа, и на депутатов государственной думы, и на профессоров, служивших не за страх, а за совесть все-сильному временщику.

— И кто же уничтожает общину! — со слезами в голосе говорил Лев Николаевич, — легкомысленные, поверхностные люди. Это отвратительное преступление!

— Профессор от большого ума решает, что община должна быть уничтожена, потому что она мешает сельскохозяйственному прогрессу... Ведь одно то чего стоит, что все дела решает мир, — не один я, а мир, — и какие дела! Самые важные!

Переписка со Столыпиным началась по вопросу о судьбах русского крестьянства. И только, не получив ответа на свое первое письмо, потеряв всякую веру в возможность повлиять на Столыпина, Лев Толстой через год делает свой первый набросок прогремившей на весь мир

статьи «Не могу молчать». Лев Толстой говорил в своей статье о том, что Столыпин вместе с Николаем Романовым возбуждают чувство негодования и отвращения, что Столыпин и Николай Романов — два глазных скрытых палача, своим попустительством участвующие во всех преступлениях. В эту пору Лев Толстой так характеризовал Столыпина:

— Какая ограниченность! Он мог бы в истории сыграть важную роль, а вместо того сделал самое ужасное дело — развращение народа.

Но год тому назад, когда Лев Толстой послал П. Столыпину свое первое письмо, он думал иначе, он еще не терял веры, что П. Столыпин, если не станет орудием его замыслов, то во всяком случае отнесется к нему со вниманием.

27 июля 1907 года Лев Толстой писал П. Столыпину:

«Пишу вам не как министру, не как сыну моего друга, пишу вам, как брату, как человеку, назначение которого, хочет он этого или не хочет, есть только одно: прожить свою жизнь согласно той воле, которая послала его в жизнь»¹⁾.

Лев Толстой поучал П. Столыпина, что единственный способ спасти душу, а заодно и покончить в России с революцией — это стать последователем Генри Джорджа. В письме Лев Толстой почти дословно повторял Нехлюдова из «Воскресенья», его речь, обращенную к крестьянам. Лев Толстой писал П. Столыпину о том, что земля есть достояние всех и все люди имеют одинаковое право пользоваться ею, что земля не должна, не может быть собственностью отдельных людей.

«Для того, кто понимает этот вопрос в его истинном значении, должно быть ясно, что право владения как собственностью хотя бы одним осьминышником земли, будь владелец распротхристианин, так же незаконно и преступно, как владение богачом или царем миллионом десятин. И поэтому вопрос не в том, кто владеет землей и каким количеством, а в том, как уничтожить право

¹⁾ См. «Труды Толстовского музея». — Лев Николаевич Толстой. Стр. 82—96.

собственности на землю и как сделать пользование ею одинаково доступным всем. И такое решение земельного вопроса уничтожением права собственности и установлением возможности равного для всех пользования ею уже давно ясно и определенно выработано учением единого налога Генри Джорджа.

Лев Толстой закликает П. Столыпина познакомиться с учением Генри Джорджа: «Хоть на короткое время освободясь от тех удручающих забот и дел, свойственных вашему положению, постарайтесь не с чужих слов, а сами, своим умом познакомиться с учением Генри Джорджа и подумайте о том, что я предлагаю вам».

Лев Толстой развивал в своем письме совершенно утопический проект:

«Думаю, что для энергического человека в вашем положении это возможно. Начните эту работу до Думы, и Дума будет не врагом вам, а помощником. Помощниками, а не врагами, будут вам все лучшие люди как из образованных людей, так и из народа».

В своем письме Лев Толстой поднимался до высоко-патетического тона:

«Да, любезный Петр Аркадьевич, хотите вы этого или нет, вы стоите на страшном распутье: одна дорога, по которой вы, к сожалению, идете, — дорога злых дел, дурной славы и, главное, греха. Другая дорога — дорога благородного усилия, напряженного осмысленного труда, великого доброго дела для всего человечества, доброй славы и любви людей. Неужели возможно колебание? Дай бог, чтоб вы выбрали последнюю».

Учение Генри Джорджа в изложении Нехлюдова привело в восторг крестьян. Но Лев Толстой, несмотря на свой патетический тон, не сумел растрогать П. Столыпина. Тот оставил письмо без ответа и к затронутому вопросу о земле вернулся попутно, отвечая на другое письмо Льва Толстого, содержащее просьбу облегчить судьбу Александра Бодянского, приговоренного к тюремному заключению. Если Лев Толстой ссылался на «вечные идеалы», то Столыпин, отвечая Льву Толстому, подкрепляя свои возражения ссылкой на «вечные инстинкты». Он писал:

«Природа вложила в человека некоторые врожденные инстинкты — чувство голода, половое чувство, чувство собственности».

П. Столыпин в своем ответном письме указывал, что ближайшую свою задачу он видит в том, чтобы удовлетворить именно этим инстинктам.

«Я не отвергаю учения Джорджа и думаю, что единый налог со временем поможет борьбе с крупной собственностью, но теперь я не вижу цели у нас в России слонять с земли более развитой элемент землевладельцев и, наоборот, вижу несомненную необходимость облегчить крестьянину законную возможность приобрести нужный ему участок земли в полную собственность. Теперь единственная карьера для умного мужика — это стать мироедом, паразитом. Надо дать ему возможность свободно развиваться и не пить чужой крови». — писал П. Столыпин в ответ Льву Толстому.

Заканчивая свое письмо дальновидным признанием, — «меня вынесла наверх волна событий — вероятно, на один миг», — П. Столыпин либерально соглашался в письме повидать рекомендованного Львом Толстым С. Николаева, переводчика и популяризатора трудов Генри Джорджа. Свидание это, конечно, так и не состоялось.

Несмотря на то, что письмо П. Столыпина не оставляло никаких сомнений, Лев Толстой в конце января 1908 года снова возвращается к затронутому вопросу. В этом письме Лев Толстой предлагал П. Столыпину не только познакомиться с учением Генри Джорджа, но и пострадать за него. Как и в предыдущем письме, Лев Толстой пытается увлечь П. Столыпина двойной возможностью — постоять за правду и покончить с революцией:

«Вы, пострадавший так жестоко от покушений и почитаемый самым сильным и энергичным врагом революции, вы вдруг стали бы на сторону вечной нарушенной правды и этим самым вынули бы почву революции. Очень может быть, что, как бы мягко и осторожно вы ни поступали, предлагая такую новую меру правительству, оно не согла-

силось бы с вами и удалило бы вас от власти. Насколько я вас понимаю, вы не побоялись бы этого, потому что и теперь делаете то, что делаете, не для того, чтобы быть у власти, а потому, что считаете это справедливым и должным. Пускай двадцать раз удалили бы вас, всячески оклеветали бы вас, все бы было лучше вашего теперешнего положения».

Повидимому, не утратив надежды на то, что вешатель покается в преступлении, на манер Никиты из «Власти тьмы», и, перейдя на стезю добродетели, займется изучением Генри Джорджа, Лев Толстой в приписке к письму напоминал:

«Николаев ждет вашего призыва».

Лев Толстой написал П. Столыпину еще одно письмо за три месяца до смерти, но в нем уже не говорил о Генри Джордже. Письмо содержало в себе ходатайство об освобождении четырнадцати крестьян Новгородской губернии, посаженных в тюрьму.

Под конец своей жизни Лев Толстой и сам усомнился в спасительности учения Генри Джорджа, хотя попрежнему объективное содержание системы было ему непонятно. Его смущали частности. Главное затруднение он видел в том, что с прекращением выкупных платежей за землю при осуществлении проекта Генри Джорджа в России пришлось бы ввести новый налог на землю.

VII

В последнее лето своей жизни, несмотря на восемьдесят два года, Лев Николаевич еще был достаточно крепок, когда созревшая годами мысль об уходе из дому выросла в решимость. Он не бежал навстречу смерти, обьятый одним желанием умереть. Докучали головокружения — старческий недуг, — но все же Лев Николаевич еще поражал своим свежим, здоровым видом, своей напряженной деятельностью. И хотя он говорил, что «без желания чувствует хорошую готовность к смерти», — впереди мерещилась какая-то новая жизнь наедине со своим особенным богом, пустынножительская, но все-таки жизнь.

День, как обычно, начинался верховой прогулкой на старом Делире, причем спутники не всегда попевали за Львом Николаевичем, пускавшим коня в галоп. За день до ухода из дому, 9 ноября, проскакав верхом шестнадцать верст, Лев Николаевич пересек глубокий с крутыми краями овраг и, ведя коня на поводу, ползком, на четвереньках, переправился через замерзший ручей. Попрежнему шла напряженная работа над корректурами, и один за другим возникали творческие замыслы. За месяц до рокового конца чтение Мопассана разбудило желание изобразить «пошлость жизни» и поместить среди этой пошлости живого духовно человека. «Какая могла бы быть великая вещь» — без ложной скромности записал в свой дневник Лев Толстой. И закончил запись многообещающим «посмотрим». По вечерам в Ясной Поляне попрежнему звенела музыка, Лев Николаевич коротал свой досуг за шахматами и игрой в винт. Шла переписка со всем миром, и отовсюду стекались в Ясную Поляну посетители, искавшие встречи с великим художником. Призыв какого-то киевского студента Манджоса, письмо, заклинавшее раздать имущество и, подбираясь, пойти по миру с проповедью слова божьего (такие письма в Ясную Поляну приходили десятками), Лев Николаевич назвал хотя и прекрасным, однако, по целому ряду обстоятельств невыполнимым.

Десятого ноября ночью он был разбужен шорохом, мерцанием свечи, сквозившим из-за прикрытых дверей кабинета. То жена Софья Андреевна искала в бумагах составленное им завещание. Лев Николаевич поднялся задолго до рассвета и, стараясь не разбудить жены, уложил в чемодан необходимые вещи, надел синюю поддевку, галоши и пошел на конюшню сказать, чтобы запрягли лошадей. Было очень темно, Лев Николаевич наткнулся на дерево, оступился, упал в грязь... Сначала он помогал кучеру Адриану запрягать лошадей, торопил его, боясь быть достигнутым, потом присел в углу конюшни на чемодан и, повидимому, упал духом. Он сказал:

— Я чувствую, что вот-вот нас достигнут. И тогда все пропало. Скандала не миновать!

Быть может, в эту минуту он вспомнил гоголевскую «Коляску», произведение, по его словам, гениальное. Основатель новой религии, застигнутый врасплох в углу каретного сарая в ту минуту, когда он стремился запечатлеть подвигом дело целой жизни, — что могло быть страшнее этого!

Конюх Филя с факелом в руке вскочил на козлы, кучер Адриан тронул лошадей, и коляска выехала на дорогу не как обычно, мимо окон усадьбы, но в объезд, через сад. Лев Николаевич навсегда покинул Ясную Поляну. Было пять часов утра. Уже в поезде он испытал приступы раскаяния, — было жаль покинутую жену.

И кто знает, если б не уход из дому в промозглую ноябрьскую ночь в обществе домашнего врача Д. Маковицкого, если бы не разжигаемое близкими и единомышленниками утопическое стремление разрешить мучительные противоречия жизни где-то в пространстве по образу и подобию нищенствующего монашества, то, возможно, еще не один год великий художник провел бы в стенах Ясной Поляны, и смерть, сразившая в пути на неизвестной дотоле станции Астапово, помедлила бы.

Лев Толстой никогда не скрывал своего отношения к буржуазной интеллигенции. Он видел в ней прислужницу тех, кто обманывает и угнетает народ. Любопытно, например, что, публично протестуя по поводу избиения студентов на Казанской площади в Петербурге во время исторической демонстрации 4 марта 1901 года, Лев Толстой, однако, говорил, что на площади столкнулись те, кто только собирается стать угнетателями с уже готовыми угнетателями народа. Но, забыв о глубоком презрении, которое всегда испытывал Лев Толстой к буржуазной интеллигенции, ее барды и выразители — от кадетов до меньшевиков — единодушно оскверняли свежую могилу фарисейским славословием, напыщенной и пустой болтовней.

Эта попытка угнетателей народа нажать политический капитал на смерти великого художника была разоблачена В. И. Лениным. Он сорвал маски с либеральных фарисеев, пытавшихся прикрыть свое предательство тенью великого художника. Напыщенно называя Льва Толстого, «совестью человечества», «глашатаем вечной истины», либеральные публицисты всячески замалчивали конкретное содержание его критики. Они не могли «высказать прямо и ясно своей оценки взглядов Толстого на государство, на церковь, на частную земельную собственность, на капитализм» — писал В. И. Ленин. Потому, что каждое положение в критике Толстого есть пощечина буржуазному либерализму.

Ленин рассматривал Льва Толстого — художника, мыслителя и проповедника — неразрывно в его противоречивом единстве. И в самых противоречиях Льва Толстого он видел не случайность и не личную особенность гениального художника, но отражение определенной исторической действительности, он видел в нем «зеркало слабости, недостатков нашего крестьянского восстания, отражение мягкотелости патриархальной деревни». Лев Толстой вместе с многомиллионным крестьянством ненавидел барина и чиновника. Эта ненависть в его творчестве перерастала в могучую критику окружающей действительности. Но критика эта находила свое разрешение не в организованной борьбе с угнетателями, но в резонерстве, молитве, уповании на небеса. Большая часть крестьянства плакала и молилась, резонерствовала и мечтала, писала прошения и посылала ходателей совсем в духе Льва Николаевича Толстого, — писал В. И. Ленин. Лев Толстой, умолявший Столыпина внять голосу Генри Джорджа, разве не был таким крестьянским ходателем, верившим, что словом и убеждением можно двигать горами? Чем непримиримее бичевал Лев Толстой капиталистическое общество, тем беспомощнее становились его попытки реформировать человечество на основах новой религии, найти разрешение всем бедам в системе «буржуазного национализатора земли» Ген-

ри Джорджа. В своем отрицании Лев Толстой был суров и прямолинеен. Право критики покупал он дорогой ценой, — он и сам был вместилищем мучительной борьбы, в нем самом жили раздирающие противоречия. Он учил, что капиталистическое государство есть оружие угнетения и патриотизм — только дурман, которым опаивают угнетаемых. В дни русско-японской войны он писал:

«Я не за Россию, не за Японию, а за рабочий народ обеих стран, обманутый и вынужденный правительствами воевать против совести, религии и собственного благосостояния».

Но, узнав о падении Порт-Артура, Лев Толстой плакал от уязвленной дворянской гордости и по поводу военной катастрофы занес в свой дневник:

«Сдача Порт-Артура огорчила меня. Мне больно. Это патриотизм».

Он называл науку суеверием и принципиально отказался принять у себя в доме одного из первых русских авиаторов — Ефимова; он доказывал, что книгопечатание не содействовало благу людей, что «Фауст» — совсем плохое произведение, и сам Гете — ничтожный человек. Он гордился тем, что будто бы забыл содержание «Анны Карениной». Но в свой дневник заносил: «Я не только не отрицаю науку... Наука и искусство так же необходимы для людей, как пища и питье, и одежда, даже необходимее». И мечтал вслух о возвращении к художественной деятельности.

Ученики Льва Толстого, хлебая щи из общей чашки, видели в этом всеобщем отрицании весь смысл философии Льва Толстого. Они не понимали, что отрицание это, которое многим казалось простым чудачеством, было продолжением все той же прямолинейной, неумолимой и в последнем счете бессильной критики капиталистического общества, в которой, по словам Льва Толстого, «люди не имеют права не только на пользование железными дорогами, паром, электричеством, беспроволочным телеграфом, но даже простым искусством обработки железа».

Когда же его спрашивали, где лежит путь к возрождению человечества, он показывал перстом в пустое, равнодушное небо, он цеплялся за учение американского экономиста Генри Джорджа, не понимая, что оно несет трудящимся в обстановке капиталистического общества еще большее угнетение. И, сам до конца не веря в возможность утверждаемого им идеала, он метался, терзал себя и окружающих, пытался мученичеством запечатлеть свою проповедь, просился в тюрьму. Но жандармский полковник Слезкин, выслушав просьбу Льва Толстого, с очаровательной улыбкой ответил:

— Граф, слава ваша слишком велика. чтобы наши тюрьмы могли ее вместить.

Он хотел уйти в пустыню, о ней он мечтал в своем дневнике, чтобы в пустыне похоронить ужас и стыд, никогда не покидавшие его. То был стыд перед родным народом, выданным с головой угнетателям, то был ужас при мысли, что он бессилен помочь чем-либо рабской России, что даже в своем родном доме, у себя под родной кровлей он не может убедить близких ему людей жить в согласии с его взглядами.

20 ноября 1910 года умер Лев Толстой. Ранней осенью в 1911 году в Киеве, в оперном театре, был убит «вынесенный наверх волной событий на один миг» Столыпин. Шла опера Римского-Корсакова. Столыпин был убит на глазах царя — Николай II видел из ложи, как рухнул его всеильный министр. Вещий петух напроорочил беду. Близились последние сроки векового господства фабрикантов, помещиков, кулаков. Увлекая за собой основные массы крестьянства, всячески помогая им преодолеть «исторический грех толстовщины» (В. И. Ленин), социалистический пролетариат взорвал старую, рабскую Россию. На ее развалинах он построил новое общество, одним из законов которого сделал слова: не работающий да не ест, — слова, когда-то волновавшие Льва Толстого своей сказочной недоукомплектованностью.

2. ГОГОЛЕВСКАЯ ХИВРЯ В РОЛИ ТЕОРЕТИКА ИСКУССТВА

А. Лебедев, Е. Меликадзе, А. Михайлов, П. Сысоев

«... Когда смех, игривость и юмор служат средством, тогда все обстоит благополучно. Когда они делаются целью, тогда начинается умственное распутство. Для художника, для ученого, для публициста, для фельетониста, для кого угодно, для всех существует великое и общее правило — идея прежде всего. Кто забывает это правило, тот немедленно теряет способность приносить людям пользу и превращается в презренного паразита».

Писарев.

I

В только что вышедшем 4-м номере журнала «Искусство» опубликован «ответ» редактора этого журнала Ос. Бескина на нашу статью — «О журнале «Искусство» и задачах художественной критики». Этот «ответ» под сенсационным заголовком «С поличным» как по стилю, так и по существу является вполне достойным завершением той серии «откликов» на нашу статью, которые появились в свое время в газете «Советское искусство» и были уже достаточно охарактеризованы нами в статье «Еще раз о журнале «Искусство». Они объединены прежде всего одним качеством, а именно — стремлением подменить серьезное обсуждение вопросов искусствоведения и художественной критики «морально-нравственными» сенсациями.

Хотя это совсем не приличествует советской прессе, тем более журналу, претендующему на ведущее положение в области изобразительного искусства, — тем не менее как Ос. Бескин, так и его сподвижники (большой частью пресмыкательно и совестливо прикрывающиеся псевдонимами) необычайно усердствуют в «сенсациях».

Второй объединяющей их чертой является отборнейшая ругань по адресу авторов настоящей статьи. В данном отношении Ос. Бескин и его друзья вполне способны перещеголять гоголевскую Хиврию, которая, как известно, в течение нескольких минут могла обручать всесторонне не только досадившего ей человека, но и всех его родичей — вплоть до 9-го колена.

Сам ответственный редактор журнала «Искусство» Ос. Бескин показывает в этом отношении первый пример своим

сотрудникам. Словечки, вроде «подлый», «чудовищный», «оголтелые вульгаризаторы», «фальсификация», «литературный криминал», «обокрал» и т. п., обильно уснащают выступление Бескина.

Мы уже имели случай, в связи с этим, заявить, что не испытываем никакого желания опускаться до того чрезвычайно низкого, доходящего до литературного хулиганства, уровня полемики, который так любезен Ос. Бескину, равно как не хотим встать на тот философско-теоретический уровень, какой посилен нашим оппонентам.

В сущности, не было бы смысла подробно разбирать статьи Бескина, если бы мы не знали, что своими выступлениями Бескин поддерживает вредные тенденции в области искусства. В нашей первой статье мы документально доказали, что в ряде важнейших вопросов советского искусства, в частности о социалистическом реализме, а также в вопросах наследия, журнал «Искусство» зачастую давал весьма извращенные установки и допускал на своих страницах (иногда в «порядке обсуждения», а иногда и полностью солидаризируясь с тем или иным автором) более чем примиренческое отношение к идеалистическим и механистическим извращениям.

Достаточно ознакомиться со статьей Бескина, чтобы увидеть, что автор ее не только не опровергает ни одного из наших положений и выводов, но еще более усугубляет ошибки редактируемого им журнала.

Вместе с тем эта статья показывает также, что ошибки журнала «Искусство» теснейшим образом связаны с той философско-теоретической путаницей, которая царит в голове редактора журнала.

Характерная деталь: в первой статье мы уже указывали на то, что Ос. Бескин торжественно провозгласил (в своей статье о формализме) Канта высшей точкой немецкой идеалистической философии. Теперь, после того, как мы обратили внимание на философскую безграмотность такого заявления, Ос. Бескин пытается благородно ретироваться под прикрытием ругани и барабанного боя.

Он представляет это дело так, что мы, дескать, ухватились «только за ляпсус, который автор просмотрел в гранках» («Искусство», № 4, стр. 41). Но ведь статья Бескина «Формализм в живописи», откуда мы взяли определение Канта, как высшей точки немецкой классической философии, представляет перепечатку доклада в МОССХ, следовательно, данное определение содержалось еще в докладе и не является результатом небрежной правки корректуры.

Во-вторых, эта же статья вышла отдельной книгой, и здесь Кант опять фигурирует в качестве высшей точки немецкой классической философии (стр. 18). Выходит, что Бескин просмотрел это неграмотное положение один раз в докладе и два раза в гранках. Уже поэтому ясно, что в данном случае мы имеем дело не со случайной ошибкой, а с положением, которое автор в то время считал правильным и неоднократно его высказывал публично: в докладах и статьях. Эта деталь характерна в двух отношениях: во-первых, она показывает методы полемки Ос. Бескина, который стремится скрыть или смазать даже самые явные и грубые ошибки, и, во-вторых, ошибка с Кантом характеризует ту теоретико-философскую базу, на которой покоится ряд извращений, нашедших свое место в журнале.

Это очень ясно видно на примере с Сезанном. В нашей первой статье мы с неопровержимой ясностью доказали, что журнал «Искусство» в ряде случаев явился прямым рупором непреодоленного сезаннизма и что ориентация на Сезанна при относительно меньшем внимании к классикам реализма в корне порочна.

В ответе Бескина, после перечисления «семи казусов», к которым мы еще вернемся, следует объяснение и защита линии журнала в отношении Сезанна. Оставляя в стороне отборную ругань (вроде «молодых фальсификаторов», воющих «хоровым воем», и т. д.), ибо она характеризует исключительно низкий моральный уровень самого Ос. Бескина, обратимся к излагаемой им позиции в отношении учебы у Сезанна.

«Журнал «Искусство», — уверяет Бескин, — всегда утверждал, что Сезанн и сезаннизм (и последний в особенности) в своем общем комплексе вредоносен, а, чему поучиться у него, все же есть. Мы не маленькие. Мышьяком можно отравляться и можно лечиться».

И далее следует длинная цитата из статьи Бескина же «О незаинтересованности эстетического суждения» («Искусство», № 6 за 1933 г.). Для ясности приведем эту цитату полностью:

«В чем же сущность основного признака реалистического искусства — правдивости? (Подчеркнуто нами. — Авторы.) Прежде всего в понимании неразрывной связи, причинной связи между изображенным и миром, его окружающим. Это то, что для литературы Энгельс так блестяще формулировал, как «верность передачи типичных характеров в типичной обстановке»¹⁾, что для живописи будет звучать как отображение типических образов (вещей или людей) в типической композиции и обстановке. Это не может удасться живописцу, который не проникает за пределы объекта, как бы материалистически и полнокровно он ни передавал фактуру изображаемого (сезаннизм), это не может удасться художнику, который не понимает места изображаемого в ряду идей, массовых бытовых симпатий, всей атмосферы современности.

Он овладеет правдоподобностью, но не правдой, ибо правда заключена в связи и взаимодействии вещей и

¹⁾ У Энгельса в действительности говорится: «в типичных обстоятельствах». — Авторы.

людей, а не замкнута в каждом данном объекте и не раскрывается только во впечатлении от данного объекта (...).

Вот чего не могли и не могут понять наши «стопроцентные» сезаннисты, и первый из них т. Эфрос, которые вместо того, чтобы пропагандировать необходимость наследования у Сезанна его умения технически и эмоционально материализовать объект мира на полотне (подчеркнуто нами. — *Авторы*), подсовывают Сезанна и, что еще хуже, его русскую разновидность — «бубнововалетство», как единственную законченную систему реализма. Реализм, а тем паче социалистический реализм, для нас понятие идейное, а в этом смысле нам, конечно, от Сезанна, выразителя буржуазии, вступившей на империалистический путь, брать нечего.

Сезанн, в отличие от импрессионистов, превративших в конечном счете мир в некую расплывчатую эфемерность, «понимает, что, когда мы смотрим на вещь, мы чувствуем ее вес, мы чувствуем, что она имеет определенный объем. Он почувствовал, что каждая краска имеет свой *valeur*, какую-то красочную весомость» (Луначарский). Вот, собственно, то наследие (очень богатое, очень важное), которое наша живопись берет у Сезанна, — его художественную материальность» (подчеркнуто нами. — *Авторы*). («Искусство», № 4, стр. 42).

Такова позиция Бескина в вопросе наследования Сезанна. Он считает ее, очевидно, верхом ортодоксии и истинности. Однако, не трудно вскрыть всю путанность, всю ошибочность данной позиции. Прежде всего, Бескин дает неверное определение правды — основного качества социалистического реализма. Он заявляет, что правда заключена в связи и взаимодействии вещей и людей, а не замкнута в каждом данном объекте и не раскрывается только во впечатлении от данного объекта.

Судя по всему, Бескин стремится здесь дать определение, которое бы поднималось над импрессионизмом и натурализмом. Это, однако, не удается ему. Он подходит к определению правды (истины) не с ленинских позиций, и его формулировки сильно отдают богдановщиной. Прежде всего, ни в коем случае нельзя отрицать, что истина (правда) содержится в самом объекте и что эта истина отражается в наших ощущениях (впечатлениях).

Вот, что говорит по этому поводу Ленин: «И солипсист, т.е. субъективный идеалист, и материалист могут признать источником наших знаний ощущения»... Но «исходя из ощущений, можно идти по линии субъективизма, приводящей к солипсизму («тела суть комплексы или комбинации ощущений»), и можно идти по линии объективизма, приводящей к материализму («ощущения суть образы тел, внешнего мира»»). (Т. XIII, изд. 3-е, стр. 103.)

Ленинская теория отражения говорит, что правда (истинность) всякого познания (в том числе и художественно-образного познания) заключена в верности и глубине отображения этим познанием самой объективной истины (т.е. объективной действительности, существующей вне субъекта).

С этой точки зрения, пейзаж, трактующий природу, например осенний лес, должен отразить характерные особенности самой этой природы, и чем более он это сделает, тем более будет в нем правды. В противовес этому ленинскому пониманию истинности познания как отображения истинности познаваемого — Богданов считал истину «идеологической формой», «организующей формой человеческого опыта». Для него не могло быть истины, независимой от субъекта, от человека (общества), а следовательно, не могло быть объективной истины.

Бескин делает ошибку именно в богдановском смысле, когда он говорит, что правда (истина) заключена только во взаимодействии вещей и людей, а не дана в объектах как таковых и во впечатлениях от них. Для него истина есть, следовательно, взаимодействующая функ-

ция отношений субъекта и объекта, но не определенное свойство объекта, отражаемое сознанием и познанием (субъектом). С этой общепhilософской ошибкой связана и ошибка в оценке Сезанна. С точки зрения Бескина, Сезанн, неприемлемый для нашего искусства в идейном плане, является образцом «художественной материалистичности». Положение насчет художественного материализма Сезанна повторялось Бескиным не один раз. Больше того, он вообще многих формалистов с удивительной легкостью зачисляет в материалисты. В своей работе «Формализм в живописи» Бескин заявляет: «Для того, чтобы понять сущность из вульгарного материализма растущей живописи конструктивистов Малевича, Ключа, Суекина, надо вспомнить историю нашего искусства в период военного коммунизма»¹⁾. (О. Бескин.— Формализм в живописи. 1933 г., стр. 52—59).

Достаточно прочесть работу Малевича «Die Gegenstand lose Welt», содержащую в себе развернутое изложение философских и творческих позиций художника, достаточно ознакомиться с его творчеством, чтобы с совершенной определенностью установить, что ни теория, ни практика Малевича не имеют никакого отношения к материализму, даже в самой его вульгарной форме.

В этой работе Малевич с самого начала заявляет, что искусство лишено объективно-познавательного значения, ибо сама действительность существует только в нашем ощущении. «Все, что мы зовем природой, есть исключительно образ-фантазия, который не имеет ни малейшего сходства с фактически существующим». Что является сущностью и содержанием нашего сознания? — спрашивает Малевич. И отвечает: «Неспособность познать фактически существующее... нас почти не интересует истина фактически

существующего, нас интересует изменение формопроявлений познанного» (стр. 18—19).

Но если это так, тогда, естественно, существенным является не углубление в мир реальности жизни и ее образное раскрытие, а уничтожение искусства как познания в пользу субъективистического «формотворчества», выражающего «чистые ощущения», никак не связанные с объективной действительностью.

Малевич так и заявляет: «Под супрематизмом я понимаю господство (die Suprematie) чистого ощущения в изобразительном искусстве» (стр. 65).

С точки зрения супрематизма, — объясняет он дальше, — явления предметной природы сами по себе лишены значения; существенно ощущение, как таковое, вполне независимо от окружения, в котором оно было вызвано. Реальное представление в искусстве супрематизма — лишено ценности (wertlos); предметное изображение есть нечто, что с искусством не имеет ничего общего. Все, что связано с предметно-идейной структурой жизни, и определяет искусство: идеи, понятия, представления, все это (супрематический) художник отвергает в пользу чистого ощущения. С этой точки зрения, Малевич и объясняет созданный им в 1913 году черный квадрат на белом поле. Отвечая на критику этого произведения как «пустой формы», он говорит: это был не пустой квадрат, но ощущение беспредметности.

Черный квадрат на белом поле был, по словам Малевича, первой формой выражения беспредметного ощущения; квадрат — ощущению, белое поле — «ничему» вне этого ощущения (стр. 74). И далее Малевич сравнивает этот квадрат и возникшие из него супрематические формы (круг, прямоугольник, крест и т. п.) с примитивными знаками первобытного человека, которые в их сопоставлении не являются орнаментом, но воплощают ощущения ритма. Одна из «супрематических композиций» Малевича должна передавать ощущение полета. Это ощущение выражается через изображение в левом верхнем углу картины (точнее, абстрактной плоскости) пересеченных накрест прямоугольников, напо-

¹⁾ Кстати сказать, говоря об искусстве эпохи военного коммунизма, Бескин заявляет, что логическим заключением всей развившейся в это время тенденции беспредметничества является «одиноким черным квадратом Малевича». Однако, известно, что «Черный квадрат» появился в 1914 г. и никак не мог, следовательно, быть логическим заключением беспредметничества эпохи военного коммунизма.

Примиренчество, проявленное Бескиным в журнале «Искусство» (орган МОССХ), чрезвычайно открыло и носителей эстетско-формалистических тенденций в искусствоведении и критике. Вот, например, появился перевод книги А. Воллара — «Сезанн» с предисловием И. Гинзбург. Вот, что говорит здесь автор: «Несмотря на то, что ряд советских живописцев делает формалистические выводы из системы Сезанна, несомненно, дающей к этому основание, нельзя не видеть, что во многом советские художники опередили теоретиков. Они давно уже изучают голландцев и венецианцев «через» Сезанна, учитывая его анализ классического наследия, — анализ, впитавший в себя многие лучшие достижения буржуазного искусства и о котором красноречиво свидетельствуют высказывания художников и прежде всего его собственные работы.

Благодаря живописным формулам Сезанна, благодаря конденсированности его живописного языка яснее и четче становятся извлеченные им из венецианской и голландской живописи законы, яснее делается искусство Шардена, Делакура и композиционная схема французских классицистов» (стр. 7).

Конечно, как это чаще всего и бывает, И. Гинзбург ссылается в своих

тов. Ганс на пленуме оргкомитета Союза сов. художников Украины, который говорил: «Отже, нам потрібне щільне поєднання, взаємопроникання високої ідейності і художньої майстерності. Нам потрібне таке мистецтво, про яке говорив Маркс і Енгельс, кажучи, що воно повинно бути мистецтвом глибоких ідей, великих страстей і художніх узагальнень. Це, так би мовити, триєдина формула. Про це і Ленін не раз говорив, зокрема в спогадах Клари Цеткін, де він говорить про всякі «ізми», про старе і нове. У цьому разумінні правильно т. Холостенко вчора кригнував Маца, який намагається доводити, що ближче нам те, що історично ближче до нас, що ближче є та музика, яка історично ближче, бо вона вже встигла переборити все попереднє аж до останнього часу. До цього, приблизно, договориється Маца». («До перебудови образотворчого фронту». 1934 г., с. 144).

А после нашей статьи в общем с тех же позиций Маца критиковал Кеменов в журнале «Лит. критик». Если рассуждать с точки зрения Бескина, то они тоже сводят старые счёты с Маца.

антимарксистских домыслах о превосходстве Сезанна над Рембрандтом и Тицианом на учение Ленина об империализме и учение Маркса о неравномерности развития искусства.

Как известно, Маркс говорил об ориентации на Рембрандта, т.-е. на классиков реализма, а Ленин предупреждал против слепой моды на «измы». Вот почему ссылка на Маркса и Ленина в оправдание сезаннистско-формалистических тенденций является не только ложью, но и сознательным извращением худшего типа.

В последних пяти номерах журнала «Искусство» мы находим ряд статей, пытающихся проанализировать наследие реалистов прошлого. Однако, и здесь больше путаного, чем полезного. Вот, например, в 1-м номере журнала напечатана статья главного теоретика «Искусства» Л. Гутмана — «О портретах вождей». Гутман пытается истолковать известное высказывание Маркса и Энгельса о портретах деятелей революции 1848 года. «Было бы весьма желательно, чтобы люди, стоявшие во главе партии движения, — до революции ли, в тайных обществах или печати, после нее ли, в качестве официальных лиц, — были, наконец, изображены суровыми рембрандтовскими красками во всей своей жизненной яркости».

Все существующие описания никогда не рисуют этих лиц в их реальном виде, а лишь в официальном виде, с котурнами на ногах и с ореолом вокруг головы. В этих преобразенных рафаэлевских портретах пропадает вся правдивость изображения». (Маркс и Энгельс. Сочинения, т. VIII, стр. 293).

Приведя эту цитату, Л. Гутман глубокомысленно замечает: «Это короткое, как бы «вскользь» высказанное замечание по поводу портретов вождей глубокого содержания, много более широкого, чем может показаться сначала. Проблема стиля поставлена здесь «в лоб», подчеркивая предпочтение голландского мастера великому живописцу Возрождения. Оба реалисты. Характерная особенность реализма каждо-

го из них открывает разницу, ценность и преимущества реалистической трактовки портретной природы одним по сравнению с другим. В то время как светлень служила суровому Рембрандту средством выражения своего отношения к природе, путем выделения светом в ней черт наиболее характерных, папский живописец Рафаэль светлыми красками изменял правдивые черты изображаемого объекта. Таким образом, мы имеем здесь два принципиально противоположных отношения художника к реальному миру». («Искусство», 1935 г., № 1, стр. 3).

Итак, Гутман сделал потрясающее «открытие»: оказывается, разница между Рембрандтом и Рафаэлем не в том, что один реалист, а другой классикист (базирующийся свое творчество на философии объективного идеализма), нет — оба они реалисты, и различие только в том, как они применяют свет и тень. Поистине, более безграмотное толкование положений Маркса и Энгельса трудно представить. Ведь они ясно говорят о том, что если Рембрандт пишет людей суровыми красками — во всей их жизненной яркости (т.-е. реалистически), то Рафаэль дает идеализированные, преобразенные портреты, в которых правдивость (т.-е. реалистичность) изображения отсутствует.

Да это ясно для всякого, кто мало-мальски разбирается в истории искусства. В этом же плане следует сказать несколько слов и о другой статье Л. Гутмана — «И. Н. Крамской — идеолог реалистического искусства». («Искусство», № 3, 1935 г.). Здесь мы находим не менее интересные открытия. Прежде всего, Гутман «открывает», что Крамской был первым обоснователем идейного реализма в русской живописи и что он в искусстве выполнил ту роль, которую в литературе выполнил Белинский. «Если неистовая борьба за действительность, за реалистическое искусство сделалась «символом веры» всей литературной деятельности и жизни нашего замечательного критика (Белинского. — Авторы), та же борьба за реализм в

искусстве была основой всей жизни и деятельности художника» (Крамского. — Авторы). («Искусство», № 3. 1935 г., стр. 90). Итак, Крамской в области искусства был равен Белинскому в области литературы.

Далее, мы читаем, что Крамскому и «привелось обосновать эстетику и философию искусства, противопоставляемого традиционному искусству русского академизма» (стр. 92).

«Желал ли того Крамской, или нет, — продолжает Гутман, — стремился ли он к этому, или нет, но объективно в истории русского реалистического искусства он занял место его первого крупного идеолога и теоретика» (стр. 97).

И, наконец, венчающим выводом нашего глубокого теоретика является утверждение, трактующее соцреализм, как прямого наследника реализма Крамского. «1917 год дал толчок тому «народному движению», из которого родится теперь наше реалистическое искусство, по-новому, в новой форме и с новым содержанием поднявшее знамя идейного реализма, реализма, некогда выдвинутого Крамским» (стр. 97). Известно, что наши критики из «Искусства» сделали уже себе профессию на обвинении нас в преувеличении значения Репина и Перова. Да, мы высоко, очень высоко ставим этих художников, особенно Репина.

Мы будем защищать их наследие от всяких попыток опoшления.

Но одновременно мы будем бороться и с попытками, вытекающими не то из политиканства, не то из глубокого незнания русского искусства и эстетики, выдвинуть в противовес Репину и Перову Крамского. А ведь именно на этом недвусмысленно и построена вся статья Гутмана, поразительная по своему невежеству.

Прежде всего для всякого ясно, что роль Крамского вовсе не является ролью Белинского в изобразительном искусстве. Борьба за реализм в изобразительном искусстве была начата еще Федотовым и продолжена шестидесятниками и в первую очередь Перовым.

Теоретическое же обоснование идейного реализма дал Н. Г. Чернышевский, а вовсе не Крамской.

Перов был главным представителем идейного реализма, демократического искусства эпохи первого демократического под'ема. Главным представителем идейного реализма, революционно-демократического искусства — эпохи второго демократического под'ема — был И. Е. Репин¹⁾. И Перов, и Репин в живописи наиболее полно реализовали то, что в области эстетики и теории искусства выдвинул еще в 50-х годах Чернышевский.

Целый ряд сторон в эстетике Крамского, несомненно, обязан влиянию Белинского и Чернышевского. Однако, в основном Крамской характерен как представитель либерально-просветительской, а не революционно-демократической тенденции, в искусстве и эстетике. В этом отношении он сам правильно охарактеризовал (в одном из писем Репину) свой реализм «тихоструйным», в отличие от «неумолимого» реализма Репина. Тем самым Крамской дал определение двух тенденций в передвижничестве (и реализме): революционно-демократической и реформистски-либеральной. Представителем и главой второй (особенно в его художественной практике) он и являлся.

¹⁾ Кстати, о Перове и Репине. Нас все время обвиняют в их переоценке. Так, Ю. Колпинский в полном путаницы обзоре «Нового мира» («Литкритик», № 5, 1935 г.) всячески старается снизить значение Перова и Репина. По словам Колпинского, Репин был далек от понимания Чернышевского и находился только под влиянием Стасова (стр. 209), а Стасов был «лишь непоследовательным вульгаризатором Чернышевского и Добролюбова» (стр. 208). Он старательно отгораживает Репина не только от Чернышевского, но и от Некрасова и Салтыкова-Щедрина (стр. 209—210). Мы заявляем, что вся статья Колпинского есть не что иное, как замаскированная контрабанда «федорово-давыдовщины», т.е. яростной борьбы против идейно-революционного, реалистического искусства и попыток оклеветать его, в пользу формализма или идеалистического классицизма. Репин в области живописи вполне конгенитален Некрасову в поэзии и Салтыкову-Щедрину в литературе. Недоценка Репина и Перова имеет место и в обзоре «Искусства» Кеменова («Литкритик», 1935 г., № 8). Впрочем, Кеменов иа-

Делать после этого из Крамского родоначальника и обоснователя идейного реализма — значит извращать историю.

Понятно, почему это мог сделать Гутман, который слишком некомпетентен в искусствознании, чтобы разобраться во всех тонкостях истории русского искусства, но вот почему это все одобрил в качестве редактора Ос. Бескин, — не совсем понятно.

Возможно, что по той же причине, что и Гутман, т.-е. по неосведомленности в истории искусства и эстетики.

Во всяком случае, перефразируя старую пословицу: «Каков поп, таков и приход», можно только сказать: «Каков редактор, таков и сотрудник».

Если редактор объявляет Канта высшей ступенью немецкой классической философии, а Сезанна — «художественным материалистом», то почему же сотруднику не объявить Рафаэля реалистом наравне с Рембрандтом, почему не сделать из Крамского родоначальника идейного реализма?

Что и говорить, смелые люди Бескин и Гутман! Таким образом, журнал «Искусство» не только не исправил ошибок, указанных в нашей первой статье — в отношении наследия, — но и нагромоздил еще большую путаницу, образцы которой в достаточном количестве были приведены выше.

ходитя в явно затруднительном положении. Будучи вынужден в критике журнала «Искусство» повторить большую часть утверждений нашей первой статьи, он в то же время всячески старается от нас «отмежеваться». «Отмежевывается» он, в частности, по линии неправильного якобы отождествления нами Перова и Чернышевского (стр. 211). Но это отождествление придумал сам Кеменов. Мы только полагаем, что Перов полнее всех из художников воплотил в живописи эстетику идейного реализма, развитую Чернышевским. Нет сомнения, что Перов и Репин ближе всех к эстетике Чернышевского, и хотя Кеменов и отмежевался, но в данном случае он неправ. Отмежеваться — это еще не значит быть правым.

Что же касается утверждения Кеменова, буд-то мы огульно отрицаем достижения журнала «Искусство», то лучшим опровержением этого является сама статья Кеменова, в значительной мере повторяющая нашу критику журнала «Искусство», правда, с большим опозданием.

II

Перейдем теперь к другим вопросам.

Как мы уже говорили, вся статья Бескина построена на перечислении в форме «казусов» за номерами тех «подлогов», которые мы якобы совершили.

Как ни скучно заниматься разбором этих «казусов», приходится, хотя бы в краткой форме, это сделать.

Казус № 1 обвиняет нас в искажении цитаты из статьи Гапошкина «К вопросу о социалистическом реализме». Мы уже разобрали этот «казус» (опубликованный раньше Бескиным в газете «Советское искусство») в нашей статье «Еще раз о журнале «Искусство» («Новый мир», № 7).

Как мы там показали, Гапошкин допустил ошибку, утверждая, будто В. И. Ленин не оставил нам специальных указаний о реализме в искусстве и будто Ленин в этом вопросе не поднял учения Маркса — Энгельса о реализме на новую, более высокую ступень в своем учении о пролетарском, социалистическом искусстве.

Мы доказали там же, что, пытаясь опровергнуть наши утверждения, Бескин допустил самую настоящую фальсификацию, заменив формулировку Гапошкина: «Владимир Ильич не оставил нам специальных замечаний о реализме в искусстве...» — формулировкой, где вместо «реализма в искусстве» говорится уже о «реализме в изобразительном искусстве», вместо высказываний Ленина о трудах его.

Спрашивается, кто же в данном случае пытался передернуть цитату, как не Бескин, почувствовавший после нашей статьи слабость формулировок Гапошкина.

Теперь Бескин обвиняет нас еще и в том, что мы желаем «опорочить беспартийного художника тов. Гапошкина, давшего хорошую теоретическую работу» (стр. 43). Однако, отметить ошибки — это не значит опорочить художника; но вот считать хорошей теоретической работой статью, где не учитываются ленинские указания о реализме в искусстве, где автор весьма «левацки» отма-

хивается от наследства Репина, именуя его поверхностным реалистом и т. д., мы никоим образом не можем.

Бескину надо было уметь как редактору исправить эту статью до опубликования в печати, устранить ошибки Гапошкина, а не «запрещать» эти ошибки критиковать после того, как их уже нельзя опровергнуть, ибо они напечатаны черным по белому.

Сказанное относится также и к статье А. В. Бакушинского об А. Иванове, в которой мы критиковали превознесение мистико-религиозных «Библейских эскизов» и снижение «Явления Христа народу» с его реализмом (особенно в этюдах к картине). Мы еще раз подтверждаем эту нашу позицию и заявляем, что некритическое превознесение «Библейских эскизов» и снижение реалистических сторон «Явления Христа народу» играет объективно вредную роль, неправильно ориентируя советских художников в изучении наследия. Само собой разумеется, что в статье Бакушинского есть и ценные моменты, и делом редактора было устранение явных ошибок статьи до ее опубликования. Поскольку же это не было сделано, Бескину остается защищать эти явные ошибки и кричать о нашем клеветничестве. Ну, что ж, всякому, как говорят, свое.

Таков казус № 1, из которого видно, что редактор, не терпящий самокритики, готов на какое угодно передергивание для того, чтобы спасти свое лицо.

Переходим к казусу № 2. «Галопирующей четверке, — пишет Бескин, — надо доказать, что журнал «Искусство» примиренчески относится к «лево»-формалистическим тенденциям» (стр. 33). Бескин называет это утверждение смехотворным и заявляет, что «на изобразительном фронте «Искусство» было единственным органом, который во всю широту поставил вопрос о реакционно-мировоззренческой сущности формализма» (стр. 33).

Здесь Бескин явно искажает факты. Вопрос о формализме в изобразительном искусстве на новом этапе (т.-е. после решения ЦК от 23/IV—32 г.) был поставлен: во-первых, в докладе т. Ем. Ярославского,

изложение которого было опубликовано в печати, во-вторых, в речи т. Бубнова на открытии выставки «Художники РСФСР за 15 лет» (ноябрь 1932 г.), в-третьих, в докладе т. Гронского на собрании членов МОССХ (5/III—1933 г.), и, в-четвертых, борьба с формализмом широко развернулась практически в ходе подготовки выставки Реввоенсовета (т.-е. весной 1933 г.), когда ряд формалистических полотен не был допущен на выставку.

Доклад Бескина «Формализм в живописи» не предшествовал всем этим выступлениям, а был сделан после них, поэтому напрасно Бескин пытается присвоить себе монополию в борьбе с формализмом и доказать, что он первый подверг работы формалистов критике.

Кроме того, мы уже показали выше, какими грубыми ошибками сопровождалась эта борьба Бескина и как он этими ошибками помог апологетам Сезанна и формализма.

Что же касается фактов примиренчества к «лево»-формалистическому искусству на страницах журнала «Искусство», то мы их привели в первой статье достаточное количество. (Оправдание формалистской учебы художников в статьях Разумовской, Никифорова, Щекотова, попытки доказать «революционность» Матисса в статье Ромма и мн. др.). Бескин предусмотрительно обходит эти факты, ибо опровергнуть их, даже при методах его полемики, невозможно. Зато он ухватывается за один пример, приведенный нами из статьи тт. Буш и Замошкина (№ 1—2, 1933 г.). Мы критиковали последних за то, что они декларировали положительную роль «левых» в эпоху военного коммунизма, как «разрушителей эстетствующего импрессионизма и академического искусства». Бескин обвиняет нас и здесь в подлоге и искажении цитаты. Он приводит фразу авторов целиком в следующем виде: «И если в период военного коммунизма роль «левых», как разрушителей эстетствующего импрессионизма и академического искусства, была положитель-

ной, то, с другой стороны, они дезориентировали молодежь, которая увлеклась их формалистическим экспериментаторством и длительный период не смогла овладеть правильным методом для решения задач революционного искусства» («Искусство», № 1 — 2, 1933 г., стр. 63). И дальше Бескин указывает, что на стр. 62 авторы дали анализ противоречий «левых» (отрицание буржуазно-дворянского искусства и идеальность самих «левых», борьба с чуждой идейностью и изгнание идейности в своем искусстве).

Приведя все это, Бескин по обыкновению (думая, что он уже запутал читателя) объявляет нашу критику «подлогом». Но ведь факты опровергнуть нельзя: что бы ни говорили в конце фразы или в других фразах авторы статьи, но их положение о положительной роли «левых» (и именно всех «левых») в борьбе с эстетствующим импрессионизмом и академическим искусством остается. На это мы указывали, что положительную роль сыграла лишь та часть «левых», которые, подойдя к работе в агитационном искусстве, в той или иной мере преодолели формализм. Следовательно, огульное зачисление «левых» в борцы с «чуждой идейностью» по меньшей мере извращает историю.

Если наряду с этим неверным положением у авторов есть и правильные, то разве это уже снимает необходимость критики первого?

Известно, что, например, у Дюринга было немало правильных материалистических положений. Если бы судить по Бескину, то зачем нужно было Энгельсу критиковать Дюринга? Ведь, по мнению Бескина, неправильное положение уничтожается правильным, ежели оно имеется рядом. А, по нашему мнению, такого уничтожения не происходит, и результатом смешения верных и ложных положений является эклектизм, который и имел место в статье Буш и Замошкина. Таков казус № 2. Переходим к третьему.

Мы критиковали статью С. Ромова — «Красная армия в живописи» (№ 4 за 1933 г.).

Мы критиковали ее за многие вещи: за политически вредное, клеветническое противопоставление Конармии Буденного Красной армии, за поверхностно-формалистический метод анализа ряда произведений и т. д. Бескин не только обходит молчанием большую часть этой критики, но и вынужден после нашей статьи через 2 года по напечатании статьи С. Ромова назвать эту статью «отнюдь не стоящей на достаточной высоте» (стр. 34). А ведь статья Ромова была посвящена важнейшему событию советской художественной жизни последних лет — выставке Реввоенсовета, — и после нее статей с разбором этой выставки в журнале более не появлялось. Спрашивается: где же был отв. редактор «Искусства» Ос. Бескин, когда он печатал эту «отнюдь не стоящую на достаточной высоте» статью? Мы уже не говорим о той «скромности», с которой Бескин выдавливает из себя это признание, эти несколько слов, стыдливо заключенных в скобки и окруженных воинственной и грязной руганью.

Тем не менее Бескин пытается защищать и эту, плохую, по его же вынужденному признанию, статью. С. Ромов критиковал картины Соколова-Скаля (и в том числе «Братья») за «литературность» и «повествовательность», говоря о том, что сюжет «Братьев» подан в форме концовки новеллы... В связи с этим мы доказали, что такую же «литературность» можно найти и в таких картинах, как «Не ждали», где мы имеем как бы эпилог — «концовку», можно найти ее и в «Блудном сыне» Рембрандта. Следовательно, критиковать за «литературно-повествовательную форму» сюжета в данном случае неверно.

Но Бескин и не доказывает, верно или неверно в данном случае критикует С. Ромов картину Соколова-Скаля.

Он вообще старается обойти все принципиальные вопросы и отыграться на мелочах. Таковы уж его методы полемики. Так и в данном случае: Бескин просто приводит другую фразу С. Ромова из другой страницы, в которой говорится, что литература и изобрази-

тельное искусство не антагонистичны и постоянно взаимодействуют.

Правильно ли это положение? Конечно, правильно. Но оправдывает ли оно критику «Братьев» Соколова-Скаля? Ни в коем случае.

Эта критика остается неверной, какие бы «общие» оговорки о связи литературы и живописи ни делал Ромов. Сам прием привлечения этих оговорок для оправдания Ромова сможет убедить только очень наивных людей, на которых и рассчитывает, очевидно, в своих «казусах» Бескин.

Чтобы покончить с Ромовым, возьмем в качестве следующего казуса № 6. Здесь речь идет о картине Иогансона «Допрос коммунистов» — одной из лучших картин последних лет. Мы в первой статье указывали, что пренебрежение к художникам-реалистам, развивавшееся критиками журнала «Искусство», приводило к чрезвычайно извращенным пренебрежительным оценкам некоторых художников, вплоть до выставки Реввоенсовета. В качестве примера мы привели статью Буш и Замошкина о развитии советской живописи за 15 лет.

Мы констатировали: «Явно недостаточно внимание к практике ряда художников-реалистов, выдвинувшихся за последние годы. Так, о Иогансоне в то время, когда он уже кончал свою замечательную картину «Допрос коммунистов», Буш и Замошкин пишут: «Занимая определенное и важное место в отчетной ретроспекции советского искусства восстановительного периода, имея определенные достижения и на сегодняшний день, такие художники, как... Иогансон и др., как бы остаются в тени, когда ставится и в известной мере решается проблема показа создания, переделки и роста нового человека — активного строителя социализма». («Искусство», № 1—2, 1933 г., стр. 76)» («Новый мир», № 3, стр. 258 — 259).

Это место нашей статьи Бескин трактует как «упрек в том, что при историко-ретроспективной оценке творчества Иогансона Буш и Замошкин не исходили из анализа этой еще не существовавшей картины» (т.-е. «Допрос коммунистов»).—

Авторы). Однако, читатель видит, что мы говорили о другом: а именно, о недооценке творчества Иогансона, благодаря чему Буш и Замошкин фактически сбросили его со счетов советского искусства реконструктивного периода. А между тем картина «Допрос коммунистов» не явилась чем-то совершенно оторванным от предыдущего творчества Иогансона. Кроме того, ложно, будто он стоит в стороне от проблемы нового человека. А «Рабфаковцы» Иогансона, не говоря о других вещах, разве не ставят именно эту проблему? Обойдя эти моменты, Буш и Замошкин исказили объективную истину, и для них (равно как и для Бескина) появление «Допроса коммунистов» должно было явиться чистой случайностью.

Спрашивается: кто же здесь прав и кто занимается фальсификацией? Если встать на точку зрения здоровой логики (а не логики Бескина), то, очевидно, Буш и Замошкин сделали ошибку, снизив значение творчества Иогансона, что мы и отметили в первой статье.

Перейдем теперь снова к Ромову. Как мы уже говорили в первой статье, заключая обзор «Допроса коммунистов», Ромов в обзоре выставки Реввоенсовета, по его собственным словам, выдвигает несколько «домыслов» о спорности композиционно-пространственного построения картины — нарочитость ракурсов, перспективы и т. д. «Но это только домыслы, — говорит сам же Ромов, — предположения, оставляющие в полной неприкосновенности все качества картины».

Перейдем теперь снова к Ромову.

Защите С. Ромова посвящен и казус № 7. В нашей статье мы привели следующее положение Ромова, касающееся Западного отдела выставки Реввоенсовета: «Не прониклись еще достаточно пафосом революционной борьбы, многие из них (художников этого отдела. — Авторы) решают отдельные темы чересчур формально, не раскрывая всей полноты идейного содержания». Естественно, что мы оценили данное положение в той части, где говорится, будто революционно-пролетарские художники За-

пада «не прониклись еще достаточно пафосом революционной борьбы», как клевету. Что же пишет Бескин? Он приводит другую фразу из той же главы статьи Ромова, где речь идет о революционном подъеме, большой боевой зарядке и талантливых начинаниях, обнаруженных работами этого отдела.

Но разве эти правильные сами по себе фразы оправдывают клеветническое утверждение, будто многие (пусть Бескин вдумается в это слово) из этих художников (в большинстве коммунистов) не прониклись еще пафосом революционной борьбы? Разве не пафос этой борьбы сделал их пролетарскими художниками и толкнул к революционным темам? Что при этом в их творчестве могут быть отдельные формалистические влияния, несколько не значит, будто они не слились до конца с пролетарской революцией. И вместо того, чтобы разоблачить эту клевету Ромова, самолюбивый графоман Бескин полностью ее защищает, дойдя в своем групповом ослеплении и мелком самолюбии до последнего предела.

Впрочем, теперь все так запуталось, что мы не знаем — от кого защищает Бескин Ромова: от нас или от... самого себя?

В самом деле, в номере № 6 журнала «Искусство» за 1934 г. в редакционной статье «Больше бдительности»¹⁾ написано: «Предупреждение надо сделать и нашим искусствоведам и музейным работникам. Уж слишком благодушно и либерально мы относимся ко всяким «теориям», сильно пахнущим запахом старого троцкистского арсенала по линии вопросов культуры (Июффе, Федоров-Давыдов) или откровенным идеализмом (А. Эфрос, некоторые выступления Аллатова, Ромова и др.)» (стр. 17).

¹⁾ Кстати сказать, в среде политически и идеологически обанкротившегося Бескина не нашлось человека для написания этой ответственной политической статьи.

Статья была написана одним из членов «критической четверки» «Нового мира» и против желания автора, обманным путем, была напечатана Бескиным как редакционная.

Итак, редакционная статья «Искусства» (надо думать, небезызвестная редактору) квалифицирует Ромова как «откровенного идеалиста».

Но спрашивается, — где печатался С. Ромов, кто без оговорок пускал его статью о выставке Реввоенсовета? Тот же самый Бескин. А кто впервые указал на ошибки Ромова?

Это было сделано в нашей статье о журнале «Искусство».

Вот теперь и поймите, с кем же борется Бескин, — с нами или сам с собою, — и кто уподобился унтер-офицерской вдове, которая сама себя высекла?

Таков казус № 6.

Перейдем теперь к последним «казусам», зарегистрированным Бескиным. Это будут казусы №№ 4 и 5, посвященные нашей критике статей Н. Щекотова.

Прежде всего мы устанавливаем, что Бескин на 2½ страницах площадной ругани по нашему адресу вынужден был признать, что обзор выставки «Художники РСФСР за 15 лет» Щекотова содержит «некоторые неправильные положения (главнейшие из них оговорены в конкретных примечаниях редакции)» (стр. 36). Разрешившись таким скромным признанием, Бескин делает сногшибательное открытие насчет того, что, дескать, «Новый мир» критикует Щекотова только потому, что «для «Нового мира», вопреки постановлению ЦК от 23 апреля, по сей день стоящего на групповых ахровских по существу и раповских по методу позициях, он — ренегат, изменник» (стр. 35). Трудно не рассмеяться по поводу этого обывательского «социологизма» Бескина. Его объяснение в точности напоминает «социологию» досужих сплетниц. Но как быть в таком случае не с журналом «Новый мир», а с «Литературным критиком», где автор обзора о журнале «Искусство», В. Кеменов, утверждает, что Щекотов проводит на страницах «Искусства» «меньшевистски-богдановское отношение к объективной истине» и что он допускает «грубые политические ошибки»? («Литературный критик», 1935 г., № 8, стр. 202—214).

Остается предположить, что и в «Литкритике» засели ненавистные Бескину «групповщики» — ахровские по существу и раповские «по методу». Вот до каких удивительных «открытий» доводит обывательский «социологизм» Бескина.

Но перейдем к существу «казусов». В своей первой статье мы утверждали, что Щекотов рассматривает творческие течения советского искусства не столько в связи с социально-политическими процессами наших дней, сколько в связи с «традициями», к которым их соотносит автор. После соответствующего анализа мы заключали: «Рассматривая большинство советских художников только как эпигонов и носителей той или иной традиции дореволюционного времени, он (Щекотов) в скрытой форме отрицает то, что ведущим в советском искусстве является новое идейное и стилевое качество, рожденное пролетарской революцией, а не продолжение традиций» («Новый мир», № 3, стр. 252).

Для того, чтобы «уличить» нас в «передергивании» и «клевете», Ос. Бескин приводит начало статьи Щекотова. Здесь Щекотов в общих фразах говорит, что «настоящий момент характерен отмиранием ряда художественных явлений, типичных для прошлого (натурализм, формализм), и рождением нового искусства (искания соцреализма)» («Искусство», № 4, 1933 г., стр. 36).

Сопоставив наше заключение с изложенной цитатой из Щекотова, Бескин заявляет: «Эта основоположенная, начальная цитата из статьи в открытой форме разоблачает клеветнические манипуляции критической четверки...» (стр. 36).

Обратимся к статье Щекотова. На странице 128 этой статьи Бескин может прочесть, что группа художников в составе: П. И. Котова, Г. К. Савицкого, Е. А. Львова, Ф. А. Модорова, П. Д. Покаршевского, П. А. Радимова, В. С. Пшеничникова, В. С. Сварога, Б. Н. Яковлева, Н. Я. Беянина, В. Я. Перельмана, А. А. Вольтера, Б. Н. Дейкина и др. — являет собою

«неопереводимость», и что эта группа в целом «каких-либо крупных новых художественных проблем по сравнению с прежними своими установками... кажется, в данный момент не выдвигает». Появление картины Йогансона «Допрос коммунистов» Щекотов считает, с этой точки зрения, исключением (стр. 128—129).

Итак, очень большая группа советских художников, по Щекотову, исчерпывающим образом может быть охарактеризована как «неопереводимость», т.-е. эта группа занимается якобы простым культивированием в наших условиях передвижнических традиций.

На той же странице Щекотов характеризует Рянгину и Никонова как «неоакадемистов».

На странице 69 Бескин может прочесть, что Нестеров, Юон, Лансер, Бродский, Грабарь, Богаевский, Головин, Моравов, Мешков, Бялыницкий-Бируля, Крымов, Рылов и др. «в своем творчестве представляют разные модификации передвижнических традиций», так же рассматриваются и другие группы советских художников, представляющие для Щекотова прежде всего продолжение той или иной традиции. Отсюда ясно, что в основу всего обзора он положил вульгарный эволюционизм, который практически отрицает новое качество советского искусства в целом, отрицает скачок в художественном развитии и видит лишь отмирание старого в порядке «мирной» эволюции (и такое же эволюционное развитие нового, в статье Щекотова конкретно, однако, не показанное). При этом самая эволюция рассматривается больше с формальной стороны. Ясно, что при таком рассмотрении исчезла не только идейно-классовая борьба, но и отражение ее в борьбе разных стилевых течений на всем протяжении развития советского искусства.

И вот этот буржуазный эволюционизм, пронизывающий всю статью Щекотова, это неумение или нежелание показать на практике новое классовое и стилевое качество Ос. Бескин считает необходимым защищать и даже выдвигает

статью Щекотова как ценную попытку борьбы на два фронта — против формализма и натурализма.

Однако, для нас важны не общие фразы, произнесенные Щекотовым в начале статьи, а 100 страниц конкретной критики, следующих за ними: декларацию не так трудно написать, но если она написана, то отсюда никак не вытекает правильность следующего за ней разбора конкретных произведений. Статья Щекотова — яркое тому доказательство.

Спрашивается: кто же занимается фальсификацией и кто вводит в заблуждение читателя, покрывая вопиющие ошибки Щекотова?

Пойдем дальше. В нашей статье мы отмечали, что в отношении П. Кузнецова Щекотов солидаризируется с Эфросом, заявляя, будто П. Кузнецов теряет свои сильные стороны при переходе на новую тематику и лучше было бы ему сохранить свой старый декоративизм, т.-е. не перестраиваться («Новый мир», № 3, стр. 253).

Здесь Бескин оскорблен до глубины души тем, что мы не возвестили всему миру о наличии в данном месте статьи Щекотова редакционного примечания, оговаривающего ошибочность оценки Щекотовым портретно-станковых опытов Кузнецова. «Обращение П. Кузнецова к портрету, к натуре надо приветствовать» — говорит это примечание и возражает против абсолютного разрыва станкового и декоративного («Искусство», 1933 г., № 2, стр. 102). Почему же мы были обязаны говорить об этом примечании? Ведь мы критиковали Щекотова с иной точки зрения, за более существенные ошибки (которые ограниченность Бескина не позволило ему подметить), а именно за то, что он в скрытой форме соглашается с Эфросом в том, что художественные достоинства картин П. Кузнецова якобы снизились в результате идейно-тематической перестройки художника.

И далее Бескин объясняет, почему мы не привели примечания: «Почему умалчивают — ясно: в противном случае нельзя будет утверждать, что через положения Щекотова журнал «дает в

корне порочные, реакционные установки художникам» (стр. 35).

Но Бескин и на этот раз передергивает: приведенная фраза из нашей статьи относится вовсе не только к разбору Щекотовым произведений П. Кузнецова, а ко всей его статье о выставке, которая, как мы доказали в первой нашей статье и еще раз подтвердили это выше, действительно, порочна по основным своим установкам и конкретно-критическим оценкам.

Наконец, последний «казус» со Щекотовым касается его статьи «Правда в искусстве».

Мы критиковали Щекотова за идеалистическое толкование истины (правды) в искусстве, за разграничение ее на правду внутреннюю и внешнюю с приоритетом первой, т.-е. с приоритетом субъективной «правды» (внутренней убежденности художника) над истинностью отображения реального мира.

Бескин и здесь старается выгородить Щекотова. Он приводит в доказательство цитату из статьи последнего, где он говорит: «Художественный образ в своем завершении выражает только однуединственную нерасчлененную и конкретную правду, но слагаемых этой правды, обнаруживающихся прежде всего в процессе создания художественного произведения, — множество». («Искусство», № 3, 1934 г., стр. 16).

Итак, по Щекотову, правда в искусстве одна, но слагаемых ее несколько. По мнению Бескина, это в корне опровергает нашу критику.

Однако, при этом он скрывает от читателя, что Щекотов считает основными слагаемыми правды в искусстве две правды — внешнюю и внутреннюю. Щекотов доказывает, что решающее значение имеет внутренняя правда, т.-е. субъективный, а не объективно-познавательный момент.

Это и привело Щекотова к релятивизму, отрицанию абсолютной истины, к утверждению, что в классовом обществе (а следовательно, и в условиях диктатуры пролетариата) — «правда...¹⁾ все-

¹⁾ Пропускаем из соображений стилистики слово «здесь» (т.-е. в любом классовом обществе). — Авторы.

гда однобока и частична» (стр. 32). Бескин говорит, что Щекотов в качестве «третьего слагаемого» художественной правды выдвигает «социальную правду» (стр. 28), и уверяет, будто это опровергает наши выводы. Нисколько. Введение этого третьего слагаемого говорит только об эклектизме Щекотова, который, выдвинув в качестве решающего «фактора» художественной правды субъективную эмоцию, допускает наряду с нею еще и внешнюю, и «социальную» правды.

В этих «правдах» и запутался, очевидно, Бескин, проглядев идеалистическую основу статьи Щекотова и отрицание им большой истинности пролетарского искусства по сравнению с искусством других классов. Бескин забывает одно правило, что голова у людей существует для того, чтобы думать и понимать, а не орехи колотить.

Забыв это правило, наш редактор отстаивает вредную путаницу, ибо, естественно, ему не хочется признаться, что он по философскому слабому сию напечатал в «дискуссионном» порядке столь элементарно-идеалистические рассуждения, что они могут быть опровергнуты любым учащимся, проработавшим раздел диамата об объективной и абсолютной истине.

Таковы «семь казусов» Ос. Бескина. В заключение Бескин перепечатывает из «Советского искусства» статью М. Вилейко «Картинка нравов» и дополняет ее собственными рассуждениями на ту тему, что один из авторов нашей статьи, т. Сысоев, в брошюре «В. Г. Перов» «полностью литературно Федорова-Давыдова обокрал», повторив его, критикуемые ныне, ошибки. При этом Бескин заявляет, что книга Сысоева вышла одновременно с нашей статьей (т.-е. в марте 1935 г.). Вот почему, заявляя, что «концепцию» Федорова-Давыдова надо жестоко критиковать», Бескин вместо критики Федорова-Давыдова занимается «моральным» негодованием по адресу П. Сысоева (стр. 40—41). Впрочем, это для Бескина и его друзей — привычное занятие. Вот уже больше года они занимаются вместо критики Федорова-Давыдова моральным негодованием

по адресу критиков Федорова-Давыдова. В итоге меньшевистствующие концепции последнего остаются фатально «неразоблаченными» ни Бескиным, ни его сотрудниками. Да и как они будут его разоблачать, если при этом придется разоблачить и самих себя, ибо в течение всего времени, когда тот же Сысоев и другие товарищи, пишущие в «Новом мире», критиковали Федорова-Давыдова, его вредные антимарксистские теории, которые раскритикованы и квалифицированы на страницах «Правды», как «антимарксистская точка зрения на русское искусство, созданная не безызвестным в искусствоведческих кругах вульгаризатором марксизма Федоровым-Давыдовым»¹, Федоров-Давыдов находил надежную защиту в лице гг. Маца, Ос. Бескина и др. Это они культивировали федорово-давыдовщину, доведя дело до постановки позорного в политическом отношении доклада Федорова-Давыдова о натурализме в МОССХ от имени Комакадемии.

Это при их поддержке фактическая монополия федорово-давыдовщины установилась в издательствах (Изогиз) и в музеях (Третьяковская галерея и др.), где Федоров-Давыдов долгое время «эпатировал» зрителя своими вульгарными экспозициями. Чего же сваливать с больной головы на здоровую?

Кроме того, Бескин по обыкновению привирает. Брошюра Сысоева вышла не в марте 1935 г., а в феврале 1934 г., т.-е. писалась за 1½ года до нашей статьи.

Для ясности же в вопросе о мнимой идентичности положений Сысоева и Федорова-Давыдова приведем несколько цитат из книжки Сысоева и статей Федорова-Давыдова.

По определению Федорова-Давыдова, «композиция на всю жизнь осталась самым слабым местом Перова, в этой области он был менее всего оригинальным и самостоятельным и более зависимым от академических традиций» («Искусство», № 6, 1933 г., стр. 125).

¹) «Идеологический и полиграфический брак», «Правда», от 22/VIII—35 г.

А утверждение г. Сысоева говорит о том, что «характерным для принципов композиции ука з а н н ы х в ы ш е картин является также неумение Перова пользоваться пространством, неумение заставить это пространство играть более активную роль» («В. Г. Перов», стр. 14) и относится только к четырем ранним картинам художника.

Зачем же, если не с целью фальсификации, Ос. Бескин не оговаривает, что Сысоев имеет в виду только отдельные, а именно ранние картины Перова, а не все его творчество, и что утверждение Сысоева отлично от утверждений Федорова-Давыдова.

Суть манипуляций Вилейко (мы сейчас не будем говорить об их объективном смысле) можно вскрыть на сопоставлении следующих цитат. По Федорову-Давыдову, искусство просветителей и «их эстетика по существу совершенно не учитывала особенностей изобразительного искусства, не учитывала вообще специфичности художественно-образного мышления».

Сысоев же, говоря, что «русские просветители (в том числе и Перов в своей художественной практике) считали логическое мышление главным моментом познания мира, и поэтому в искусстве просветителей нашла такое сильное применение логистика за счет конкретно-чувственных моментов, хотя последние и не исключались» (стр. 13), относит это опять-таки к первому творческому периоду Перова. И тут же Сысоев подчеркивает: «Искусство, как особый вид чувственно-образной идеологической практики класса, и под кистью Перова не теряло своего специфика. В следующих своих картинах первого этапа Перов делает еще больший акцент на конкретно-чувственную сторону своей творческой практики и добивается в этом значительных успехов» (стр. 13).

Как видим, точка зрения Сысоева в данном, основном, вопросе противоположна положению Федорова-Давыдова о том, что Перов не учитывал специфика живописи. Бескины-Вилейки никак не хотят заметить это принципиально отличное утвержде-

ние Сысоева от утверждений Федорова-Давыдова.

Указывая на это различие в принципиальной оценке художника Перова, следует иметь в виду, что Сысоев писал книжку о Перове в период аспирантской учебы у Федорова-Давыдова и что книжка вышла под редакцией последнего, отсюда и сходство отдельных положений. И Бескин, и Вилейко скрывают от читателя тот факт, что в борьбе против «федорово-давыдовщины», развернувшейся в 1933 — 34 г., Сысоев принимал активнейшее участие, в то время как Бескин, напротив, рьяно противодействовал этой борьбе.

Предоставляем читателям судить о том, кто же стоит на правильных позициях в борьбе с вульгаризацией марксизма Федоровым-Давыдовым. Всякому понятно, что статья Вилейко рассчитана на дискредитацию тех, кто разоблачал «федорово-давыдовщину». Но в данном случае Вилейко является только тенью Бескина. За все время Бескин ни разу не обмолвился против Федорова-Давыдова и его школки, статьей же Вилейко журнал «Искусство» по существу берет Федорова-Давыдова под свою защиту. Ос. Бескину не по духу и не по вкусу критика Федорова-Давыдова и ему подобных. Нужно полагать, что после статьи в «Правде» Бескин найдет нужным посвятить несколько страниц выполнению партийного долга.

Другой демагогией, постоянно повторяющейся на страницах «Искусства», является обвинение т. Гронского в ограничении наследия тремя «Р» (Рембрандт, Рубенс и Репин). Об этом писали и Гапошкин, и Бескин, и другие.

Придется прекратить и эту демагогию. Три «Р» инкриминируются т. Гронскому на основании его доклада на собрании художников от 5 марта 1933 года.

Что же говорил здесь т. Гронский?

Приведем соответствующую часть стенограммы его доклада:

«Если очень просто, примитивно изобразить дело, можно сказать, что в области живописи социалистический ре-

лизм — это Рембрандт, Рубенс и Репин, поставленные на службу рабочего класса, поставившие свою кисть на службу социализму.

Вы, повидимому, все знаете, что Маркс брал на щит Рембрандта против Рафаэля. Рембрандт правдиво отображал действительность.

Вы знаете, что Ленин брал Рембрандта, Рубенса и Репина как таких художников, у которых наши художники должны учиться, от произведений которых наши художники должны отправляться.

В области драматургии мы танцуем от Шекспира, в области прозы — от Бальзака, в области поэзии — от Пушкина, в области архитектуры — от классических монументальных форм, а не от Корбюзье. В области живописи мы должны отправляться от Рембрандта, Рубенса и Репина.

Можно привести много подобных, но не «левых» мастеров.

Формалисты, кубисты, футуристы, экспрессионисты говорят, что они революционные художники. Это чепуха! Если наша молодежь будет учиться у этих людей, то она никогда не создаст большого искусства. Большое искусство возможно только тогда, когда наша молодежь будет учиться у классиков и от них будет отправляться, когда мы всю величину поставим проблему овладения мастерством».

Итак, т. Гронский вовсе не ограничивает наследие Рембрандтом, Рубенсом и Репиным. Он говорит о том, что наряду с ними «можно привести много подобных, но не «левых» мастеров», Следовательно, Рембрандт, Рубенс и Репин взяты лишь как яркие представители эпох расцвета живописи, как вершины последней. И т. Гронский был совершенно прав, беря их в таком значении.

Вот почему Ос. Бескин фальсифицирует и вводит в заблуждение читателя, говоря о «магической формуле Гронского «три Р» (Рембрандт, Рубенс, Репин), призванной подменить собою все наследие» (стр. 41).

Таковы «пост-скриптумы» Бескина к его семи казусам¹⁾.

И те, и другие, как мы видели, построены на весьма прозрачных фальсификациях или совершенно аналогичных «доводах» по типу: «в огороде бузина, а в Киеве дядько». Дескать, вы критикуете Щекотова за то-то, а он говорит еще и другое. Как будто Щекотов не может говорить ничего, кроме тех положений, за которые мы его критикуем, и как будто одно исключает другое.

Но при всей изворотливости Бескина, при всей старательности его подтасовок, при всей ругани он вынужден признать значительную часть нашей критики.

Он, скрепя сердце, признал свою (якобы корректурную!) ошибку с Кантом. Молчаливо признал правильность нашей критики троцкистской клеветы на Конармию, содержащейся в статье Ромова, признал, что статья Ромова «отнюдь не стоит на достаточной высоте», что у Щекотова есть некоторые неправильные положения (из которых только главнейшие оговорены редакцией), он признал завуалированно правильность нашей критики «левацкой» оценки Репина Гапошкиным, не опроверг указаний на ошибочность своей трактовки Филонова как вулгарного материалиста, не смог противопоставить ничего путного нашей критике апологии Сезанна, не опроверг наши замечания по статьям Никифорова, Разумовской, Досужего, Исакова, Хвойника и вынужден был признать нашу критику Федорова-Давыдова.

Значит, при всем барабанном бое, при всей ругани Бескин порядочно поучился у «клеветников» и во многом был вынужден согласиться с ними.

¹⁾ В своей статейке Ос. Бескин спекулирует также на факте участия одного из авторов «критической четверки» «Нового мира» в рапховском движении. Мы вынуждены, поскольку речь зашла о прошлом, напомнить Бескину, что в то время, когда этот товарищ, наряду с правильной критикой антимарксистских теорий в своих критических работах допускал рапховское упрощенчество и вульгаризацию, Ос. Бескин активно выступал за переверзианство, которое квалифицировано партией как меньшевистские взгляды.

А в таком случае какова цена крикам Бескина о подлогах; кого он хочет обмануть этими криками? Мы понимаем, в чем здесь дело. Как бы ни хотел Бескин, он не в силах защищать многие критикуемые нами вещи. Он не может на сегодня защищать ошибки Федорова-Давыдова и Маца, не может не признать грубых извращений Ромова, не может целиком реабилитировать Щекотова. Если бы он это делал, он слишком быстро бы провалился. Поэтому Бескин хочет убить сразу двух зайцев. Опроверить нашу критику, во-первых, но одновременно нажать на ней себе капиталец, во вторых.

В настоящей статье мы достаточно разоблачили те приемы, которыми он при этом пользуется.

Они (т. е. эти приемы) обнаруживают не только низкий моральный уровень полемики, принятой Бескиным, но и более чем низкий уровень его знаний в области искусствоведения.

Наряду с этим мы исчерпывающе доказали, что, смазывая и защищая ошибки журнала «Искусство» и свои собственные, Бескин тем самым помогает формированию и активизации враждебных марксизму тенденций: будь ли это идеалистическое теоретизирование о приоритете «внутренней правды» или апология Сезанна и формализма; извращение положений Маркса и Энгельса о Рембрандте и Рафаэле, или снижение значимости художников-реалистов.

И если Бескин не понимает этого, то хуже от этого делается не нам, а ему.

Ибо не может быть в наших условиях такого положения, чтобы грубейшие ошибки одного человека (в данном случае Бескина) долгое время определяли линию журнала МОССХ и оказывали давление на соотношение сил искусствоведческого фронта.

В заключение мы вынуждены еще раз подчеркнуть наглый, доходящий до литературного хулиганства, тон безответственного редактора ответственного журнала. Смысл и значение этой наглой демагогии мы достаточно убедительно разоблачили и думаем, что настоящей статьей полемика будет закончена.

Книжное обозрение

Ив. Катаев. — «Отечество». Сборник повестей и рассказов. «Советский писатель». М. 1935.

Появление нового сборника произведений Ивана Катаева совершенно заслуженно привлекло внимание советской критики. Катаев относится к числу тех быстро растущих писателей второго поколения, для которых каждая новая книга — большой шаг к высокому художественному мастерству и большим идейным горизонтам. После «Движения» — книги чисто очерковой — это значительный успех автора и всей советской литературы. Кстати сказать, знакомясь с предыдущими произведениями Ив. Катаева, приходится искренно удивляться оценкам творчества этого писателя со стороны «Литературной энциклопедии». Оказывается: Ив. Катаев приобрел известность как... один из руководителей «Перевала». Нужно ли много доказывать, что такое, с позволения сказать, объяснение по меньшей мере странно и несерьезно... «Перевал» жил и умер, как замкнутая, сектантская группа, идейные установки которой не имели и не могли иметь никакого отзвука в широких читательских кругах советской страны. Эти установки были чужды и прямо враждебны политическому мировоззрению и практическому опыту миллионов рабочих и крестьян, боровшихся за победу социализма.

Деятельность Ив. Катаева в «Перевале» не только не могла дать талантливому писателю доступ к массовому советскому читателю, но она принесла ему несомненный вред. И даже сейчас, когда «Перевал» стал достоянием литературной истории, отголоски его творческих установок дают о себе знать. Было бы большой ошибкой, если бы критика не заметила этих отголосков. Точно так же нельзя не заметить, как в новом сборнике Ив. Катаева отчетливо отразился серьезный отход автора от прежних установок, сказавшийся, в частности, в новом понимании деревни. Одна из ранних повестей Ив. Катаева «Молоко» и новая повесть «Встреча» по своим идейным качествам взаимно исключают друг друга. Совсем ведь не случайно, что лучшим произведением сборника является именно эта последняя повесть «Встреча» — о роли политотделов в деревне. Дело тут не только в том, что «Встреча» написана позднее других, но и в том, что она написана с точки зрения большевика, перестраивающего деревню.

В этой повести писатель нашел наиболее простые и то же время яркие художественные средства выражения. Повесть свидетельствует о глубоком знании автором новой деревни и психологии отдельных ее социальных групп.

Центральный образ бывшего бедняка Кирюшки, в прошлом забитого, отупевшего от безысходной нужды и человеческих издевательств и разбуженного только политотделом, — этот образ разработан Катаевым глубоко и правдиво. История Кирюшки Чекмазова, долго не находившего своего места в сложном классовом переплете советской деревни в период массовой коллективизации, полна острейших противоречий и подлинного трагизма. Кирюшке, например, все кажется, что в колхозе он может устроить свое благополучие, работая «как попало», с прохладцей. Он так и рассуждает: «Отдюжил свое — и домой, на печку. В трудкнижку пишут, лодырем не ругают, не грозятся, — и хорошо». Это чувство пассивности, незаинтересованности в общественном деле, принесенное от мрачного прошлого забитого деревенского «недотепы», медленно, с трудом, но все же начинает сменяться проблемками сознательности. В конце-копцов Кирюшка становится примерным работником колхоза. Человек, который первое время был рад, что его не замечают, что над ним не издеваются, не высмеивают, начинает осознавать свою цену, свое человеческое достоинство. С большим тактом художника, без резких переходов в схематических перепрыгиваний через действительность, Катаев подводит своего героя к новой и неожиданной для него мысли: чем больше и лучше я буду работать, тем лучше будет мне и всему коллективу.

Ив. Катаев показывает, как партия смогла поднять к сознательной политической жизни самые отсталые слои трудового крестьянства бывшей царской России.

«Битый-поротый» Кирюшка, привыкший работать только по необходимости, толкаемый голодом и нуждой, впервые идет в престольный праздник работать на колхозном поле, видя в этом большую общественную цель. Человек, который в прошлом радовался смерти «лишнего рта», теперь глубоко переживает смерть маленькой дочери. В этом, казалось бы, незначительном факте Ив. Катаев сумел показать огромный смысл нашей эпохи — рождение социалистической гуманности.

Интересен в повести и другой персонаж — начальник политотдела Калманов. Городской человек, интеллигент, не знающий сельскохозяйственного производства, он оказался перед необходимостью вести за собой массы колхозников, руководить ими, воспитывать. Ни на минуту не роняя своего авторитета, но и не зазнаваясь, Калманов быстро осваивается в новой обстановке. Калманов проходит через повесть, как живое художественное воплоще-

ние гениального выражения товарища Сталина: «Нет таких крепостей, которых не взяли бы большевики».

Второе значительное произведение рецензируемого сборника — это повесть «Ленинградское шоссе». По своим художественным качествам это произведение стоит на очень высоком уровне. По отчеканенности фразы, по точности и содержательности эпитета, по строгости расположения красок «Ленинградское шоссе» стоит местами даже выше «Встречи».

Однако, по своему общему идейно-художественному значению эта повесть занимает в сборнике несколько особое место. В отличие от мобилизующей повести «Встреча» «Ленинградское шоссе» написано несколько созерцательно, без внутренней авторской взволнованности. От нее веет холодноватым, слегка равнодушным наблюдением и какой-то пассивной умиротворенностью.

Это не мешает повести быть крайне интересной и глубокой по количеству наблюдений и по оригинальности и жизненной правдивости картин, нарисованных Катаевым. Прочитав повесть «Ленинградское шоссе», читатель может сказать: «Как все-таки противоречива наша действительность, как велики и неожиданны ее контрасты!»

Начинается с того, что в «маленьком четырехкоконном домишке» умирает незаметный, немного странноватый старик Савва Пантелеевич. Умирает в стороне от большой жизненной дороги, где-то за городом, недалеко от Ленинградского шоссе. И умирает-то он, по выражению автора, «не вовремя — в каюн первого мая, в ночь на страстную субботу».

На похороны старика собираются его дети, родня. Здесь-то и показал автор всю разнolikость нашего поколения, всю непохожесть собравшихся на того, кого пришли они хоронить. Не даром один из сыновей Саввы Пантелеевича, Сергей, говорит:

«...старик, в сущности, умер анекдотически, от какого-то фельетонного пустака, умер, за-

пуганный ничтожеством. Каким же, значит, слабым, незащищенным сознавал он себя, Савва Пантелеев, его, Сергея Пантелеева, отец. Его, Сергея Саввича, предводителя четырех десятков профессоров и аспирантов, авторитетного в наркомате и в райкоме... До чего же затенен, безвестен. Отеческий дом его, весь этот крохотный, дряхлеющий мирок, забытая хижина на краю большой дороги».

Впечатление от всех этих резких жизненных контрастов усиливается еще тем, что даже сами дети Саввы Пантелеевича, собравшиеся на похороны, ничем друг на друга не похожи.

Умер Савва Пантелеевич, закончились похороны, промелькнул мелкий семейный инцидент на поминках — и как будто и не было Саввы Пантелеевича. Стремительное шоссе живет такой же напряженной жизнью, так же волнуются люди столицы, на стадионе «Динамо» идет футбольный матч, на «пирамидальной» гробнице с двумя часовыми у входа как бы застыли «тени и отблески прошлых вчерашних знамен». От всей этой картины читателю грустно, как бывает грустно перед всем, что неизбежно или чего уже не вернуть.

Из мелких произведений Ив. Катаева, включенных в сборник, следует отметить крайне интересную новеллу «В одной комнате».

В то же время нам кажется, что включение в сборник таких полуочерковых произведений, как «На краю света» и даже «Отечество», в известной мере снижает уровень книги. Эти произведения, хотя и написаны местами с подлинным мастерством и свидетельствуют о том, что автор непрерывно обогащает себя знаниями нашей действительности, — тем не менее они выпадают из общего тона, заданного сборнику двумя первыми повестями. К тому же и стиль этих произведений — какой-то приподнято-«космический» — делает их в книге явлением неорганическим.

Ник. Острогорский.

Редакция:

А. И. Безыменский.
Ф. В. Гладков.
В. В. Григоренко.
И. М. Гронский.
Л. М. Леонов.
А. Г. Малышкин.
В. П. Ставский.

Отв. редактор И. М. Гронский.

Издатель: Известия ЦИК СССР и ВЦИК.